

---

# ПОКОЛЕНИЯ ВШЭ

---

УЧИТЕЛЯ ОБ УЧИТЕЛЯХ



---

# ПОКОЛЕНИЯ ВШЭ

---

УЧИТЕЛЯ ОБ УЧИТЕЛЯХ



Издательский дом Высшей школы экономики  
Москва, 2013

УДК 378.011.31-051

ББК 74.58

П48

Над книгой работали:

*Мария Юдкевич*

*Юлия Иванова*

*Любовь Борусяк*

*Владимир Селиверстов*

П48 Поколения ВШЭ. Учителя об учителях [Текст] / М. М. Юдкевич, Ю. В. Иванова и др. ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. — 304 с. — 2000 экз. — ISBN 978-5-7598-1077-3 (в пер.).

В книге собраны интервью с ведущими профессорами Высшей школы экономики, рассказывающими о различных этапах своего академического пути и о своих учителях и наставниках. Книга создает коллективный портрет академической среды второй половины XX века.

Издание рассчитано на абитуриентов, студентов, выпускников университетов, всех интересующихся историей и судьбами фундаментальной науки и образования в России.

УДК 378.011.31-051

ББК 74.58

ISBN 978-5-7598-1077-3

© Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2013

В теплой комнате, как помнится, без книг,  
без поклонников, но также не для них,  
опирая на ладонь свою висок,  
Вы напишете о нас наискосок.

*И. Бродский*

---

## О СВОИХ УЧИТЕЛЯХ И УНИВЕРСИТЕТАХ РАССКАЗЫВАЮТ

---

- |    |                                |     |                                    |
|----|--------------------------------|-----|------------------------------------|
| 8  | Евгений Григорьевич Ясин       | 88  | Елена Григорьевна Драгалина-Чёрная |
| 15 | Виктор Анатольевич Васильев    | 91  | Симон Гдальевич Кордонский         |
| 20 | Александр Львович Доброхотов   | 94  | Леонид Иосифович Полищук           |
| 26 | Владимир Викторович Коссов     | 99  | Вадим Артурович Петровский         |
| 31 | Михаил Александрович Краснов   | 102 | Эмиль Борисович Ершов              |
| 37 | Светлана Борисовна Авдашева    | 105 | Ирина Максимовна Савельева         |
| 40 | Михаил Анатольевич Бойцов      | 109 | Анатолий Григорьевич Вишневский    |
| 51 | Владимир Петрович Зинченко     | 118 | Алексей Львович Городенцев         |
| 60 | Андрей Юрьевич Мельвиль        | 124 | Гасан Чингизович Гусейнов          |
| 66 | Фуад Тагиевич Алескеров        | 129 | Александр Юльевич Чепуренко        |
| 69 | Наталья Юрьевна Ерпылева       | 136 | Елена Наумовна Пенская             |
| 73 | Николай Борисович Филинов      | 144 | Игорь Николаевич Данилевский       |
| 76 | Александр Фридрихович Филиппов | 148 | Григорий Гельмутович Канторович    |
| 80 | Владимир Сергеевич Автономов   | 152 | Юрий Петрович Орловский            |
| 84 | Сергей Константинович Ландо    | 156 | Сергей Ростиславович Филонович     |

---

## О СВОИХ УЧИТЕЛЯХ И УНИВЕРСИТЕТАХ РАССКАЗЫВАЮТ

---

- |     |                                    |     |                               |
|-----|------------------------------------|-----|-------------------------------|
| 160 | Инна Феликсовна Девятко            | 229 | Игорь Владимирович Липсиц     |
| 167 | Аполлон Борисович Давидсон         | 234 | Дмитрий Алексеевич Леонтьев   |
| 171 | Виталий Анатольевич Куренной       | 240 | Сергей Михайлович Яковлев     |
| 175 | Марк Иосифович Левин               | 243 | Владимир Натанович Порус      |
| 179 | Евгений Семенович Штейнер          | 246 | Елена Анатольевна Вишленкова  |
| 185 | Ирина Васильевна Ивашковская       | 253 | Олег Игоревич Ананьин         |
| 189 | Овсей Ирмович Шкаратан             | 260 | Александр Бенционович Гофман  |
| 195 | Азер Гамидович Эфендиев            | 269 | Ирина Владимировна Якушева    |
| 199 | Лев Ильич Якобсон                  | 273 | Марк Юрьевич Урнов            |
| 201 | Алексей Михайлович Руткевич        | 278 | Александр Борисович Каменский |
| 204 | Максим Игоревич Никитин            | 282 | Исак Давидович Фруммин        |
| 207 | Николай Иосифович Берзон           | 287 | Лев Львович Любимов           |
| 214 | Алла Александровна Фридман         | 292 | РАССКАЗЧИКИ                   |
| 218 | Владимир Ефимович Гимпельсон       |     |                               |
| 224 | Александр Николаевич Архангельский |     |                               |

Самое главное в университете — это люди и идеи, которые мы дарим. История университета — это то, что принесем с собой эти люди, какими знаниями они обладают и чем понимают сепарацию между знаниями, радостью у нас, делая со студентами и преподавателями, и счастьем, светлыми в сочетании к процессу познания и восприятию жизни, к процессу творчества.

E. Jensen

---

# ПРЕДИСЛОВИЕ

---

Эта книга родилась случайно. Все началось больше года назад с открытия в информационном бюллетене «Окна роста», рассказывающем о новостях академического развития в Вышке, рубрики «Учителя и ученики». Каждый месяц на ее страницах публиковалось два интервью с ведущими профессорами университета. Уже с момента появления первых выпусков эти рассказы, в которых авторы делились воспоминаниями о своих учителях и о том, что привело их в науку, стали вызывать большой интерес как среди преподавателей и студентов Вышки, так и далеко за ее пределами. Тогда и возникла идея собрать эти интервью под одной обложкой.

В книгу вошли очерки 57 профессоров нашего университета. Каждый из них рассказывает о своих первых шагах в академическом мире и о своих университетских (а иногда и школьных) учителях, наставниках и о тех, кто оказал на него значимое влияние.

Все рассказы глубоко индивидуальны и отдают должное людям, часть из которых сегодня незаслуженно забыты. Вместе же эти рассказы рисуют коллективный портрет академической эпохи и академической жизни прошлых десятилетий. Во многих рассказах намеренно оставлены черты разговорного стиля, сохраняющие свежесть первых «газетных» выпусков и прямую речь рассказчиков.

Среди профессоров Высшей школы экономики – социологи, психологи, философы, экономисты, математики, историки, филологи и представители многих других дисциплин. Кто-то из рассказчиков работает в Вышке с момента ее основания, а кто-то относительно недавно, но без любого из них Школа уже не мыслится. В совокупности эти повествования образуют своего рода портрет Вышки. Портрет университета, который, несмотря на свою молодость, уже обладает историей, уходящей глубоко в прошлое. Наша книга – попытка сохранить эту историю и рассказать о ней новым поколениям.

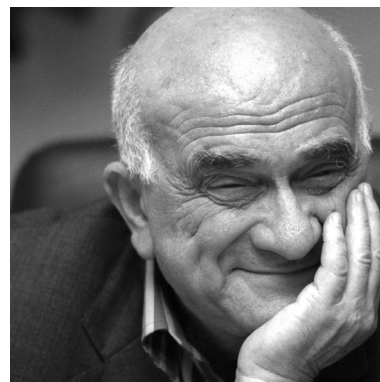
Мария Юдкевич



# ЕВГЕНИЙ ЯСИН

## УЧИТЕЛЯ

---



Скажу честно и откровенно, сразу после школы я хотел пойти в гуманитарный вуз – на географию. География – это то, что ты уже со школы знаешь. А экономика? Наверное, нужно пройти какую-то фазу социализации, чтобы можно было выбрать это со знанием дела. Но я вынужден был сделать такой выбор по определенным обстоятельствам. На географии мне объяснили, что из таких, как я, уже взяли одного, а второго – никак. И это была правда: декан факультета сказал своему сыну, который учился с нами, что вот, мол, одного возьмем, а второго – нет. Короче говоря, такие времена были. Пришлось мне пойти в Инженерно-строительный институт. Но где-то к четвертому курсу я понял, что эта работа не моя: мне надо заниматься общественными науками.

Вообще-то я хотел пойти на архитектуру, и в институте было архитектурное отделение. Но поступил в 1952 году, когда у нас открывались великие стройки коммунизма. Наш институт переделали в гидротехнический. (Это институт в Одессе – у меня на родине.) В результате отделение архитектуры закрыли, а вместо него открыли речной и морской факультеты, а также факультеты промышленного и гражданского строительства (ПГС).

И я попал на ПГС. Ну, и закончил его. А архитектура – она мелькнула и исчезла с горизонта. Примерно через год после окончания института я работал мастером на строительстве моста через реку Днестр в городе Рыбницы – это в Молдавии. И вот, будучи там мастером, я написал в Московский университет, что когда-то окончил школу с серебряной медалью, а теперь хотел бы учиться у них. Тогда было такое странное правило: заочные отделения университетов принимали студентов на свободные места без экзаменов. Когда оказалось, что осталось одно свободное место, меня на него взяли, к моей большой радости. После этого я некоторое время еще работал в проектно-институте, а через два года – я тогда уже учился, ездил в Москву сдавать экзамены и так далее – мне мои профессора предложили перейти на очное отделение. Это был 1960 год. Вот с тех пор я и живу в Москве. Я окончил экономический факультет Московского университета, аспирантуру на этом же факультете. Но должен сказать, что там мне не все нравилось: в Одесском институте учили гораздо лучше. Там была гораздо более плотная программа, гораздо лучше отработанная. Там давали очень приличное образование, было много профессоров высокого класса.

На экономическом факультете МГУ тоже существовали такие профессора, но их было намного меньше. Преобладали люди другого свойства: владевшие какими-то знаниями из официальной марксистской науки, но не слишком отягощенные обширными и глубокими экономическими познаниями. Зато была огромная литература, большие возможности общения – в общем, я вспоминаю об университете с большим удовольствием.

Среди профессоров я вспоминаю трех-четыре человек, которые много дали мне, моему образованию, моему пониманию мира. Один из них – мой учитель Арон Яковлевич Боярский, известный статистик. Хотя потом я познакомился с Альбертом Львовичем Вайнштейном – заместителем Кондратьева по Конъюнктурному институту. Между прочим, я как-то спросил его, почему он никогда не здоровается с Боярским. Он мне объяснил очень коротко и внятно: Боярский, Старовский и еще два польских шпиона – Ястремский и Хотимский – боролись за чистоту марксистской идеи и в большой степени содействовали завершению работы Конъюнктурного института, аресту Кондратьева и отправлению самого Альберта Львовича в лагерь. Во всяком случае, Вайнштейн именно так и сказал:

*– Вы меня никогда не убедите. Между нами стена. Что бы и как ни объяснял Боярский, его для меня не существует.*

Ну, а для меня он существовал. У нас был один такой разговор, по-свойски. Он сказал:

*– Вы – молодые, вы не понимаете то время, в которое мне пришлось жить.*

И я могу сказать, что это было время, когда на пространстве нескольких журнальных страничек решались вопросы жизни и смерти. Люди, которые туда попадали, могли либо доказать свою правоту за счет обвинения других, либо их одолели бы более сильными обвинениями. И тогда их расстреляли бы или сослали. В общем, такая была судьба.

Что мне дал Боярский? Во-первых, он был очень хорошим лектором. Во-вторых, у него были хорошие книги. В-третьих, он, возглавив Институт статистики в НИИ ЦСУ в свое время, сразу позвал меня туда работать. Я только что закончил вуз, и с первого года аспирантуры он пригласил меня на пост заведующего отделом. Я пошел туда и не жалею об этом. Там работали очень интересные люди – демографы, например. Но у нас занимались автоматизированными системами – все это была никому не нужная абсолютная чепуха. Причем это совпало со временем, когда наши ввели войска в Чехословакию. И тогда стало ясно: то, что мне больше всего нравилось, – преобразования в экономике, реформы и прочее – все это уже больше никому не нужно, все это сворачивается. Все говорят, что должен быть тот порядок, который уже существует, и ничего менять не надо.

И еще. Моих друзей – Б.В. Ракитского и Н.Я. Петракова – обвинили в ревизионизме. Слава богу, обратились к М.А. Сулову. И этот человек, которого все поносят как угодно, сказал: «У нас ревизионистов нет. Есть советские экономисты с разными взглядами. Можно отрицать какие-то взгляды, но привыкайте к тому, что вы можете эти взгляды обсуждать». Короче говоря, он сказал то, что сказал бы я. Михаил Андреевич, конечно, не всегда так говорил, но вот за это ему спасибо.

Теперь об экономической литературе в то время. Был библиотечный зал на третьем этаже в корпусе экономического факультета на Моховой. И представьте себе провинциального парнишку, который приехал в Москву. Я был сравнительно взрослый, конечно, но с точки зрения понимания экономических процессов, кругозора в области экономической науки я был почти на нуле. Потому что нельзя же считать, что какое-то образование появилось, если я самочинно прочитал «Капитал» Маркса, комментарии к нему Розенберга или еще какие-то книги. Все это было в пределах учебной литературы. Когда я приехал туда, на полках стояли издания работ Кейнса, Хайека – многих людей, которые для меня были совершенно новыми.

Там была классическая марксистская литература эпохи революции, и она описывала общество, которое должно возникнуть. Я не помню уже имен авторов, но это были очень видные ученые. Можно взять любую библиографию того времени и увидеть, что выбор был огромный.

Ну, разумеется, там были и книжки, в которых обсуждались текущие проблемы. Например, книга И.С. Малышева «Общественный учет труда и цена при социализме». Иван Степанович Малышев – это конец 50 – начало 60-х годов. Тогда была отчаянная борьба между «товарниками» и «антитоварниками». Малышев возглавлял школу «антитоварников», в которую входили очень известные специалисты по нетоварным теориям. Первое время я сам был «антитоварником» и ярким коммунистом. Меня очень интересовала их аргументация. Другое направление доказывало приоритет товарного производства. Например, К.В. Островитянов и его единомышленники спорили с «антитоварниками», но все это было окутано такой туманной фразеологией, что стоило неимоверно-го труда разобрать, кто из них пуций марксист.

Я просто глотал новые для меня книги, потому что все это было довольно далеко от той образцовой подачи материала, которую я раньше находил в литературе. Взять, например, труд Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег». Я понимал, что это было мировое событие в экономической литературе. Или другие авторы: к примеру, Фридман, который защищал противоположную точку зрения. Он выступал против вмешательства в экономику. Я еще не мог в полной мере оценить эти книги, но видел ссылки на них в литературе. Я внимательно прочитал И.Г. Блюмина и из всех упоминавшихся у него работ вытащил именно ту книгу, которую он больше всего критиковал. Правда, он критиковал ее как-то нежно. Мне захотелось ее почитать – и это оказалось действительно другое видение экономической науки. Что там говорить – это была другая наука! И я это понимал. Такое ощущение сложилось у меня сразу, хотя в книгах, которые я читал, писали про буржуазную экономику, а у нас здесь была экономика другая.

Но точки над «i» расставил Леонид Витальевич Канторович со своей книжкой о наилучшем использовании ресурсов. За вклад в теорию оптимального распределения ресурсов он получил Нобелевскую премию. Я взял эту книгу с твердым намерением молодого неопита: прочесть и раскритиковать ее как следует с марксистских позиций. Потому что рядом были люди, которые доказывали, что у нас товарное производство. И я решил, что это изложение буржуазной теории предельной полезности, новое ее изобретение. Вот люди пишут, пишут... а полной ясности до сих пор нет. Я сел за книгу с твердым намерением выполнить эту миссию. Но по мере того как я ее читал, у меня пропадал критический пыл и росло восхищение. Я сел за книгу с одними намерениями, а встал ее почитателем с совершенно изменившимся взглядом на экономику и мир. Потом, когда я ее закончил, мои товарищи подсунули мне еще книгу Виктора Васильевича Новожилова, потом – книгу Лурье. Я прочитал и понял, что все, чему меня учили, – это полнейшая чепуха. И теперь я должен как бы по-новому взглянуть на мир и заниматься другой наукой. В общем, книги в моем развитии сыграли колоссальную роль.

Частично на мою дальнейшую эволюцию повлияли лекции в ЦЭМИ. В начале 70-х годов я ходил туда слушать лекции видных сотрудников, которые рассказывали о теории оптимального функционирования. На одной из этих лекций выступал Виктор Александрович Волконский. Он записал на доске несколько уравнений и сказал: вот это – общая теория равновесия, вот это – теория оптимального планирования или линейного программирования, которое придумали Купманс и Канторович. Я не был учеником Канторовича, но перед нами выступал Волконский, и он показал: вот уравнение общей теории, давайте вот это мы сократим, вот это запишем так, а это – так. Вы видите, что это частный случай теории общего равновесия, но только эти переменные становятся константами. Или что-то в таком духе. Я посмотрел на все это и решил, что плановая экономика так не выживет, что все равно она ничего не усвоит из этой теории оптимального планирования.

Я понял: это общий случай. Рынки – они на Западе работают; известно, что там экономика работает лучше, чем у нас. Но я понял также, что рынки приводят не к оптимальному, но к субоптимальному состоянию всех параметров, и добиться этого лучше с помощью рынка, чем Госплана. Мне стало понятно, что ситуация просто тупиковая и надо из нее выходить. Там сидело еще несколько человек, которые пришли примерно к таким же выводам. На этом первый и самый важный этап моей эволюции в экономической науке закончился. Потому что я уже перестал сомневаться. Мне стало ясно, что социалистическая система обречена. А как коммунист я закончился с вводом наших войск в Чехословакию.

Моими учителями в это время были не такие уж пожилые люди. Например, Ефрем Залманович Майминас – молодой ученый-экономист. Он родился в Каунасе, окончил университет в Вильнюсе. С его слов я знаю, что к нему приезжали люди из Израиля и объясняли ему, что он дальний потомок Маймонида, известного ученого. Они очень старались, но Ефрем не поверил в это. Мы с ним подружились. А познакомились мы в 1966 году, на Первой Всесоюзной конференции по экономической кибернетике в городе Батуми. Потом, в начале 70-х годов, я перешел на работу в ЦЭМИ, стал работать по информационному обеспечению, ради которого бросил экономическую науку. После 1968 года я понял, что заниматься экономикой в этих условиях не могу, и стал заниматься информатикой. К тому же математика не была для меня закрытой книгой, кое-что в ней я понимал: все-таки закончил когда-то технический вуз и первую свою книгу написал по математике.

Общение с Майминасом дало мне очень много. Он был широко образованным экономистом, хотя с математикой не очень дружил. Владел иностранными языками, читал на них. В Вильнюсском университете у них была возможность читать все в оригинале. Я могу назвать имена и других людей. Может быть,

они не смогут сказать, что они меня чему-то научили, но сам-то я знаю, что учился у них. Это были, например, Александр Иванович Анчишкин, который тогда работал в ЦЭМИ, Николай Яковлевич Петраков. Там было много людей, общение с которыми доставляло колоссальное удовольствие и позволяло узнать много нового. Одним из них был Я.Л. Геронимус. Вместе с ним мы стали заниматься имитационным моделированием, имея в виду, что мы создадим аппарат, который можно будет применять на практике вместо математических теорий, хорошо смотревшихся в книге, но с большим трудом подлежавших использованию. Однако все это были эксперименты, которые не закончились практически ничем.

В 1979 году вышло Постановление ЦК КПСС и Совета министров об улучшении и совершенствовании управления экономикой. Это вместо всяких решений о реформах, которые предполагались. Пленум ЦК решили не созывать и не поднимать бучу. Просто издали постановление, где изложили направления, по которым надо было двигаться дальше. Правда, двигаться тоже не стали, но это было определенное разрешение тех проблем, перед которыми я стоял. Мне хотелось вернуться в экономику, но заниматься всякой идеологической белибердой я не имел желания. Интуитивно я понимал, что должны наступить перемены. Дело в том, что тогда началась работа над программой научно-технического прогресса. Работала Академия наук, возглавлял ее известный академик, а настоящим лидером был Александр Иванович Анчишкин. Мы стали работать вместе с Петраковым и еще рядом коллег над томом, посвященным совершенствованию управления. Анчишкин занимался прогнозами, а мы под формальным руководством Федоренко, а реальным – Петракова, занимались этим. Работа наша была чисто экономической. Я стал возвращаться обратно. Шли 1979–1980-й годы. Прошла еще пара лет, и стало ясно, что все директивы о совершенствовании экономики не стоят выеденного яйца и что никто ничего не собирается предпринимать.

Потом пришел к власти Андропов. За то короткое время, которое ему отпустила судьба, он намеревался что-то сделать. Ну, конечно, не против КГБ, но все-таки было у него четкое ощущение, что перемены необходимы. Он поднял постановления 1979 года и дал задание готовить реформы. Написал, что мы не знаем страны, в которой живем. В сущности, документ о крупномасштабных изменениях в советской экономике, который приняли при Андропове, был развернутым постановлением ЦК КПСС и Совмина 1979 года. И вот я оказался в этом течении. Пока про реформы не было никакого разговора, но работа шаг за шагом продвигалась. В том числе благодаря Анчишкину, его и нашим коллегам – все вместе мы образовывали довольно сплоченный коллектив. Ну, и дело подошло к 1985 году. А в 1987 году начались экономические реформы.

Александр Иванович Анчишкин – самый видный лидер реформаторского направления, очень проницательный и глубокий экономист, редкой для нашей страны образованности. Он вместе с другими учеными подготовил концепцию совершенствования планирования и управления к пленуму ЦК КПСС, который состоялся в июне 1987 года. И пленум принял это решение. Через несколько дней Александр Иванович умер. Он – мой одноклассник: мы оба родились в 1934 году. Он был совсем молодой. Исключительно умный, образованный человек. По-советски, но образованный.

Я в это время сидел в «Соснах», где по поручению правительства наша команда готовила проекты постановлений для Верховного Совета СССР. Эта сессия состоялась в начале июля, на ней с докладом выступил Николай Иванович Рыжков. Постановление июньского пленума было ключевым решением, положившим начало экономическим реформам в Советском Союзе. Горбачевским реформам. Но я бы сказал, что концепция была сырая. Да и вообще она была неконструктивной, оставалась в рамках социалистического выбора – выбора директоров вместо того, чтобы выборы в стране устраивать, и т.д. Но тем не менее это были очень важ-

ные шаги вперед, и я с самого начала принимал в этом участие. Могу назвать людей, с которыми в тот момент меня свела судьба. Это Вячеслав Константинович Сенчагов – по-моему, он был в то время заместителем председателя Госкомцен СССР. Председателем был Валентин Сергеевич Павлов. И вместе со мной в эту команду входил Григорий Алексеевич Явлинский. Вот такая складывалась компания. Это был первый мой опыт работы над правительственными документами.

Прошло два года. Я как экономист, уже набравший определенную квалификацию, понимал, что дальше будет кризис. И что будет с Россией – тогда Советским Союзом, – мне было совершенно неясно, потому что кризис обещал быть очень тяжелым. Ведь длительное время ничего не делалось, чтобы его как-то остановить, спасти страну. Все, что предпринималось тогда в части экономических реформ, или не было направлено на решение практических проблем, или было недостаточно «решительным». В основном все заканчивалось разговорами. Но вот состоялся Первый съезд народных депутатов – он был переворотом в политическом сознании людей. В это время в правительство был приглашен Леонид Иванович Абалкин. Мы раньше встречались: когда я еще работал в ЦЭМИ, мы постоянно контактировали с ним в ученом совете при комиссии по проведению реформ. И когда его пригласили на пост председателя комиссии по экономической реформе и вице-премьера, тогда наш общий знакомый, Борис Захарович Миллер, спросил меня, не согласился бы я работать в комиссии. Для меня это был довольно сложный вопрос, но я ответил: «Если позовете – пойду». И Леонид Иванович поддержал мою кандидатуру. Вот так мы вместе с Григорием Алексеевичем Явлинским попали в эту комиссию в должности заведующих отделами.

И я могу сказать, что самый интересный период в моей жизни связан с этой комиссией, в которой я работал с сентября 1989 года до апреля 1991-го. Осенью 1989 года мы первый раз с Григорием Алексеевичем написали концепцию рыночной реформы у нас в Советском Союзе,

где ни разу не упомянули слово «социализм». Собственно говоря, это вышло непреднамеренно, мы не ставили перед собой такой задачи. Просто к вопросам, которые там излагались, слово «социализм» отношения не имело. А вот «рынок» – да. Это была концепция рыночного переустройства советской экономики.

Если говорить о том, в какой степени мы могли использовать мировой опыт, описанный зарубежными экономистами, то здесь нужно иметь в виду следующее. Та литература, которая была нам доступна, не отвечала на вопросы, возникавшие в советской экономике. А мы советскую экономику знали хорошо. Мы не знали в деталях их экономику, но у нас было ясное понимание того, что нужно сделать, чтобы здесь заработала рыночная экономика. Чтобы были спрос и предложение, свободные цены, ограничения денежно-финансовых ресурсов, денежного предложения. Мы знали: все эти вещи нужно создать, чтобы они заработали. А уж потом будут решаться вопросы реконструкции промышленности, сельского хозяйства, хозяйственного механизма и т.д. Собственно, это и был хозяйственный механизм. Вот так мы и написали.

Мы выбрали умеренный вариант, чтобы не торопиться, чтобы не вызвать кризис, который мог оказаться роковым. Тогда Григорий Алексеевич говорил, что нужно обязательно «все сразу», «решительно», а я, уже пожилой человек, его уговаривал отказаться от слишком радикального пути. Сам-то по себе он был бы хорош, но уж с очень большими рисками связан. Консервативный путь мы тоже отвергли, как вчерашний день, а вот умеренный путь – это было лучше. Мы описали все это в нашей концепции. Ее обсуждение состоялось на совещании в Колонном зале Дома Союзов в октябре 1989 года. По улицам в это время ходили демонстрации с лозунгами «Долой абалкинизацию всей страны!». Имелся в виду Абалкин, потому что он был главным нашим лидером. Мы для него все это написали, и он с нами согласился. У него был свой взгляд на данный вопрос. Он готовил свой доклад, а мы – этот официальный документ.

В общем, несмотря на возражения коммунистов, правых, все-таки правительство склонно было поддерживать эти идеи. Но своеобразно: велась работа над объединенной концепцией. И получилось так, что на Второй съезд народных депутатов выдвинули программу, которая состояла из трех частей. Основное направление – реформы; вторая часть – основные направления XIII пятилетки; третья часть – текущие вопросы. И из основных направлений XIII пятилетки было ясно, чего они делать не собираются. По крайней мере в первые два года. Ну, мы пошли к руководству выяснять, что ж тут такое... А нам сказали: «Жизнь есть жизнь. Кое-кто возражает против ваших предложений. Непонятно еще, что с ними будет». Ну, мы тут стали кипятиться, конечно. Выразили все свои чувства Леониду Ивановичу после этого. Он выступил публично, сказал, что в докладе на сессии Верховного Совета и в концепции с исключительной точностью изложены те предложения, которые должны быть реализованы, чтобы мы начали плавный переход к рыночной экономике.

Из тех, что были сторонниками рыночных реформ по-настоящему, я могу назвать Абалкина, Аганбегяна, Петракова, Майминаса, о котором я уже упоминал. Общение с ними, безусловно, оказало на меня определенное влияние. Но если говорить о моих научных взглядах, то они сформировались гораздо раньше – в ЦЭМИ и во время работы над моей книгой, которую я как раз закончил в 1989 году. Она называлась «Хозяйственные системы и радикальная реформа». Имелись в виду социализм и рыночная экономика, а также реформы, которые должны были быть проведены.

Ну вот, мы закончили работу над этой правительственной программой. Ее угробили, то есть президентский совет ее не принял. Потом были события, благодаря которым я попал на семинар в городе Шопроне, где было много замечательных американских и западноевропейских ученых. А еще были молодые ребята из будущего российского правительства, в том числе Гайдар, Шохин, Чубайс и др. Там довольно много было людей.

Все они, так или иначе, потом работали с Гайдаром. Гайдара я знал до этого – он учился на экономическом факультете. Я не был его преподавателем, но у нас как-то завязались хорошие отношения, хотя в 1991 году мы сильно ругались, споря о том, что будет с Советским Союзом. Они выступали за выход России из состава Союза, а я кипел страстью и не хотел этого разрушения. Но в конце концов я с этим смирился.

Когда я вернулся из Парижа (мне там делали операцию), Гайдар предложил мне войти в правительство. Я получил должность представителя правительства в Верховном Совете РСФСР. Следует сказать, что для меня это был очень серьезный выбор. С одной стороны, мне звонили мои старые друзья – Петраков и Явлинский, с другой – Гайдар. Я долго размышлял. Если бы я пошел с Явлинским и Петраковым, я должен был бы сидеть в оппозиции. А ведь я как раз был согласен с той программой, которую намеревался осуществлять Гайдар. Между нами говоря, она была как две капли воды похожа на программу «500 дней», которую мы с Явлинским и Петраковым сочиняли летом 1990 года. Поэтому я подумал-подумал – и решил все-таки идти с Гайдаром.

Я не жалею об этом. Нет. Могу сказать, что чувствую себя счастливым человеком. Говорят, что у советского человека было шестое чувство – чувство законной гордости и глубокого удовлетворения. Я должен сказать, что у меня и сейчас есть это чувство – благодаря той работе, которую я выбрал. Мы ее осуществляли под руководством Гайдара. Я думаю, что этот человек, может быть, и не намного больше нас знал, но у него была сила для того, чтобы взять на себя ответственность. Он ее взял – и выиграл. И что бы там ни говорили, Россия теперь находится в ряду нормальных стран. С рыночной экономикой, без всяких идеологических вывертов. Она может развиваться. Вы скажете: не все же так хорошо. Да, многое и мне не нравится. Я бы хотел, чтобы вот это было по-другому, и вот это, и вот то – но это уже второй вопрос. В жизни не всегда все происходит так, как вы хотите. Но тех бед, которые я наблюдал в

советской экономике, тех извращений и искусственности, которые препятствовали развитию этой экономики, у нас уже нет. Поэтому что я должен испытывать? Я принимал самое непосредственное участие во всем этом, и у меня никаких разногласий с программой Гайдара не было. А он ее осуществил.

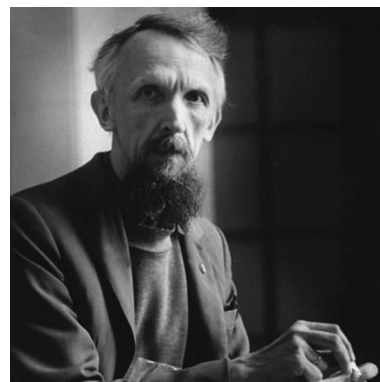
Преподавать я начал где-то с конца 60-х или с начала 70-х годов. Преподавал на экономическом факультете МГУ на кафедре статистики. Читал курс экономической статистики, пока не ушел работать в правительство в 1989 году. На факультете были разные люди, которые ко мне хорошо относились и к которым я сам хорошо относился. Там как раз заведующим кафедрой был Боярский, там работали замечательные женщины – Галина Леонтьевна Громыко, Мария Георгиевна Трудова – и другие люди, которые были настоящими профессионалами. Кроме того, я там прочитал гору литературы. Сделал свой курс трибуной пропаганды будущих реформ. Вот так.

Если же говорить о Высшей школе экономики и ее студентах, то это уже совсем другое дело. Мы – те, кто учил студентов в то время, – на самом деле уже устарели. Уровень подготовки у наших студентов гораздо более высокий. Я бы сказал, что в Вышке это близко к уровню лучших западных университетов. Они знают математику, языки. В общем, это уже совсем другие люди. Здесь я читаю курс, посвященный российской экономике. Он рассчитан на шесть модулей, я его читаю для третьего курса. Мне нравятся эти ребята. Во-первых, потому, что среди них много умных, интересующихся студентов. Во-вторых, они владеют на довольно приличном уровне необходимыми знаниями. С ними интересно. Я, конечно, не утверждаю, что все наши студенты такие. Но если на каждом курсе появляются два-три человека, с которыми интересно, и делают работы, которые я готов опубликовать, то – дело сделано. В общем, я удовлетворен.

# ВИКТОР ВАСИЛЬЕВ

## УЧИТЕЛЯ

---



Интерес к математике возник у меня довольно рано. Где-то в начальной школе у меня уже получалось находить ошибки у учителя, придумывать нестандартные решения задач. Наша учительница в начальной школе всегда знала только одно решение, а я придумывал еще одно: иногда в стандартном решении получалось четыре действия, а я решал задачу в три действия, и это производило впечатление. В математическую школу я не пошел (хотя меня несколько раз принимали по результатам конкурсов), потому что далеко было ездить. В седьмом и восьмом классах я раз в неделю ездил на математический кружок при Второй математической школе и решал там задачи. На занятиях, которые продолжались два часа, обычно разбирали какую-то тему, а кроме того, давали четыре задачи на дом. Решение можно было приносить через две недели. Это был такой вызов, и я все задачи старался решить и решал. Несколько раз в седьмом классе я показывал лучший результат за четверть, и меня там заметили. Кроме того, я участвовал в олимпиадах для школьников. Сразу было понятно, что буду стараться поступить на мехмат, но в то время были сложности с поступлением, потому что политика партии была такая: в институты надо брать иногородних, студентов рабоче-крестьянского происхождения и т.д.

Поскольку я этим критериям не соответствовал, то были опасения, что я не поступлю, но я решил все задачи на письменном экзамене и прошел как медалист. На отделении математики на мехмате было 250 человек. Часть из них были выпускниками матшкол, и стартовые возможности у них были лучше, чем у меня, потому что я ведь не учился в матшколе. Матанализ они уже знали примерно за первый курс, хотя на чуть более примитивном уровне, имели больше времени и больше возможностей ходить на разные семинары.

К концу второго курса надо было выбрать научного руководителя, но я долго колебался с выбором направления. Я ходил на самые разные семинары, пытался выбрать, но окончательного решения долго принять не мог. Я колебался между тремя возможными вариантами. Мне очень нравился Владимир Андреевич Успенский, у которого был прекрасный семинар по матлогике для студентов младших курсов. Я туда ходил, там были замечательные задачи, я их решал, и Успенский меня привлекал. Еще был Феликс Александрович Березин, ученик Израиля Моисеевича Гельфанда, специалист по матфизике и теории представлений. У него тоже был очень хороший семинар.



Но в результате я пошел к Владимиру Игоревичу Арнольду, и это, по-моему, едва ли не главная удача в моей жизни. Арнольд у нас читал лекции на втором курсе, хотя на семинар к нему я пришел еще на первом. И вот как это получилось. Как-то вечером мне позвонил Николай Николаевич Константинов. Ну, про Константинова все математики знают – это совершенно замечательный человек, один из создателей системы математического школьного образования в России. Меня он знал еще по олимпиадной жизни. Константинов строго меня спросил:

*– Витя, а почему вы до сих пор не ходите на семинар Арнольда?*

Как я мог отказаться? Пришлось идти. Я даже не знаю, почему это случилось. У меня есть подозрение, что произошло это так. Готовилась школьная математическая олимпиада. А задачи, которые дают школьникам, сначала тестируют на студентах. Меня позвали в такую секретную группу, чтобы на мне и еще десятке человек эти задачи протестировать. И мне тогда удалось решить все задачи. В этом году там как раз Арнольд командовал олимпиадой. Может быть, поэтому он обратил на меня внимание и сказал обо мне Константинову. Точно я не знаю, это всего лишь версия. В общем, Константинов велел мне идти, и пришлось его послушаться. Я пришел на семинар Арнольда и больше уже не смог оттуда уйти.

Эти семинары велись блестяще, и лектором Арнольд был тоже совершенно замечательным. Сразу было видно, что в математике он знает почти всё. Семинар у него был чрезвычайно интересный. Если говорить о том, как он его вел, то слово «пассионарность», пожалуй, будет самым подходящим. Он делился своей энергией, своим энтузиазмом, и этот энтузиазм воспринимался студентами. Было видно, что люди, которые ходили на его семинары, тоже заряжены его энергией.

У Арнольда было два семинара: один для «маленьких», то есть для студентов невыпускных курсов, а другой – для взрослых. Формально считалось, что семинар для

младших был по динамическим системам, а для старших – по теории особенностей. Но на самом деле это деление условное: на протяжении своей истории эти семинары занимались много чем, вместе с Арнольдом переходя с одной темы на другую. На обоих семинарах в начале каждого семестра раздавались задачи – обычно Арнольд приносил список из нескольких десятков задач. Задачи предлагались по одному из направлений семинара. Арнольд как-то посчитал, что период полураспада задачи – семь лет, то есть в среднем за столько лет задача решается, хотя значительная часть этих задач не решена до сих пор. Но многие задачи, конечно, решались там сразу. Часто оказывалось, что в семинаре есть человек, который хорошо знаком с какой-то определенной областью, и тогда он приносил решение на следующее заседание. Если эти задачи не решались, то они повторялись на следующий год или через год. И в среднем через семь лет кто-то их добывал. Любой мог взять эти задачи и попробовать их решить.

Когда я на втором курсе пришел проситься к нему в ученики, Арнольд мне дал задачу. Даже не задачу, а тему. Сказал, что есть такие-то и такие-то статьи, с которыми надо разобраться. Дал мне на лето четыре свои статьи в «Успехах математических наук», общей сложностью страниц на сто пятьдесят. И вот я их прорабатывал, пытался понять, что это за задачи такие. Что-то я тогда сделал, но на перспективу мне это не пошло. Ничего особенного в этой области я не достиг. Конечно, решение задачи из списка Арнольда каждый раз было событием, которому потом посвящался доклад на том же семинаре. И сколько-то раз мне это удавалось. Некоторые из этих задач определили направление моей будущей деятельности. Курсовые и диплом я тоже писал под руководством Арнольда.

На семинар обычно приходило много людей – десятка два-три. Там было много старших арнольдовских учеников, причем самый старший был моложе его года на два. Там были мои ровесники, а потом стали приходиться ребята моложе нас. Многие из учеников Арнольда

уже были экспертами по каким-то направлениям. (Арнольд в свое время дал им задачи, и им удалось продвинуться в их решении, поэтому они считались по определенным задачам экспертами.) Туда также приходили совсем уже крупные ученые из других областей. Например, Дмитрий Борисович Фукс – замечательный тополог, он был как бы министром топологии на этом семинаре. Топологию он знал лучше Арнольда, и если возникала задача, выводящая в эту область, он всех консультировал. Приходил Андрей Николаевич Тюрин, давал консультации по алгебраической геометрии. Это были самые старшие участники семинара.

Потом были старшие ученики Арнольда: Саша Варченко, Толя Кушниренко, Аскольд Хованский и др. Арнольд время от времени давал им задание присмотреть за кем-то из нас. Детей нашего возраста – чуть старше или чуть моложе – там было с десяток. Он, конечно, следил за нами, но всего успеть не мог, поэтому за нами еще присматривал кто-то из старших участников семинара. Моим куратором был Саша Варченко, но я все-таки старался подходить с вопросами к самому Арнольду. Не то чтобы я Саше не доверял – просто так было проще. После семинара можно было подойти и задать Арнольду вопрос, после лекции можно было его поймать и что-то спросить или рассказать. А еще к нему можно было приехать домой, иногда даже без предупреждения. Дом его находился в районе сегодняшнего метро «Битцевский парк», правда, в то время там вообще никакого метро не было. Не было у него дома и телефона. К нему – если повезет и он дома – вообще без звонка можно было впереться, и он принимал гостя с радостью. Понятно, что если кто-то поехал в такую глушь, значит, ему действительно очень надо. Не скажу, что я делал это часто. Нет, я только изредка использовал такую опцию. Не было случая, чтобы приехавшему к нему человеку Арнольд сказал: «У меня сегодня нет времени». Наоборот, он с радостью вцеплялся в этого человека. Для него было удовольствием что-то рассказать, что-то вложить в человека, чтобы в других людях продолжилось то, что он знает и понимает сам.

В аспирантуру я, конечно, поступил к Арнольду. А к кому же еще?! На первом курсе аспирантуры я сменил первоначальную задачу. По-моему, мне сам Арнольд сказал, что есть вот такая задача нерешенная и что я, наверное, смогу здесь что-то сделать. И в этой задаче получилось то, что мне, пожалуй, до сих пор нравится. А дальше уже пошло и пошло...

Важно, что семинары Арнольда были очень и очень разнообразными. Я уже сказал, что он знал всё. Поэтому там было место и для человека с алгебраическими мозгами, и для человека с геометрическим мышлением – каждый мог найти для себя какую-то задачу. Люди, которые попадали на семинар более узкого направления, могли просто не угадать, то есть сделать неточный или неправильный выбор. А на семинарах Арнольда можно было пробовать разные задачи: одна не пошла – тут же, на этом же семинаре, обязательно находились задачи именно для тебя, если такие вообще существовали. Ну, а если человек совсем дурак, то для него никакая задача не подойдет.

Во время учебы в аспирантуре у меня было жуткое ощущение, что жизнь заканчивается. Все, до чего я потом могу дорасти, – это идти преподавать в какой-нибудь вуз или сидеть где-нибудь в лавочке по восемь часов в день. Я думал, что у меня остались последние три года, что все, что я за это время выучу, – это и будет мой багаж, с которым я смогу работать дальше. В значительной степени так и получилось. Самым результативным в этом смысле был для меня второй год аспирантуры. За этот год я прочитал 3600 страниц тяжелых математических учебников по разным областям: топологии, алгебраической геометрии, теории представлений. Все это я сидел и прорабатывал. Я посчитал, что в средне-статистический день я занимался математикой 11 с половиной часов чистого времени, не считая никаких перерывов. То есть столько времени в день я обязательно сидел над учебниками, а кроме того, старался думать над своей собственной задачей.

Конечно, это было очень большое напряжение, поэтому у меня на каждый день обязательно были запланированы две прогулки, по 30 минут каждая: я гулял и одновременно работал над своей задачей. На самом деле диссертацию я обдумывал именно во время прогулок.

После аспирантуры я пошел в Научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела (ВНИИДАД). В Математический институт ходов не было, и на мехмат меня бы не взяли: там очень серьезно относились к идейно-политическому облику, а я, наверное, общался не с теми людьми. Математики – они, конечно, вольнолюбивые люди, зато комитет комсомола на мехмате был ого-го!!! Здесь нужно понять, что математика – наука очень объективная. Вот в социологии, наверное, белое назвать черным гораздо проще, чем в математике. Но если не называть белое черным, а черное белым, то проводить партийную линию было совершенно невозможно. Поэтому у нас в комитете комсомола и в парткоме сидели такие зубры... Я бы не сказал, что на общем фоне так уж сильно выделялся своими антисоветскими настроениями, но для того, чтобы тебя взяли в хорошее место, надо было быть очень передовым комсомольцем. Я знаю только одно исключение – это Сережа Конягин. Он не был годеи ни к какой комсомольской активности, но его все-таки оставили на мехмате. Он был самый талантливый математик на нашем курсе.

В институте документоведения была программистская лаборатория, которая создавала базу данных по всем архивам. Там собрались настоящие математики, которые делали для института какие-то программные штучки. Это была чисто прикладная работа. Там, конечно, можно было заниматься своими делами, но уж слишком много времени надо было просто отсидживать, присутствовать на рабочем месте. И разумеется, я продолжал ходить на семинары. Работая во ВНИИДАД, а потом в Госкомстате (всего я в этих местах проработал почти восемь лет), я еще преподавал в 57-й школе – сначала ассистировал на занятиях по матанализу, а потом читал

спецкурсы по топологии в десятом, выпускном классе. В первый раз я прочитал курс для двух человек. А началось все так. Мой коллега и товарищ Аркаша Вайнтроб как-то подошел ко мне и говорит:

*– Ой, тут в 57-й школе есть беспризорный класс, за которым никто особенно не присматривает. Там есть два таких способных мальчика! Таких способных! Захируют ведь без присмотра. Ну, алгебру я им сам расскажу, а уж топологию – ты, хорошо?*

И действительно, один из этих мальчиков сейчас профессор в Америке, а другой – доцент у нас на матфаке. И вот я им стал читать топологию на двоих, потом к ним еще двое присоединились. Это был мой первый опыт в статусе преподавателя. Сначала я читал только для двух человек, потом для четырех. Тогда они приходили ко мне в лабораторию, и там я им читал топологию. После этого у меня отработался этот курс, и на следующий год меня позвали преподавать его в школе. Там ко мне ходило уже человек десять-двенадцать. Так началась моя преподавательская деятельность. Сначала мне было трудно и непривычно преподавать, я этим занялся, скорее, потому, что у нас в математике это считается приличным поведением: нельзя сидеть как собака на сене, надо другим рассказывать о том, что знаешь сам. В моем кругу считалось приличным поведением что-то кому-то где-то преподавать. А потом я втянулся, и это стало уже постоянной потребностью.

В 1991 году начался Независимый университет, куда меня сразу позвали, и там я работал 15 лет подряд. Идея создания Независимого университета была связана с необходимостью спасать математическое образование. Речь шла не столько о конкурентоспособности мехмата, сколько о том, что надо просто спасать образование. Ведь это же было самое начало 90-х годов – тогда все просто разбежалось. Это вроде как родовая асфиксия: несколько минут новорожденный не дышал – и все! Он уже не выживет или будет дураком.

А тут дети растут, из школ их выпускают, а учить их продвинутой математике некому. Это было время какого-то распада: ведущие математики разъехались, кто-то просто не преподавал, а дети школу оканчивают, их же учить надо, а то пропадут! И чтобы талантливых детей как-то подхватить, был создан Независимый университет. Вот такой была основная цель. Во всяком случае, я так ее понимал. Конечно, Независимый университет – это была прежде всего дополнительная программа. Она ориентировалась на то, что самым азам анализа наших студентов научат на мехмате или в Физтехе, а к нам они приходили по вечерам и доучивались. У нас есть люди, которые окончили Независимый университет и считаются его выпускниками, их очень мало, потому что до конца доходили немногие. Но те, кто приходил прослушать какие-то определенные курсы, тоже многое получили от Независимого университета. Он и сейчас работает примерно в том же режиме, но теперь есть еще математический факультет Вышки, почти вся профессура которого получилась из преподавателей или выпускников Независимого.

Сейчас, конечно, нет такой ситуации, как в начале 90-х, но самое высшее математическое образование и сейчас нужно спасать, тем более что мехмат в последнее время как-то сдал. Вот мы тут, на матфаке Вышки, этим и занимаемся: ведь есть много способных ребят, для которых математика – это судьба. И здесь они могут стать очень хорошими математиками, а если нет, тогда они станут чем-то другим, но тоже хорошим.

У математиков свой мир, своя система представлений, например о том, какие рассуждения считать верными, а какие неверными или вообще бессмысленными. Это какая-то часть ноосферы, которая отличается от других. Очень важная часть, помогающая всем остальным не завратиться вконец. И если прервется связь времен, этот мир просто отомрет. Этого же нельзя допустить! Поэтому нужно его хранить и передавать молодежи. Это наш долг и наша ответственность. Вот как-то так.

# АЛЕКСАНДР ДОБРОХОТОВ

## УЧИТЕЛЯ

---



Философию я выбрал, когда был еще школьником. Это был примерно 1965 год. Почему это произошло? Особенно интересной фабулы здесь нет. Я в основном литературой интересовался, много читал. Но в девятом-десятом классе я открыл для себя книги по философии, и мне стало интересно. Книги были довольно случайные, потому что это была библиотека военной части. Тем не менее мне там попались любопытные вещи по индийской философии, потом Руссо, Энгельс и, конечно, «Философская энциклопедия». Тогда как раз вышли три ее первых тома. «Философская энциклопедия» уже тогда была нестандартным изданием: находилась в стороне от совсем уж казенной идеологии. И когда я это увидел, то понял, что этот предмет мне интересен. Ну и с тех пор я из этой колеи и не выходил. Я поступил на философский факультет МГУ и до сегодняшнего дня ни вправо, ни влево не отклоняюсь, занимаюсь этим.

Каким факультет был тогда? Вот здесь как раз тема «Учитель и ученик» принципиальна. Потому что это была уже позднесоветская система, в которой возник, как говорят литературоведы, «романтизм двоемирия».

То есть существовал мир казенный, официальный – и был «мир иной», который искусно встраивался в разные лакуны. В 60-е годы уже можно было создать какой-то параллельный мир. Режим был сравнительно мягкий, хотя зубки все-таки показывал. И потом, шестидесятники – это поколение людей довольно интересных, они уже с новым мировоззрением пришли. И я как раз попал в эту волну, когда шестидесятники еще не были разогнаны, а контакты с Западом были более-менее спокойные, да и репрессий не было. Получалось, что можно было довольно уютно существовать в каких-то пещерках. Я бы сказал, что создали катакомбы с разветвленной сетью. И я попал на факультет, где были такие места. Это кафедра истории зарубежной философии (и по сей день лучшая кафедра на факультете), ну и была сильная кафедра логики. Сейчас еще есть кафедра теории и истории мировой культуры, но тогда это были две, пожалуй, самые интересные кафедры.

Я пошел на кафедру истории зарубежной философии. Я бы сказал, что это была аристократическая кафедра: там нельзя было работать, если ты не знал нескольких языков. Поэтому туда приходили не совсем случайные и преимущественно интересные люди.

Там был такой цветник учителей, какого сейчас, наверное, и не может быть. Прежде всего, это люди, которых факультет приглашал читать спецкурсы. Их нельзя было взять в штат, потому что они были неортодоксальны, но можно было пригласить читать студентам курсы.

Например, нам читал спецкурс Мераб Мамардашвили – знаменитый философ мирового масштаба. Это был его первый спецкурс – поэтому не только нам, но и ему было интересно. Он читал про экзистенциализм, про феноменологию духа – то есть темы были не совсем обычные. И это, конечно, произвело на меня огромное впечатление. Надо учесть, что у него и стиль был особенный: стиль свободного разговора. Он писал не так блестяще, как преподавал. А преподавал он так: клал диктофончик – тогда это еще была редкость, – трубочку набивал табаком, садился и начинал неспешно рассуждать. Для тех времен такой европейский стиль размышления был непривычен. Девушки просто падали в обморок от восторга. Это было очень интересно – невероятной интенсивности мысль, обращенная к ученикам. Правда, было трудно, потому что он не делал скидок для студентов. Он размышлял так, как будто с коллегами говорил. Я в то время ездил в Москву из Мытищ. Вставать надо было рано утром и ехать далеко, а спецкурс начинался довольно рано. Время от времени я отключался, но помню, что в полусне я записывал интересные вещи, и это шло прямо куда-то в глубины. Я и сейчас помню эти конспекты. Правда, потом был конфликт с руководством, и он ушел, но я до сих пор помню эти лекции.

У нас преподавал и Александр Моисеевич Пятигорский. Он индийскую философию читал – это тоже было потрясение. Мы даже плохо понимали, что он здешний, наш, московский: у него была смуглая восточная внешность, браслет на руке, глаз косил немножко. Он ходил в свитере, рассуждал об индийской духовности – мы были почти загипнотизированы. Нелли Васильевна Мотрошилова читала – тогда было активное начало ее преподавательской деятельности. Она была и остается блестящим педагогом.

Юрий Николаевич Давыдов, Юрий Мефодьевич Бородай, да и Александр Александрович Зиновьев нам лекции читал. Я думаю, что в то время почти все более-менее заметные мыслители так или иначе на факультете присутствовали. Это продолжалось до начала 70-х, когда уже пошли разные конфликты и разборки. А нам повезло – мы попали в волну, когда можно было безнаказанно заниматься тем, что нам было интересно.

Сама кафедра истории зарубежной философии тоже была очень сильной. Ею тогда руководил Юрий Константинович Мельвиль, человек очень необычный. Внешне он был такой аристократический, западный и западного стиля мышления придерживался. Это фигура во многом загадочная – я думаю, про него еще напишут. Интересным было не столько его педагогическое мастерство, сколько сам тип личности. На сером советском фоне это производило впечатление. К тому же он был виртуозный администратор. Юрий Константинович Мельвиль был человеком известным и уважаемым в советских верхах, поэтому он так сумел отгородить свою кафедру, что ему не мешали подбирать себе интересных сотрудников. Он умел их защитить и встроить в систему. До этого, кстати, кафедрой руководил Теодор Ильич Ойзерман, здравствующий и успешно работающий и сейчас, хотя ему скоро исполнится сто лет. Интересно, что самые свои любопытные вещи он написал в годы перестройки. Он тоже был очень нетипичным человеком. Вошел в советский истеблишмент очень высокого ранга, дружил с Косыгиным и был настроен на определенную модернизацию. Это был такой стиль коммунизма с человеческим лицом. Не скажу, что здесь присутствовал либерализм, но профессионализм – безусловно.

На этой кафедре работали уже мои непосредственные учителя. Сначала я увлекся индийской, а потом античной философией. Античности меня учил Арсений Николаевич Чанышев – он меня вел со студенческих до аспирантских лет. Очень необычный был человек. Он уже на грани диссидентства стоял, общался с кругами соответствующими.

Чанышев был поэт, писал стихи под псевдонимом Арсений Прохожий. И вообще, он был фигурой полубогемной, что тоже студентов привлекало. Внешне он был немножко похож на Эйнштейна – растрепанный, в свитере, поэт, участник всяких кружков необычных, большой донжуан. Он не столько непосредственно учил, сколько позволял заниматься своими делами. Помогал с литературой, конечно, советовал, что почитать. Хотя можно сказать, что прямое учительство тоже было, потому что – повторяю – шла еще и другая, параллельная жизнь. Одно дело – лекции, другое дело – кружок студентов. Мы – нас пять человек было – собирались, Чанышев нас сажал вокруг себя, читал вслух «Метафизику» Аристотеля, комментировал, обсуждал ее с нами. И вот это было реальное образование. Я сейчас думаю, что надо бы поменьше поточных лекций читать, но побольше маленьких групп создавать, которые работают на определенную задачу. Тут важно, чтобы учеников был какой-то кворум – «не меньше числа граций, не больше числа муз». Это было бы оптимально. И вот этот семинарчик длился, наверное, года полтора. Он очень много дал мне, гораздо больше, чем некоторые лекции.

Хотя лекторы у нас были блестящие. Например, Василий Васильевич Соколов, тоже ныне здравствующий и активно работающий. Он очень интересные и темпераментные лекции читал нам. Соколов – человек с невероятной памятью. Он от 30-х годов и Института красной профессуры до сегодняшнего дня помнит все: события, имена, отношения людей и т.д. Говорят, он пишет мемуары, но пока они не опубликованы. Соколов тоже был замечен, он как бы тоже вываливался из общей среды. Не очень боялся идеологических начальников, с экрана телевизора мог сказать, что борьба идеализма и материализма – сомнительная схема. После этого разные лица несколько месяцев докладные письма писали в «контору». Читал у нас и Геннадий Георгиевич Майоров, тогда еще молодой ученый, который написал теперь уже знаменитую книгу про Лейбница. Он и педагог, и лектор был совершенно восхитительный.

Ну вот, я начал учебу под их покровительством. Моя первая курсовая была про Марка Аврелия. До сих пор не могу понять, почему я ее писал у знаменитого индолога В.С. Костюченко. А вторая работа была по Упанишадам, по индийской философии, и ее я почему-то писал у античника Чанышева. Видимо, так просто распределили курсовые. Потом я увлекся Плотиним, потом понял, что нет Плотина без Платона, потом понял, что Платона нет без досократиков – и тут застрял на Пармениде, от которого дальше обратное движение пошло. В общем, я все это время увлекался античной философией.

И тут грех не сказать про второго моего учителя, неофициального. Ю.К. Мельвиль сделал так – и это был настоящий прорыв в образовании, – что можно было неофициально создавать языковые группы. Если студенты заинтересуются, например, арабской философией, то приглашают преподавателя арабского языка. Они учат арабский и под его присмотром специализируются по арабской философии. Там была группа арабского, испанского и китайского языков, откуда, между прочим, вышли мощные современные востоковеды. И получалось очень хорошо, потому что люди приходили туда не из формальных соображений, а увлекшись именно этим направлением. Они и язык учили, и времени на это не жалели. Кроме того, была группа греческого и латыни. Ее вести пригласили выпускника классической кафедры филологического факультета (тогда ею руководила А.А. Тахо-Годи) Льва Абрамовича Финкельберга. Сначала это были занятия официальные, потом группа развалилась, потому что языки были трудные. Отсеялись почти все, и в конечном счете нас осталось только двое. Но мы продолжали работать у него дома, в такой домашней атмосфере. Это были абсолютно бесплатные занятия, более того, нас еще и чаем с тортом угощали. И там мы действительно вгрызались в античную культуру. Сами понимаете, что язык нельзя изучать без культурного контекста: там была и литература, и философия. Сейчас он и его жена Рита уехали в Израиль, и там они – известные ученые. Лев Абрамович, насколько я понимаю, занимается досократиками, а Рита (Маргалит Финкельберг) –

специалист по Гомеру, по архаической Греции, работы ее получили мировую известность. Вот такие они замечательные люди, и уж если говорить об отношениях «учитель – ученик», то здесь они действительно были классическими.

После окончания университета я остался в аспирантуре, руководитель у меня был прежний, и все вроде бы шло по накатанному пути. Времена были трудные, потому что я лет десять работал ассистентом на философском факультете МГУ. К тому времени у меня уже расширился круг интересов: я преподавал немецкую классическую и античную философию, у меня был спецкурс по романтизму, по Хайдеггеру. Но главная область интересов – это все-таки античная и немецкая классическая философия. Потом русская философия Серебряного века добавилась.

Я два модуса учительства описал, даже три: приглашенные светила, мои преподаватели на кафедре истории зарубежной философии и параллельный домашний семинар Финкельберга. Но на самом деле советская система одну вещь строго запрещала – это реальное создание гуманитарной научной школы. По моим наблюдениям, это отслеживалось и тут же пресекалось, потому что это уже был бы субъект, не вписывающийся в систему. Разрешали только каким-то кружкам существовать – например, методологическим. Это не очень было опасно. Поэтому многие мои сверстники прошли через кружки типа кружка Щедровицкого. И таких кружков было немало. Я считаю, что в них люди тоже получали альтернативное образование.

Я немножко в таком кружке тоже поучаствовал. Это был кружок нашего ровесника, Александра Васильевича Антонова. Он просто собрал людей, интересующихся русской философией и связанными с этим религиозными вопросами. Это был даже не кружок, а почти салон, который собирался у студентки из Литвы Гражины Миниотайте, тоже нашей ровесницы. Она была как бы хозяйкой салона, такая умная красивая дама, вокруг которой соби-

рались интеллектуалы, рассуждавшие о философии. Но мотором всего этого был Антонов – человек сократического склада, который умел одним вопросом кого-то зажать, кого-то сбить с толку. Сейчас он довольно крупный деятель старообрядческой церкви, известный в этих кругах человек. Для меня это тоже определенный тип образования был. Потому что я человек кабинетный, диалоги вообще не очень люблю, а этот кружок меня вбросил в атмосферу острых сократовских диалогов.

Аспирантские годы, конечно, уже были скучнее, потому что кто-то уехал, кто-то ушел в подполье: 70-е годы – они были такими. Вторая волна ученичества для меня, уже вроде бы сложившегося ученого, неожиданно началась в 90-е годы. Здесь вот что произошло. Марксизм рухнул, и получилось, что свято место оказалось пусто. Поняли, что эту лагуну надо заполнить какой-нибудь мировоззренческой дисциплиной. Идеологические инстанции думали, думали и придумали, что на этом месте должна быть культурология. Я точно знаю, что верхушка министерства образования этим была заинтересована. Но философия – это слишком сложно. Если она не марксистская, это ж надо разные школы знать. Нужно было что-то такое гуманистическое изобрести – ну и придумали культурологию. Я немножко участвовал в этих организационных процессах. На Западе нет такой науки – там есть или культурная антропология, или история цивилизаций, или философия культуры. Но культурология – это наш продукт 90-х годов, как бы мировоззренческая интегральная дисциплина. На Западе к нему до сих пор скептически относятся, считают, что это просто трансформировавшийся истмат-диапат, хотя это неверно.

Я тогда попал как бы в два пространства интересных. Культурологическая кафедра была создана в МГУ на философском факультете, но она была второй по счету. А первая культурологическая кафедра, как ни странно, была создана в МВТУ им. Баумана. Тогда модной была идея несколько огуманитарить технические вузы, и в этом смысле самый мощный проект был в Физтехе.



Я туда тоже попал и заведовал там соответствующей кафедрой, наверное, лет пять. Тогдашний ректор – Николай Васильевич Карлов – загорелся идеей создать синтез гуманитарного и естественного образования. Физтех – это такая гвардия, элита, куда отбирали студентов по всему Советскому Союзу. Карлов решил, что одностороннее воспитание – это не просто плохо, но даже опасно: все-таки у этих людей в руках потом будет не только наука, но и оборонка. И он довольно остроумную модель придумал: там создали факультет гуманитарных наук. Были приглашены люди, которые кое-что сделали в гуманитарных науках. На моих глазах студенты под их руководством учили древние языки, богословие, писали стихи, историю музыки изучали. И делали это всерьез. Преподаватели были блестящие, конечно. С помощью Карлова мы настоящий букет интеллектуалов там собрали.

Культурологическую кафедру захотели создать и на философском факультете МГУ. Ну, если говорить о настоящей выпускающей кафедре, то она была, пожалуй, первой в стране. Удивительно уже то, что ее главным создателем там был студент второго курса Валерий Яковлевич Саврей. У него была такая идея, даже миссия: он решил, что должен собрать великих ученых и сказать, что вот такая кафедра вас ждет на факультете. Он увлекался гуманитарными науками, видел, сколько таких звезд в России разрозненных, и решил созвездие из них создать. Но самое удивительное, что он сделал это. Он лично пообщался со всеми учеными, уговорил наше начальство, что это надо сделать. Правда, очень помогли тогдашние декан А.В. Панин и замдекана В.В. Миронов: им эта идея тоже понравилась. Ректор совсем не против был, он понял, что для университета это будет очень престижно. Невероятной энергии был этот молодой человек, Валерий Саврей (он преподает сейчас в университете). Он даже с Раисой Максимовной Горбачевой пообщался и заручился ее поддержкой. В начале 90-го это был просто лекторий, а с 1991 года это уже была самостоятельно работающая кафедра. Там собралось созвездие невероятное: Вяч.Вс. Иванов, В.Н. Топоров, С.С. Аверинцев, Г.С. Кнаббе, Е.М. Меле-

тинский, А.Я. Гуревич, М.Л. Гаспаров, Б.А. Успенский, Н.И. Толстой (всегда неловко прерывать такие перечни: заранее прошу коллег и учителей меня извинить). С 1991-го по 1993-й там было созвездие гениев мирового масштаба.

И вот здесь, конечно, я у них учился. Я тогда тоже перешел на эту кафедру и помогал в ее организации. Это был настоящий культурологический центр, там был создан свой журнал («Мировое древо»), шли формальные и неформальные семинары, публичные лекции проводились. Это был гуманитарный центр с мощнейшим духовным излучением. Потом, правда, это быстро закончилось, потому что в 93-м Афанасьев их переманил в РГГУ. Им создали должные условия, и они дружно туда ушли почти все. И вот, если говорить об учителях, то не только студенты, но и я тоже – все мы увидели, что такое настоящие ученые, которые с вами общаются на равных, думают при вас. Характеры и темпераменты у них были разные, но не было никакого снобизма. Это просто Афины какие-то были в МГУ. К сожалению, недолго. Но тем не менее кафедра, получившая такой импульс, и сейчас существует. И она – одна из лучших в стране.

Первый шаг, который необходимо было сделать, – наладить междисциплинарный диалог, что тоже было непросто. Но на самом деле эта школа уже работала в таком режиме. В 60–70-е годы они же все здесь были, московская и тартусская школа работали в этом направлении. Они уже протоптали такие тропинки от филологии и истории к математике, нейрофизиологии, к философии – все это было. Философия меньше всего там участвовала, но были люди философски подкованные, такие как Иванов или Аверинцев. Поэтому первая стадия была уже до создания кафедры фактически реализована: это было пространство междисциплинарной коммуникации. Ну а потом нужно было реальные программы составлять. Это далось трудней, но тем не менее все были согласны с тем, что реально существует такая общая символическая среда, которая стихийно

создается. Ведь в культуре все на все влияет, надо только перевести фактическое влияние на язык системного описания. Так создавалось учение об основах культурной символической среды. Как ее декодировать, что и с чем сравнивать – здесь интенсивно развивалась компаративистика; как объяснить феномен чужой культуры – тут герменевтика развивалась. И в общем я должен сказать, что все неплохо шло.

Потом волна популярности захлестнула культурологию. Она заменила собой диамат в вузах – ну и преподавать ее, соответственно, стали бывшие преподаватели истории КПСС. Такова была объективная реальность. В результате получилось, что настрогали миллион книг – полки сейчас забиты учебниками по культурологии, которые невозможно читать, – и как-то в культурологии разочаровались. Ее потеснили более традиционные науки. Философия, например, какой-то реванш в начале нулевых годов переживает. Но сейчас, я смотрю, культурология опять выкруливает. Все-таки культурология состоялась как наука.

Для меня самым интересным было читать спецкурсы по конкретным дисциплинам. Я читал лекции по немецкой философии, по Гераклиту. Общие курсы, конечно, менее интересны – это были обычно обзорные курсы по истории. Да и здесь, в ВШЭ, я фактически читаю курс истории западноевропейской культуры. Думаю, что точные лекции нужно потихоньку сжимать, а оставлять работу типа спецкурсов, мастер-классов, творческих семинаров и т.д. Кстати, это нормальная западная модель, там огромных курсов лекций от «Адама до Потсдама» никто не читает. Для этого есть учебники – пожалуйста. И есть маленькие группы, где под руководством учителя учатся ученики.

Что касается научного общения, то сейчас, к сожалению, очень мало проводится настоящих конференций. Они исчезли на моих глазах. А когда-то это была очень эффективная форма работы. На конференциях собирались интересные люди, там обычно сидел полный зал

напряженно слушающих ученых. Этого сейчас нет, зато появились конференции, где десять человек – в президиуме, а пять – в зале сидят и скучают. То есть исчезло коллективное поле, где много заинтересованных людей было. И кружки, по моим наблюдениям, исчезли достаточно надолго. Но вот последние года три пошел обратный процесс. В самое последнее время поживее стали конференции. Не знаю, как это объяснить. Может быть, потому, что появилась заинтересованная молодежь. Может быть, я буду противоречить общему тону, но мне кажется, что она лучше стала в последнее время. Я вижу, какие ребята приходят на первый курс: они более мотивированные, более заинтересованные. И еще есть такой параметр, как соотношение лучшей части с балластом группы. Сейчас заметно растет активная часть студенческой группы, которая сразу тянет за собой какую-то часть пассивной. К тому же подросло поколение преподавателей, которым сейчас около тридцати, выросших в условиях свободы. Им тоже интересно работать со студентами.

# ВЛАДИМИР КОССОВ

## УЧИТЕЛЯ



Родился я в Орловской области, из которой с началом войны семья эвакуировалась в Рязанскую, к родителям мамы. Мне очень крупно повезло: мой отец прошел войну и остался жив. Провоевав в передовых частях с января 1942 года, он не получил ни одной царапины, в госпиталь попал осенью 1944-го в Праге<sup>1</sup> под Варшавой с дизентерией: передовые части так быстро двигались вперед, что оторвались от тыла. Ели только то, что находили в полях. Говорю об этом потому, что мои знакомые поляки часто меня корили за то, что наша армия не помогла восставшей Варшаве. В ответ я приводил воспоминания отца. После войны мы какое-то время жили в Германии. Офицеры оккупационных войск получили возможность привезти свои семьи... В 1947-м боевые части начали выводить и демобилизовывать призванных в армию. Так семья оказалась в городе Михайлове Рязанской губернии, где отец получил работу. Время было голодное, и отец решил не возвращаться в Орел, а ехать в райцентр, где легче прожить.

К тому же мама болела туберкулезом. В Михайлове я окончил школу и поехал в Москву поступать в вуз. На меня, человека из маленького городишки, она произвела ужасное впечатление своей огромностью и суетливостью. Это был самый настоящий шок. Привезла в Москву меня бабушка – в это время ее сын защитился после аспирантуры Тимирязевской академии. Мой дядя Иван Иванович Гудилин оказался в числе тех 3–5% счастливых 1922 года рождения, которым удалось (ему – после двух тяжелых ранений) уцелеть на войне. В Тимирязевке было существенно тише. Я решил поступать на экономический факультет, который окончил в 1958 году. Может быть, потому, что мама с бабушкой были бухгалтерами и, глядя на них, я научился уважать работу с цифрами. За все годы обучения получил всего одну четверку. Однажды преподавательница спросила меня:

*– Почему вы всё на пять сдаете?*

<sup>1</sup> Имеется в виду один из периферийных районов Варшавы, который носит название «Прага».

Я ответил:

– Это дает повышенную (на 25%) стипендию.

Она упрекнула меня в меркантильности, на что я ответил:

– Понимаете, тут все очень просто. Я на эту стипендию живу.

Итак, поступил и стал учиться. Так как сельскую жизнь я знал хорошо, мне все было привычно и понятно. Первое, что меня сильно удивило, – подход в системе преподавания. Например, считалось, что если председатель колхоза – передовик, то в колхозе все хорошо, а если он не передовик, то, в лучшем случае, посредственно. Мне из опыта было известно, что на селе год на год не приходится. Неурожаи – бич большинства районов России. В Тимирязевке сохранилась замечательная старая библиотека. Я стал туда ходить и читать методом последовательного «тыка». Перебирал одно, другое, третье, пока наконец не набрел на учебник А.Я. Боярского, В.И. Хотимского и Б.С. Ястремского «Основы математической статистики» 1931 года издания. Потом познакомился и с Ароном Яковлевичем Боярским. Он был великолепным ученым и преподавателем, хотя мы с ним принадлежали к разным лагерям...

В Тимирязевке не преподавали математическую статистику – вся математика уложилась в один семестр на первом курсе. Да, вся математика на экономическом факультете Тимирязевки закончилась в первом семестре! Чтобы было понятно, скажу следующее. До учебника математической статистики мне попала книжка об урожаях, и там было написано про гамма-функцию. Я не знал, что это такое, и пошел на кафедру высшей математики (другой не было) спрашивать, что такое гамма-функция. Они на меня посмотрели так, будто я с луны свалился. Самое интересное, что и они не знали, что это такое. Не знали! Уже потом, долгое время спустя, я узнал, что это факториал, только не целочисленный.

Поэтому могу сказать о себе, что принадлежу к самоучкам.

В общем, я разобрался в математической статистике в достаточной степени для того, чтобы анализировать колебания урожаев. В моей группе семинарские занятия по статистике вела Наталья Антоновна Демьянова, одна из последних аспиранток Василия Сергеевича Немчинова. Его выгнали из Тимирязевской академии в 1948 году, а она осталась преподавать статистику и вела занятия в нашей группе. На семинарах очень быстро стало понятно, кто есть кто, и она рекомендовала меня Василию Сергеевичу.

Своим учителем считаю академика Василия Сергеевича Немчинова (1894–1964). Чтобы можно было лучше понять масштаб этой личности, укажу на два факта из его биографии, которые коснулись меня. Первый факт – разгром генетиков на сессии Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина (ВАСХНИЛ) в августе 1948 года. Докладчик – злой гений советской науки Т.Д. Лысенко. Успех карьеры Лысенко был основан на простом алгоритме: обещать начальству простое решение сложных проблем, а после их провала списать все на действия врагов. Основной преградой к реализации своих амбиций он считал генетиков, которых за приверженность теории называли «формальными». Академик Н.И. Вавилов (родной брат президента АН СССР) был признанным главой «формальных» генетиков мира (арестован в 1940 году и в 1943-м умер в тюрьме). Война прервала расправу над генетиками, и августовская сессия ВАСХНИЛ 1948 года стала вторым актом драмы генетиков. По канонам того времени, без опаски за свою судьбу можно было выступать только в поддержку тезисов докладчика. Мой учитель в то время был академиком ВАСХНИЛ и ректором Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева (ТСХА). В нарушение всех неписаных канонов того времени В.С. Немчинов выступил в поддержку генетиков, заявив, что проведенные им статистические измерения их теорию подтверждают. Полагаю, что только хорошее отношение И.В. Сталина

к нему спасло его от тюрьмы: его только выгнали с работы. Его жена, М.Б. Немчинова, рассказывала мне, что она приготовила чемоданчики на каждого члена семьи (у нее были две дочери от первого брака) для того, чтобы не собираться впопыхах, когда за ними придут, в чем была уверена вся семья. Это же время она вспоминала как период интенсивной работы В.С. Немчинова – она ежедневно перепечатывала написанные им страницы. Вторым фактом – это роль В.С. Немчинова в размывании монолитного фронта советской экономической науки. Экономико-математические методы стали в ней первым легальным немарксистским направлением.

В 1955–1959 годах В.С. Немчинов был академиком-секретарем Отделения экономических, философских и правовых наук Академии наук СССР. В 1957 году Н. Хрущев одобряет инициативу академиков М.А. Лаврентьева, С.Л. Соболева, С.А. Христиановича о создании Сибирского отделения Академии наук СССР. В.С. Немчинов воспользовался этим обстоятельством и организовал в его составе Лабораторию по применению математических методов в экономических исследованиях и планировании. Она состояла из двух половинок: московской – во главе с В.С. Немчиновым и ленинградской – во главе с Л.В. Канторовичем, будущим лауреатом Нобелевской премии, который в 1958 году был избран членом-корреспондентом АН СССР по Отделению экономики, философии и права. По запросу В.С. Немчинова я был распределен в эту лабораторию.

Мы между собой звали его Дедом. Наталья Антонова позвонила ему и сказала, что у нее есть мальчик, который, с ее точки зрения, ему подойдет. Сказать, что я получил от судьбы огромный подарок, – это значит не сказать ничего. Кто такой Василий Сергеевич Немчинов, мне было понятно. Его учебник «Сельскохозяйственная статистика с основами общей теории» я очень хорошо изучил и считаю его лучшим. Знакомство с В.С. Немчиновым состоялось весной 1958 года. Тогда же я познакомился с коллегами, уже работавшими в его лаборатории, – большинства из них, к сожалению,

уже нет. Встреча меня ошеломила. Люди говорили между собой по-русски, я понимал значение каждого слова: «прямые затраты», «полные затраты», «прямая матрица», «обратная матрица», – но не понимал того, что они значили, а «линейное программирование», «теневые цены», «симплекс-метод», «инпут–аутпут» были для меня просто загадками. Каково же было мое удивление, когда через несколько месяцев работы я понял, что ребята, выпускники экономических вузов, слова разные умные знают, а решать задачи того же линейного программирования не умеют. Никакой литературы на русском языке по этим темам тогда не было.

С чего все началось? Была, по существу, только брошюра «Курс лекций по линейному программированию» Б. Креко. Лекции перевели с венгерского на русский язык, и Лев Ефимович Минц, который у В.С. Немчинова отвечал за издательскую деятельность, попросил меня проверить все приведенные в лекциях примеры. Поскольку до этого мне приходилось решать нормальные уравнения при обработке данных по урожайности (на арифмометре «Феликс» и конторских счетах), то в лекциях Б. Креко разобрался быстро и выправил многочисленные ошибки в примерах. Благо в это время появились электрические калькуляторы из ГДР. Так на русском языке возникла первая работа по линейному программированию.

Результатом моих усилий по выверке примеров явилось поручение Деда заниматься с ним линейной алгеброй. Для него матрицы межотраслевых моделей были абсолютно новым понятием. Самым трудным для меня было указывать ему на его ошибки. В таких случаях я что-то мычал, мямлил, а он, понимая это, злился, потому что тормозился процесс обучения.

Наука меня интересовала всегда. На третьем курсе по итогам практики написал курсовую работу по расчету себестоимости в колхозах. Этой первой работе я очень благодарен за то, что за три месяца практики перечитал кучу оправдательных документов в бухгалтерии

колхоза, из которых делал выписки для расчета себестоимости. Дипломная работа у меня была по урожайности зерновых в Кокчетавской области.

В общем, в науку погрузился с третьего курса и по сей день из нее не выгружаюсь. И даже когда работал на государственной службе – а это все-таки значительный кусок моей жизни, – то продолжал заниматься наукой. Я ни на день не прекращал заниматься наукой. Ни на день! Это точно могу сказать. Для меня это была естественная потребность, смысл существования. От всяких «измов» всегда старался держаться в стороне. Различие между «имманентной сущностью социализма» и «имманентно присущим социализму» – эту абракадабру никогда понять не мог. Мне было понятно, что мое дело – это что-то посчитать.

Для этого нужно уметь работать с данными. Для построения длинного ряд урожайности мне пришлось путем опроса старожилов в Кокчетавской области выяснять, какие годы они помнят как неурожайные. На этот ряд из нулей (неурожайные годы) и единиц (урожайные годы) я наложил данные об урожайности зерновых на государственных сортоиспытательных участках Кокчетавской области Казахской ССР и получил картину колеблемости урожаев, ориентируясь на которую произвел распределение лет по урожайности для корректировки закупочных цен на пшеницу. Моя идея сводилась к необходимости менять значения закупочных цен в зависимости от видов на урожай. Потери от неурожая в те годы государство компенсировало, списывая долги по кредитам. Для Тимирязевки того времени это было новым словом, но для рынка – обычным.

Идея расчета плана интересовала Деда всегда. Мощную основу для этого дал межотраслевой баланс, в применении которого мы все видели настоящую революцию в планировании. При планировании от конечного продукта оно становилось ясным и понятным. Лауреат Нобелевской премии В.В. Леонтьев, отец метода, очень интересовался нашими работами.

Сейчас, конечно, студентов учат математическим методам в экономике, что необходимо. К сожалению, до сих пор не произошло слияния этих методов с предметами: методы сами по себе, а читаемые курсы сами по себе. По идее, курсы, которые читают для магистратуры, должны сплошь основываться на этом. Сплошь! Экономика – это наука об измерении соотношения между затратами и результатами. Это лучшее определение экономики. Это значит, что: а) нужно посчитать результаты; б) нужно посчитать затраты.

Слава богу, подавляющая часть и затрат, и результатов – это и есть товары, продаваемые на рынке. Тут все понятно. Но есть «хвосты» слева и «хвосты» справа, есть то, что к рынку не относится. Простой пример – прокладка новой трассы. Споры вокруг химкинского леса наглядно показывают, насколько непросто оценить эффект от новой дороги. Я своим студентам говорю: когда вы будете согласовывать инвестиционный проект с администрацией поселения, первое, что вы должны сделать, – это объяснить местному начальству, какую часть его головной боли вы снимете своим инвестиционным проектом. Начальник должен понять, что безработных будет меньше; те, кто станет там работать, будут платить налог в местную казну; улучшится психологический климат в поселении (если вы не собираетесь завозить гастарбайтеров) и т.д. Вот с этого надо начинать. Потому что если разговор начинается с прибыли, то сразу возникает вопрос: почему тебе, а не мне? И тогда – все!

Общаясь со своими учителями, я ясно понял, что обязательно надо отстаивать свои убеждения до конца, даже если тебе это чем-то грозит.

Мне пришлось, когда я был замминистра экономики, взаимодействовать с руководителями крупных компаний. Это люди, досконально знающие свое дело. В качестве примера могу привести А.Б. Чубайса. Будучи первым лицом в РАО ЕЭС, он изучал электротехнику, дабы понимать, о чем говорят его подчиненные. Поэтому я говорю студентам-менеджерам: ребята, ваша

слабость – незнание предметной области. Без понимания предметной области нельзя многого добиться. Знание предметной области – достаточное условие успеха, а необходимое – умение понимать клиента. На мой взгляд, на первом курсе должна быть практика, связанная с обслуживанием клиентов. Не важно, «Макдоналдс» это будет или банк. Студент должен знать, что значит понять и удовлетворить клиента. На втором курсе нужно понять, как движутся товары. Ну, может быть, самая понятная вещь – это на складе поработать: прием, отправление, передача груза, продвижение товара. А уже после этих двух видов практики можно заниматься бумажной работой. Если такой практики у студентов нет, то они не могут различать оттенков. А профессионализм – это способность воспринимать оттенки. Мне на фабрике «Большевичка» объясняли, что закройщик различает 72 оттенка черного цвета. Я запомнил эту цифру на всю жизнь.

Что мне дает преподавание? Если сказать образно, я ощущаю себя ракетой-носителем, которая должна выбросить этих ребят на высококую орбиту. А уж как будет дальше,

это от них зависит. Моя задача – обеспечить им старт. Думаю, у меня это получается, но не могу сказать, что на все сто процентов. Я бы сказал, что процент успеха значительно больше, чем процент неуспеха. Вот как-то так.

От своих учителей, к которым отношу и Председателя Госплана СССР Н.К. Байбакова, под руководством которого имел честь работать, я получил пять главных уроков.

1. Необходимо отстаивать свои убеждения – даже в том случае, если это грозит неприятностями.
2. Учиться надо всю жизнь.
3. Нужно уметь выделять главное и отсекавать детали, которые часто бывают гораздо более яркими, чем суть дела.
4. Недопустимо писать «приятельские» рецензии на работы.
5. К подчиненным надо относиться как к соратникам.

# МИХАИЛ КРАСНОВ

## УЧИТЕЛЯ

---



Мое поступление на юридический факультет отнюдь не было связано с какими-то прагматическими мотивами. Я поступал в вуз в 1966 году, сразу после школы, когда мне было только 16 лет, то есть совсем юным человеком, который еще совершенно не понимает мир. Было два основных направления – психология и юриспруденция. Кстати, факультет психологии МГУ открылся именно в том же году, отпочковавшись от философского факультета. Я подал документы на психфак, но благополучно завалил математику, потому что даже не думал, что там такой трудный математический экзамен. А затем просто перешел дорогу – это была улица Герцена (ныне Большая Никитская) – и поступил на вечернее отделение юрфака МГУ.

Не могу сказать, что мне было все равно, куда поступать. Мною тогда двигала наивная идея, которая, впрочем, во многом актуальна для меня до сих пор: хотелось изменить этот мир к лучшему. А как – не важно: меняя ли людскую психологию (тогда я думал, что это возможно) или ловя преступников (в то время меня увлекал образ следователя). Плохое знание математики определило выбор: стал учиться на юриста. Понимаю, что все это очень по-детски. Но это сидело в голове.

В любом случае, в то время я не думал о будущей зарплате. Что, впрочем, неудивительно, ведь особых разрывов в материальном благосостоянии между разными представителями советского «среднего класса» не было.

Не могу сказать, что кто-то из преподавателей, работавших тогда на юрфаке, сформировал мои профессиональные убеждения. Надо учитывать, что все-таки это было вечернее отделение. Я учился и работал: сначала на заводе, потом в других местах. Вечерние занятия укороченные – всего две пары по вечерам, и то не каждый день. Это была другая среда (сокурсники были взрослые дяди и тети), ее нельзя сравнивать с учебной на дневном отделении, где более тесный контакт с преподавателями и вообще есть понятие «студенческая жизнь». Конечно, у меня были любимые профессора, к сожалению ныне покойные. Мне тогда казалось, что им очень много лет, хотя сейчас я понимаю, что они были в расцвете сил. В их числе – А.А. Мишин, Л.Д. Воеводин, Г.В. Барабашев, сын которого, Алексей Георгиевич Барабашев, сейчас научный руководитель факультета государственного и муниципального управления в Вышке.



Но вообще, что это за профессия – юрист? Если быть точным, то это, скорее, специальность, внутри которой есть несколько профессий, очень отличающихся друг от друга. Одно дело – быть следователем, другое – адвокатом, третье – исследователем и т.д. Себя я никогда ученым не называю, а исследователем – пожалуй, можно. Ученые в моем представлении – это, прежде всего, естественники.

Несмотря на то что я хотел работать «на земле», то есть заниматься практической деятельностью, специализировался все же по кафедре с названием, далеким «от земли», особенно в советское время. Это была кафедра государственного права. Почему я туда пошел? Честно сказать, не могу вспомнить – все-таки с тех пор прошло около 50 лет. Скорее всего, я выбирал не кафедру, а проблематику: «Права человека». Хотя нет, вру. Тогда права человека было понятием ругательным, фактически запретным, ибо оно считалось «буржуйским». Речь могла идти только о правах граждан. У меня, кстати, и тема кандидатской диссертации, по нынешним понятиям, звучит несколько издевательски: «Ленинские идеи о демократических правах и свободах граждан». Мне эту тему посоветовал мой, уже покойный, научный руководитель Леонид Дмитриевич Воеводин. И я ему благодарен, потому что проштудировал работы Ленина вдоль и поперек, что, между прочим, и сегодня помогает, только в другом смысле.

Так вот, почему «права гражданина». Советская юридическая наука отрицала понятие «права человека» как буржуазное, исходя из того, что есть права граждан конкретного государства, а не какого-то там абстрактного «человека». Это, как говорилось, внеклассовый подход, а значит, неправильный. И эти «права граждан», главным образом социальные, каждый раз в День Конституции с гордостью «выкатывались» советской пропагандой. Причем обычно рефреном звучали в искусстве, а порой и в быту фразы: «Мне советская власть дала образование» или «Ты бы сейчас гусей пас, если бы не советская власть!». И мало кто задумывался над тем, что, по существу, это никакие не права в строгом смысле слова.

Например, наряду с правом на труд существовала обязанность трудиться. Но если у меня есть право на труд, значит, я могу им воспользоваться, а могу и не воспользоваться. Получалось, что я своим правом обязан воспользоваться. Так что здесь не было одного из основных элементов онтологического понятия права – свободы выбора...

Короче, меня заинтересовала проблематика правового положения личности. И, как теперь думаю, не случайно. Это была трансформация той самой детской надежды на возможность изменения мира, точнее его облагораживания. Я до сих пор смотрю на проблему прав как на проблему поиска механизма защиты «маленького человека». Человека без связей, без особого достатка, без сильных локтей. Именно этот человек нуждается в первую очередь в защите от бездушной государственной машины. Государство как феномен всегда бездушно, хотя в госаппарате могут работать очень даже душевные люди. Но рутинная государственная работа и их очерствяет. У Чехова есть точная зарисовка – цитирую по памяти: «Люди, имеющие служебное отношение к чужому страданию, например, судьи, полицейские, врачи, с течением времени, в силу привычки, перестают отличаться от мужика, который на задворках режет скотину и не замечает крови». Меня с детства эмоционально задевали истории «маленьких людей» – Акакия Акакиевича Башмачкина, андерсеновской «Девочки со спичками», позже Макара Девушкина и других униженных и оскорбленных. Кстати, в «Независимой газете» около года назад у меня вышла статья, которая так и называлась – «Конституция для Акакия Акакиевича». То есть это продолжает во мне сидеть. Да и сам себя я идентифицирую как «маленького человека». Мой друг на это сказал: «Лицемер! Ты – профессор, ты работал в Кремле» и т.п. Но что поделаешь, если именно так я себя ощущаю, хотя жизнь действительно выталкивает меня из щели, куда я хотел бы забраться и там спрятаться. Возможно, такое испытание мне Бог посылает...

После получения диплома я сразу пошел в армию. (Как гуманитарий с университетским дипломом, сгодился только в стройбат. Служил в узбекской пустыне Кызыл-Кум. Там строилась очередная очередь комбината, где химическим путем из руды добывали золото.) Вернувшись, собрался, несмотря на специализацию, стать тем, кем и хотел изначально, – следователем в милиции или прокуратуре. Но, по до сих пор не вполне понятным для меня причинам, получил отказ. Настроение было ужасное, и я очень зол был на власть: «Как так! Я – такой честный, умный, верящий в коммунизм (а я тогда был идейным человеком, в каком-то прямом коммунистическом смысле слова), выпускник МГУ – и меня не допускают до дела, к которому я готовился!» Конечно, я бы нашел какую-нибудь юридическую работу, но не столь романтическую, какой мне в то время представлялась следовательская работа. И тут – переворот в Чили (осень 1973-го). Думаю: «Ну и хорошо. Вот, умру за правое дело. Тогда поймете, кого потеряли». В общем – классика соцреализма, но только в моей реальной голове. Пошел в райком партии записываться добровольцем. Но и там – никакой романтики. Какая-то сотрудница, удивившись, сказала:

*– Вообще-то у нас записи нет, но если будет набор, сообщим.*

У меня сложные отношения с коммунизмом. Я уже сказал, что был очень идейным. Но теперь пытаюсь рефлексировать и понять: что мною двигало? С одной стороны, если быть честным по отношению к самому себе, это малообразованность и податливость пропаганде, что, впрочем, взаимосвязано: когда ты мало знаешь, мало или не те книги читаешь, то поддашься любой лжи, считая ее истиной. С другой стороны, я связывал возможность сохранения достоинства «маленького человека» только с коммунизмом, но никак не с капитализмом. Мир-то для советского человека, тем более молодого, тем более родившегося и росшего не в сильно интеллигентской среде, – мир этот был черно-белым.

Но, слава Богу, внутри все-таки постоянно шел процесс переосмысления. Можно сказать, это была идейная эволюция, которая в конце концов привела меня от «правоверного коммуниста» к пониманию того, что идея «царства Божьего» без Бога – это поистине дьявольское изобретение. Ведь сатана любит передразнивать. Я думал сначала (как, кстати, и многие, гораздо более меня образованные люди): все, что мы видим, – это искажение ленинского учения, ленинского образа социализма. Ошибка, однако, была в том, что такое «искажение» ленинская доктрина как раз и предусматривала. Не в том, разумеется, смысле, что именно так задумывалось, а в том, что любая утопия, то есть социальная конструкция, не учитывающая человеческую психологию, невозможна, и потому ее сторонники неизбежно прибегают к насильственному воплощению ее некоторых формальных признаков, убивая главную идею. Но, повторю, и сама идея только на первый взгляд благородна. А если разобраться, то в ее основе лежит не милосердие, а ненависть, не свобода, а тотальный контроль. Но ко всему этому нужно было прийти путем соответствующей мыслительной работы. А сделать это, не находясь в соответствующей среде, согласиться, трудно. Много позже у Льва Шестова я прочел, что, например, и Достоевский пережил идейную эволюцию, как было написано, растоптав и возненавидев то, чему поклонялся в период близости к кружку Белинского. Я эти слова вполне могу применить к себе.

Поэтому глупость сказал в свое время Зюганов, называя предателями тех, кто порвал с коммунистической идеей. Это как раз и есть показатель отсутствия всякой интеллектуальной рефлексии.

Помню, в 92-м появилось много проектов конституций. В том числе и проект компартии. И вот кто-то от них мне позвонил и спросил, не мог бы я войти в рабочую группу. Я ответил «нет», объяснив, что у меня другое мировоззрение. Человек, сделавший предложение, удивился:

*– А какая разница? Вы же просто юридическую работу проведете.*

Это распространенная ошибка: считать юриста только техническим оформителем чужой воли. Есть, конечно, в нашей профессии и такие. Или, точнее сказать, есть много обстоятельств, когда от юриста требуется только знание законодательных рамок и судебной практики. Но все это не относится к работе над конституцией. Творить проект конституции – это всегда осуществлять мировоззренческий выбор или присоединиться к людям определенного идейного направления. Например, конституция может исповедовать идею «человек для государства», а может – «государство для человека». Изменение моей позиции было результатом достаточно мучительного для меня переосмысления и, конечно же, не мгновенного. Причем во мне еще долго сохранились советские представления – я это даже по своим статьям 1986–1988 годов вижу. Да и сегодня не уверен, что все советские представления, стереотипы исчезли. Поэтому я очень переживаю, видя, насколько распространена позиция, когда человеку отказывают в праве на собственную эволюцию. Возможно, боятся, что за этим скрывается конформизм, а не собственно эволюция взглядов...

Продолжу. В следователи меня не взяли, в Чили не послали. Но куда-то надо идти работать. Поделился заботой с другом, и тот тут же стал обзванивать своих друзей и знакомых. И нашел-таки для меня работу. В издательстве «Юридическая литература» научным редактором. Ну, редактором – значит, редактором. Пошел, и у меня вроде бы стало получаться. Кстати, сегодня мне редакторский опыт очень пригождается. В издательстве возникла мысль и об аспирантуре. Опять-таки благодаря моему другу. Я могу назвать его, это известный сегодня человек – Михаил Федотов. Мы с ним дружим с 1969 года, познакомились, потому что курсовые писали у одного научного руководителя – Л.Д. Воеводина. С того времени подружились и до сих пор по жизни вместе идем, хотя сейчас видимся гораздо реже. И он мне говорит:

*– Ты фактически в научном учреждении работаешь. Надо идти в аспирантуру.*

Я упирался, не хотелось снова идти учиться, но он меня, что называется, взял за шкуру, и я поступил в заочную аспирантуру опять же родного факультета МГУ, на кафедру, по которой специализировался. Так что образование у меня, можно сказать, не вполне полноценное: там – вечернее, тут – заочное... Естественно, пошел в аспирантуру к своему научному руководителю по курсовой и диплому – Воевдину. Диссертацию защитил в 1979-м. Потом Леонид Дмитриевич, царство ему небесное, признался: «Я не верил, что напишешь». Охотно ему верю: ведь и научного багажа у меня практически не было, и многие мои представления оставались в значительной степени наивными.

Но раз уж стал кандидатом наук, надо реализоваться в научном или научно-педагогическом качестве. И тут один из авторов, публиковавшихся у нас, – Анатолий Безуглов, человек в то время популярный (он вел передачу «Человек и закон»), предложил пойти в ВЮЗИ (сегодня это Московская государственная юридическая академия) на его кафедру. Она называлась Кафедрой советского строительства. Чтобы было понятно: если на базе кафедр научного коммунизма после перестройки возникли кафедры политологии, то на базе кафедр советского строительства – кафедры муниципального права. Это естественно. Советское строительство было дисциплиной, изучавшей местные Советы.

В автобиографических заметках часто говорят: «Мне всю жизнь везло на хороших людей». Примерно то же могу сказать и я. Но, думаю, это оттого, что хорошие люди запоминаются, а тех, которые «не очень», память выбрасывает. При всем том, что мне действительно встречались, причем иногда чудесным образом, люди, сыгравшие важную роль в моей судьбе, не могу сказать, что у меня был какой-то Учитель. Даже при всей моей любви к научному руководителю Л.Д. Воевдину, который, конечно, дал мне очень многое. Без него я, скорее всего, не написал бы кандидатскую диссертацию. И все-таки свои жизненные представления я черпаю не столько от людей, сколько из книг. Прежде всего из русской классики.

Конечно, были люди, которые косвенным образом влияли на мои научные и профессиональные представления. Но не могу вспомнить какого-то конкретного человека. В том числе и того, который непосредственно повлиял бы на выбор научного направления. Я ведь после защиты кандидатской несколько отошел от проблематики правового статуса личности, стал больше изучать саму власть. Но опять-таки изучать с позиций собственного недовольства ею, пытаюсь предложить пути ее совершенствования. Поэтому под этим углом постепенно пришел и к теме докторской диссертации – ответственности в системе народного представительства. Ключевое понятие здесь было именно «ответственность».

Преподавать я начал, еще будучи аспирантом. Было страшно входить в аудиторию. Боялся, что не смогу ответить на какой-нибудь трудный вопрос. И когда стал уже штатным преподавателем, этот страх далеко не сразу исчез. Я тогда и не думал о своей «преподавательской миссии». Да какая миссия?! Хоть бы не провалиться. С тех пор прошло много лет. Но даже когда поступил работать в Вышку, у меня все равно не было сознания «миссии». Я думаю, что моя задача – самому побольше узнать. Не бубнить все время старый багаж, а изучать новую литературу, исследовать и делиться всем этим со студентами. Бывало, кстати, и наоборот. Готовишься к лекции или даже уже читаешь ее – и вдруг понимаешь, что тут пробел. А бывает, студент задаст вопрос. Отвечаешь, конечно, но это дает толчок к сомнениям. Все это не значит, что вот – ты новую книжку прочел и сейчас же перескажешь ее деткам. Нет. Высшая школа принципиально отличается от средней. Если в обычной школе задача – просто дать знания, то в высшей – научить думать и научить развиваться. Это не значит, что не нужно передавать знания. Нужно. Но только акцент делается здесь на системном представлении. Собственно, это и есть основа профессии. В нашем случае – юридической. Многие считают, что юрист – это человек, который знает законы. Но все законы и подзаконные акты никто знать не может, ибо их десятки тысяч.

Нужно понимать логические связи между ними. Нужно понимать, какой акт или акты относятся к данной ситуации. Ну и, естественно, давая материал, ты неизбежно даешь его в своей интерпретации и тем самым влияешь на мировоззрение студентов. Если я и не формирую точку зрения студентов, то, во всяком случае, как бы приглашаю их понять мою позицию. И я чувствую, что большинству студентов мое мировоззрение по душе, оно не отторгается, принимается.

Если же говорить о нем, то здесь вполне уместным будет слово «либеральное», хотя оно теперь у нас почти что ругательное. Правда, еще нужно разобраться, что такое сегодня либерал. Я часто вспоминаю слова Хосе Ортеги-и-Гассета о том, что либерализм – это самый благородный призыв, когда-либо прозвучавший на земле. Это право, которое сильный уступает слабому и даже своему врагу. Я признаю либерализм именно в таком понимании. И я против либерализма технократического, у которого один божок – эффективность, когда воспринимаются только успешные, а «лузеры, аутсайдеры» становятся лишними. Вот с этим я не могу согласиться. В этом смысле я наследник не только русской художественной литературы, но и юридической тоже. Потому что были прекрасные юристы, которые разделяли эту позицию. Здесь можно назвать много имен: Чичерин, Новгородцев, Коркунов, Муромцев, Лазаревский, Маклаков и другие. Тот же Чичерин говорил, что человек не может быть средством для государства. Он всегда цель. Мое мировоззрение вполне согласуется с такими представлениями.

В этом контексте я делю людей на две части. Одни считают, что самое главное – гордиться своей державой. То есть я для государства, а не государство для меня. Другие исходят из того, что государство должно существовать для меня, для нас. Я – личность. Я исповедую второй взгляд. И мне кажется, что мне удастся передать эту идею своим студентам. Во всяком случае, они воспринимают ее позитивно. Не думаю, что они лицемерят.

Другое дело – моральные императивы. Честность и принципиальность нужны для любой специальности, не только для юриста, хотя для него это, может быть, особенно важно. На самом деле, это вечный вопрос – где кончаются твои принципы. При каких условиях ты даже ради цели, кажущейся тебе благородной, готов пожертвовать моральными принципами. Мне лично сейчас, наверное, легче принять решение. По двум причинам. Первая: для меня теперь существует одна главная инстанция ответственности – Небо, а не общественное мнение или мнение обо мне других людей. Хотя, конечно же, и это мнение для меня безразлично. И вторая – я уже все-таки человек, которому за шестьдесят. Вычитал у Руссо фразу: «Я не буду вам ничего доказывать. Моя задача – говорить вам правду». Вот я этому принципу и следую. Я понимаю, что если у человека уже есть сформировавшееся мировоззрение, то никакому преподавателю, лектору невозможно его изменить. Можно поколебать, но не за время одной лекции. Все-таки это великое таинство – формирование мировоззрения. Моя задача – не кривя душой говорить, как я вижу то или иное явление, как я его понимаю. И это самая лучшая позиция. Потому что, потакая аудитории, можно очень низко пасть в профессиональном отношении. Так что я просто читаю лекции, объясняя, как понимаю те или иные явления, события. Как понимаю правовое государство, как понимаю конституцию, как понимаю социальное государство, федерализм и т.д.

Или вот моя любимая тема, если говорить обыденным языком: почему в современной России все так устроено, что есть только «один начальник над всеми», хотя вроде бы существует разделение властей. Студентам я пытаюсь доказать, что дело не в том, будто мы традиционно не мыслим своей жизни без единственного патрона. Наверное, этот фактор тоже присутствует, но персоналистский режим во многом формируется благодаря соответствующему устройству институтов. Стиль власти при разных президентах может быть разным, но режим остается персоналистским. Тут я ни к чему не призываю, я просто рассказываю студентам, как устроено го-

сударство. Наверное, тем самым я как-то формирую их мировоззрение, но гарантировать, что при определенных условиях мой выпускник не станет конформистом, конечно же, не могу. Может случиться так, что для кого-то принципы окажутся важнее. Но для большинства, наверное, важнее окажется личный комфорт: зарплата, карьерный рост и прочее. И я их не осуждаю – человек немощен. И это уже за пределами воздействия любого преподавателя.

# СВЕТЛАНА АВДАШЕВА

## УЧИТЕЛЯ

---



Встречи с моими учителями в профессии могут казаться почти случайными. Я поступила на экономический факультет МГУ тридцать лет назад. Училась на, как бы сейчас сказали, гуманитарном отделении экономического факультета – отделении политической экономии. В силу неумности характера профили подготовки меняла несколько раз. Сначала было отделение политической экономии. Затем я, не зная прилично никакого языка (включая русский), перевелась на отделение экономики зарубежных стран. Потом раскаялась и перевелась обратно. Потом раскаялась в раскаянии и поступила в аспирантуру по кафедре истории народного хозяйства и экономических учений. Вот этот выбор был уже осознанным: именно на этой кафедре я встретила руководителей, самых важных для меня.

В ходе учебы я все время чувствовала, что мне не хватает общекультурной подготовки. Так как политическая экономия – и вся экономическая теория в моем тогдашнем представлении – была чем-то вроде философии, то как-то странно было философию начинать с Маркса, а обо всем предшествующем судить только по его работам.

Первым источником, из которого экономист, то есть философ хозяйственной жизни, мог утолить жажду знаний, стал кружок по истории экономической мысли (как бы сейчас сказали, научный семинар) под руководством Ярослава Ивановича Кузьмина. Надо было много читать, при этом желательно понимать прочитанное, то есть быть способным объяснить, зачем та или иная работа была написана – что, например, волновало Уильяма Петти, почему его позиция была новой для современников и почему Адама Смита заботили иные проблемы. Изучение в этом ключе европейской экономической мысли XVII–XIX веков было хорошей школой. Помимо собственно содержания теорий, мы начинали понимать общие законы развития экономических школ. Эти законы можно представить как смену поколений (естественно, в смысле преемственности, не в смысле паспортных данных). Первое поколение любой известной экономической школы, как правило, великолепно проявляет себя практически во всем – правда, его представители не всегда умеют объяснить, в чем величие идеи, которую они транслируют, и редко умеют применить новый подход для объяснения всего на свете. Второе поколение – это методологи.

Они все выстраивают в систему и при этом умеют распространить новую теорию на объяснение всего на свете, и у них хорошо учиться, они отличные преподаватели, правда, их книги уже начинают смахивать местами на учебник (и это в лучшем случае). Третье поколение – это жуткие начетчики, которые в своих исследованиях, как правило, окончательно отрываются от реальности, доводят идеи второго поколения до «трех источников и трех составных частей марксизма», «пяти функций маркетинга», «трех эффектов, вызывающих отрицательный наклон кривой совокупного спроса» и т.п. Третье поколение в конце концов убивает влияние экономической школы на умы: яркая концепция способна вдохновить, а три составные части и пять функций – уже не очень. В этом смысле экономические школы, как и все остальное, тоже рождаются, живут и умирают.

Именно на кафедре истории народного хозяйства и экономических учений я встретила профессора, который и стал моим научным руководителем, – Александра Георгиевича Худокормова. Он очень многое дал мне: помимо той самой общекультурной основы знаний, которую я так хотела получить, интерес к возможности альтернативных объяснений всего происходящего в экономике – от микро- до макроуровня.

Он преподавал нам курс критики современной западной экономической теории. В рамках этого курса перед ним и перед нами стояла сложнейшая задача. Дело в том, что, когда начинаешь работать со статьями западных авторов, некоторые из них не могут не заинтересовать. Некоторые, заинтересовав, не могут не понравиться. Но стандарты советской школы требовали оценки всех западных теорий исключительно через призму Маркса – что приблизительно соответствует оценке теории Дарвина и всех достижений естественных наук с точки зрения их буквального соответствия Библии. Такой подход заранее предполагает, что все новые результаты – в лучшем случае невольное впадение в ересь (Джон Кеннет Гэлбрейт), в худшем – сатанизм (Фридрих фон Хайек). Но на самом деле курс про западные экономические школы вовсе не был тем, что требовали тогдашние пред-

ставления о политкорректности. Он скорее напоминал лекцию о гримасах капитализма, где лектор рассказывает затаившим дыхание людям, не знающим, где купить сапоги на зиму, о бульваре Осман, Мулен Руж и Монмартре. Конечно, это необходимо осудить – но до чего же хочется там оказаться. Александр Георгиевич с этой задачей справлялся виртуозно. Только благодаря ему мы получили представление о западной экономической теории не как о наборе имен, а как о последовательности дискуссий, которые, даже относясь к высокой теории, были неразрывно связаны с проблемами экономического развития. Собственно, в тогдашней экономике большого выбора проблем, которыми можно было бы заняться, не существовало. Темы, не страдавшие от идеологических установок, были большой редкостью и еще большим дефицитом, чем хорошие зимние сапоги. Историки экономической мысли и хозяйства могли, конечно, сравнивать концепцию хозяйства у Ксенофонта и Аристотеля или налоговые системы Птолемея и Селевкидов. Точно так же были относительно свободны математики – «относительно» потому, что могли разрабатывать самые разные проблемы, теории и модели, но при этом все-таки было важно, чтобы полученные ими результаты могли использоваться лишь очень ограниченно. Относительной свободой, которая тогда казалась безграничной, пользовались исследователи проблем мировой экономики. Например, при анализе экономических циклов в странах загнивающего капитализма можно было делать все что угодно. Главное, чтобы неискушенный читатель не мог заподозрить, что наша экономика находится в жесткой зависимости от мирового экономического цикла.

В итоге диссертацию я писала о югославской модели социализма в политической экономии, то есть о том, как в стране, следующей якобы «третьим путем», между социализмом и капитализмом, объясняют особенности своей хозяйственной системы. Как бы сказали в современной институциональной экономике, о дискретных институциональных альтернативах, а также об их концептуальных и идеологических основах. Работать было довольно интересно, потому

что, в конце концов, любопытнее иметь в качестве объекта изучения русалку, чем просто рыбу или просто женщину. Югославская же модель социализма – особенно в теории – как раз и была такой русалкой: сочетание ценностей Маркса с нежеланием соглашаться с идеологическим доминированием советского варианта развития. По крайней мере ее очень выгодно отличала большая открытость дискуссиям: утверждая что-то, авторы открыто заявляли, почему не принимают альтернативной точки зрения. Вот это внимание к другим позициям и необходимость честно спорить с оппонентами, пожалуй, самое лучшее, что я вынесла из своей работы.

Работа над диссертацией была, как бы сейчас сказали, интерактивом. Я писала что-то и приносила Худокормову, а он мне объяснял, почему то, что я написала, ужасно. Я раз за разом переписывала все от начала до конца, приходила и показывала ему свои тексты. Он мне объяснял, почему это менее или более ужасно, чем было. Было одно важное ограничение: можно написать любую муть, но она должна быть целостной, иметь начало и конец, чтобы было ясно, какой тезис ты выдвигаешь и каким образом его обосновываешь. Почти никогда Александр Георгиевич не подсказывал мне, что же именно надо делать. Все решения о цели, логике и выводах анализа я должна делать самостоятельно. Вот уже двадцать лет я пытаюсь добиться от себя того же самого в отношении своих студентов и аспирантов – к сожалению, со скромными успехами. Школа МГУ как раз показывала, что хороший научный руководитель не должен быть ни инспектором, ни ласковой мамой. Его позиция ближе к позиции тренера, которого интересуют в первую очередь результаты.

Несмотря на то что сегодня результат моей профессиональной жизни не так уж тесно связан с ее истоками, несмотря на то что мне, как и тридцать лет назад, по-прежнему, честно говоря, не хватает общекультурных основ экономического анализа, – мне кажется, кое-чему я все-таки научилась у своих учителей. По крайней мере тому, что мыслить – это интересно.



# МИХАИЛ БОЙЦОВ

## УЧИТЕЛЯ

---



Интерес к истории у меня возник в детстве. Мало того что дома было много исторической литературы, мне еще везло с учителями. В школе (московской 26-й спецшколе, сейчас у нее совсем другой номер) в старших классах историю преподавал Леонид Борисович Яковер – не только редкостный знаток своего предмета, но и личность харизматическая. Школа вообще была замечательная: хотя считалось, что ее профильный предмет – английский язык, в ней преподавали отличные специалисты и по истории, и по литературе, и по биологии, и по химии, и по географии. Помню, в какой-то момент я начал было даже присматриваться к географическому факультету, но, правда, быстро вернулся к мечтам об истфаке МГУ. Однако именно на географический поступил один из моих одноклассников (когда начнется перестройка, он станет довольно известным политиком), а другой пошел на биологический (а он после начала перестройки перенесет свои исследования за океан). Кто попал в МГИМО, кто в «Менделеевку», кто в «Морисовку-Торезовку»... Это я к тому, что наша «Двадцать шестая» не страдала гуманитарной однобокостью, а давала разностороннюю подготовку.

На втором курсе истфака перед каждым студентом встает серьезнейший вопрос о будущей специализации. Конечно, ни история КПСС, ни история советского времени мною тогда даже не рассматривались. «Интересными» в моих глазах были кафедры истории Древнего мира, Средних веков и так называемого русского феодализма. Средневековье влекло почему-то сильнее, но и отпугивало: ведь заниматься историей чужих стран всегда труднее, чем историей собственной, а тут еще речь идет о давних временах и нужно научиться читать на разных непонятных языках. Так что я малодушно склонялся к выбору «русского феодализма». К счастью, на втором курсе семинар по Средним векам вел в нашей группе Анатолий Евсеевич Москаленко – специалист по истории славян. Раньше он работал в Воронежском университете, где оставил заметную школу славистов: там его чтут и сегодня. Анатолий Евсеевич бывал вспыльчив, но проявлял редкостную заботу о тех студентах, которых почему-либо считал способными. Приглашал домой, давал редкие книжки. Всю жизнь он собирал материалы по истории отечественной медиэвистики: этот ценный архив сохранился, но до сих пор не изучен как следует.

Порой он показывал мне редкие документы, например письма Д.М. Петрушевского или Е.А. Косминского, но оценить их по достоинству мне тогда еще было трудно.

В семинаре Анатолия Евсеевича я писал курсовую работу про личность первого франкского императора на основе сочинения монаха Эйнхарда «Жизнь Карла Великого». Сейчас я бы себе за нее больше тройки (по пятибалльной шкале), в лучшем случае четверки с длинным минусом, не поставил. Но Анатолий Евсеевич стал меня уговаривать идти на кафедру истории Средних веков (хотя сам работал на другой – истории южных и западных славян) заниматься Германией. Я сначала робко отнекивался:

*– Не смогу, слишком сложно заниматься зарубежной историей, тем более германской, не потяну уже хотя бы потому, что немецкий нужно знать хорошо. Да и в истории этой раздробленной Священной Римской империи сам черт ногу сломит!*

На что он отвечал неизменно:

*– Ничего, кто-то ведь должен брать трудности на себя! Тем более у нас давно уже не хватает специалистов именно по средневековой Германии, а как без нее обойтись?*

*– Да ведь я немецкий язык начал учить только на первом курсе...*

*– Но ведь начал же, начал! И оценки пока были хорошие. Давай, давай...*

Может быть, я бы колебался дольше, но семинар по «русскому феодализму» на первом курсе вел у нас весьма преклонный летами Г.Н. Анпилов, и получалось у него это не очень увлекательно. К тому же мой доклад в его семинаре оказался совсем не «средневековым» – про манифесты Емельяна Пугачева. Тема была интересной, доклад был принят неплохо, но заметных академических последствий не имел.

Да я и сам с ним никаких амбиций не связывал, потому что все старания вложил тогда – на первом курсе – в работу для параллельного семинара. Посвящена она была, как сейчас помню, политическим взглядам Сократа. Вот так отношения с кафедрой «феодализма» и не завязались. А тут еще А.Е. Москаленко с автографами Петрушевского и Косминского в руках убеждал, что и в глубинах России все-таки можно вполне продуктивно заниматься западным Средневековьем, хоть дело это, безусловно, трудное. Как, впрочем, говорил он, трудно выстраивать и настоящую марксистскую медиэвистику, которая пока делает еще только самые первые шаги. (Последний тезис, как выяснилось чуть позже, решительно расходился с официальным мнением, что марксистская история Средних веков уже вполне сложилась, окрепла и как раз переживала невиданный расцвет.)

Вот так я и отправился в конце второго курса с трепетом душевным писать заявление о приеме на кафедру истории Средних веков. Она тогда считалась у студентов – и, насколько я знаю, считается до сих пор – традиционно сильной и требовательной, в своем роде элитарной. Отбирали туда со строгостями, но Анатолий Евсеевич меня весьма тепло рекомендовал – не только официально, но, насколько я знаю, и в частных беседах. Вряд ли ему нужно было проявлять особую настойчивость: мой студенческий «послужной список» выглядел вполне убедительно. Тем не менее слово его было весомо. Считалось, что на кафедре истории Средних веков учиться нужно лишь немногим и представление о претендентах следует составить заранее, притом прежде всего именно по отзывам руководителей семинаров.

Между прочим, тогда и факультетское руководство не потаило наплыву студентов на кафедры Древнего мира и Средних веков. Студенту с «активной жизненной позицией» пристало идти на уже упоминавшиеся кафедры истории КПСС или социализма. Если помимо «активной жизненной позиции» у человека за душой было еще что-нибудь, например способность к языкам, ему полагалось пробиваться на кафедру Новой и Новейшей истории.

Медиевисты знали, что их подозревают (и не всегда безосновательно) в предосудительном эскапизме, отчего кафедральные преподаватели временами начинали нудно внушать своим студентам, как важно им заниматься всевозможной «общественной работой» (к которой у меня, увы, не было ни малейшей склонности).

Итак, меня берут на кафедру истории Средних веков с тем условием, что буду заниматься историей Германии. Но специалистов по истории Германии на кафедре нет. Моисей Менделевич Смирин – автор капитального труда о Томасе Мюнцере, вполне заслуженно удостоенного Сталинской премии, – умер лет за пять перед этим. Заведующий кафедрой Александр Иванович Данилов, ученик Александра Иосифовича Неусыхина (а это очень хорошая рекомендация), мог бы, наверное, познакомить нового студента хотя бы с классической германской историографией. Однако, во-первых, он работал прежде всего министром, отчего на кафедре практически не появлялся и вообще был недоступен, как и положено номенклатурному небожителю. А во-вторых, он скончался в самом начале первого моего учебного года в новом качестве студента-медиевиста. Видел я А.И. Данилова единственный раз в жизни – на гражданской панихиде по нему.

Хорошо, что на первых порах меня любезно согласилась взять под свое крыло Нина Александровна Хачатурян, несмотря на то что она специалист по истории вовсе не Германии, а Франции. Нина Александровна работала тогда над проблемой сословно-представительной монархии – несколькими годами ранее она опубликовала книгу о возникновении Генеральных штатов. Соответственно, она вполне резонно предложила мне заняться историей какого-нибудь сословно-представительного учреждения в Германии, чтобы направлять меня в том, что относится к общей теории, международной историографии и сопоставлению с французскими образцами.

Помню, как практически вслепую, на ощупь разыскивал по московским библиотекам издания протоколов каких-нибудь германских ландтагов. Все они оказывались

слишком поздними или не подходили еще по каким-нибудь причинам. Велик же был мой энтузиазм, когда в Библиотеке иностранной литературы мне совершенно случайно попались акты германского рейхстага последней четверти XIV века. Строго говоря, германский рейхстаг той поры трудно отнести к «сословно-представительным» учреждениям, но в итоге на это обстоятельство все закрыли глаза. Куда серьезнее было то, что мне пришлось без всякой помощи штудировать три больших тома документов на латыни и таком немецком языке, который сегодня и немцам-то далеко не всегда понятен.

Эти «Акты германского рейхстага» относятся к числу тех издательских серий, о которых немецкому студенту-медиевисту рассказывают едва ли не на первом занятии. Точно так же любой специалист по средневековой истории Германии быстро познакомит своего студента с набором необходимых обзоров, учебников, словарей, справочников, источниковедческих, историографических, палеографических и многих иных пособий и вообще со всем исходным инструментарием. Мне пришлось собирать эту коллекцию базовых знаний самостоятельно – в течение нескольких лет, без всякого поводыря, совершенно вслепую и притом в наших-то, мало приспособленных для такой работы библиотеках.

Работа над будущим дипломным исследованием шла крайне медленно и тяжело, но вместе с тем интересно, прежде всего потому, что направление моим (довольно бестолковым) разысканиям задавали документы – мои акты рейхстагов. Когда разбираешь документ, возникает ощущение подлинности, прикосновения к прошлому. Сначала ты в этом тексте почти ничего не понимаешь (даже если уже можешь худо-бедно перевести): не знаешь упоминаемых имен, событий и обстоятельств, общего контекста, игры интересов, вызвавших появление тех или иных суждений. Потом постепенно, в результате немалых усилий если не всё, то многое начинает проясняться. Из таких мучений и рождается любовь к документу как основе исторического исследования.

Как, впрочем, и нелюбовь к размашистым общим рассуждениям о «содержании исторического процесса», особенностях «национальной идеи» и прочих темах подобного сорта.

Похоже, Нина Александровна и другие сотрудники кафедры высоко оценили мои усилия. На пятом курсе – невероятная редкость по тем временам – меня по какой-то университетской программе отправили в Университет имени братьев Гумбольдтов в Берлин. Да еще на пять месяцев! Если говорить об академических рубежах в моей жизни, то этот был одним из важнейших. Именно в Берлине я наконец начал всерьез приобщаться к традициям немецкой медиевистики.

Руководить моими занятиями там взялся Бернхард Тёпфер (Bernhard Töpfer), заведовавший одной из двух медиевистических кафедр. Он был специалистом и по Германии, и по Франции, занимался, правда, вовсе не рейхстагом или Генеральными штатами, а прежде всего средневековыми социальными движениями и изучал, помимо прочего, надежды и ожидания, которые различные группы средневекового общества связывали с будущим. Диссидентом Тёпфер отнюдь не был, но и совмарксистским догматизмом, проявлявшимся тогда в гуманитаристике ГДР еще тяжелее, чем в СССР, он не страдал. Впоследствии мне много раз доводилось слышать, с каким неизменным почтением говорили о нем западногерманские коллеги, даже те, что относились к исторической науке почившей к тому времени ГДР в целом с нескрываемой антипатией. Именно Тёпфер и стал моим первым настоящим наставником в истории средневековой Германии.

Помимо советов и консультаций Тёпфера (как, впрочем, и некоторых других немецких коллег) неocenимую роль тогда сыграли берлинские библиотеки. Дело не только в том, что в них, естественно, несравненно богаче представлена немецкая историческая литература. Не менее важно то, что, по контрасту с московскими, в них очень много книг в открытом доступе. Мне было внове, что в

читальных залах больших библиотек набор всей основной литературы по тому или иному предмету собран на доступных каждому стеллажах. А в библиотеке исторического факультета вообще все книги и журналы доступны – подходи и бери. Для советского гуманитария, замученного перелистыванием множества каталожных карточек, заполнением бесчисленных требований и долгим ожиданием доставки заказанных книг, берлинские (как и вообще западные) библиотеки оказывались сущим раем. Лучшего места для самообразования и придумать было нельзя.

Понятно, что эти пять месяцев я занимался с утра до ночи. Надо сказать, что для тогдашнего московского студента Восточный Берлин был уже вполне западным местом, как бы сами восточные немцы ни ворчали по поводу постоянного снижения их уровня жизни. Разного рода неведомых в Москве удовольствий и соблазнов на любой кошелек там хватало, но мне было не до них. К тому же несколько раз мне приходилось проводить последние дни перед выплатой очередной стипендии буквально без единого пфеннига. И вот в эти-то дни я испытывал потрясающее чувство идеальной свободы. Представьте себе, что в 1982 году в Советском Союзе прилавки богатством, мягко говоря, не блистали, а в Восточном Берлине помимо обычных магазинов (и без того изобильных по московским меркам) имелись еще магазины импортных товаров, продававшихся за западные марки. В отличие от наших лицемерно-застенчивых «Березок», там все эти буржуазные прелести выставлялись напоказ. А у меня в кармане только проездной, чтобы доехать от общежития до библиотеки и университета, а потом вернуться, талоны на обед в студенческой столовой – ровно по числу оставшихся до стипендии дней – и больше ничего! Правда, дома на кухне дождался припасенный пакет картошки, кусок масла в общем холодильнике (масло с вареной картошкой оказалось, кстати, «национальным саксонским блюдом»), ну, и чай в относительном изобилии. Только при таком состоянии дел и можно проходить мимо сияющих витрин валютного «Деликата», ломящихся от

необозримого разнообразия бесконечно соблазнительного съестного, с полной отрешенностью, абсолютной незаинтересованностью, стопроцентным равнодушием... Вот это была настоящая – практически французская – свобода от оков всего материального!

Об этих моих мендикантских переживаниях Тёпфер ничего не знал, но все равно предпочитал выбирать для наших консультаций хорошие рестораны, подкармливая меня за обедом не только каким-нибудь «супом из шампиньонов», «венгерским гуляшом» или «украинской солянкой» (обязательными едва ли не в каждом гэдэровском меню), но и ценными сведениями о Средневековье. Он вообще патерналистски относился к советскому студенту, приехавшему зачем-то изучать давнюю историю его страны. Даже на мои самые глупые (как я теперь понимаю) вопросы Тёпфер всегда умел находить умные, резонные и далеко уводящие ответы. Пять месяцев регулярного общения с ним дали для моего знакомства с прошлым Германии больше, чем предшествовавшие четыре года. Не знаю, сыграло ли в добром отношении ко мне Тёпфера какую-либо роль его собственное прошлое. В том же студенческом возрасте, в каком я оказался в Берлине, мой будущий наставник попал в Россию – но по несколько иному поводу. Его мобилизовали в вермахт весной 1945 года и успели перебросить в Чехословакию, где его часть, так и не вступив в бой, в полном составе капитулировала одновременно со всеми германскими вооруженными силами. Теперь мне известно, что именно в Чехословакии тысячи сдавшихся немецких солдат были убиты безоружными, но от Тёпфера я не слышал об этом ни единого слова. Вскоре после капитуляции он оказался в лагере для военнопленных под Тулой, о котором вспоминал, как ни странно, без всякого отвращения. Даже наоборот, он был растроган тем, как местные жители подкармливали пленных, хотя самим есть было почти нечего. Один эпизод он описывал почти с энтузиазмом, хотя и с некоторым недоумением: однажды ночью лагерь подняли по тревоге и заключенных вместе с охраной отравили тайком грабить соседнюю большую пекарню.

Вероятно, законным образом получить оттуда хлеб для пленных было никак нельзя, и руководство лагеря договорилось с хлебным начальством о такой, криминальной на вид, форме расплаты за какие-нибудь трудовые услуги. Плен продолжался относительно недолго: уже в 1947 году Тёпфер стал студентом того университета, где спустя тридцать пять лет я его застаю среди ведущих профессоров.

После моего возвращения в Москву мы одно время обменивались с Тёпфером редкими письмами, потом уже только приветями через общих коллег. В Берлин меня с тех пор заносило редко, и виделся я со своим бывлым наставником едва ли не единственный раз — да и то недолго — году в 1992-м. Тогда Университет имени братьев Гумбольдтов как раз подвергался радикальной реорганизации (как, впрочем, и вся Восточная Германия). Тёпфер политические перемены приветствовал, а переменами академическими был всерьез озабочен, хотя напрямую они его не затрагивали: он уже вышел на пенсию. В следующий раз мы встретились на большой берлинской конференции про «Золотую буллу 1356 г.» только в октябре 2006 года. Я был просто счастлив увидеть учителя, вопреки опасениям, в добром здравии и хорошем расположении духа. Он мало изменился внешне, активно участвовал в прениях, был полон идей. С какого-то доклада мы с ним сбежали. Мне очень хотелось пригласить Тёпфера в один из тех ресторанов, где он давал мне свои наставления почти четверть века назад. К сожалению, их уже не осталось, что, впрочем, не помешало нам и в новой обстановке поговорить долго и сердечно. Это была наша последняя беседа. В 2011 году я специально прилетел в Берлин на скромные академические торжества, устроенные в честь 85-летия Тёпфера. Юбиляр даже выступил с докладом, но видно было, что празднество давалось ему тяжело. Поэтому весть о его кончине летом следующего года не стала для меня неожиданностью. Спасибо судьбе, что она дала мне возможность выразить лично хоть немного признательности человеку, давшему мне так много. Далекое не всегда с этим удается успеть.

Но вернемся из объединенного Берлина в Восточный Берлин рубежа 1982 и 1983 годов. Не стоит и говорить специально, как благотворно та поездка сказалась на моем немецком языке. Ведь первое время после прибытия в ГДР я со своим университетским немецким не понимал на улице ровным счетом ни слова. Тогда же завязались знакомства среди немецких соучеников-студентов, которые потом – спустя годы – еще сыграют свою роль. В те месяцы я много ездил, знакомился со страной, которая мне очень нравилась. По всем этим причинам от покойной Германской Демократической Республики у меня до сих пор сохранились самые добрые воспоминания.

По возвращении из Берлина я написал и защитил дипломную работу про имперские собрания в Священной Римской империи конца XIV века. Потом меня приняли в аспирантуру. И тут опять возникла проблема с научным руководителем. Где его брать? На уровне дипломной работы Н.А. Хачатурян могла мне помогать, но считалось (наверное, вполне резонно), что специалист по истории Франции не может быть руководителем диссертации по истории Германии. Наставника для меня старшие коллеги по кафедре подыскивали долго, перебирали разные достойные кандидатуры, притом не только московские.

В конце концов моим научным руководителем стал Николай Филиппович Колесницкий – специалист по раннему немецкому Средневековью. У него в 1959 году вышла весьма основательная монография по германскому государству IX–XII веков. Однако по каким-то причинам он находился в стороне от мейнстрима, от основной группы московских медиевистов, сосредоточенных на кафедре истории Средних веков и в Институте всеобщей истории РАН. Как бы то ни было, Николай Филиппович ко мне благоволил, внимательно читал главы будущей диссертации, давал полезные советы, но в целом исходил из того, что я должен работать самостоятельно. А так как привычка к таким занятиям у меня к тому времени уже выработалась, я был вполне доволен нашими взаимоотношениями.

Если говорить о профессиональном росте, то аспирантура оказалась для меня временем почти потерянным — прежде всего потому, что на этот раз не нашлось никого, кто желал и мог бы отправить меня поучиться за границей. Самим же аспирантам писать заявки на зарубежные стипендии тогда еще в голову не приходило — никто даже не знал, что такое возможно. Постепенно мне становилось скучно: фонды московских библиотек по своей теме я исчерпал, накопленное в Берлине в диссертацию включил. Единственным источником новых сведений был международный абонемент. Как ни странно, он тогда работал, и притом относительно неплохо. С ним были связаны даже некоторые привилегии. Так, в Москве тогда было непросто сделать ксерокопию даже советской статьи или главы из книги. В Ленинке для этого требовалось явиться к подъезду к 9 утра, протолкаться, нещадно отпихивая локтями конкурентов, в числе первых в только-только открывающуюся дверь, затем выиграть длинный забег с препятствиями по скрипучим лестницам на третий этаж и выстоять там длинную очередь за дефицитным талончиком. Если уложишься тем самым в дневную квоту, то получишь право заказать копии пятнадцати разворотов. Хотя в последнее мгновение могли сказать, что по тем или иным причинам книга копированию не подлежит. Тогда все усилия насмарку, и жизнь казалась прожитой напрасно. Зато когда западные библиотеки посылали нам по международному абонементу ксерокопии заказанных статей (а порой даже книг), предполагалось, что они их дарят Ленинской библиотеке. У ее же сотрудников ни описывать эти копии, ни включать их в хранение не было ни малейшего желания и возможности, поэтому они раздавали их заказчикам-читателям как бы в долгосрочное пользование. Теоретически Ленинка, будучи собственницей этих копий, могла потребовать их назад, но, насколько мне известно, до сих пор она, к счастью, не попыталась вернуть себе ни одной странички. Такие вот сюрреалистические гримасы советской жизни...

От стужавшейся профессиональной скуки, а также в порядке отдыха от тяжелых занятий зарубежной историей я пошел по библиотекам и даже надолго погрузился в

отдел рукописей той же самой Ленинки, чтобы подготовить сборник русских частных писем 1812 года. Одно знакомое издательство очень хотело издать красивую и необычную книгу к 175-летнему юбилею первой Отечественной войны, а солидных авторов у него в распоряжении не оказалось. Вот мне и предложили поработать. Задолго до появления в нашем историописании ныне весьма солидных направлений «истории повседневности» или «истории частной жизни» мной была тем самым сделана попытка представить важнейшее историческое событие через призму восприятия обычного, «частного» человека. А восприятие это отражается лучше всего, наряду с дневниками, именно в частной переписке, порой, правда, подцензурной, но нередко и, напротив, вовсе не цензурированной, пересылавшейся с надежными людьми. Как ни странно, сборник действительно вышел и был хорошо принят. Какие-то энтузиасты даже вывесили его относительно недавно в Интернете (разумеется, не спросив ни у кого разрешения).

Диссертация была защищена в положенные сроки, меня оставили на кафедре, понемногу я начал втягиваться в преподавание, все шло своим, неспешным чередом. Но началась перестройка, и в исторических науках она выразилась, в частности, в проведении в 1989 году в Москве эпохальной международной конференции, посвященной 60-летию основания знаменитым французским историком Марком Блоком не менее знаменитого журнала «Анналы». После какого-то заседания я набрался смелости подойти к одному из немногих немецких историков (численно преобладали, понятное дело, французы) с вопросом:

*– В публикациях, которые я читаю по своим темам, мне то и дело попадается имя вашего соотечественника Петера Моравы (Peter Moraw). Не могли бы вы меня с ним лично познакомить? Фонд «Фольксваген» как раз запустил программу десятидневных поездок в Германию для молодых советских историков, и мне очень хотелось бы принять в ней участие. Но ехать нужно к конкретному специалисту. Может быть, профессор Морав согласится принять меня?*

Немецкий коллега оказал любезность и, вернувшись домой, действительно позвонил Мораву, хотя, кажется, и сам был с ним едва знаком. Потом я уже сам написал Мораву письмо, тот подтвердил готовность со мной встретиться, «Фольксваген» одарил меня своей стипендией, и вот в мае 1990 года я лечу в совершенно мне не знакомый Франкфурт, чтобы ехать оттуда в Университет города Гисена, о котором до чтения статей Моравы я вообще не слышал. Впечатления для меня по тем временам совершенно непередаваемые – я первый раз в Западной Германии!

Так я оказался лет на десять крепко связан и с Гисеном, и с Петером Моравом — моим последним по времени, но отнюдь не по значению учителем средневековой истории. При первом же взгляде на Мораву каждому было ясно, что он имеет дело с сильной личностью. Высокий и статный, то снисходительный, то величественный, то ироничный, то добродушный, но всегда уверенный в себе и могущественный, Морав внушал многим коллегам не просто почтение, но чуть ли не панический страх. Одни перед ним трепетали, другие за глаза хвастались, что однажды нашлись, как ему удачно возразить. Некоторые медиевисты, особенно из бывшей ГДР, которая к тому времени перестала существовать, осторожно осведомлялись, как у меня складываются отношения с Моравом и насколько мне вообще удастся находить с ним общий язык. (Морав, кстати, был членом одной из кадровых комиссий, «чистивших» исторические факультеты бывшей ГДР.) Другие в различных выражениях, но одинаково поеживаясь, вспоминали о его ядовитом сарказме при общении с коллегами и об убийственных аргументах в академической полемике. Со мной грозный Морав был, однако, всегда любезен, дружелюбен, хотя при этом порой и строг.

В доказательство последнего приведу пример, относящийся к одной из наших первых встреч во время того же самого, десятидневного визита в Гисен. Я ехал к Мораву не в последнюю очередь для того, чтобы спросить, как он отнесся бы к исследовательской теме, которая как

раз тогда начинала меня занимать, — теме средневекового политического церемониала. В Москве обсуждать ее всерьез было просто не с кем. Морав начал спрашивать меня, что я читал по близким сюжетам, и между делом спросил о моем отношении к Норберту Элиасу. Имя это я тогда услышал первый раз в жизни.

*– Как?! Не может быть, чтобы вы не читали Норберта Элиаса! Если вы не читали Норберта Элиаса, о чем нам с вами дальше разговаривать?! Встретимся завтра утром, и если вы до той поры не ознакомитесь с Элиасом и не сформулируете отличие ваших предполагаемых подходов от его воззрений, нам стоит вообще прекратить обсуждать эту тему!*

Разумеется, Морав сгущал краски, драматизировал ситуацию, брал на пушку, испытывал на прочность пришельца с далекого и загадочного Востока. Не знаю, как сейчас, но в те благословенные времена гость Гисенского университета (как, впрочем, и едва ли не любого иного научного учреждения в Германии) в возрасте от аспирантского и старше получал два ключа: один от входной двери, а второй — от институтской библиотеки. Пользоваться этими ключами можно было невзирая ни на время суток, ни на праздники и выходные. Ту ночь я и провел в полном одиночестве за чтением обеих книжек Элиаса — «Придворное общество» и «О процессе цивилизации». (Сейчас и та и другая переведены на русский язык, но в те времена у нас мало кто о них слышал, если слышал вообще кто-нибудь.) Понравились они мне не особенно, совпадений с собственными идеями, к счастью, я почти не нашел, и к утру у меня был готов не только краткий конспект Элиаса, но и список из полутора десятков тезисов о том, чем мой взгляд отличался бы от элиасовского.

Вчитываться в мои каракули Мораву поутру явно не хотелось, он ограничился благосклонным выслушиванием устного отчета, придирается к нему не стал, разговаривал куда дружелюбнее, чем накануне, и больше таких проверок никогда не устраивал. В оставшиеся дни он

уделил мне много времени, хотя человеком был чрезвычайно занятым и вполне мог передать меня на попечение своим ассистентам. Он познакомил меня с женой и обеими дочерьми, мы вместе ездили на экскурсии по окрестностям, но было понятно, что во время даже самых, казалось бы, непринужденных бесед шел экзамен. Тут-то и стоит помянуть добрым словом международный абонемент Ленинки и новые поступления ИНИОНа: только благодаря им мне и стали известны многие свежие публикации, знанием которых можно было к месту похвастаться. Впрочем, у меня, видимо, заведомо был бонус, о котором я и не догадывался. Кажется, Морав исходил из презумпции, что гость из Московии не может знать ни «Бранденбургских концертов», ни Изенгеймского алтаря, ни многого иного, относящегося к немецкой и вообще западноевропейской культуре.

Однажды, подавленный в очередной раз мощью немецкой медиевистики, я спросил у Морава (на этот раз отчасти испытывая его самого), не стоит ли мне ограничиться относительно простой ролью транслятора ее идей в российское научное сообщество. Я уверен, что многие немецкие профессора вежливо высказались бы в том смысле, что, пожалуй, именно это и было бы наиболее удачным применением ваших сил и талантов, наш дорогой восточноевропейский друг. Морав жестко ответил, что готов тратить на меня время только при наличии у меня амбиций работать совершенно наравне с немецкими историками, а если у меня таких амбиций нет и не появится в обозримом будущем, нам лучше немедленно расстаться. Он умел ставить цели! Но умел и помочь их достигнуть.

Что только не вместились в те головокружительные десять дней нашего первого знакомства! Однажды вечером Морав снял трубку домашнего телефона и позвонил Райнхарду Эльце (Reinhard Elze), авторитетнейшему сотруднику института Monumenta Germaniae Historica — Мекки и Медины немецкой медиевистики. Морав справедливо счел Эльце крупнейшим специалистом в Германии по вопросам, меня интересовавшим.



Закончив любезный разговор и отодвинув телефон, Морав объявил мне, что Эльце ждет меня в своем институте завтра ровно в 13 часов. В этом не было ничего удивительного, если не считать того, что знаменитый институт MGH находится в Мюнхене, то есть, по немецким понятиям, на другом конце страны. Это сейчас мне не составляет особого труда кататься по немецким железным дорогам, но тогда, в первые десять дней на Западе, не всегда сразу можно было понять, даже как включить свет в коридоре или открыть дверь лифта. К тому же поездка в другой город представлялась из российской перспективы трудным предприятием, требующим особой организационной подготовки, соответствующего душевного настроя и наличия времени. Путешествие из Гисена в Мюнхен и обратно (с пересадками!) длилось часа четыре в каждую сторону и съело львиную долю моей скромной фольксвагенской стипендии. Тем не менее ровно в 13 часов, затаив дыхание, я переступил священный для каждого медиевиста порог MGH. Сразу после обстоятельной и исключительно полезной аудиенции у Эльце нужно было пускаться в обратный путь. Из достопримечательностей Мюнхена в тот раз я увидел совсем немного. Но поездка того стоила, и именно благодаря ей я пользовался позже редкостной привилегией обращаться с некоторыми вопросами напрямую к самому Эльце, а он на них неизменно отвечал, порой на нескольких страницах, исписанных мелким, аккуратнейшим почерком.

Накануне моего возвращения в Москву супруги Моравы повезли меня на самую яркую экскурсию — в Гейдельберг. Для них этот город обладал особым значением: здесь была alma mater их обоих, здесь они познакомились. Разумеется, первым делом они повели меня на «дорожку философов», с которой открывается чудесный вид на Старый город на противоположном берегу Неккара. Тем солнечным майским днем Гейдельберг внизу был сказочно прекрасен. Вдруг Морав повернулся ко мне и без всякого пафоса произнес:

*– Ваш исследовательский проект мне очень нравится. Я готов вас поддержать чем смогу. Считаю совершенно*

*необходимым, чтобы вы снова приехали в мой институт, и притом теперь уже надолго. Пишите заявку, я сделаю все, чтобы ее одобрили.*

Экзамен был сдан.

Мораву при нашем с ним первом знакомстве было пятьдесят пять; после я имел возможность часто и помногу общаться с ним на протяжении последующих десяти лет. Всякий раз меня удивляла его способность преобразаться. Когда ему хотелось, он мог очаровывать своей светскостью, мог казаться легкомысленным или представлять сущим простецом. Но когда речь заходила о серьезном научном вопросе, Морав совершенно менялся. Вот всего минуту назад он выглядел не более чем гостеприимным и не особенно расторопным обывателем. Стоило ему начать рассуждать, его лицо, голос, осанка сами собой становились иными. (Причем рисовки в этом не было никакой.) И вместо сердечного бюргера перед вами оказывался какой-то титан мысли, какой-то полубог, то ли Зевс Олимпийский, то ли Гёте (он становился даже внешне похожим на них обоих сразу). Секрет этого преобразования так и остался для меня непостижимым. В те минуты и часы, когда Морав прямо на глазах принимался наводить порядок в хаотичном прошлом и расставлять там вещи по единственно возможному для них местам, я понимал, что внимаю не просто какому-то немецкому профессору, а идеальному типу немецкого профессора, воплощающему все, уже мифологизированные, качества этой особой человеческой породы. Он обладал невероятным кругозором, знал все на свете и умел улавливать связи и закономерности, не различимые для остальных, проще устроенных умов. В его поколении немецких историков были и другие фигуры сопоставимого масштаба — Эрнст Шуберт, например. Правда, в последующих поколениях дело обстоит, кажется, хуже. Впрочем, подождем, пока и нынешним профессорам станет под шестьдесят...

Откуда берутся настоящие немецкие профессора, мне, кстати, до сих пор не вполне понятно. Немецкие студенты были тогда (а может, остаются еще и сейчас) в среднем

хуже московских – прежде всего по начитанности, информированности и широте кругозора, но также и в том, что можно назвать научным воображением. Наверное, сказывалось отсутствие вступительных экзаменов. Немецкие аспиранты (они там называются докторантами) по большей части тоже не радовали, хотя и иначе: те производили впечатление тихо помешавшихся на теме диссертации, не способных впустить в свое сознание ничего, что не имело бы к ней самого непосредственного отношения. Каким образом из таких одержимых получают профессора, обладающие необозримой шириной познаний и способные к свободному и далекому полету мысли, – сушая загадка. Очевидно, на всех ступенях срабатывает какой-то эффективный механизм отбора, иначе откуда было бы взяться Мораву, Шуберту или, например, Хартману Бокману? Каждый из этих выдающихся медиевистов был яркой и разносторонней личностью, у каждого была непростая биография, знание жизни не только университетского кампуса и выношенная политическая позиция.

Морав был практикующим католиком, наверняка голосовал всегда за христианских демократов (хотя я его никогда на этот счет не расспрашивал), к так полюбившейся мне ГДР относился с холодным презрением, коммунизм не переносил на дух, симпатий к Советскому Союзу, мягко говоря, не испытывал. В его взглядах не содержалось ничего антилиберального, но его консерватизм был целостным, последовательным, едва ли не органическим. Здесь наверняка сказывалось прошлое: сыну учителя и отпрыску уважаемого рода с глубокими местными корнями, Петеру Мораву было около десяти, когда его семье пришлось бежать с малой родины в Моравии. «Декретов Бенеша» он никогда не простит ни Чехословакии, ни, позже, Чешской Республике. В советских газетах и учебниках о судетских немцах – что до их изгнания, что после – ничего хорошего не писали. Тем интереснее было близко познакомиться с одним из них. Надеюсь, что во время его единственного визита в Москву мне удалось избавить его от некоторых стереотипов о России, обычных для людей его поколения.

Помню, как на Манежной он дал щедрое подаяние монахине, собиравшей на восстановление обители, как то и дело приговаривал в Кремле «Alles durcheinander!» («Все вперемешку!»), дивясь пестроте стилей и смелому объединению разнохарактерных деталей, как сравнивал архитектуру Тверской почему-то с улицами в Риме...

Вскоре после выхода на пенсию Морав стал тяжело и безнадежно болеть. Он знал, что сознание его неумолимо угасает и что лекарства от этого нет. При всем желании нельзя было бы придумать более жестокую и издевательскую кару для человека с таким сильным и творческим умом. В сгустившейся тьме Морав прожил несколько лет. Его не стало в апреле 2013 года.

\* \* \*

Сколько-нибудь профессиональным историком Германии (как и Франции, Италии, Мексики и любой иной страны) нельзя стать, не покидая России, причем осваивать страну специализации нужно начинать как можно раньше – студентом или, в крайнем случае, аспирантом. Конечно, это не означает, что представителям всех остальных специальностей полезно оставаться дома. Молодым людям – студентам, а в особенности аспирантам – необходимо выезжать за границу хотя бы на семестр или два, просто для расширения собственного сознания.

Однако палку не стоит перегибать: российскому историку, занимающемуся историей Германии, противопозвано полностью растворяться в немецкой историографии (притом что она очень затягивает). У нас свой взгляд на многие вещи. Я не в том смысле, что русские какие-то особенные, но просто так исторически сложилось, что Россия – это не Германия, а Германия – не Россия. Следовательно, российский взгляд на историю Германии – всегда взгляд извне. Конечно, в нашей вне-находимости множество минусов, мешающих нам понимать прошлое чужой страны. Но имеются и некоторые плюсы, которые нужно научиться использовать.

Так, например, мы не порабощены стереотипами, сложившимися в немецкой историографической традиции еще в XVIII или XIX веке и с тех пор механически воспроизводимыми из поколения в поколение. Немецкий школьник, студент, докторант, а обычно даже и профессор впитывает эти стереотипы с младенчества и потому воспринимает их как нечто извечно существующее, естественное и неоспоримое – как облака на небе и траву на лугу. Зато, поскольку мы вырастаем совсем из другой традиции, нам легче заметить, что те или иные немецкие историографические аксиомы были сформулированы в определенных исторических обстоятельствах, несут на себе отпечаток всех забот своего времени, а потому аксиомами на самом деле вовсе не являются...

Профессиональная специализация, выбранная мной еще на втором курсе университета, определила в конечном счете всю жизнь — научную и не только. Она же приучила меня к непростому положению посредника между двумя академическими мирами, ни к одному из которых нельзя принадлежать полностью. Ведь мне всегда приходится ощущать себя в некотором смысле маргиналом среди российских историков, поскольку занимался и занимаюсь не «нашим» прошлым. (Такое самоощущение бывает, впрочем, у многих «всеобщников».) И в то же время мне навсегда суждено оставаться маргиналом и в историческом сообществе Германии, поскольку в глазах немецких историков я, естественно, не «их», хоть и занимаюсь по большей части «их» историей.

Однако добиться этой трудной роли маргинала в квадрате оказалось чрезвычайно сложно. Уже хотя бы потому, что любое национальное историческое сообщество – во всяком случае, до самых недавних пор – не склонно было принимать в себя чужаков. Коллегу, явившегося извне, можно, и даже похвально, пустить в ученики. Но давать ему слово всерьез и сколько-нибудь считаться с его суждениями по существенным вопросам «нашей» истории – это недопустимо. Сейчас положение начинает меняться – по мере эрозии национальных историографий и усиления международных связей.

(Может, со временем история все же станет столь же интернациональной, как физика или математика?) Мне приятно, что удалось внести собственную, пускай и скромнейшую, лепту в эти перемены. Обстоятельства сложились так, что мне много приходилось работать самостоятельно, но без тех учителей, о которых я попытался поведать выше, не получилось бы ровным счетом ничего. Пусть все сказанное выше станет выражением – конечно, слишком слабым и неполным – моей им глубочайшей признательности.

# ВЛАДИМИР ЗИНЧЕНКО

## УЧИТЕЛЯ

---



Для меня проблемы выбора профессии не было, потому что мой отец Петр Иванович Зинченко – известный психолог, а мама, Вера Давыдовна, изначально была педагогом, но потом по необходимости тоже стала психологом. Ее уволили из пединститута по политико-идеологическим мотивам: узнали, что ее родственник репрессирован. Слава богу, не посадили. Потом она стала преподавать психологию в Харьковской консерватории. Отец работал в институте иностранных языков, а потом получил кафедру в Харьковском университете. Вот в такой семье я жил. Мама хотела написать кандидатскую диссертацию по психологии и выбрала тему «Наказание». Мы смеялись с отцом, потому что наказывать она не умела.

Забегая вперед, скажу, что семейка-то у нас была ненормальная: сестра моя младшая, Татьяна Петровна Зинченко, тоже психолог. Сначала она окончила филологический факультет Харьковского университета, а потом стала профессором психологии в Ленинградском университете. Моя жена, Наталья Дмитриевна, окончила биолого-химическое отделение в Пединституте им. Ленина и в конце концов тоже стала психологом.

Мой сын сейчас в Беркли – он психотерапевт, как и его жена. Если бы невозможное было возможно, мы могли бы организовать неплохой семейный колледж по психологии.

Таким образом, выбора у меня просто не было. Потому что никакая физика, химия, математика меня не влекли. Влекли литература и история, но в то время – шел 1948 год – это был не лучший вариант: выбрать себе в качестве профессии историю или литературу. Поэтому оставалась психология. Слава богу, тогда уже открылись отделения психологии в четырех университетах: в Московском, Ленинградском, Тбилисском и Киевском. В Харькове такого отделения не было, поэтому я поехал в Москву, где и живу с тех пор.

Если говорить об учителях, то, конечно, первым моим учителем был отец. Он честно, хотя потом выяснилось, что лукаво, меня отговаривал от того, чтобы я шел в психологию.

Он говорил: «Послушай, психология после богословия и медицины – самая точная наука» – или: «Психология – это ведь не профессия, сейчас это специальность».

И довольно узкая тогда была специальность. Мы называли ее педагогической психологией, потому что психологи находили себе место только в педагогических институтах и в качестве преподавателей, которые были нужны в школах, где почти все 1950-е годы преподавали психологию и логику.

Наверное, я счастливый человек. Мне в жизни очень повезло, потому что существовала Харьковская школа психологов. Ее основали люди, которые потом стали моими учителями в Москве (я позже назову их имена). Они воспитали коллектив психологов в Харькове в 30-е годы, хотя работали в разных местах, потому что не было одной какой-то кафедры. Телефонов тогда не было, поэтому я выполнял функцию почтальона, когда они решали собираться. В частности, я приходил с такими поручениями к Владимиру Ильичу Аснину, который поддерживал мой интерес к психологии, когда я учился в старших классах. Он вел со мной душевспасительные беседы, что-то вроде индивидуальных семинарских занятий. Кое-кого из моих будущих московских учителей я видел у себя дома, они знали меня, любили моего отца, дружили с ним. Так что меня в Москве было кому принять. Важной особенностью научной школы является то, что она учит не только знаниям, но и позиции, стилю мышления.

Если говорить об учителях, надо вспомнить и о том, что с ними мне повезло еще в школе. У нас были учителя старой закалки, которые окончили гимназии. В частности, огромное влияние на меня оказала Надежда Афанасьевна Грановская – учительница литературы. В 1998 году харьковчане позвонили мне и спросили:

– Ты помнишь, что полвека назад мы закончили школу?

– Помню.

– Приедешь?

– Конечно. Все брошу и приеду.

И нас собралось около трети, оставшихся от классов «А» и «Б». Мы сидели в нашем классе, и примерно половину времени все вспоминали Надежду Афанасьевну. Причем я был единственный выродок-гуманитарий, в основном собралась инженереры, математики, военные, врачи, люди, работающие в сельском хозяйстве. Потому что после войны все шли заниматься каким-то делом настоящим, не до души было. Представьте, встает полковник в отставке и говорит:

– Если бы не Надежда Афанасьевна, я бы никогда не научился думать и писать.

Когда так говорят через пятьдесят лет, это замечательно. Писать, между прочим, она нас действительно научила. Я добровольно летом писал какие-то сочинения, и не потому, что у меня «хвосты» оставались: просто была тяга к литературе.

Когда позже я приехал в Москву, то встретился со своими знакомыми. Тогда не было факультета психологии, а было только отделение при философском факультете, которым заведовал Алексей Николаевич Леонтьев. Да и заниматься психологией (кроме общего курса) мы начинали далеко не сразу. Сначала нас душили историей партии, диалектическим и историческим материализмом, политэкономией и всякими прочими делами. Но опять же нам повезло, потому что и среди аспирантов, и среди преподавателей были старые ифлийцы, а это обеспечивало все-таки определенный культурный уровень преподавания. Истикер Ацаркин читал нам лекции по истории партии, зато чудом выживший бывший меньшевик Горлов компенсировал эту истерику спокойным рассказом.

Среди нас было много фронтовиков, которые уже знали, что такое СМЕРШ. Они наш юношеский задор окрачивали немножко, показывали, как себя вести надо, чтобы нас не загребли. Потому что одного нашего однокашника, Юру Бабахана, который на Стромьнке жил в общежитии, – фронтовика, между прочим, – забрали.

Пришли, устроили шмон и забрали, и несколько лет он отсидел. Родину защищать он мог, а вот учиться в университете – нет, потому что папа его был репрессирован. Не надо ему было идти в Московский университет, где-нибудь в другом месте его, может быть, и не заметили бы. Так что с такого рода вещами мы довольно быстро познакомились. И спасибо фронтовикам – они нам быстро растолковали, что к чему. Был один смешной эпизод. Слава богу, никого из желторотых, окончивших десятый класс и не нюхавших войны, рядом не было. Стоит группа. Среди них Александр Александрович Зиновьев, хорошо известный теперь, а тогда он был аспирантом. Идет 48-й или 49-й год. Кто-то спрашивает у него:

– *Интересно, а отчего засуха?*

Зиновьев не задумываясь говорит:

– *А это 150 или 160 миллионов людей воды в рот набрали и не выпускают. Оттого и засуха.*

Кто-то стукнул. Но там были одни фронтовики, и они сказали, что нет, не было такого. Если б было, мы бы сами первые пришли. А раз не пришли, значит, не было.

Помню, как-то на семинаре я тоже сдуру говорю:

– *А вот у Бухарина книжка была «Исторический материализм».*

Преподаватель – его фамилия, по-моему, была Бутенко – в перерыве объяснил мне крепкими словами все, что он думает по этому поводу, и сказал:

– *Ты смотри, в следующий раз я не смогу умолчать.*

У меня в общем-то никакого интереса к философии не было. Был интерес к замечательным людям, которые у нас учились и преподавали, с которыми мы общались. Несмотря на разницу в возрасте, как-то мы оказались

близки к кругу Эвальда Ильенкова и Александра Зиновьева. На нашем курсе, правда, на отделении логики учился Георгий Щедровицкий, и много было других очень интересных людей. А философы – они же острословы. Например, такое определение материи: «Материя – это объективная реальность, данная Богом нам в ощущении». Саркастический Мераб Мамардашвили говорил на это:

– *Дурак. Не Богом, а боком нам в ощущении.*

Или вот, например, зиновьевское:

– *Философы раньше только объясняли мир. А сейчас они даже этого сделать не могут.*

Вот такое небольшое пособие для изучающих диалектический и исторический материализм. И это уже не забывается, по сравнению с остальным корпусом знаний.

Теперь о психологии. Собственно психологии нас учили в основном представители Харьковской школы психологов. Но общий корень, откуда сама Харьковская школа вышла, – это Лев Семенович Выготский. В начале 30-х годов А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев, В.В. Лебединский предпочли Харьков, сбежали подальше от столицы. Алексей Николаевич Леонтьев – фигура, известная в психологии, – был главой Харьковской школы, ее лидером. Ему все охотно и добровольно уступили это звание. Он не слишком ясно выражался и письменно, и устно. Человек он был умный и говорил про себя: «Я хитрый, как муха. Поймать трудно». Он облакал психологические проблемы в такой словесный туман, чтобы возможным критикам не за что было уцепиться. Конечно, не без потерь, но зато за этим туманом работал идеологически беззаботный коллектив ученых. Это было нечто вроде дымовой завесы. Гений психологии Александр Романович Лурия тоже был нашим учителем. Он в своей биографии писал: «Марксизм мне давался с трудом». Лурия с Леонтьевым друг без друга не могли жить, потому что начали сотrudничать еще в 1923 году.

Леонтьев тогда работал в лаборатории Лурии под его началом. Леонтьев укорял Лурию в идеологическом легкомыслии, а Лурия Леонтьева – в идеологической озабоченности. Леонтьев был очень тонким экспериментатором, и от идеологии его легко можно было отвлечь обсуждением экспериментальных результатов, замыслов и так далее. Он красиво читал лекции, содержательно, немного театрально. Вот, например, история по поводу «тумана». Один из студентов писал пародию на лекцию Леонтьева. Замысел пародии состоял в том, что Леонтьев таким же языком, каким он читает лекции, общается со своими домашними. И вот его обращение к супруге Маргарите Петровне начиналось так: «Имеющая для меня огромный личностный смысл, не расходящийся с твоим объективным значением, жена». Женившись, я обратился так к своей жене, на что получил в ответ:

– Ну что? Крыша совсем уже поехала?

Леонтьев два года читал нам общий курс психологии. Два года вел у нас семинары Петр Яковлевич Гальперин – он тогда был доцентом. Хотя исходным у него было медицинское образование, он великолепно знал историю психологии. Это был человек с безграничным чувством юмора, он удивительно синтонен был с нами. Историю психологии он читал на третьем курсе, а на четвертом он нам читал мышление в свете трудов товарища Сталина по марксизму и вопросам языкознания. Но на самом деле он нам давал совершенно нормальные знания о соотношении языка и мышления. Если Леонтьев был лидером школы, то к Петру Яковлевичу коллеги по школе, а потом и мы ходили советоваться по трудным проблемам. Так что он был для всех учителем. Я как-то спросил у него:

– Петр Яковлевич, а почему же к вам Александр Романович Лурия не ходит советоваться?

Он отвечает:

– А что же я ему могу посоветовать? Он же пишет быстрее, чем я читаю.

Гальперин был удивительным человеком. Это теперь мы стали такими умными, а тогда даже не догадывались, какое счастье нам привалило, что нас учат такие люди. В Гальперине сочетались широта, глубина, образованность и способность к самоограничению в экспериментальных исследованиях. Он разрабатывал теорию формирования умственных действий, понятий, причем умственных действий с наперед заданными свойствами. Что вообще странно, потому что кто знает свойства умственного действия или свойства мышления, которые мне могут понадобиться? Мышление должно быть универсальным, а не «с наперед заданными свойствами». Иногда я его спрашивал:

– Петр Яковлевич, ведь есть же образное мышление. Почему в ваших этапах формирования умственных действий нет стадии образа?

Он мне говорил:

– Слушай, Володя, не толкай ты меня на этот дырявый феноменологический мост, там просто провалишься.

Что еще важно – мы видели взаимоотношения внутри школы. Моим непосредственным учителем был Александр Владимирович Запорожец, с которым я прошел многое. Они жили на улице Грановского – сейчас это Романов переулок. В коммунальной квартире жили декан математического факультета Петр Матвеевич Огибалов, Александр Владимирович Запорожец и Петр Яковлевич Гальперин. Я прихожу к Запорожцу с какими-то вопросами, а он говорит:

– Слушай, зайди к Петру Яковлевичу, не морочь мне голову.

Почему моим учителем стал Александр Владимирович Запорожец? В основном, я думаю, по своим человеческим качествам. Его глубина открылась мне позже (и до сих пор еще продолжает открываться!). Правда, первым моим научным руководителем был Сергей Леонидович Рубинштейн. Тогда он еще работал в университете,

потом его оттуда выгнали, а спас Рубинштейна Сергей Иванович Вавилов. Он устроил его в Институт философии Академии наук. Несмотря на то что Сергей Леонидович был лауреатом Сталинской премии, членом-корреспондентом Академии наук и заведующим кафедрой – он восстановил кафедру психологии в МГУ в 1942 году, – несмотря на все это во время борьбы с космополитизмом его уволили отовсюду. И вот Вавилов его спас.

У меня дома нет ни кандидатской, ни докторской, ни диплома, но сохранились тетрадные странички в клеточку с моей курсовой работой, которую я писал у Рубинштейна. Она была посвящена проблеме памяти в трудах Ивана Михайловича Сеченова. Помню, я к нему пришел домой и там впервые увидел настоящую психологическую библиотеку западной литературы. Я увидел шкафы, в которых стояли собрания сочинений великих психологов. Он ведь Марбургский университет заканчивал. Это ему удалось привезти еще до революции, наверное. Я поражался, как же он курсовую мою читал и не высек меня за то сочинение, которое я ему принес. Сергей Леонидович человек был необыкновенный, щедрый и мужественный.

Мой однокашник по школе Юра Кривоносов, который сейчас работает в Институте истории естествознания и техники, в свое время рылся в архивах ЦК и нашел там письмо пяти выдающихся психологов Маленкову. Это была война, 1944 год, тогда должны были проходить выборы в академии наук. И вот Леонтьев, Борис Михайлович Теплов, Анатолий Александрович Смирнов, Сергей Васильевич Кравков и еще кто-то написали Маленкову письмо, что психология имеет большое значение, в том числе и для войны, обороны и так далее. Поэтому хорошо бы избрать членом-корреспондентом Академии наук Сергея Леонидовича Рубинштейна. Мгновенно – это просто по датам видно – было принято решение «избрать членом-корреспондентом Рубинштейна». Война – она объединила всех. Несмотря на то что там было внутреннее соперничество – кстати, между Рубинштейном и Леонтьевым тоже, – они написали это письмо.

А потом я уже перешел к Александру Владимировичу. Здесь еще сыграло роль то, что Петр Иванович – друг Запорожца, и он просил Александра Владимировича присматривать за мной. Время от времени я бывал у него дома. И спасибо ему – он включил меня в программу своих штудий, так что я с четвертого курса начал вести экспериментальные исследования. Была такая школа установки Дмитрия Николаевича Узнадзе, которая и сейчас существует. Его последователи говорили, что установка – это штука предпсихическая, она чем-то сродни магическому явлению. А Запорожца интересовало, как все-таки формируется установка, потому что вся идеология школы Выготского была связана с категорией развития. Еще Гальперин нам красиво говорил:

*– Если бы мы не знали, что наши способности становятся и развиваются, то вся психика была бы чудом.*

Это похоже на правду. И первые мои работы как раз и были направлены на изучение того, как формируются установки. Я тогда стал, по сути дела, детским психологом, потому что изучал это на дошкольниках разного возраста. Потом я примерно раз в десять лет обращался к проблеме установки. В 1979 году, когда в Тбилиси был просто невероятный для советских времен конгресс по бессознательному, Филипп Вениаминович Бассин, тоже бывший харьковчанин и представитель этой школы, дал мне возможность сделать там доклад. А начал я свои экспериментальные исследования под руководством Александра Владимировича Запорожца.

Потом я окончил университет, и меня рекомендовали в университетскую аспирантуру. Но тут я сам себе сильно навредил, потому что на госэкзамене по истории партии получил тройку. У меня в дипломе две тройки: по истории партии на первом курсе и на госэкзамене, так что здесь я был постоянен. Помню, мне попался вопрос о главном экономическом законе социализма по работе Сталина. Сталин к тому времени почил в бозе, но все-таки на дворе был еще 53-й год и только июнь месяц.



А я не успел прочесть этот научный труд и начал нести какую-то пургу, что-то вроде шолом-алеихемовского «не так с деньгами хорошо, как без денег плохо». В общем, на меня комиссия с большим удивлением смотрела. Они все-таки меня пощадили и поставили тройку, но после этого экзамена ученый совет решил забрать у меня рекомендацию в аспирантуру. И тут меня спас Александр Романович Лурья. Он сказал:

*– Конечно, Зинченко – мерзавец, стыдно не знать такую замечательную вещь, но все-таки он способный человек. Давайте мы его хотя бы в заочную аспирантуру возьмем.*

В итоге приняли меня в заочную аспирантуру, а через год я перевелся в очную аспирантуру Института психологии. И началась совершенно другая полоса в моей жизни, потому что я познакомился с представителями челпановской школы в психологии. Какие это были необыкновенные люди! Во-первых, благороднейший беспартийный (бывало и такое) директор Анатолий Александрович Смирнов, который тридцать лет возглавлял этот институт. Он заботился о равновесии в институте, чтобы и «челпановцы», и «выготчане» мирно сосуществовали. Этот мир он поддерживал, не позволяя выходить за рамки научной дискуссии. Причем при таком мире в институте замечательный коллектив сложился, замечательный ученый совет. Никто никогда не отыгрывался на аспирантах. И это все тоже входило в нас, даже в наше поведение на ученых советах и конференциях. Еще был Борис Михайлович Теплов. Он вроде бы всю жизнь свое дворянство скрывал, но с такой физиономией скрыть его было очень трудно. Борис Михайлович Теплов был непререкаемым авторитетом для всех психологов Советского Союза. Он был настоящей личностью, какие встречаются достаточно редко. Дали когда-то сказать, что «личность есть таинственный избыток индивидуальности». Правда, он еще добавлял: «И вообще, личностей, кроме меня, нет». Приведу такой эпизод. Одна дуреха выступает с докладом о творчестве старшеклассников и зачитывает сочинение одного из своих испытуемых.

Захлебываясь от восторга, она говорит:

*– Ну посмотрите, ведь это же стиль Александра Сергеевича Пушкина!*

Я смотрю на Теплова, который сидит рядом со Смирновым во главе совета. Губы у него побелели, он встает и с ледяным спокойствием говорит:

*– Я обладаю совершенно бессмысленной фотографической памятью и сейчас прочитаю вам начало «Пиковой дамы».*

И минуты две-три он читает наизусть. Потом останавливается и говорит:

*– Валентина Павловна, вот что такое Пушкин. Никогда никого не надо с ним сравнивать.*

И тихо садится на место.

Когда я писал кандидатскую диссертацию, моим научным руководителем был Запорожец. Я тогда кинулся уже на зрительное восприятие, на формирование зрительного образа и каких-то навыков и схем опознания у детей трех-шести лет. В общем, это опять была «детская диссертация», посвященная развитию зрительного восприятия у детей.

Должен сказать, что наши психологи, в том числе мои учителя, занимались наукой на вполне мировом уровне, да и были в эту науку интегрированы. В самом начале 30-х годов сюда приехал Курт Левин, и две или три недели они общались с Выготским. А в 1936 году харьковчане запланировали провести топологический семинар, на который Левин обещал приехать. Но, к счастью, это не состоялось, потому что их бы всех загребли. Из Германии вернулась ученица Левина Блюмочка – Блюма Вульфовна Зейгарник, которая прожила здесь длинную и страшную жизнь. Ее мужа расстреляли, а она где-то в Подмоскowie спряталась врачом в психушке.

Двух своих детей она вырастила одна. В 1949 году ее все-таки пригласил Леонтьев на кафедру психологии, точнее не столько Леонтьев, сколько Александр Романович.

1954 год. Международный конгресс по психологии в Монреале. Лурия, Теплов и еще кто-то получили приглашения. Ну и понятно, что по инстанциям отправили все это дело в ЦК. А эти ребята – они же все всерьез верили, что если послать советских ученых на Запад, то их там съедят, они же ненормальные все были в этом отношении. Придумали себе жуткий буржуазный мир и поверили, что он на самом деле такой и есть. И наверняка к ним уже пришли приглашения по другим наукам. Ну, они думали-думали и решили: математиков жалко, физики слишком много знают, биологию мы порушили – некого нам посылать, а давайте пошлем психологов – что они есть, что их нет, нам все равно. В общем, туда отправилась совершенно необыкновенная компания: Смирнов, Теплов, Леонтьев, Лурия, Запорожец, с Украины взяли Григория Костюка – директора Института психологии, присоединили молодого Евгения Николаевича Соколова и еще двух физиологов. Вот такая компания! Причем тогда же не было такого, что сел в самолет и полетел в Монреаль. Нет. Сначала они поехали в Париж, провели там два дня и только потом поехали в какой-то порт, чтобы пересесть на пароход. Теплов, впервые попавший туда, был гидом по Парижу, потому что свободно владел языком. Они почти все знали языки: кто-то свободно говорил по-французски, кто-то знал немецкий или английский. И вот они все участвовали в конгрессе. Они вошли туда так же, как входили туда немцы, англичане, французы или кто-то другой. Это было совершенно неотлично. Между прочим, Институт психологии получал иностранные журналы все эти годы. И в Ленинке они были. В зале периодики мы сидели и смотрели иностранную литературу. К нам приезжал Пиаже. Он ходил по лабораториям. В одном кармане – ведро, которое он вытаскивал, потом доставал кисет и трубку, курил и выбивал эту трубку в ведро. Пиаже – это Женевская школа психологов, и он тоже занимался детьми. Потом начал приезжать Джерри Брунер.

Он родился в 1915 году – слава богу, он живой, – и скоро ему будет сто лет уже. Так что нельзя сказать, что наша психология была полностью оторвана от мировой науки.

Вот, скажем, я в 57-м году защищал кандидатскую диссертацию. Делаю я предварительный доклад на ученом совете. А тогда, между прочим, замечательная была система: сидит перед тобой ареопаг, а ты защищаешь тему перед ним. Еще не зная, что это – ареопаг, ты перед ним отчитываешься. И на втором году ты перед ним отчитываешься, и на третьем году перед ним отчитываешься, и это серьезная ответственность. Я уж не говорю про то, что это отличная тренировка для твоих будущих публичных выступлений. И вот после этого доклада меня похвалили за регистрацию движений глаз у детишек и прочее. Ну, от этой проблемы весь ученый совет был далек. А я не поверил, что я уж такой пионер. Я подумал, что этого не может быть. Я пошел в Ленинку и начал искать нужную мне литературу, правда, я не знал тогда английского языка, потому что мой язык был немецкий. И вот я нашел работы по этой теме уже с начала XX столетия. Тогда я плюнул на свою диссертацию, засел в библиотеку, сделал обзор и опубликовал его. Там было сорок английских названий. Вот так я «выучил» английский язык. А поскольку я его никогда не учил, то произношение у меня, как у канадского хохла. Потом я нашел несколько интересных французских работ, но тут уж я девочку какую-то нанял, и она мне их переводила.

Так что никаких особых драм с тем, что мы оторваны от мировой науки, варимся в собственном соку, не было. Нашей главной драмой была не зарубежная, а русская литература, потому что мы узнали про Бердяева, про Зеньковского, про Булгакова очень поздно. Вот эта традиция была прервана – нам не выдавали советских работ 20–30-х годов. Мы Г.Г. Шпета не знали! А сейчас десять томов Шпета издано. Когда я его узнал, я книжку написал по поводу Шпета.

Преподаю я практически всю жизнь: с 1951 года до настоящего времени. Я до сих пор не могу без этого обойтись, потому что всегда что-то додумываю во время преподавания. Я думаю, что в России сейчас можно

готовить квалифицированных психологов, но только при условии, что их действительно учат. Уходя от нас, советская власть оставила нам четыре тысячи дипломированных психологов, а сейчас их примерно двести пятьдесят или триста тысяч. Штучного производства уже нет, к сожалению.

Вот, например, приходит ко мне зубной врач и говорит:

– *Я хочу стать кандидатом психологии.*

– *А зачем тебе это?*

– *А у больных изо рта дурно пахнет.*

Считается, что стать кандидатом по психологии очень просто. Но это бред, чудес же не бывает! К сожалению, бывает всем известное другое, по поводу чего сейчас не хочется ворчать.

Когда-то Николай Александрович Бердяев сказал, что в моем «Я» больше от других, чем от меня самого. Самое гнусное, что вообще есть в мире, – это, конечно, человеческое общество. Но здесь никуда не денешься – вне социума человека не может быть. Мы живем на этих противоречиях, и у каждого из нас есть как минимум два «Я». Они же все время базарят между собой, и тем не менее какое-то «Я» принимает в себя то, что для него является авторитетным. Почему коллектив нужен? Он нужен для обогащения нас. И вообще все главное, что происходит в человеческой жизни, происходит в пространстве между нами. Это пространство, о котором писал Мартин Бубер еще когда-то очень давно, об этом пространстве писал Михаил Михайлович Бахтин, есть книжка «Я – второе Я» Федора Дмитриевича Горбова, которого я тоже считаю своим учителем, хотя сам он никогда меня ничему не учил, учила дружба с ним.

У меня есть еще один учитель – математик Дмитрий Юрьевич Панов. Когда я покинул детскую психологию и ушел работать в «почтовый ящик», он был там началь-

ником отдела. Интеллигентнейший человек – стихи писал, картины рисовал, дважды доктор: физико-математических и технических наук. Он был создателем ВИНТИ, Физтеха, а на склоне лет пошел командовать теоретическим отделом в почтовом ящике. Я там получил лабораторию инженерной психологии. Мой второй учитель – директор этого института Владимир Сергеевич Семенихин, который потом стал академиком. У нас с ним установились хорошие отношения. Некоторые физиологи, с которыми я работал, тоже на меня повлияли: Всеволод Иванович Медведев, Георгий Михайлович Зараковский и другие. Между прочим, я могу считать себя учеником Николая Васильевича Карлова – в прошлом ректора Физтеха. Он был председателем ВАКа, а я шесть лет был членом президиума и начальником экспертного совета по педагогике и психологии. Я ума набрался и от Николая Васильевича тоже. Это все были замечательные, интеллигентные люди. У кого-то из них была бóльшая, у кого-то меньшая организационная хватка, но сам стиль общения – это ведь тоже очень важно.

Поэтому во мне и сидят эти люди. Я написал много воспоминаний о разных людях – наверное, около сорока, – и все они изданы. Я писал не только об учителях, непосредственно учивших меня, но и о тех, кого Алексей Алексеевич Ухтомский называл «заслуженными собеседниками». Но есть заслуженные собеседники очные и есть заслуженные собеседники заочные, и есть такие «прикроватные» книги, к которым ты все время возвращаешься. Я постоянно возвращаюсь к Ухтомскому, возвращаюсь к Николаю Александровичу Бернштейну, вот передо мною десять томов Густава Густавовича Шпета, расстрелянного. А ведь это не меньшая фигура, чем Бердяев или Булгаков. И ученичество продолжается, между прочим. Никуда я от этого не денусь. Мне не раз пришлось убеждаться в правоте Данте, утверждавшего, что учитель моложе ученика, потому что «бегаёт быстрее».

Харьковской психологической школе в этом году исполнилось восемьдесят лет. Я ездил в Харьков, выступал там с докладом. Я один остался из тех, кто помнит

этих людей. Я о них написал большую статью в «Вопросах психологии» – она вышла в этом году. Так что ученичество – это штука постоянная. Переставешь учиться – переставешь работать. Профессиональный признак хорошего учителя – это наличие души, которую он дарит своим ученикам. Это хорошо понимала Марина Ивановна Цветаева, которая говорила, что должна быть школа души и глагола. Глагол – он есть и слово, и действие: «глаголом жечь сердца людей». А душа, как нам объяснял Михаил Михайлович Бахтин, это – дар моего духа другому человеку. Причем дар особенный, потому что он не скудеет от дарения. Чем больше ты даришь, тем больше тебе остается. Пока мы помним о своих учителях, не только они, но и мы сами живы.

# АНДРЕЙ МЕЛЬВИЛЬ

## УЧИТЕЛЯ

---



Мне вообще-то повезло с учителями. Все началось с того, что я поступил на философский факультет МГУ. Я выбрал этот факультет в значительной мере потому, что мой отец был там заведующим кафедрой истории зарубежной философии. Начиная со старших классов он очень много рассказывал мне о разных философах, которые жили и сотню, и тысячу лет тому назад. Я просто вырос в этой атмосфере. Но сначала я думал об истории, меня всегда история волновала, я даже хотел быть археологом. Папа мне говорил:

*– Зачем копать в старом, не лучше ли создавать новое?*

На что я ему обычно отвечал:

*– Ты же сам копаешься в истории идей.*

Можно сказать, что он и был одним из моих первых учителей. Что-то серьезное из мира идей я узнавал от отца, когда был еще школьником. В общем, отец настоятельно рекомендовал мне философский факультет МГУ, а не МГИМО. И я пошел поступать на философский.

На экзаменах меня спросили:

*– Мальчик, а ты что-нибудь философское читал?*

И когда я сказал, что прочитал «Новый Органон», это, конечно, произвело впечатление. Правда, я тогда ничего не понял в «Новом Органоне», но по крайней мере я его листал, перед тем как пойти на экзамен. Как, впрочем, и много другой историко-философской литературы.

Сейчас мы отлично понимаем – да и тогда я понимал, – что на такого рода факультетах были фундаментальные ограничители разного типа, прежде всего идеологические. Но мне сильно повезло с некоторыми преподавателями. Кто из них мне сегодня вспоминается? Конечно же, Валентин Фердинандович Асмус. Это был представитель хорошей интеллигентной семьи обрусевших немцев, ученый еще из дореволюционной, до советской когорты, который так или иначе встроился в советскую реальность, но сохранил и качество мысли, и шарм, и универсальность знания такого несоветского типа. Он был выдающимся логиком, выдающимся историком античности, выдающимся историком эстетики.

Причем это происходило в то время, когда нужно было уметь лавировать между теми жесткими нормативными рамками, которые устанавливала власть. Я помню его лекции по античной философии – они производили завораживающее впечатление на большинство студентов. Это была совершенно легендарная личность. Мой папа был у него когда-то аспирантом. Они и после этого сохраняли теплые человеческие отношения, мы общались семьями. Его сын Валентин – ныне протоиерей, профессор, доктор богословия и очень интересный человек – родился, по-моему, почти в то же время, что и я, может пару месяцев разницы. У моей мамы не хватало молока, и я был вскормлен молоком Ариадны Борисовны Асмус.

У меня был очень интересный учитель по логике на первом курсе – Евгений Казимирович Войшвилло. Он был автором ставшей классической работы «Понятие как форма мышления», которая, кажется, переиздается до сих пор. Евгений Казимирович Войшвилло – один из основателей и разработчиков формальной логики в нашей стране. Это было очень интересно, потому что фактически формальная логика шла в перпендикуляр к диалектической логике. Это был суховатый и строгий профессор, как и мой папа. Меня совершенно очаровывали его лекции и занятия с ним.

И третий человек, который тоже мне очень запомнился на первых курсах, это Александр Александрович Зиновьев, который потом стал известным диссидентом и автором знаменитых «Зияющих высот». Но я его знал в другом качестве – как преподавателя математической логики. До сих пор помню, как Александр Александрович, когда я уже учился в аспирантуре, взял да и роздал всю свою научную библиотеку – он сказал, что негоже цитировать чужих авторов, нужно создавать собственное знание. Вряд ли полностью соглашусь с ним сегодня...

Математическая логика мне давалась с трудом, тем не менее я с большим интересом этим занимался, особенно с учетом тех общественных потрясений, которые произошли в первые годы моего обучения в МГУ.

Это был 1968 год – Пражская весна, советские танки и т.д. И я впал в глубочайшую мизантропию, хотел отвернуться от всего, от чего можно, потому что это было первое крушение всех моих надежд и иллюзий. После Пражской весны я категорически погрузился в изучение логики, потому что не хотелось иметь ничего общего с реальностью. Ну, а потом постепенно вернулся к истории философии.

Там были и другие совершенно потрясающие педагоги. Например, Алексей Сергеевич Богомолов – я писал у него дипломную работу. И конечно, Василий Васильевич Соколов, один из выдающихся историков античной и средневековой философии. Мы учились у него вместе с Александром Львовичем Доброхотовым, который теперь тоже работает в Вышке, он ординарный профессор. Я встретил недавно Василия Васильевича на философском факультете МГУ: ему за девяносто, он по-прежнему ведет занятия, и ум у него просто как граненый кристалл.

Но очень многие педагоги на философском факультете оставляли крайне тяжелое впечатление. Большинство из них уже не на этом свете, поэтому говорить о них плохо я не могу. Идеологический и доктринерский – я бы даже сказал, репрессивный – пресс чувствовался на философском факультете в конце 1960 – начале 1970-х очень остро. При этом кафедры логики и истории зарубежной философии на общем фоне были своеобразными оазисами.

После философского факультета я пошел в аспирантуру Института философии, где в те времена спектр идей и людей был шире, чем в МГУ.

Моим научным руководителем стала тоже по-своему легендарная женщина. Она, слава богу, жива и до сих пор очень продуктивно публикуется, пишет, работает, руководит аспирантами. Это Нелли Васильевна Мотрошилова, которая начинала с Гуссерля, занималась Гегелем, ввела в отечественную методологию социологию знания и многое, многое другое.

Называя имя Нелли Васильевны Мотрошиловой, я, естественно, не могу не назвать другого имени – имени ее мужа Юрия Александровича Замошкина, моего Учителя с большой буквы. Это была удивительнейшая пара, которая в чем-то представляла собой эмоциональные и методологические полярности, но в чем-то основным была единым целым. От них я почерпнул безумно много. Познакомился я с ними опять-таки благодаря моему папе, когда я еще был в середине факультетского обучения. Но не они были моими первыми научными руководителями.

Я уже сказал, что моим первым научным руководителем был Алексей Сергеевич Богомолов, у которого я писал курсовые работы и дипломную работу по «Мифу о Сизифе. Эссе об абсурде» Альбера Камю. Экзистенциализм тогда, на рубеже 60–70-х годов прошлого (ужас какой!) века просто взломал мою душу. Идея свободы выбора, идея, что существование предшествует сущности, что актер может творить реальность вокруг и внутри себя, – и по сей день моя одержимость. В 1972 году, будучи еще студентом, я опубликовал свою первую статью об экзистенциальном абсурде по Камю. И продолжаю в той же логике верить, что структурирование и придание смыслов онтологически абсурдной реальности есть функция человеческой воли и разума.

Мне после 1968 года – я в данном случае имею в виду не Пражскую весну, а Париж и подъем молодежного протеста – было еще очень интересно разобраться в глубинных парадигмах практик и концепций совершенно тогда заворожившей меня контркультуры. Читая литературу, я обнаружил важную часть их в одном из направлений постфрейдизма – в так называемом левом фрейдизме: вульгарно – это сексуальная революция, в более глубоком смысле – это освобождение от любой репрессии, тотальное раскрепощение человеческой самости, раскрепощение души и тела. Прежде всего, конечно, это Вильгельм Райх – великий ученик Фрейда, потом, конечно, и Маркузе, и многие другие. В общем, я избрал эту тему для своей кандидатской.

Моим научным руководителем в Институте философии, как я уже сказал, стала Нелли Васильевна Мотрошилова, но очень много мне дал Юрий Александрович Замошкин, совершенно удивительный человек. Он происходил из интеллигентной, очень хорошей семьи: его отец был директором Третьяковки, затем какое-то время, если я не ошибаюсь, руководил Пушкинским музеем. Юрий Александрович блестяще знал живопись и историю живописи, историю искусства. Сильное впечатление я испытал, увидев его впервые – и это в Москве, в конце 1960-х годов. На нем был его традиционный, настоящий твидовый пиджак с заплатками и постоянная трубка с хорошим табаком. Мне и сейчас непонятно – а я иногда курю трубку и сигары, – где и как в те времена можно было доставать хороший табак. Впрочем, он уже тогда много ездил, много общался, прежде всего с американскими коллегами. Он очень хорошо знал Америку и американскую социологию. Ну, о политологии тогда говорить было сложно, это была, скорее, социальная психология или психологическая социология. Он был блестящим знатоком современной на тот момент американской социологической мысли. Он общался с Робертом Мертоном, Дэниелом Беллом, Толкоттом Парсонсом, и, когда он рассказывал об этих встречах, это просто ломало традиционные представления. Он жил в другой стилистике, в другой культуре, в совершенно другом идейном и ценностном контексте, и в то время это было чем-то совершенно исключительным. Это была не изолированная пара – Замошкин и Мотрошилова, – это были представители определенной интеллектуальной группы, куда входили и Игорь Семенович Кон, и Борис Андреевич Грушин, и легендарный Мераб Константинович Мамардашвили, и тот же Александр Александрович Зиновьев – это все был один кружок. Собирались они, как правило, дома или на даче у Замошкина с Мотрошиловой, и это называлось «салон Мотрошиловой». Когда я был аспирантом, я бывал там, меня туда приглашали. Я часто сидел в сторонке, наблюдал и впитывал идеи и оценки, впитывал... насколько я мог это сделать тогда.

И идеи, и сам тип отношения к реальности, и отношение к идеям – все это было разительно не похоже на то, что у нас повсюду насаждалось и воспроизводилось. Иногда я позволял себе сказать слово в этом ареопаге... Там, кстати, я и познакомился с молодым Марком – впоследствии моим другом и коллегой Марком Юрьевичем Урновым.

Юрий Александрович Замошкин был совершенно фантастическим человеком. Если бы меня кто-то попросил сформулировать квинтэссенцию либерала тех лет, то это, конечно, был Замошкин. Для него либерализм был не идеологической доктриной и не политической идеологией, а скорее стилем жизни, взглядом на мир, на других людей, взглядом на идеи. Это был человек, который продуцировал мысли, эмоции, чувства, настроения безумно творчески, непрекращающимся потоком. У него была одна удивительная черта – он был в лучшем смысле слова интеллектуальным фантазером и придумщиком идей. Но не был строгим логическим мыслителем. Позже, просматривая стенограммы его лекций или выступлений, я обратил внимание, что у Черномырдина был точно такой же стиль. Замошкин был великим медиумом: он создавал абсолютно уникальную ауру. И ты вроде бы понимаешь, о чем речь, чувствуешь, что это глубокое проникновение в какие-то тайны, в развалы бытия, но что-нибудь сделать с его стенограммами было нельзя. Эти прозрения невозможно оказывалось конвертировать в логический текст – все нужно было переписывать заново.

А Нелли Васильевна – противоположного склада. Она казалась мне очень жестким логическим мыслителем, человеком большой научной строгости, прежде всего в смысле строгости научного аппарата. Она была моим очень строгим научным руководителем, но вдохновение я все же черпал у Юрия Александровича, когда мы писали с ним, например, об интеллигентских синдромах в политике... У нас было немало работ в соавторстве. Когда я при его поддержке пытался что-нибудь эдакое писать, она накладывала жесткую логическую рамку на все наши фантазии и «размышлизмы».

Сейчас я благодарен ей за то, как она меня приучала к строгости мысли, строгости текста, строгости использования понятий и терминов. Она требовала ухода от оценочных описаний, от эпитетов и образов в пользу строгих понятий, в пользу выявления закономерностей, последовательностей и так далее. Я и сейчас жесткий сторонник строгости в анализе, а не использования оценок, образов и метафор. Вот поэтому я и говорю, что это было удивительное сочетание двух совершенно разных людей.

Когда я вспоминаю о них, мне важным кажется вот еще что. У Юрия Александровича Замошкина была одна фундаментальная работа. Если мне не изменяет память, она называлась «Кризис буржуазного индивидуализма и личность». Сделана она была на основе его докторской диссертации. Там он, в частности, пытался рассмотреть антикоммунизм как особую реакцию ущербного индивидуализма мелкого предпринимателя в условиях наступления монополистического капитализма. Мне кажется, у него всегда нарушался баланс между психологией и социологией в пользу психологии. В пользу некоего «вчувствования» в то, что он считал лежащим по ту сторону политической реальности. На самом деле я вот что пытаюсь сказать. У Юрия Александровича Замошкина, как у целого ряда лучших людей той эпохи – а это все-таки была эпоха запретов, – был удивительный талант к высказыванию «между строк». Это был человек, который мастерски научился плавать, как кто-то сказал, не «на поверхности», а «под водой». И когда ты читаешь эти тексты, ты тоже должен вчувствоваться во все это, отшелушить некоторые риторические штампы и понять, что человек хотел сказать. Кстати говоря, Георгий Аркадьевич Арбатов был такой же, но на другом, уже политическом уровне. Умение писать между строк, попытка пронести и донести свою мысль, которую нельзя облечь во внятную форму, – это настоящее искусство, искусство политического иносказания.

Но этот уход в иносказание все же ограничивает тебя, ставит тебе определенные барьеры, которые ты не всегда можешь преодолеть. Особенно когда общественная и интеллектуальная ситуация меняется.



У нас это и произошло в конце 80 – начале 90-х годов, когда уже можно было, не обращая внимания на иносказания, пытаться говорить «вслух». Мой прекрасный учитель Юрий Александрович Замошкин ушел от нас как-то очень быстро, в 1993 году. А до этого он написал книгу «Вызовы цивилизации и опыт США», которой гордился, считал главной работой своей жизни. Если я не ошибаюсь, она вышла где-то в самом начале 1990-х. Личностная интеллектуальная трагедия его заключалась в том, что он так и остался на уровне иносказаний. Он не адаптировался к ситуации «открытого голоса». То есть многие выдающиеся либералы тех лет, которые мастерски умели сформулировать свою мысль между строк, не смогли приспособиться к новой для них ситуации «открытости». И это, безусловно, человеческая трагедия. Я никогда не мог сказать об этом Юрию Александровичу, хотя мы общались с ним до его смерти. Но мне кажется, он чувствовал это.

Сразу после окончания мною аспирантуры Юрий Александрович взял меня в свой отдел в Институте США и Канады. Поэтому я считаю своим учителем также и Георгия Аркадьевича Арбатова. Это был удивительный период в моей жизни. Он в значительной мере прошел под знаком интеллектуального влияния Арбатова, который был во многих отношениях крупнейшей личностью. Отдел, в котором я работал, назывался так: Отдел проблем идеологии и общественного мнения. Мы там занимались и политическими сюжетами, но в большей степени смотрели на политику сквозь призму идей, ценностей и культуры. Я пошел туда работать потому, что и до этого занимался идеологической проблематикой, она меня интересовала. Сразу же под его влиянием я стал писать докторскую диссертацию. Я ее написал фактически через восемь лет после защиты кандидатской, что по тем временам было достаточно оперативно.

Я никогда не забуду – это и невозможно с чем-то сравнить – атмосферу интеллектуальной оранжереи в Институте США и Канады. Это был настоящий green house, тщательно оберегаемый самим Арбатовым.

Внутри института царила совершенно уникальная атмосфера. Наверное, Георгий Аркадьевич – ну, и еще кто-то наверху – был одним из первых «официальных» людей той эпохи, которые поняли, что без представления реальной, относительно объективной информации об экономических, социальных, политических и идеологических процессах в США никакое планирование реальной внешней политики невозможно. Поэтому Институт США и Канады в меньшей степени выполнял идеологическую функцию и в большей степени функцию анализа и планирования. От Института США и Канады ждали не только монографий и публикаций, но прежде всего аналитических записок и предложений. Я прекрасно помню, как Арбатов учил нас писать эти записки в ЦК КПСС. В них должно было быть не больше двух с половиной – трех страниц, потому что в Политбюро никогда не читали больше трех-четырёх страниц. Естественно, они проходили множество фильтров. Только сам Арбатов отсылал эту записку в ЦК или в министерства. Он читал все сам, он правил все сам – без него ни один материал не выходил.

Что я вынес отсюда, очень для меня важное? Умение дать анализ и предложения, сформулировав это на пространстве не более трех страниц. Удивительное искусство, которое отсекало любое словоблудие. Любое нагромождение эпитетов, эмоций, метафор и т.д. В этом смысле очень интересная была школа.

Георгий Аркадьевич Арбатов был по-своему уникальным человеком. Во-первых, он был крупным социально-политическим мыслителем. Он блестяще знал политику – советскую и американскую, ее внутренние и внешние аспекты. И он знал, чего он хочет. Арбатов исходил из того, что он точно знает, что нужно в данный момент делать в стране. Понятно, что это было действие в заданных рамках, но все то, что он делал, расширяло эти рамки. И я бы сказал, что вклад Арбатова и его института в создание нового восприятия, новой ментальности, нового отношения к миру в СССР был очень большим. У этого института была уникальная черта.

Сначала я работал там младшим научным сотрудником, потом очень быстро стал старшим научным сотрудником, заведующим сектором и других подразделений. Но вот что интересно: даже когда ты работал над маленькой запиской, у тебя было чувство причастности к большим задачам. Это действительно было в Институте США и Канады. Но это, повторю, была совершенно особая «оранжерея»...

И я ушел оттуда. Ушел сам, добровольно, потому что мне стало скучно. В конце 80-х, когда у нас в стране пошли такие перемены и возникли такие надежды и иллюзии, мне просто скучно стало заниматься Америкой. Мне показалось, что гораздо интересней заниматься советской, российской политикой. Я даже поэкспериментировал в – как бы это сказать? – интеллектуально-кооперативном секторе на рубеже слома эпох. У меня еще был странный период, когда я пошел заместителем председателя Советского комитета защиты мира и провел там год или чуть больше, пытаюсь перестроить эту организацию, вместе с другим моим учителем, который тоже перешел туда. Я имею в виду Радомира Георгиевича Богданова, бывшего зама Арбатова. И это был также интересный для меня опыт. Он показал, что есть структуры, которые не подлежат реформированию, – они подлежат либо оукливанию, либо разрушению. Есть вещи, которые нельзя реформировать.

Это привело меня к мысли, что новое качество рождается там, где оно начинается с нуля, а не там, где реформируются осколки старого. Поэтому, когда я пришел в МГИМО, я участвовал в создании первой кафедры политологии в нашей стране – в 1989 году. Через год я стал ее заведующим. Мы кафедру политологии создавали заново, «с нуля», не переименовывая кафедры научного коммунизма, марксизма-ленинизма, – мы ее создавали from scratch. Мы нашли и позвали людей, у которых не было идеологического шлейфа прошлого. К нам пришли работать Александр Иванович Никитин, Михаил Васильевич Ильин, Лилия Федорвна Шевцова, Дмитрий Вадимович Ольшанский, Андрей Алексеевич Дегтярев, Марина Михайловна Лебедева,

Александр Арсеньевич Чанышев и многие другие. Факультет политологии в МГИМО в самом конце 1990-х я так же, как и кафедру, делал «с нуля». Кстати, тогда он стал лучшим в стране. У меня не было никаких ограничителей, мне ни с кем не нужно было бороться, ничего реформировать. Мы просто сделали все с самого начала.

Но вот еще проблема с «учителями и учениками». Наше, уже уходящее поколение в современной российской политической науке – это все же «самоучки», мы из одной «шинели», нам нужно было осваивать мировую теоретическую и методологическую традицию политической науки «с нуля», и самим. У нас не было по этой части вообще учителей. Нашим студентам сейчас намного лучше.

И вот что еще мне хотелось бы сказать. Есть коллеги, которые уверены в том, что знают истину в последней инстанции. А я – нет. Это может звучать банально, но тем не менее учиться никогда не поздно. Четыре года назад я пришел в Вышку, и это для меня был безумно важный жизненный и профессиональный разворот. Только иногда жалею: ну почему это не случилось раньше, почему я столько времени потерял?! Я и здесь нашел важных для себя учителей, которым благодарен. Честно говоря, я шел на факультет прикладной политологии к моему другу и коллеге Марку Юрьевичу Урнову, чтобы дочитать и дописать то, что я не успел сделать раньше, занимаясь другими, в основном административными, делами. Но вот уже через год мне и еще некоторым моим коллегам, которые пришли в Вышку со мной из МГИМО и РАН, стал давать уроки статистики Алексей Алексеевич Макаров. Мы собирались в маленькой аудитории, и он просто читал нам приватные лекции. Спасибо Вам, Алексей Алексеевич! И в меньшей степени я благодарен Денису Константиновичу Стукалу – за то, что он открывает для меня многие важные для нашего анализа вещи, о которых я просто не знал. Я вообще-то когда-то, как и большинство моих коллег по профессиональному сообществу, считал формальные методы в политологии неким изыском, а сейчас думаю об этом совсем по-другому...

# ФУАД АЛЕКСЕЕВ

## УЧИТЕЛЯ



В 1974 году я окончил механико-математический факультет МГУ. Там нам читали лекции блестящие преподаватели – Б.П. Демидович, А.Г. Курош и другие. Я ходил к Курошу на его спецкурс по общей алгебре. Общая алгебра – очень абстрактная наука, но Курош превращал свои лекции в театральное действо. На них мы сидели, затаив дыхание. Кроме этого, свой курс по логике нам читал А.Н. Колмогоров. Это был совсем другой стиль преподавания. Он читал вещи, которые были известны более ста лет назад. Было видно, что он их как бы заново продумывает, и слушать его было очень непросто.

Главное, чему меня научили в МГУ, – не бояться задач. У меня до сих пор нет страха перед ними. Если я что-то не понимаю, я тут же начинаю это изучать.

Потом, в 1975 году, я пришел в Институт проблем управления к Марку Ароновичу Айзерману. Тут и началось настоящее наставничество. Оно происходило не столько в период обучения в аспирантуре, сколько, скорее, после этого. Когда я только пришел в Институт, он сказал, что я должен ходить на его семинары, что я и делал.

Помню, я как-то подошел к Марку Ароновичу и сказал ему о том, что не хочу ходить на те семинары, которые непосредственно не связаны с моей работой. Он ответил, что на семинар надо ходить обязательно. Я до сих пор вспоминаю этот его ответ и очень ему за него признателен. Научное мышление выковывается на семинарах. Когда вы слышите, как выдающиеся ученые ставят вопросы, как они обсуждают проблемы, вы получаете бесценный опыт. Эта мозаика мнений складывается в то, что называется научным мышлением.

Все, что я имею, я получил тогда. Конечно, я продолжаю учиться, но в этом плане я, скорее, добираю какие-то знания.

Айзерман был действительно выдающимся человеком. Когда мы писали о нем книгу, то заметили, что он внес вклад в шесть разных областей теории управления. В 1964 году он стал лауреатом Ленинской премии за создание универсальной системы элементов промышленной пневмоавтоматики. Лаборатории, которую он создал, недавно исполнилось пятьдесят лет. Эта лаборатория занималась самыми разными задачами: управлением в живых систе-

мах, классической теорией управления и т.д. Конечно, сейчас она ведет не такую яркую работу, как раньше, но все равно лаборатория существует, я ею заведу и горжусь тем, что мы сохранили ее, несмотря на все сложности.

Из написанного им я бы отметил книгу «Логика, автоматы и алгоритмы». В течение приблизительно двадцати лет она оставалась классикой в своей области. «Метод потенциальных функций в теории обучения машин» — тоже одна из его известных работ. У него были выдающиеся работы и в области теории устойчивости.

Теперь я расскажу о стиле его работы с учениками. Когда я пришел в лабораторию, мне дали задачу и некоторое время мной не занимались. Я тогда очень удивлялся этому, но на самом деле этот подход оказался правильным. Таким образом выяснялось, образно говоря, сумеет ли лягушка выбраться или утонет, будет ли она барахтаться. Когда все увидели, что я, побарахтавшись, выплыл, то стали мною заниматься и занимались много.

Свою первую статью вместе с соавторами я писал два года. Оттачивалась буквально каждая фраза. Конечно, такой долгий срок был связан и с тем, что мы оказались первопроходцами в своей области и работали с еще не устоявшейся терминологией. До сих пор у меня очень серьезное отношение к тому, как пишутся работы. Я не могу себе позволить что-то написать небрежно. От первой до последней фразы (включая обозначения) — все должно быть перепроверено. Каждая фраза и каждое обозначение должны нести смысл. Более того, каждое обозначение также должно иметь мнемоническую компоненту, чтобы людям не пришлось через пять страниц вспоминать, что оно значит. Таков результат моего обучения в этой школе.

Говорят, что ученые — люди не от мира сего, рассеянные, забывчивые и т.д. Поверьте мне, я с очень многими выдающимися людьми общался, и все они были удивительно дисциплинированными. Наука — это внутренняя дисциплина. Про меня недавно сказали, что меня

в Вышке ценят, в частности, за то, что я никогда не опаздываю. Это тоже влияние той школы, которую я прошел. Я за всю жизнь на лекции опоздал два раза, и оба раза не по своей вине.

В 1981 году, сразу после защиты кандидатской диссертации, я начал заниматься теорией коллективного выбора. Марк Аронович умел блестяще ставить задачи, умел повернуть задачу таким образом, что все сразу становилось понятно. Эта высокая ясность мышления имеет решающее значение, потому что хорошо поставленная задача — на три четверти решенная задача. И он меня тоже учил это делать. Я часто говорю, что молодые люди не умеют ставить задачи, но это нормально, это приходит с опытом.

Мы с Айзерманом вместе работали по шестнадцать часов в день. И это было не каторгой, а настоящим удовольствием. Например, мы с ним могли восемь-десять часов сидеть в кабинете и обсуждать разные проблемы, а потом я еще дома до ночи работал, чтобы утром ему рассказать о том, что у меня вышло.

Мы с ним написали серию статей, которые получили признание в мировой литературе. За какой бы раздел науки он ни брался, через два-три года его научный коллектив получал международное признание в этой области. Я тоже прошел эту школу. Так, например, пять-семь лет назад у нас задачами влияния в группах вообще никто не занимался. Мы начали работу над этим — и сегодня являемся всемирно признанным коллективом в данной области, без которого не проходит ни одна международная конференция, посвященная этой теме.

Безусловно, он оказал влияние на развитие моих научных интересов. В мою кандидатскую диссертацию он особенно не вмешивался, и я писал ее самостоятельно. А что касается проблемы коллективного выбора, то работу на эту тему мы делали с ним. Приведу простой пример. В знаменитой теореме Эрроу рассматривалась задача агрегирования бинарных предпочтений в функции выбора. Спустя несколько лет было отмечено, что

в силу того, что на функции выбора налагаются определенные условия, можно от функции избавиться и рассматривать вместо нее коллективное предпочтение. После этого в литературе обсуждался вопрос о том, что в коллективном выборе, может, и нет самого выбора, а есть лишь агрегирование предпочтений в предпочтения. Айзерман был первым, кто сформулировал эту задачу об агрегировании функций выбора в функции выбора. Никаких предположений о том, что эти функции выбора сводятся к предпочтениям, не делалось. Когда мы закончили эту работу, нас сразу пригласили в Штаты, где мы выступали на различных конференциях и семинарах.

Теперь я хочу сказать несколько слов о нем как о человеке. Это очень важно, потому что его человеческие качества и его качества как ученого были неотделимы. В 1946 году специалист по теории управления Щипанов написал работу об идеальных регуляторах. Эта работа была тут же осуждена журналом «Большевик» и газетой «Правда» — главными идеологическими изданиями страны. Щипанов был обвинен в идеализме. Что делает молодой доктор наук Айзерман? В это время он только вернулся с войны. Он пишет письмо президенту Академии наук в защиту Щипанова. Когда он мне об этом рассказал, я его спросил: «Вам не страшно было?» Он ответил: «У меня в прихожей стоял чемоданчик с бельем и едой, потому что я ждал, что меня арестуют». Много ли людей поступили бы так же, как он?

Вторая моя история об Айзермане связана с тем временем, когда я писал у него диссертацию. Еще в начале моего обучения в аспирантуре, в 1979 году, он постоянно напоминал мне о том, что необходимо писать диссертацию. А я никогда не любил такого рода работу. Одно дело писать статью, в которой сообщается о полученных результатах, — это интересно. Другое дело еще что-то писать о самой статье, переводить ее на другой язык и т.д. Это тоска. Поэтому, когда он мне об этом напоминал, я обещал ему что-то написать, но все время откладывал.

Потом, в конце 1980 года он сказал мне, что с начала 1981 года я должен начать писать диссертацию. В первый же день нового года он пришел к нам в комнату и позвал меня к себе в кабинет. Когда мы пришли, он попросил написать план диссертации. Я сказал, что могу и у себя его написать, но он настоял, чтобы я сделал это у него в кабинете. Так продолжалось неделю, пока я не написал первую главу. Удивительно, что, когда к нему приходили, он не меня просил выйти, а сам выходил из кабинета. Когда я дописал первую главу, он меня отпустил, чтобы я дома доделал остальные главы.

Когда мы написали большую статью по проблеме Эрроу и собирались отдавать ее в печать, он вдруг вызвал меня и заявил, что мы не можем публиковать статью в таком виде, так как в ней нужно заменить два термина: «диктатор» и «олигархия». Я заверил его, что весь мир употребляет эти термины и в этом нет ничего страшного. Он продолжал настаивать на своем и начал предлагать альтернативные варианты этих терминов. Я их все, не особенно вдумываясь, отвергал, предполагая, что мы все равно вернемся к изначальному варианту. Так продолжалось 45 минут, после чего он совершенно грустным голосом сказал мне: «Понимаете, я с этим режимом прожил семьдесят лет, и я не позволю вам испортить вашу жизнь и карьеру из-за двух слов, которые наверняка будут неправильно поняты». Меня поразили даже не слова, а тон, которыми они были сказаны. В итоге в этой статье термины «диктатор» и «олигархия» были заменены на «решающий избиратель» и «решающая группа».

# НАТАЛИЯ ЕРШЫЛЕВА

## УЧИТЕЛЯ

---



Когда от редакции нашей газеты «Окна роста» поступило предложение рассказать о своих учителях, поначалу я немного растерялась от мысли о том, что не смогу рассказать обо всех, кто был учителем в моей жизни. Однако затем обрадовалась, что, несмотря на ограниченные газетные полосы, широкая аудитория Вышки сможет узнать о тех прекрасных людях, которые помогли мне выбрать профессиональный путь в жизни и положили начало моей академической стезе. И так, как писал Александр Сергеевич Пушкин, «воспоминание безмолвно предо мной свой длинный развивает свиток»... Когда я училась в средней школе и меня спрашивали, кем я хочу быть, отвечала: «Историком или лингвистом». Точно знала, что буду изучать гуманитарные науки, очень любила историю, литературу и словесность.

Но вот в девятом классе у нас начался предмет «Основы государства и права». Его вел прекрасный учитель, ветеран Великой Отечественной войны Александр Самуилович Орлов. Я, затаив дыхание, слушала, как он объясняет отличие обычного закона от Конституции, говорит о видах собственности (это в самом-то начале 80-х годов прошлого века, когда в нашей стране были

только государственная и общественная собственность, слово «частная» носило крамольный оттенок, а дом и кооперативная квартира скромно именовались «личной собственностью»!). Однажды, после того как закончился урок, на котором я отвечала у доски, он попросил меня задержаться и спросил, кем я хочу быть. Выслушав мой ответ, что историком или лингвистом, он мне сказал: «Идите, Наташа, на юридический факультет. Из вас получится отличный юрист». Александр Самуилович ослеп во время боевых действий, поэтому он не мог меня видеть, он только слышал мой голос и мои ответы на уроках. После этого разговора с учителем вопроса «кем быть?» для меня уже не существовало: я знала, что стану юристом и только юристом.

Поступив на юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, я четко осознала, что выбрала свою профессию правильно. Невозможно представить, с каким удовольствием я окунулась в учебу! Нас учили великолепные специалисты, каждый из которых был высочайшим профессионалом в своем деле. Имена преподававших у нас профессоров составляли цвет отечественной юридической науки.

С удовольствием вспоминаю лекции по истории государства и права России Олега Ивановича Чистякова, по гражданскому праву – Вениамина Петровича Грибанова, по уголовному праву – Германа Абрамовича Кригера. Изучала с огромным интересом все дисциплины юридического профиля, однако с особым нетерпением ждала курса по международному праву, который читал заведующий кафедрой, член-корреспондент Академии наук СССР профессор Григорий Иванович Тункин, ставший впоследствии моим научным руководителем в аспирантуре.

С момента моего прихода в группу специализации по кафедре международного права в 1986 году я не уставала учиться у Григория Ивановича не только самому предмету, но и умению ставить научную проблему, определять пути ее разрешения, нащупывать единственно верную конечную цель. Григорий Иванович – человек удивительной судьбы. Он родился в крестьянской семье в небольшой деревушке, расположенной на берегу Северной Двины в 1906 году. После окончания школы учился в Лесном техникуме, а затем приступил к работе в местном ведомстве. Работая таксатором в лесу, он во время длительных обходов лесных угодий учил французские слова, не думая в то время, что будет на международных конференциях делать доклады на французском языке. После окончания Московского юридического института и блестящей защиты кандидатской диссертации Григорий Иванович активно включился в научную и практическую работу, посвятив дипломатической службе долгих двадцать шесть лет, из которых с 1952 по 1965 год возглавлял Договорно-правовой отдел МИД СССР (ныне Правовой департамент МИД РФ), успешно защитив докторскую диссертацию в 1954 году. С 1965 по 1993 год Григорий Иванович бесценно возглавлял кафедру международного права на юридическом факультете МГУ, которая заслуженно считалась лучшей кафедрой в данной области юриспруденции во всем Советском Союзе.

Григорий Иванович был не только моим учителем международного права, но и учителем в жизни, являл собой пример беззаветного служения науке. Для того

чтобы быть учителем, совсем необязательно произносить слова: делай так, а не иначе. Достаточно просто показать ученику, что ты искренне заинтересован в его стараниях постичь науку и сказать свое слово; внимательно выслушать подчас наивные и смешные мысли ученика, дружески посоветовать что-то изменить в написанном учеником тексте. Назидательный тон и высокомерное отношение никогда не окажут того магического действия, какое могут произвести негромко сказанные слова скупой похвалы, лукавая искорка в глазах и, конечно, те короткие заметки на полях твоей рукописи, которые оставлены рукой учителя. Я отчетливо помню наши беседы с Григорием Ивановичем о международном праве, об ученых, его развивавших, о путях развития человечества (как это странно не звучало бы!) и той роли, какую международное право может сыграть, чтобы сделать мир лучше.

Спустя много лет я отчетливо понимаю, насколько прав был мой учитель, рассуждая еще в конце 80-х годов прошлого столетия о силе права и праве силы, насколько глубоки были его знания и предвидение хода событий. Именно Григорий Иванович помог мне выбрать тему моей кандидатской диссертации («Доктрина *rebus sic stantibus* в международном праве»), актуальность которой была подтверждена изменениями вселенского масштаба, потрясшими мир в конце XX века. Именно Григорий Иванович определил всю мою дальнейшую академическую судьбу, посоветовав вплотную заняться международным частным правом. Он первым почувствовал те глобальные изменения в международно-правовой области, которые тогда еще были призрачными. Он предвидел (теперь-то я это отлично понимаю) колоссальный рост влияния международного частного права в условиях нового миропорядка, что абсолютно точно подтвердили события первого десятилетия XXI века. Он полагал, что университетская международно-правовая школа позволит мне продолжить научные изыскания и в сфере международного частного права, с которым я связала свою судьбу и которым занимаюсь уже более двадцати лет.

Курс международного частного права нам читала Галина Кирилловна Дмитриева, женщина тонкого ума и потрясающей красоты. Я не пропустила ни одной лекции, тщательно записывая каждое слово, хотя справедливости ради должна отметить, что в силу сложности предмета не с первых занятий поняла его суть. Совершенно точно могу сказать, что любовь к той или иной деятельности во многом определяется не только ее характером, но и тем человеком, который с ней ассоциируется. Образ учителя влияет на отношение ученика к изучаемому материалу, дисциплина и учитель как бы совпадают, представляя собой одно целое. Может быть, потому я воспринимаю международное частное право как утонченный и красивый предмет, в котором нет ни жесткости уголовного права, ни строгости административного, ни властности конституционного. Теперь, спустя двадцать семь лет после того, как я впервые услышала слова «международное частное право», Галина Кирилловна – заведующая кафедрой международного частного права в Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина, а я – заведующая кафедрой международного частного права на факультете права Высшей школы экономики. Мы часто встречаемся на конференциях и заседаниях диссертационных советов, мы давно уже коллеги, но всегда Галина Кирилловна для меня – недостижимый образ просто потому, что она мой учитель. Странно устроена человеческая память. Я не помню многих моих однокурсников – ни их лиц, ни их имен. Однако я помню всех своих учителей – подчеркиваю: всех. Я сожалею, что могла рассказать только о самых-самых любимых учителях, определивших мой путь в профессии, но я хорошо помню всех.

Юриспруденция в целом – очень интересная, но весьма сухая материя. Жесткие формулировки законов, особенно уголовных, и скупые строки судебных приговоров не оставляют места для какого бы то ни было проявления чувств. Лишь такой поэт с пылающей душой, как Владимир Семенович Высоцкий, мог написать про Уголовный кодекс романтические стихи:

*И если мне нейдет и не спится*

*Или с похмелья нет на мне лица –*

*Открою кодекс на любой странице*

*И не могу – читаю до конца.*

*(Песня об Уголовном кодексе)*

Полагаю, что дочитать до конца Уголовный кодекс в один присест не удавалось никому, даже закаленному в судейско-следственных баталиях мужчине, тем не менее во времена моей учебы на юрфаке МГУ кафедрой уголовного права и криминологии заведовала восхитительная женщина, доктор юридических наук, профессор Нинель Федоровна Кузнецова. Уголовное право – безоговорочно епархия мужчин, а Нинель Федоровна не только серьезно занималась уголовно-правовой тематикой, но и возглавляла кафедру. Она читала нам курс лекций по криминологии, читала так увлекательно, ярко и эмоционально, что воображение оживляло текст книги родоначальника антропологического направления в криминологии и уголовном праве Чезаре Ломброзо «Преступный человек», напроць не рекомендованной для изучения и отрицавшейся советской криминологией. Именно Нинель Федоровна после длительного периода гонений на эту область исследований, когда криминология была объявлена лженаукой и находилась под запретом, подготовила и возобновила в 1964 году на юрфаке МГУ курс лекций по этой дисциплине. Нинель Федоровна была единственной женщиной в группе из пяти выдающихся советских юристов-криминологов, ставших лауреатами Государственной премии СССР в области науки в 1984 году (в нее также входили профессор И.И. Карпец, В.Н. Кудрявцев, А.М. Яковлев и А.Б. Сахаров) за разработку теоретических основ советской криминологии. Монография Нинели Федоровны «Проблемы криминологической детерминации» до сих пор является настольной книгой каждого юриста-криминолога.



Как удивительно порой бывает жизнь! Мы зачитываемся романами, которые суть всего лишь плод воображения их авторов, а сами не замечаем того, что жизненные обстоятельства вокруг нас гораздо более замысловаты, чем любые книжные сюжеты. Когда я училась на первом курсе юрфака МГУ, у нас был предмет «Логика» – предмет, всегда нужный и важный для каждого юриста. Лекции по этой дисциплине читал доцент кафедры логики философского факультета МГУ Анатолий Александрович Старченко. Отмечу, что сам он закончил юридический факультет нашего университета в 1950 году и был абсолютно погружен в проблематику логики, напрямую связанную с юриспруденцией. Огромное счастье, что Анатолий Александрович до сих пор трудится на этой же кафедре, уже будучи профессором, в преклонном возрасте, но сохраняя ясность ума и свежесть мысли. Так вот, помимо лекций у нас были и семинарские занятия. В половине групп нашего курса их вела аспирантка кафедры логики по фамилии Белова, а в других группах – аспирантка по фамилии Чёрная. С тех пор прошло тридцать лет. Зам. завкафедрой онтологии, логики и теории познания факультета философии НИУ ВШЭ, доктор философских наук, профессор Елена Григорьевна Драгилина-Чёрная вряд ли помнит скромную девушку с длинной косой, сидевшую на первой парте, а я, теперь уже доктор юридических наук, профессор и завкафедрой международного частного права Вышки, отлично помню круги Эйлера, которые Елена Григорьевна чертила на доске.

Я абсолютно убеждена в том, что именно мои учителя подвигли меня выбрать профессию преподавателя. Если дети являются воплощением родителей, то учителя живут в своих учениках. Прав был Корней Иванович Чуковский, написавший, что «в России надо жить долго, чтобы увидеть плоды своей деятельности». Может быть, когда-нибудь и наши ученики смогут вспомнить нас, своих учителей. Эта мысль греет душу, и, завершая свой рассказ, я хотела бы произнести давно написанные Николаем Алексеевичем Некрасовым слова: «Учитель! Перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени!»

# НИКОЛАЙ ФИЛИНОВ

## УЧИТЕЛЯ

---



Я учился в Московском инженерно-экономическом институте, который сейчас называется Государственным университетом управления, по специальности «Экономическая кибернетика». Я выбрал эту специальность потому, что еще в школьные годы мои интересы колебались между гуманитарными и математическими знаниями, а в ней я увидел некий синтез, баланс одного и другого. Будучи созданной в Советском Союзе, эта специальность сыграла особую роль в подготовке кадров и развитии науки. Например, у нас в Высшей школе экономики есть целый ряд коллег, которые также учились по этой специальности и являются сейчас известными учеными (например, заведующая кафедрой стратегического маркетинга профессор Ольга Третьяк и проректор Высшей школы экономики по учебной работе Сергей Роцин). Сейчас от этой специальности многие университеты отказываются, в Вышке ее нет, но она деградировала в значительной степени из-за своих достоинств. В советское время это было направление подготовки, наиболее близкое к западному пониманию экономической науки, так как оно было в наименьшей степени идеологизированным, в нем больше делался упор на математику. Оно прекратило свое существование в общем и целом

именно потому, что оказалось сугубо инструментальным направлением, методо-, а не предметноориентированным. Со временем оно начало уступать другим направлениям в области финансов, экономики труда, организации производства, которые, имея конкретное предметное поле для исследований, смогли развиваться, освободиться от идеологии и получить в свое распоряжение математический аппарат. Однако мне все же кажется, что в свое время открытие этой специальности в Советском Союзе было очень прогрессивным и важным шагом.

Предмет наших занятий в институте был связан с такими научными направлениями, как исследование операций, экономико-математическое моделирование и т.д. В частности, мы с коллегами пытались придумать новые методы решения задач оптимизации в экономике. О каких-то конкретных учителях тогда говорить было сложно. Я общался с разными людьми – кто-то на меня произвел сильное впечатление, кто-то нет. Своим наставником в широком смысле я бы назвал одного человека – многолетнего заведующего кафедрой экономической кибернетики МИЭИ-МИУ-ГАУ-ГУУ профессора Василия Ивановича Дудорина.

Мои взаимоотношения с ним были довольно своеобразными, потому что, строго говоря, я не был его студентом. Я был аспирантом на возглавляемой им кафедре, потом много лет, даже десятилетий, проработал там под его руководством. Этот период работы с ним я бы и назвал наставничеством. Хотя он не давал мне каких-то формальных уроков, но в ходе повседневной работы, при взаимодействии по очень разным поводам, мне кажется, он оказал заметное влияние на меня и моих товарищей, которые вместе со мной пришли тогда на эту кафедру.

Он был, что называется, *self-made man*, родом из очень простой семьи, который сам себя, как Мюнхгаузен, образно говоря, вытащил наверх, сделав успешную академическую карьеру: стал доктором наук, профессором, заслуженным деятелем науки, заведующим кафедрой. При этом он сохранил в известном смысле некую крестьянскую модель мышления: он всегда уделял больше внимания практической стороне исследования. Когда очередной аспирант делал доклад по теме своей работы, Василия Ивановича всегда интересовало, что это конкретное исследование может дать в плане организации производства, в совершенствовании повседневных процедур управления и т.д.

В.И. Дудорин задал определенную тональность в академической вузовской работе для меня и моих товарищей. Я думаю, что мы все хорошо помним заседания кафедры, которые проходили по средам два раза в месяц. Эти заседания были очень ответственными мероприятиями: опоздание на такое заседание было для аспирантов серьезным проступком (хотя все они тоже работали, как и нынешние аспиранты). В.И. Дудорин выстроил довольно четкую систему организации академической работы, в частности работы с аспирантами (а их было достаточно много — около тридцати человек). Аспирант должен был неоднократно выступать на заседании кафедры перед своими старшими коллегами по материалам, связанным с его диссертацией, начиная с утверждения темы (ему следовало доказать, что это интересно, что

это защищаемо и т.д.), плана диссертации и заканчивая, по сути, полноценной защитой своей работы. Таким образом, каждый выступал как минимум четыре раза. Это был очень хороший формат обучения, хорошая школа. Такая организация задавала довольно жесткие механизмы для контроля работы аспирантов.

Василий Иванович любил поговорить со своими более молодыми коллегами. Я провел довольно много времени в дискуссии с ним по широкому кругу проблем, начиная работой и заканчивая политикой. И пришел к банальному выводу, что в основе успеха научной деятельности лежит добросовестное отношение к работе. Иногда кажется, что человек, который достиг некоторых академических высот, дальше может стать свободным художником, вести себя чрезвычайно независимо и делать исключительно то, что ему хочется. Может быть, в каких-то ситуациях это и допустимо, но Василий Иванович Дудорин, будучи человеком в академической среде заслуженным и уважаемым, продолжал строго, скрупулезно следовать всем правилам и требованиям. Он вел себя так, как будто он ни в чем не лучше своих коллег. Трудился буквально до последних дней своей жизни.

Научным руководителем моей диссертации был доктор экономических наук, профессор Валерий Владимирович Капитоненко. Тогда он был доцентом, кандидатом наук, сравнительно недавно пришедшим работать на кафедру. Вообще, что касается работы над диссертацией, то тут надо сказать, что мои старшие коллеги создали мне все условия. Меня тогда погрузили в исследовательский проект, который выполнялся по заказу одного из министерств Советского Союза. В рамках этого проекта я мог собирать информацию и думать о практическом применении тех разработок, которые мы делали. Но дальше я в значительной степени был предоставлен сам себе, то есть работал над диссертацией вполне самостоятельно, так как, полагаю, старшие коллеги мне доверяли. То же можно было сказать и о других аспирантах.

Нас не «водили за ручку» и не рассказывали о том, что же нужно делать теперь (как часто приходится поступать с нынешними аспирантами). Мы обладали в этом плане определенной свободой, но, правда, должны были вписываться в общий контрольный механизм работы кафедры.

Сейчас, работая с нашими аспирантами, я, естественно, соотношу это с прошлым опытом. И здесь я могу отметить как некоторые наши преимущества, так и недостатки. Например, очевидным отличием является возросшая доступность информации, которая для советской эпохи была бы чем-то фантастическим. Например, то время, когда я учился, было эпохой ЭВМ, перфокарт, перфолент. Это был с технологической точки зрения совершенно другой мир.

Если говорить о недостатках, то мне все-таки кажется, что нам сейчас иногда не хватает организованности, ответственности. Наши нынешние аспиранты – свободные художники, ждущие вдохновения, они не умеют укладываться в конкретные сроки и не очень аккуратно работают над текстами. Кроме этого, они не имеют достаточного опыта научных дискуссий, а ведь это очень важный аспект, потому что всякое выступление аспиранта на кафедре – сложный барьер, который надо преодолеть. Когда ему говорят о проблемах и недостатках работы, он должен уметь защищаться, уметь отстаивать свою позицию, уметь вести научную дискуссию.

Сегодня основной вопрос заключается в том, как добиться большей организационной эффективности при очевидно большем уровне свободы, очевидно меньшей дистанции между руководителями и подчиненными и более плоских социальных структурах, чем это было прежде.

# АЛЕКСАНДР ФИЛИШОВ

## УЧИТЕЛЯ

---



Когда я познакомился со своим будущим учителем Юрием Николаевичем Давыдовым (1929–2007), я учился на философском факультете МГУ. В конце 70-х годов на факультете (и в особенности по моей специальности) программы были очень догматическими, а преподавание – низкокачественным. Страшно вспомнить, что тогда называлось там социологией и в какие учебные планы она была включена. У меня было ощущение, что я погибаю, что я совершил самую страшную ошибку в своей жизни, когда туда пришел. В то время мои старшие друзья начали сами и приохотили меня читать журнал «Вопросы литературы», в котором публиковались многие известные философы. Оказалось, что помимо официоза есть иная иерархия авторитетов, что читать надо Аверинцева, Гайденко, Давыдова. Летом 1978 года я запоем читал книгу Давыдова «Искусство и элита», открывшую мне целый мир западной мысли – от немецких романтиков до Адорно, к тому же написанную необыкновенно хорошо. Как студент, не так давно приехавший из провинции, я представлял себе автора каким-то небожителем, существом из другого мира, не имеющим ничего общего с унылыми и бессмысленными людьми, заполонившими факультет.

Каково же мне было узнать, что «небо не слишком высоко»: Давыдов работает в Институте социологических исследований АН СССР, да и живет неподалеку от нашего дома. В ИСИ тогда работал мой отец; страшно стесняясь и волнуясь, я совершил, пожалуй, самый важный поступок в своей жизни: попросил отца познакомиться меня с Давыдовым.

Я до сих пор не могу понять, почему он согласился иметь дело со мной всерьез – на первом этапе, конечно, он просто оказывал любезность коллеге по работе. Я же был совершенно зашоренным типом: ничего не знал и имел абсолютно несообразное представление о тех научных результатах, которых достиг к тому времени. Я хотел быть позитивным ученым, «социологом на предприятии», и на основе исследований открыть какой-нибудь социальный закон. Смущала меня лишь интеллектуальная низкопробность литературы, которую приходилось при этом читать. Я сказал Давыдову, что хочу почитать немецких авторов (у меня был хороший немецкий), «поставить себе мышление», а затем вернуться обратно и продолжить заниматься той же проблематикой, которой я занимался раньше.

Он на это ответил: «Знаете, есть в Германии такой социолог – Луман<sup>1</sup>. У нас им никто не занимается. Вот идите его и почитайте». Выходило так, что он с невинным видом, образно говоря, вывез меня на середину океана, не предупредив о том, что это – океан, и бросил там со словами: «Когда приплывешь, тогда и поговорим».

До этого я занимался теорией общественного мнения, и, увидев, что у Лумана есть статья «Общественное мнение», я решил ее для себя перевести, изучить и раскритиковать со свойственной мне, как мне казалось, гениальностью. Потом, когда я ее перевел и прочитал, я заплакал. У меня буквально были слезы, потому что я вообще ничего не понимал, ни одного предложения. С рукописью своего перевода и мучительной неспособностью что-то спросить я притащился к Давыдову. Он мне прочитал маленькую лекцию, дал какие-то книжки. Так и пошло у нас дальше. Под его руководством я написал курсовую, потом дипломную работу. Когда выяснилось, что университет не соглашается на то, чтобы он был моим руководителем в аспирантуре, я пошел в аспирантуру в Институт социологических исследований. Там мое обучение у него проходило по той же схеме: он советовал литературу, я исчезал на полгода, читал, потому что мне не о чем было с ним говорить, пока я не начитаю литературу.

Я уже упомянул, что жили мы близко друг от друга и часто добирались до работы вместе или вместе возвращались домой, он много ходил и во время переходов рассказывал о себе. Я помню кое-что до сих пор, хотя не поручусь за точность.

Давыдов был очень интересным человеком. В Саратове он закончил исторический факультет, но его больше интересовали философия и литература. Он работал в театре

заведующим литературной частью и даже написал пьесу по «Звездному мальчику» Оскара Уайльда. По ней был впоследствии снят фильм, который пользовался успехом и не забыт до сих пор.

Ему не давали заниматься философией в Саратове, и он отправился в Москву, решив для себя, как он говорил, что либо овладеет «Феноменологией духа» Гегеля, либо уедет обратно. Он приехал в Москву, поступил в аспирантуру и каждый день приходил в библиотеку Института философии и читал «Феноменологию духа». Через полгода к нему подошел человек и сказал: «Давай знакомиться. Я – Ильенков<sup>2</sup>». Так Давыдов вошел в среду молодых, ярких людей, которые оказали большое влияние на нашу философию. Конечно, воспоминания – вещь спорная, многие видят одни и те же события по-разному. Но есть и объективные вещи. Если сейчас вы откроете советское 14-томное собрание сочинений Гегеля, то обнаружите интересную вещь: практически все тома вышли в 30-е годы, и только четвертый том с «Феноменологией духа» вышел в 1959 году. Дело в том, что перевод этого текста сделал Г. Шпет, его расстреляли, и соответственно тогда, в 30-е, этот том издан не был. А в конце 50-х, когда выпустить его все же решились, предисловие поручили написать Давыдову, который тогда только закончил аспирантуру. Уже ясно было, что это восходящая звезда, и на первых порах карьера его развивалась стремительно.

Это была особая эпоха – расцвет не только мирового, но и отечественного неомарксизма. Давыдов тогда написал книгу, которая составила ему славу у нас в стране и (после того как ее стали переводить) определенную

---

<sup>1</sup> Никлас Луман (1927–1998) – немецкий ученый, один из выдающихся социологов XX столетия. Он является автором нескольких десятков книг и 250 статей по теории социального познания и системной теории общества, которые переведены на многие языки мира.

<sup>2</sup> Эвальд Васильевич Ильенков (1924–1979) – отечественный философ и психолог. Защитил докторскую диссертацию на тему «К вопросу о природе мышления». Он обосновал роль идеального в развитии личности, дал теоретическое описание индивидуального развития как формирования способности действовать в идеальном плане. Также он является автором выдающихся работ по диалектической логике.

известность за рубежом, – «Труд и свобода» (1962). Она до сих пор значится во всех больших обзорах неомарксистских концепций отчуждения.

В 1966 году вышла та самая, упомянутая раньше книга «Искусство и элита». В это время он приходит к пониманию того, что социология и социальная философия в его видении сливаются воедино. Он разрабатывает целую программу социологии искусства, и пропедевтикой к ней оказывается книга «Искусство как социологический феномен» (1968).

Когда началось диссидентское движение, Давыдов оказался среди так называемых «подписантов», протестовавших против судебных процессов над диссидентами. Все эти люди потом поплатились карьерой, а для него это закончилось строгим выговором с занесением в учетную карточку. Это было самое суровое, не считая исключения из КПСС, партийное наказание, которое нередко оборачивалось «волчьим билетом» при приеме на любую работу в научные и учебные заведения.

Он уцелел, однако у него произошел поворот в мировоззрении. Незадолго до того он побывал на Западе (если не ошибаюсь, в Западном Берлине). Там он застал студенческие волнения, которые произвели на него тягостное впечатление, беседовал с Адорно<sup>3</sup>, который, как я понимаю, тоже не вызвал у него особых симпатий. Пройдя сам через неомарксизм, продумав самостоятельно многое из того, что стало так популярно в те годы с подачи западных неомарксистов, он стал на долгие годы одним из ведущих критиков этого направления. «Критикуя их, – говорил он мне, – я во многом занимаюсь самокритикой». Первый поворот он совершил тогда, когда перестал строить все на Марксе и Гегеле, потому что в какой-то момент понял, по его словам, что «способен объяснить все» (это чувство нередко возникает в результате таких занятий). «Это было ужасно, – говорил он, – это – конец». Поэтому, даже притом что он обладал мощным систематическим умом, Давыдов

принципиально отказался от системостроительства в пользу исследования конкретного материала литературы, философии и социологии.

В 1970 году он совершает второй важный поворот – отказывается от «новой левой» ориентации. Сначала он делает важный доклад «Критика „новых левых“». Потом он пишет на эту тему статью, которую, как я понимаю, проклинает вся «прогрессивная» общественность. Отношение к Давыдову в философской среде ухудшается (я сам видел это негативное отношение в начале 80-х). Из Института истории искусств, где он заведовал сектором социологии искусства, ему приходится уйти, он находит место лишь в Институте социологических исследований. Вообще, это трудно себе представить в нынешнее время, но публикации и профессиональную судьбу Давыдова курировал специальный человек в ЦК КПСС (один из так называемых инструкторов, отвечавший за философию и социологию). Впрочем, это не всегда было ему во вред. В 1972 году произошла еще одна неприятная история, которая известна как разгром Института социологических исследований. В то время из института пришлось уйти очень многим, и предполагалось, что уволят и Давыдова. Руководство института хотело, чтобы Давыдов ушел сам, так как формальных причин для его увольнения не было. Поэтому для Давыдова были созданы невыносимые условия труда. Тогда сотрудников иногда отправляли на работу в колхозы и на овощные базы, и по велению руководства Давыдов вынужден был каждый день работать на овощной базе. Однако поскольку судьба Давыдова была в руках людей из ЦК, то в ЦК решили, что увольнять Давыдова не нужно, и он остался. Ему разрешили выпустить книгу, и он наконец защитил докторскую диссертацию. При этом довольно долго ему не позволяли создать свое подразделение. Поэтому, когда я после аспирантуры пришел к нему, у него была только никак не оформленная «группа Давыдова».

Конечно, все эти события сказались на его здоровье. Он постоянно боролся. Все мы часто работаем по ночам, но

---

<sup>3</sup> Теодор Адорно (1903–1969) – немецкий философ, один из главных представителей Франкфуртской школы, автор многих работ по проблемам культуры, искусства, литературы, теории познания, философии морали, социологии, музыкальной критики.

он работал ночи напролет и бодрствовал днем. Он ставил себе на ночь термос с кофе, выжимал туда лимон и работал. Это было еще до нашего знакомства, а когда мы познакомились, у него было больное сердце. Его заболевание называлось стенокардией покоя, то есть ему нельзя было сидеть или лежать, иначе мог случиться сердечный приступ. Он боролся с этим: много ходил, дома соорудил себе конторку, за которой он мог стоя печатать на машинке свои тексты.

Иногда складывалось ощущение, что нет ничего такого, чего бы он не преодолел. Это был феномен чистой воли. Он постоянно справлялся со все новыми вызовами.

В 1981 году он опубликовал книгу «Этика любви и метафизика своеволия», в которой, в частности, содержалась резкая критика Ницше. Она вызвала еще больший резонанс. Если раньше ему не могли простить критику «новых левых», то теперь не могли простить критику Ницше. Буквально через год в журнале «Коммунист» (журнал ЦК КПСС) появилась статья-донос, в которой книга Давыдова была подвергнута разгромной партийной критике.

Нужно понимать, что тот период был периодом «угара» советской власти. Тогда многие люди показали свою истинную сущность. Вообще каждому человеку иногда очень полезно стать объектом политического доноса. В этот момент многие человеческие и политические вещи проясняются раз и навсегда.

Тогда, однако, для Давыдова все закончилось благополучно. Как раз в самый судьбоносный момент умер генсек, ситуация изменилась, и никого уже не интересовал этот скандал.

Давыдов прекрасно разбирался в том, какие исследования проводятся на Западе в области теоретической социологии. Когда начинался какой-нибудь конгресс, то он тут же был на коне: выступал с докладами, выпускал новую книгу. Когда конгресс заканчивался, Давыдов вновь становился объектом давления, его пытались заставить заниматься тем, что было нужно только начальству. И так до следующего конгресса.

В таком режиме я просуществовал с ним какое-то время и считал это для себя огромным счастьем. Тогда же

благодаря ему я съездил на стажировку в Германию. К сожалению, когда я вернулся, наши отношения были далеко не безоблачными. Дело в том, что во время своего длительного обучения на Западе я много всего читал, многому научился. Я, может, и не стал умнее, но мой кругозор стал шире. Меня уже интересовали другие темы, тексты. В конце концов, я целый год посещал семинары Лумана, и это оказало на меня огромное влияние. Я понимал, что больше не могу быть ни в чьем фарватере. Сегодня труды Давыдова не пользуются популярностью, так как они были написаны в другую эпоху и для других людей, в то время, когда нельзя было высказаться напрямую. К тому времени, когда эпоха созрела для прямого высказывания, на которое он по всем своим дарованиям был способен, он отказался меняться вслед за эпохой. Он был чужд ей. Ему не нравилось засилье экономистов. У него было очень много иллюзий. Он верил, что когда экономисты потерпят неудачу, тогда настанет черед социологов. Он не мог понять, что экономисты никогда не проиграют. Вместе с тем он и в поздние годы написал несколько важных работ. Мне кажется, что реконструкция его философии как несостоявшейся системы, задуманной и исполненной как фрагменты большого диалога с великими, еще предстоит. Я бы сам с удовольствием занялся этим, но до сих пор не уверен, что дорос до понимания всего, что он нам оставил. Иногда бывает так соблазнительно думать, что ты «уже большой» и превзошел учителя. Но нет. Несколько его поздних работ – о книге М. Вебера «Аграрная история древнего мира», о полемике М. Вебера и Б. Кистяковского – написаны так, что для меня лично они остаются образцом научного стиля, недостижимой вершиной.

Мне очень жаль, что речь моя получается сумбурной. Через много лет я продолжаю относиться к нему с любовью и почтением и все же надеюсь, что его труды не утратили обаяния для читателя, а время некоторых из них еще придет.



# ВЛАДИМИР АВТОНОМОВ

## УЧИТЕЛЯ

---



Начинать рассказ о моем обучении и моих учителях, наверное, лучше со школы. В школе я был круглым отличником и, как все золотые медалисты, имел большие проблемы с выбором. Вроде бы все неплохо давалось, но при этом трудно было что-то выбрать. Я всегда интересовался различными странами, географией, экономической географией, поэтому для меня стоял вопрос: либо географический, либо экономический факультет МГУ. Все решило объявление в газете: «Объявляется набор в экономико-математическую школу при экономическом факультете МГУ». В итоге я поступил в ЭМШ. Там нам преподавали студенты экономического факультета МГУ. На этих занятиях они учили нас в основном тому, что было интересно им самим. Мне понравились их занятия. Захотелось учиться там же, где учились они.

Я благополучно поступил на экономический факультет, кафедру экономики зарубежных стран по специальности ФРГ, потому что знал немецкий. На втором курсе, когда пришло время писать курсовую, ко мне подошел в коридоре Вадим Викторович Иванов, который тогда был директором ЭМШ, и спросил, у кого я пишу курсовую. Я назвал ему имя профессора с моей кафедры.

«А почему не у Энтова?» – задал он вопрос, на который я не смог дать ответ, потому что не знал, ни кто такой Энтов, ни почему у него надо писать курсовые. Но в итоге я воспользовался советом и познакомился с Револьдом Михайловичем Энтовым. Он тут же дал мне задание – написать работу про временную структуру процентных ставок. Тема была экзотической, так как понятно, что на втором курсе мы никакого понятия об этом не имели. Но что-то написать на этот счет мне в конце концов удалось.

С тех пор Револьд Михайлович стал моим научным руководителем и до сих пор остается единственным учителем на всю жизнь в области экономической науки. После моего обучения он взял меня на работу в Институт мировой экономики и международных отношений, где руководил сектором.

Вообще учеников у него было много. Директором института, академиком Иноземцевым Револьду Михайловичу был дан карт-бланш: он имел право выбирать себе сотрудников в свой сектор, но за это должен был писать для дирекции большое количество записок на разные темы.

Это были в основном записки в ЦК, в Совмин о том, как реально устроена западная экономика, западная экономическая мысль и т.д. В этой ситуации он всегда старался аккуратно держаться в рамках системы. При этом всегда было, конечно, видно, насколько много он знает, как много понимает из того, что находится за пределами дозволенных рамок. Это можно было прочувствовать в личных беседах с ним и на его семинарах. На заседаниях в Институте мировой экономики было заметно, что другие люди побаивались его эрудиции, его научной строгости. Он был грозой ученых советов.

Револьд Михайлович выдавал нам задания без оглядки на наши индивидуальные способности, особенности, наши интересы. Просто он выбирал какие-то проблемы, которые были не решены в мировой науке, и бросал нас в этот океан, словно говоря: «Давайте плывите». Конечно, он рекомендовал нам какие-то книжки на английском языке, а дальше мы уже сами барахтались в этом океане.

У Револьда Михайловича была очень высокая планка относительно того, что он считал научной работой, поэтому нам приходилось довольно трудно. Планка эта устанавливалась не по отечественным нормативам, а в ориентации на мировую науку. Он считал, что мы должны писать так, чтобы нашу работу можно было опубликовать в хорошем американском экономическом журнале. Эта планка и сейчас малодоступна для российских экономистов, а тогда, в 70-е годы, тем более. Некоторые ломались на этом пути, бросали, уходили в другие области.

Написание кандидатских диссертаций у нас в среднем уходило десять лет. При этом тексты переделывались по нескольку раз, нещадно критиковались, и в первую очередь самими же коллегами по сектору. То есть у нас был гамбургский счет – мы друг друга не щадили. Эти обсуждения были по-настоящему жестокими. После этого терялась вера и в себя, и в свои перспективы, поэтому затем приходилось еще долго психологически восстанавливаться. Тем не менее многие из нас добились заметных успехов.

Так, например, Леонид Маркович Григорьев работает сейчас заведующим кафедрой мировой экономики в Вышке, Наталья Андреевна Макашева – на кафедре экономической методологии и истории, а также является заведующей отделом в ИНИОНе. К числу учеников Энтова также относятся Марк Юрьевич Урнов, научный руководитель факультета политологии, и, ныне, к сожалению, покойный, Андрей Владимирович Полетаев, основатель ИГИТИ и один из основателей нашего исторического факультета. Это разные, но очень яркие люди, которые, видимо, за свою яркость и были выбраны Револьдом Михайловичем.

Институт мировой экономики в те времена был своего рода гайд-парком российской науки, потому что от него ЦК требовал реальной оценки положения дел на Западе и взамен предоставлял некоторую свободу. Можно было свободно читать всякие спецхрановские журналы, западные книжки и относительно свободно изъясняться. Поэтому в тогдашнем научном пространстве ИМЭМО был на либеральном фланге. В этом плане он сильно отличался, например, от Московского университета, где преобладали в большей степени консервативные настроения, и от Института экономики.

Вообще экономическая наука в то время была весьма любопытной, специфической областью знания. Главной ее функцией оставалась, конечно, апологетика. Прежде всего надо было обосновать, почему у нас все хорошо и правильно, а на Западе все плохо и неправильно. Конечно, и среди экономистов, занимающихся западной экономической мыслью, преобладали солдаты идеологического фронта, которые не понимали толком, что они критикуют. В ИМЭМО была несколько другая ситуация. Мы могли свободно изучать, анализировать, излагать западную экономическую мысль и при этом не обязательно с самого начала утверждать, что все это – буржуазная апологетика (как это часто делали люди, например, в МГУ). Конечно, надо было доказывать, что марксизм во всем прав, что общий кризис капитализма продолжает углубляться.

Во все книжки про западную экономику вставляли так называемую главу о «слезах рабочего класса» и об альтернативе, которую предлагает соответствующая компартия. Без этого просто нельзя было выпустить книгу. Но при этом в изданиях было много фактов о реальной жизни, реальной экономике, реальных цифр. Такого в книжках других исследователей не было.

Мы, в частности, впервые в Советском Союзе издали тексты многих западных экономистов. Мы, молодые со-трудники сектора, их переводили, а старшие товарищи редактировали. Тогда советский читатель впервые получил возможность прочесть то, что на самом деле писали западные экономисты.

Естественно, в стране главенствовала политическая экономика социализма (весьма странная апологетическая наука), которая преподавалась во всех без исключения университетах. Но были и такие оазисы, как ИМЭМО и ЦЭМИ (там люди прятались от идеологии за математикой), другие занимались практикой планирования и т.д. Я считаю, что история советской экономической науки заслуживает особого изучения. Это действительно нечто специфическое, то, чего не было в других странах и в другие времена.

Нужно сказать, что наша группа считалась самой умной даже на фоне всего института (уж не знаю, по праву или нет). Однако лично моя карьера не сразу сложилась удачно. Я перебрал несколько исследовательских тем, и все они были мне как-то не по душе. Экономическая наука казалась мне слишком безличной, что ли. В то время в институте мы много чем занимались – например, строили модель экономики США. Это было еще в те времена, когда, собственно, современных компьютеров не было, а были только те, которые занимали целый этаж и питались перфокартами. Но однажды один из моих коллег, Анатолий Филиппович Кандель, который теперь работает в Колумбийском университете, дал мне почитать книжку. Она называлась «Психологическая экономика», а автором ее был американский экономист Джордж Катона.

Книжка меня очень заинтересовала, так как в ней давался ответ на некоторые мои вопросы. В ней утверждалось, что между экономическими переменными есть промежуточная фигура — человек, который как-то воспринимает ту или иную переменную (скажем, доход), и это восприятие определяет его дальнейшее поведение (например, потребление или сбережение). На это влияют его психологические качества, его ожидания, склонности, волны оптимизма и пессимизма.

Эта идея о том, что человек в экономике есть, но просто иногда надежно спрятан, не всегда выводится экономистами на свет божий. Меня это очень увлекло. Я начал заниматься чтением книжек по психологической экономике, написал в конце концов кандидатскую диссертацию, которая называлась «Критика западных психологических теорий экономического цикла». В этой диссертации я писал, что экономический цикл – это такая область, где предпосылки рациональности малоприменимы. Это неравновесный феномен, который связан с психологией, с взаимодействием людей.

Эта тема была моим сугубо самостоятельным выбором, и Револьд Михайлович, надо отдать ему должное, никак мне в этом не препятствовал. Главным его вкладом в диссертацию была фраза: «Я вас больше читать не буду». Когда он так говорил, надо было просто от радости прыгать до потолка. Это была его лучшая похвала, которая означала, что текст готов и он диссертателен.

Я не могу сказать, что Энтов как-то много со мной работал над этой темой. Гораздо важнее для меня был тот стандарт серьезного отношения к науке, который он нам прививал. С тех пор, когда мы что-то пишем или говорим, мы стараемся очень серьезно к этому относиться. Это чувство ответственности было у него, я бы сказал, даже в несколько гипертрофированной форме — настолько жестко он относился к самому себе и своим статьям. Он очень мало их писал, на мой взгляд, он мог бы написать намного больше. Наверное, он является самым эрудированным экономистом в нашей стране.

Он прекрасно знает и теорию, и факты. Однако он был настолько требователен к себе, что выпускал текст только тогда, когда был на 200 процентов в нем уверен.

Что касается нашей с ним работы над моим текстом, то тут мне больше всего запомнилась его манера редактирования. Когда он редактировал научную книгу, наши труды, наши диссертации, это надо было видеть. Повторюсь, что в те времена еще не было компьютеров, то есть нам приходилось резать и клеить наши тексты. В результате отредактированная Револьдом Михайловичем страница представляла собой интересное зрелище. Когда у него был юбилей, мы создали музей Револьда Михайловича Энтова, где, в частности, разместили такую страницу. На ней практически все было зачеркнуто, переписано, переставлено и т.д. Однако это была очень хорошая школа работы над текстом.

В плане содержания работы он обращал наибольшее внимание на обоснованность. Если какое-то высказывание было недостаточно обосновано, Револьд Михайлович мгновенно реагировал, и провести его было невозможно. Легковесных обобщений он не терпел.

После защиты диссертации из ее первой главы, по сути, выросла моя дальнейшая работа, так как меня увлекала идея о том, как развивалась модель человека на протяжении всей эволюции экономической науки. В 1993-м и 1998-м я выпустил две книжки на эту тему, за которые мне дали академическую премию имени Варги и избрали членкором. Докторская диссертация тоже была посвящена модели человека в экономической науке. Здесь я уже занимался методологией, историей экономической науки.

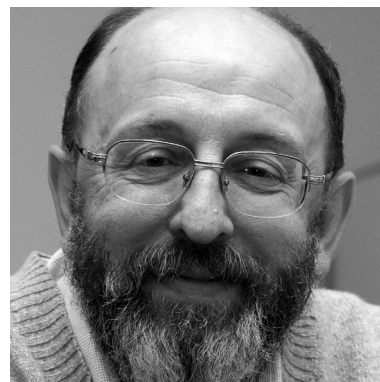
Вскоре я пришел в Вышку. Здесь я начал преподавать на кафедре экономической методологии и истории. Сначала я преподавал на полставки, а потом Ярослав Иванович Кузьминов пригласил меня на полную ставку и на должность декана факультета экономики.

Если говорить о том, что еще из того, чему нас учил Револьд Михайлович, я использую до сих пор, то это прежде всего стремление посмотреть все, что написано по исследуемой проблематике. Нужно было обязательно быть в курсе всего: в курсе литературы, новых статей, новых тем. Мы отставали, не могли за ним тянуться, потому что у него талант и феноменальная работоспособность. Но я до сих пор знаю, что если я за что-то берусь, то мне необходимо все прочитать и узнать об этом, сколько возможно.

# СЕРГЕЙ ЛАНДО

## УЧИТЕЛЯ

---



Моя мама всю свою жизнь была учительницей математики, проработала больше пятидесяти лет в Мотовилихе – рабочем районе Перми. Дома я с детства был окружен книжками по математике, и мне было интересно решать задачи. Классе во втором или третьем я начал проверять домашние работы маминых учеников – восьми-девятиклассников. Поэтому другого пути, кроме как пойти в математику, у меня не было. До 9-го класса я учился в английской спецшколе, потом перешел в физико-математическую школу № 9, но не в математический класс, а с уклоном в физику. Это было связано с тем, что, когда я поступал в 18-й Колмогоровский интернат, меня не взяли и я считал, что плохо сдал физику. Поэтому я решил, что для меня важнее физику подучить, ведь математику я и так знал хорошо. Математику там преподавала замечательная учительница Галина Самойловна Царева, ей благодарны многие поколения выпускников.

Вопроса, куда идти учиться дальше, для меня не существовало – конечно, на мехмат, в этом я был уверен до самого последнего момента. Но, получив извещение о том, что, как запасной участник команды СССР

на Международной математической олимпиаде, я на мехмат зачислен, тут же захотел пойти в Физтех. И тогда я отправил свою маму в Министерство образования, чтобы она договорилась и меня приняли теперь уже в Физтех. Она отправилась договариваться, но в министерских коридорах встретила какого-то мудрого чиновника, который объяснил ей, что этого делать не надо. Он, видимо, нашел какие-то убедительные слова, сказал, что сына ее приняли в замечательный университет с богатейшими традициями, на прекрасный факультет. В общем, не ищите от добра добра, пусть там и учится. Я воспринял это известие совершенно спокойно и, когда начал учиться на мехмате, вовсе об этом не пожалел.

Не могу сказать, что я быстро нашел себя, свое научное направление: я учил в математике самые разные вещи, не мог определиться. Как я сейчас понимаю, учился я не очень правильно – за время обучения можно было получить гораздо больше. Так что учиться мне нравилось, но все-таки настоящее обучение началось, когда я оказался в аспирантуре. Если говорить о роли учителя в жизни ученика, студента, то я люблю повторять историю, которую рассказывал Александр Николаевич Варченко.

Он был одним из первых выпускников Колмогоровского интерната. Надо сказать, что первые ученики интерната очень много и плотно общались с Андреем Николаевичем Колмогоровым даже после того, как заканчивали интернат и поступали в разные университеты. На мехмате после второго курса происходит распределение по кафедрам, и Варченко радостно пришел к Колмогорову и сказал: «Андрей Николаевич, я собираюсь пойти на кафедру общей топологии, заниматься перистыми пространствами – это совершенно замечательная наука, она очень быстро развивается. Это все так красиво и так интересно!» На что Колмогоров ему ответил: «Саша, совершенно неважно, чему учиться, важно – у кого». После этого Варченко пошел спрашивать у старшекурсников, кто считается хорошим научным руководителем. Своевременно найти, у кого учиться, чтобы это лучшим образом соответствовало интересам студента и между учителем и учеником установилось взаимопонимание, – это, наверное, самое трудное и одновременно самое важное в студенческой жизни. У меня это получилось далеко не сразу.

А вот преподавать я начал рано. Со второго курса я, с подачи Николая Николаевича Константинова, начал работать с восьмиклассниками маткласса 57-й школы, это был один из первых наборов. Почему мне этого хотелось, почему это было интересно? Со школьниками меня заставляло возиться то, что есть математика, красивая и интересная; есть люди, которые готовы эту красоту воспринять, – и у меня было совершенно естественное желание им ее передать. Как и все студенты, я был неопытным преподавателем и, скорее всего, преувеличивал собственную способность доносить красоту математики. Из рук новичка все выходит в несколько исковерканном и искаженном виде, что частично искупается желанием вкладываться в работу и готовностью общаться со школьниками. А понимать их мне и моим товарищам тогда было не очень сложно: мы же сами были недавними школьниками и делали то, чего еще не так давно ожидали от своих учителей. Поэтому все выходило очень естественно, мне это нравилось, и все годы учебы в университете я работал в школе.

После окончания мехмата я хотел поступать в аспирантуру, но меня туда не взяли – комитет комсомола не пропустил. Тогда существовали две инстанции, которые решали, кому идти в аспирантуру, а кому нет, сразу после окончания мехмата – комитет комсомола и партком. Они как-то разделяли между собой эти обязанности – кто кого не пропускает. Мне достался комитет комсомола, он не дал мне рекомендации, и в аспирантуре я не остался. Вернулся в Пермь и там проработал четыре года. Этим временем я и воспользовался, чтобы обрести подходящего мне научного руководителя. Тогда я довольно часто бывал в Москве и в один из таких приездов набрался храбрости и подошел к Владимиру Игоревичу Арнольду, потому что снова собирался поступать в аспирантуру и знал, что у Арнольда всегда было довольно много аспирантов. Я попросил его дать мне задачи, он несколько задач написал, и одну из них я решил. После этого он дал согласие взять меня к себе в аспирантуру. В тот момент я, пожалуй, еще не осознавал, какой это был подарок судьбы – работать с Владимиром Игоревичем. Но чем дальше, тем больше я понимал, насколько это замечательно и насколько правильным был сделанный мною выбор. Вот тут-то и началось настоящее обучение математике. Это обучение состояло даже не столько из занятий, семинаров, слушания арнольдовского курса, сколько из общения с участниками семинара, просто разговоров о математике. Было очень интересно говорить о том, кто чем занимается, кто какие задачи решает. Собственно, так научение и происходило, и, видимо, так оно и должно происходить. Большинство участников семинара были старше меня, были и младшие, начиная с первокурсников, которые тоже участвовали в семинаре Арнольда. Учиться можно и нужно было у всех. Я старался так и поступать, осознавая, сколь многого я еще не знаю, как много еще предстоит выяснить и как много требуется. С другой стороны, несмотря на недостаток знаний, можно было решать те задачи, которые давал Владимир Игоревич. Как правило, у меня ничего не получалось, но порой какие-то проблески возникали, и движение вперед, несомненно, было.

Арнольд в совершенстве владел искусством формулировать задачи, которые были содержательными и выводили на передовые позиции в науке. При этом изначальные формулировки могли быть совсем простыми и их понимание не требовало каких-то обширных знаний. Задачу в такой формулировке можно было объяснить студенту второго и даже первого курса, чтобы человек понял и мог приняться за решение. Очень важно, что Арнольд, формулируя каждую задачу, имел в виду не только непосредственно ее, но и ту ветвь теории, в которую могло развиваться ее решение. Более того, это было направление науки, которое создавалось здесь и сейчас. Большинство участников семинара работали над кругом задач, связанных с теорией особенностей, которая в тот момент только выстраивалась. Арнольд отдавал основные силы науке и исследованиям, а социальная жизнь была у нас не очень сильно развита. Правда, каждую зиму устраивались лыжные походы километров на шесть-десять-восемьдесят, но я в них не участвовал. Не потому, что не любил: просто жил в общежитии, и лыжи некуда было приткнуть, чтобы они там хранились зимой и летом. Не слишком Арнольд вкладывался и в личное общение. Иногда я приезжал к нему на дачу, чтобы поговорить про математику, но это случалось нечасто. А вот семинар, общение с его участниками – это было важнейшей частью жизни в течение десятилетий. Среди учеников Арнольда у меня тогда появилось много друзей, и между собой мы общались далеко не только на семинаре.

Не стоит думать, что только из математики состояла моя жизнь в период активного учения, вне математики жизнь тоже была. На момент поступления в аспирантуру у меня уже родилось двое детей, и мы всей семьей жили в комнате в общежитии. Аспиранты мехмата жили в Главном здании, и иногда удавалось получить однокомнатный блок, без соседей, что по тем временам казалось просто роскошью. А уж как территориально было удобно жить в том же здании, где учишься! Подрабатывал я там же – ночным дежурным по этажу.

После аспирантуры нужно было искать работу, но без московской прописки не было никаких шансов остаться в Москве. Не могу сказать, чтобы я активно занимался поисками работы, но какие-то действия предпринимал. В тот момент (в 1984 году) в Переславле создавался филиал Института проблем кибернетики Академии наук СССР, и я оказался в этом филиале, который потом преобразовался в Институт программных систем Академии наук. В этом институте осел не только я, но и многие другие ученики Владимира Игоревича, поэтому мы там устраивали свой семинар, а каждый вторник ездили в Москву для участия в семинаре Арнольда. Переславль находится в 130 километрах от Москвы, и мы ни на минуту не выпадали из жизни московского семинара. Мы чувствовали себя частью этой научной жизни, понимали, что там происходит, какие задачи обсуждаются, и сами думали над ними.

У нас было представление о том, как нужно учить математике, и уверенность в том, что мы умеем это делать. Поэтому почти все мы не только учились сами, занимались наукой, но и преподавали в разного рода школьных кружках. Иногда работали с совсем маленькими детьми, иногда с ребятами постарше. Потребность в преподавании никуда не девалась, где бы мы ни оказывались. Ведь преподавание математики – это хорошо выстроенная, чрезвычайно осмысленная система, которая давно существует в нашей стране. Олимпиады и кружки в Питере начались еще до войны, а в 1960-е годы они вошли и в московскую жизнь, а потом распространились по стране, и всем этим стали заниматься сотни людей. Кто-то сейчас получает за это деньги, кто-то не получает. В те времена, когда я этим занимался, денег не получал никто, а ведь это была целая сеть и люди в ней общались не только с учениками, но и между собой. И ученики общались и общаются не только с учителями, но и между собой, обсуждали и обсуждают задачи, думают над их решением, и это очень много дает и учителям, и ученикам. В то время не было Интернета, других современных способов коммуникации, но тем не менее общение происходило, и очень активно.

Мы учили ребят решать олимпиадные задачи и задачи, которых в школе не было, потому что они не относятся к программе. А в итоге оказалось, что это не только знакомо с наукой, но и привлекательная для всех участников форма содержательного общения. Интересно работать с детьми, которые слушают, интересно придумывать, как смысл математики до них донести, как добиться понимания. А так как оказалось, что это интересно очень большому количеству людей, десятки тысяч школьников приходили и приходят на эти занятия, а сотни молодых математиков, студентов с ними там занимаются, получая от занятий немалую пользу.

Когда я начал учить математике студентов в вузе, то методически все основывалось на практике преподавания в кружках и опыте исследовательской работы. Я упоминал уже, что, придя на семинар Арнольда, понял, как многого не знаю и сколько мне предстоит получить просто в процессе обучения. Я многого не знал, потому что меня в университете этому не учили. Есть какие-то базовые вещи, которые следовало бы объяснять, но этого не случилось. Вот и хотелось это наше понимание, сложившееся на основе практики работы со школьниками, реализовать и материализовать в обучении студентов. Поэтому мы взялись за создание Независимого университета. И тут в окружении Константинова, которого поддержал Арнольд, нашлось несколько десятков людей, которые были готовы этим заниматься. Кто-то из создателей Независимого уехал из страны в начале 90-х, но потом ядро стало постоянным, и оно больше не размывалось и только пополнялось новыми людьми. Люди видели, что к ним приходят студенты, которым интересно учиться, и в Независимом можно попробовать то, что ты считаешь правильным. И это было важно. С этими же идеями мы и сюда, в Вышку, пришли создавать факультет.

Мы стремимся к тому, чтобы не замыкаться на московских школьниках, чтобы к нам на факультет приходили студенты и из других мест. Конечно, в первую очередь это оказываются ребята, которые занимались в математических кружках и участвовали в олимпиадах.

В большинстве случаев этот приход для них естественен: на математическом факультете они попадают в знакомую среду, не возникает психологического барьера. И, разумеется, многие из них идут преподавать в школу, как когда-то туда шли мы. Так что эта система не только живет, она еще и развивается: в ней заложен потенциал самовоспроизводства. Люди, которые прошли через эту форму общения, испытали на себе этот способ обучения, даже уходя в другую область, должны чем-то ее заместить – без нее им всегда будет чего-то не хватать. А средств замещения совсем не так много, поэтому многие в эту систему потом и возвращаются. Для них необходима именно эта среда, это внутреннее ощущение. Иногда такая потребность формулируется явно – как необходимость отдать долг своим учителям. И у меня тоже есть такая настоящая потребность. Ведь меня когда-то научили видеть красоту математики, и я должен эту способность передавать дальше, потому что осознаю свои обязательства перед теми, кто меня учил. Я считаю, что это естественная преемственность.

Почему такая разноуровневая система, в которой значительная часть людей играют не одну какую-то роль, а бывают одновременно и учителями, и учениками, – очень устойчивая система – сформировалась и живет именно в области преподавания математики? Почему в других науках такого нет? Тут очень важно, что если у вас есть лист бумаги и карандаш, то этого уже достаточно, чтобы начать преподавать математику, – ну и головы, и желание тех, кто учится, и тех, кто учит. Но не только в этом дело. Как-то так сложились обстоятельства, что нигде ничего подобного больше нет: ни в Штатах, ни во Франции, ни в Израиле, ни в Швеции. В эти страны уехало много российских математиков, и они попробовали воспроизвести эту систему там. Отдельные очаги удавалось поддерживать в течение какого-то ограниченного срока. Однако нигде система кружков, сложившаяся в России, не получила широкого распространения. А в России она продолжает жить и развиваться.



# ЕЛЕНА ДРАГАЛИНА-ЧЁРНАЯ УЧИТЕЛЯ



Я получила философское образование в разгар застоя, что само по себе трудно признать удачным началом. Как для жизни, так и для мемуаров. Невольно напрашивается жанр «чернухи» в стиле позднего советского кинематографа, триллера об интеллектуальном выживании в неадекватных условиях. Я, напротив, хочу рассказать не обо всем известном засилье идеологии в советской философии и не о тех причудливых формах, которые на своем излете оно принимало, а о людях, которые научили меня любви к мудрости.

Философия началась для меня с моей мамы — Антонины Николаевны Чёрной, которая была не столько ученым, сколько замечательным преподавателем. Она была предана философии, любила своих далеких от гуманитарных интересов студентов Московского института стали и сплавов, и они отвечали ей взаимностью. Моя мама закончила философский факультет МГУ в сталинские времена. Небольшая деталь ее научной биографии: она защищала диплом о сущности трагического в поистине трагикомических условиях. Советская философия тех лет исключала трагическое при социализме по определению. Юная студентка все же отважилась

выдвинуть рискованную гипотезу о возможности трагических конфликтов при социализме. Защита прошла блестяще, но лишь благодаря тому, что в день защиты передовица «Правды» наконец-то признала эту возможность. Кстати, мама не советовала мне поступать на философский факультет именно из-за его идеологической нагруженности. И я колебалась между психологией и лингвистикой. Но все же и та и другая отпугивали меня своей эмпиричностью. Я выбрала «платоновские небеса» философии и никогда не жалела.

Уже на философском факультете МГУ я столкнулась с выбором между историей философии и логикой. Победила логика. Наверное, сказалась моя любовь к математике и то, что математические стены эзотерического в его идеологической нейтральности логического сообщества надежно защищали от профанного идеологического окружения. В логике и логиках я нашла поразительное по тем временам сочетание свободы и ответственности. С одной стороны, не только идеологически, но и онтологически нейтральная логика предоставляла небывалую свободу виртуальных путешествий по возможным мирам, конструирования дедуктивных систем и теоретико-модельных онтологий.

С другой стороны, методологическая безопасность и теоретическая плодотворность такого конструирования обеспечивались лишь ответственным, рефлексивным отношением к его предпосылкам. Именно благодаря своим учителям я поняла, что пресловутое занудство логиков — прямое следствие этой ответственности. Мои учителя, веселые и увлеченные люди, показали мне, что философская логика как прояснение базисных понятий — не унылое буквоедство архивариуса, а творческий проект. Моими главными учителями в логике были Елена Дмитриевна и Владимир Александрович Смирновы — семейная пара логиков, сыгравшая, без преувеличения, ключевую роль в судьбе философской логики в России. Мне посчастливилось прослушать все курсы, которые они читали на философском факультете МГУ, а Елена Дмитриевна была и остается моим научным руководителем. Именно благодаря их курсам, научившим меня формальным методам современной логики, я поняла, что эти методы не являются самоцелью, а проясняют фундаментальные философские дихотомии: аналитическое и синтетическое, априорное и апостериорное, аподиктическое и контингентное, рациональное и иррациональное, истинное и ложное, наконец. Именно в открытом для учеников доме Смирновых на Гоголевском бульваре мы учились не только теории доказательств у Владимира Александровича и логической семантике у Елены Дмитриевны, но и стилю научного общения. Именно здесь формировалось то, что называется научной школой. Благодаря Владимиру Александровичу и Елене Дмитриевне я узнала, что такое принадлежность к научной школе: опыт, который выпадает на долю не каждого ученого. Огромной заслугой Владимира Александровича было и то, что благодаря его самоотверженной административной деятельности советское логическое сообщество открылось мировому. Мне запомнился исторический прием, организованный в доме на Гоголевском после Московского конгресса по логике, методологии и философии науки, когда на каждый квадратный метр дома Смирновых приходилось по ученому мирового уровня. После этого приема многие аспиранты — мои сверстники — уехали. Навсегда...

Но были и другие последствия этой открытости. Например, на советско-финских коллоквиумах по логике, организованных Владимиром Александровичем, я познакомилась с выдающимся логиком современности Яаакко Хинтиккой. Проблематика и стиль работ Хинтикки оказали на меня столь значительное влияние, что я отважусь назвать его своим учителем, хотя мы и общаемся с десятилетними паузами. Смерть Владимира Александровича стала невосполнимой потерей для отечественной логики. А Елена Дмитриевна и сейчас остается главой российской семантической школы, пишет статьи и читает лекции на философском факультете МГУ, являя пример творческого долголетия, человеческой стойкости, верности себе и науке.

С большой теплотой и благодарностью я вспоминаю своих ушедших учителей — Евгения Казимировича Войшвилло и Вячеслава Александровича Бочарова. Их объединяла неиссякаемая, какая-то юношеская любовь к логике, которой они буквально заражали учеников. Они и сами никогда не стеснялись учиться. Как-то Евгений Казимирович признался, что на сегодняшнем занятии он был всего лишь «на ночь» умнее своих учеников. Как часто я вспоминаю это на своих собственных лекциях... Обычной реакцией Вячеслава Александровича на представленный доклад или текст (по крайней мере мой) было: «Ничего не понимаю!» И поскольку это его «непонимание» было заинтересованным и продуктивным, оно заставляло прояснять, уточнять, доказывать — прежде всего для себя.

Специализируясь по кафедре логики, я сохраняла интерес и к истории философии, в особенности современной. Особую роль в поддержании этого интереса сыграл, безусловно, молодой преподаватель, который вел в нашей группе семинары по зарубежной философии XX века, — Алексей Михайлович Руткевич. Он будто бы приходил на наши семинары «оттуда», с испанской газетой, со своей собственной интерпретацией, глубокой и ироничной. В немалой степени нашим успехам в изучении современной зарубежной философии способствовала атмосфера всеобщей влюбленности в преподавателя, царившая на семинарах.

Моим научным консультантом в работе над докторской диссертацией, посвященной формальным онтологиям, была Людмила Александровна Микешина. Она поддержала меня в трудные годы и расширила мои профессиональные горизонты. И сейчас Людмила Александровна — наш крупнейший эпистемолог, ее работы всегда раскрывают парадоксальные ракурсы известных проблем, вовлекая в обсуждение новые, неожиданные имена.

В заключение мне хотелось бы сказать еще об одном человеке, которого я не решусь назвать своим учителем в профессиональном смысле, но который, конечно же, оказал огромное влияние на мое отношение к науке. Это мой муж — Альберт Григорьевич Драгалин. Альберт был выдающимся математиком и логиком. Ему очень повезло с учителями. Среди них были основоположник советской школы конструктивной математики Андрей Андреевич Марков и самый, вероятно, известный российский математик Андрей Николаевич Колмогоров, в соавторстве с которым Альберт написал классический учебник по математической логике. Благодаря Альберту я перестала испытывать священный трепет гуманитария перед математиком. Я увидела, что математики — это не особый сорт людей, получающих через озарения «результаты в чистом виде». Я увидела, что даже исключительный талант не освобождает от каждодневного (и радостного!) труда, что самое главное — это увлеченность, любопытство, оптимизм, неутомимый поиск истины и, я бы даже сказала, любовь к жизни. Мне запомнился один наш разговор. В окно упал солнечный луч, и Альберт спросил меня, понимаю ли я, почему он упал именно так, под таким углом и т.п. Я ответила, что нет и, вообще говоря, не планирую когда-либо заниматься этим вопросом, так как это выходит за пределы моих научных интересов. «Ты не настоящий ученый! Ученый интересуется всем», — сказал Альберт, который интересовался действительно всем и жалел, что у него нет еще одной жизни для занятий квантовой физикой. Его единственная жизнь оказалась короткой, и он не успел написать запланированную «на старость» философскую книгу в защиту рационализма.

А я, чем дольше живу, тем больше интересуюсь проблемами «на границах», к которым неизбежно выводит философское исследование. И наверное, не случайно, что сейчас это как раз логика цвета.

Современная философская логика, пережившая в советское время обвинения в бесплотности и бесплодности, и сегодня сталкивается с немалыми трудностями, правда совсем иного порядка. Экспансия логических методов на сопредельные территории лингвистики, когнитивной психологии, онтологической инженерии обострила пограничный спор с этими дисциплинами, претендующими как на решение логико-философских проблем, так и на наших учеников, интересующихся этими проблемами. Но, вспоминая уроки своих учителей, я верю, что это трудности роста, что логическое философствование навсегда останется царским путем рационального философского исследования.

# СИМОН КОРДОНСКИЙ

## УЧИТЕЛЯ

---



До пятнадцати лет я жил в Горно-Алтайске в окружении хороших, очень образованных и много повидавших людей: сосланных, высланных, отсидевших. Физику и математику, например, преподавал в школе Абрам Самуилович Певзнер, а его жена Елена Львовна, бывшая княгиня, дочь бывшего царского генерала, а затем начальника штаба Ленинградского военного округа, преподавала нам гуманитарные предметы. После убийства Кирова Певзнерам сильно повезло – были высланы в Горно-Алтайск, временно были еще «вегетарианские». Абрам Самуилович в университете учился вместе с будущим академиком Арцимовичем и будущим лауреатом Нобелевской премии Гамовым, невозвращенцем. Если бы жизнь его сложилась по-другому, он, может быть, стал бы не менее известным ученым. Он и передал мне интерес к науке, не школьной, а настоящей. Другие люди с не менее сложными судьбами учили меня жизни, рассказывая о моментах истории нашего государства, в которых они принимали самое активное участие. Жаль, конечно, что эти люди ушли из жизни, не оставив воспоминаний. С другой стороны, кто бы им поверил....

Конец 50 – начало 60-х – время противостояния «физиков и лириков». Я, конечно, не был лириком, по устремлениям своим был физиком. Выкапывал в библиотеках книжки по физике – тогда очень много издавали качественной переводной литературы. Ну и, конечно, научпоп: «Знание – сила», «Химия и жизнь», «Наука и жизнь», фантастика....

В первый раз в Томский университет я не поступил, завалил сочинение, уехал в только что возникший новосибирский Академгородок – там была какая-то работа вспомогательная, лаборантская, но в очень интересных конторах, где я работал и общался с хорошими людьми. Например, с Юлием Борисовичем Румером, единственным в нашей стране аспирантом Эйнштейна, который отсидел двадцать лет в лагерях и шарашках. Он в Новосибирске был директором Института радиофизики и электроники, созданного специально для него. Окружение там было замечательное. В общагу Новосибирского университета тогда запросто приходили академики, садились на коечки и рассказывали студентам о физике, и не только о ней. Очень романтичное было время.

Потом мне пришлось уехать оттуда в Томск из-за того, что поучаствовал в крупной драке. В Томском университете поступил на физико-технический факультет, тогда он еще назывался «спецфак». Это был закрытый «ракетный» факультет. А поскольку экзамены я сдал хорошо, мне почему-то предложили пойти на вновь открывшуюся специальность – биофизику. Вот так я и оказался в биологах.

Но содержательно мои интересы сложились раньше, в том совершенно необычном окружении в маленьком городке, в глухой провинции. Учась в Томске, я не понимал (и сейчас не очень понимаю), чему же меня все-таки учили в университете. Зачем нам читали именно эти курсы, почему нам их преподавали? Мои преподаватели чаще всего были заурядными людьми, иногда не имевшими представления о многих научных фактах и научных интерпретациях, нюансах отношений между известными учеными и о прочих вещах, знания о которых мне — в силу предыдущего опыта — казались сами собой разумеющимися. Но обычность преподавателей компенсировалась обилием книг. На каждой кафедре в столах, шкафах, ящиках были книги, которые в больших библиотеках были изъяты или находились в спецхране, а здесь оказались доступны. Цензура – ЛИТО – их просто не видела. В 20–30-е годы и даже в начале 40-х издавалось огромное — по тем временам – количество биологической и прочей литературы, потом изъятой цензурой. Практически вся научная классика тогда была издана, переводы сделаны – вот по ним я и учился. Это было время борьбы с вейсманизмом-морганизмом. Меня выгнали из университета в 1963 году за то, что задал «не тот» вопрос декану факультета Бодо Германовичу Иоганзену, одному из соратников академика Лысенко. Я спросил, не родственник ли он Иогансону – открывателю чистых линий. Есть такой объект в генетике. Это было расценено как пропаганда вейсманизма-морганизма. Однако я поступил на тот же биофак опять, но уже на зоологию позвоночных. Потом вышло так, что я заболел в экспедиции клещевым энцефалитом, не мог учиться какое-то время, не мог ездить в экспедиции в силу физических ограничений. Как раз тогда, году в 70-м, в Томском университете была создана социологическая лаборатория, заведующим которой был назначен очень яркий человек – философ Юрий Иванович Сулин. Прежде чем стать философом, он воевал как летчик-истребитель в Корее. Я жил в студенческих общагах, которые были заселены самыми разными людьми со всех факультетов, в том числе давно окончившими обучение или отчисленными. Такое было время. И как-то так получилось, что я там пересекся с журналистами, журналисты познакомили меня с философами – общий треп, самиздат и прочее. Томск был одним из центров самиздата, там в ссылке какое-то время находились Петр Якир и еще какие-то статусные отсиденты, которые и сформировали соответствующую субкультуру. По их каналам в Томск поступала самиздатовская литература. И я тоже ее возил. И потом, до 69-го года это было достаточно свободное дело, сажать за самиздат начали только в 1970 году. Закончилось для меня это не очень хорошо – не сел, но КПСС официально назначила меня врагом народа. С этим статусом и прожил до перестройки.

Стал я сотрудником социологической лаборатории Томского университета. Смесь дурацких опросов, самиздата и трепа вокруг всего этого называлась тогда социологией. ИНИОН издавал кучу книжек, всяких грифованных реферативных сборников. Их, естественно, крали, копировали, размножали – это был поток квазисоциологической литературы. Там была смесь из всего: философия, социология, лингвистика – да что угодно. Кроме того, хорошо издавали географы, лингвисты, Издательство восточной литературы даже наладило издание – под видом путевых заметок – отчетов офицеров-разведчиков Имперского генерального штаба. Из них я извлекал техники полевых исследований. Так что я все время читал, причем без особой системы – все, что казалось интересным. Официально везде был марксизм-ленинизм в его многочисленных ипостасях; с другой стороны, был поток интересных книг, с третьей – просто жизнь. Ни понятиями марксизма-ленинизма и его марксистских же отрицаний, ни понятиями из переводов жизнь не описывалась. У меня накапливались вопросы, на которые ответов не было. Эти вопросы я имел глупость задавать кому ни попадя, чем подтверждал свой статус врага народа.

Эти вопросы я имел глупость задавать кому ни попадя, чем подтверждал свой статус врага народа.

В 1972 году в этом же интеллигентском кругу познакомился с местными психиатрами. В Томском мединституте была очень интересная кафедра психиатрии, базовая кафедра огромной республиканской психиатрической больницы – одной из шести когда-то построенных Столыпным. Как раз когда я туда пришел, там появился новый главный врач – Анатолий Иванович Потапов, который впоследствии стал последним министром здравоохранения СССР. Больница была забита травматиками еще с Отечественной войны и такими людьми, у которых психоз прошел, а дефект остался. Куда их девать, непонятно. Родственников у них никаких нет, жилья нет, что-либо делать они разучились. И началась эпопея реабилитации. Нужно было разгрузить больницу, а для этого – продумать схемы, по которым людей можно было бы выводить в жизнь из клиники. Это была очень интересная работа: создание лечебных мастерских, рабочих мест. Я там работал в качестве социолога. Они психиатры – у них свое видение, а я якобы социолог – у меня свое. Профессор Евсей Давидович Красик, заведующий кафедрой, убедил Егора Кузьмича Лигачева, тогда первого секретаря Томского обкома КПСС, что квоты на рабочие места, установленные Госкомтрудом, не должны распространяться на психически больных. И реабилитируемые больные, трудоустроенные на такие предприятия, не включались в штатную численность, что создавало для больных возможность социализации, а для руководства предприятий – некоторую свободу маневрирования ресурсами, и не только трудовыми. Соответствующее постановление Совмина СССР Лигачев пробил, положив тем самым начало практике реабилитации психически больных. Еще более интересным и полезным было для меня исследование алкоголизма, насколько я понимаю, пионерское по тем временам.

Работа с психиатрами меня многому научила, прежде всего тому, что любое отдельное научное направление, на какие бы авторитеты оно ни опиралось, всегда частично, заведомо неполно и в своей основе слабо отрефлектировано. Вот эта рефлексия основ меня более всего и занимала, и занимает по сей день. Начать эту работу, сформулировать бывшие прежде неясными ощущения мне помогли несколько ученых: палеоботаник Сергей Викторович

Мейен, физик-теоретик Моисей Соломонович Рывкин и лингвист Рита Марковна Фрумкина. А довести свое понимание до алгоритмов анализа текстов, то есть до построения теоретических онтологий, меня заставил Валерий Владимирович Бардин.

С новосибирскими коллегами-социологами я начал плотно сотрудничать, наверное, с 1978 года, когда они стали ездить в социологические экспедиции. Был непременным участником и – частично – организатором многих экспедиций в отделе Татьяны Ивановны Заславской в Институте экономики и организации промышленного производства СО АН СССР. Татьяна Ивановна Заславская и Инна Владимировна Рывкина много для меня сделали, прежде всего – не ограничивая свободу выбора исследовательских практик; а Эмилия Давидовна Азарх привила своего рода брезгливость к анкетным методам, тогда считавшимся основой социологического исследования. Сотрудничая с Заславской и ее коллегами, я сильно расширил опыт полевой работы. Но для понимания социологического содержания мне больше всего дали не коллеги и не социологическая литература, а изучение тех работ Макса Борна, Евгения Вигнера и других физиков, в которых они пытались реконструировать физическую картину мира.

Своих студентов я прежде всего учу задавать вопросы. Когда студенты только приходят к нам, они живут в мире готовых ответов. А я им пытаюсь демонстрировать, что если эти ответы и адекватны, то только в очень ограниченной области, и к нашей реальности они малоприменимы. Это ответы из других миров. Таковы, например, практически все ответы, которые навязывают студентам дурно понятые переводные работы по экономической теории. Поэтому я их учу формулировать и задавать вопросы. Они сдают экзамен, задавая вопросы мне, а не наоборот. Задать вопрос гораздо сложнее, чем выдать заученный наспех ответ, – не пишешь. А вопросы у студентов начинают возникать после того, как мы — сотрудники кафедры местного самоуправления и лаборатории муниципального управления — повозим их по стране. Ведь занятия у нас очень специфические. Существенная их часть – это поездки, полевые исследования в провинции. Вот там-то у студентов и возникают вопросы, готовых ответов на которые нет ни у них, ни у меня.

# ЛЕОНИД ПОЛИЩУК

## УЧИТЕЛЯ

---



Я родился на Украине и вырос в Грузии, мой отец был военнослужащим. После школы поступил на математический факультет Новосибирского государственного университета, на отделение прикладной математики. Тогда я и не предполагал, что когда-нибудь буду заниматься экономикой. В НГУ я получил первоклассное образование, за что очень благодарен университету и профессорам. Я полагаю, что в то время это был один из наиболее сильных математических вузов в СССР. Возможно, наш университет немного уступал МГУ, но у него были свои преимущества. Это был молодой вуз, находился он в Академгородке, и наши профессора были сотрудниками научных институтов. В этом отношении НГУ отличался от других советских вузов, где люди работали в университетах, а наукой особенно не занимались. Нам же преподавали активно действующие ученые, некоторые – с мировой известностью. Все мы знаем, что далеко не всегда выдающийся ученый бывает сильным профессором, и наоборот, но мне довелось увидеть несколько случаев, когда оба эти свойства присутствовали в одном человеке, и это было просто замечательно. В других случаях требовались немалые усилия, чтобы разобраться в лекциях, но это с лихвой вознаграждалось тем, что понятными становились красивые и глубокие идеи.

Каждый студент на предпоследнем (четвертом) курсе должен был выбрать тему научного исследования, хотя обычно научные спецсеминары начинали посещать уже на третьем, а то и на втором курсе. Дипломная работа – это самостоятельное исследование, которое студент должен был защитить к концу пятого курса. Уровень дипломной работы считался приемлемым, если она удовлетворяла стандартам публикации в научном журнале. Не всегда так получалось, но иначе нельзя было рассчитывать на высокую оценку и признание коллег. Моя дипломная работа была по гидродинамике. Задача состояла в том, чтобы предложить теоретическую модель очень интересного явления в движении жидкости и газа – так называемых турбулентных вихревых колец, которые возникают, например, при мощных взрывах, а еще их умеют пускать искусные курильщики, – и подтвердить эту модель расчетами.

Когда я занимался гидродинамикой в новосибирском Академгородке, институт гидродинамики возглавлял академик Михаил Алексеевич Лаврентьев. Это был основатель Сибирского отделения Академии наук. Безусловно, он был гением, к тому же человеком энциклопедического склада ума. Первоклассный математик, он в то же время обладал

поражительным чутьем физика-эмпирика. Он счастливо соединял в себе два этих чрезвычайно редко встречающихся в сочетании друг с другом таланта. Лаврентьев создал себе научное имя целым рядом теоретических работ, но, кроме того, он активно занимался приложениями. Он очень умело заражал студентов своим энтузиазмом и чувством научного вдохновения. Когда вы видите перед собой задачу и пытаетесь не просто описать данный феномен, не просто использовать эксперимент, а придумать его теорию, и если теория предсказывает то, что вы наблюдаете, и позволяет сделать какие-то выводы, которые вы не можете наблюдать первоначально, но которые потом подтверждаются на практике, то это, конечно, совершенно особые, непередаваемые ощущения.

Лаврентьев был активным ученым еще во время войны, и некоторые его исследования имели оборонное применение. Он, в частности, был одним из авторов теории кумулятивных снарядов – это особый тип артиллерийских снарядов, которые использовались главным образом для борьбы с танками. Лаврентьев, тогда еще молодой ученый, предложил гидродинамическую модель таких снарядов, использующую теорию соударения струй, которая оказалась очень хорошим практическим руководством для их проектирования. Его работа имела массу других приложений – строительство плотин, например. Он генерировал во множестве задачи и идеи и щедро делился ими со своими учениками; ему, в частности, принадлежит постановка задачи, которую я рассмотрел в своей дипломной работе. Безусловно, это был выдающийся человек, который повлиял на судьбу многих своих учеников – как явных, так и неявных.

Выдающихся ученых у нас работало много – в частности, единственный в СССР и России нобелевский лауреат по экономике Леонид Витальевич Канторович, с которым я познакомился во второй половине 1970-х годов, когда уже начал заниматься экономическими приложениями. До этого я, конечно, его знал, хотя бы потому, что он был соавтором одного из лучших на то время, да, наверное, и сейчас учебников по функциональному анализу. Безусловно, он был математическим светилом – все это понимали и признавали. В общении он оказался

человеком очень открытым, остроумным и, как говорится, доступным. Никакой мании величия у него не было, и общаться с ним было очень интересно.

После университета я продолжал заниматься гидродинамикой, но меня начали интересовать задачи, которые в то время было принято относить к так называемому исследованию операций, теории игр, принятию решений. В Новосибирске для работы в этой области тоже были очень хорошие возможности, и я постепенно начал смещаться в эту сторону. Первоначально меня интересовала формальная (сейчас сказали бы – техническая) сторона дела: модели и теории поведения и принятия решений, теория игр и оптимизации. В Советском Союзе оптимальному планированию уделялось очень большое внимание, потому что считалось, что оно может дать руководству страны, плановым органам мощные инструменты для наилучшего использования ресурсов национальной экономики и решения стратегических задач – ускорения роста экономики и достижения превосходства над геостратегическими противниками. Сейчас такая вера в возможности командной экономики кажется наивной и беспочвенной, но в то время такие работы действительно поощрялись. Теория игр была не столь «идеологически корректной», потому что там предполагался некий конфликт интересов, а советское общество считалось единым и бесконфликтным. Тем не менее теорией игр мои старшие коллеги тоже занимались, и весьма успешно.

В то время в Новосибирске возникла очень серьезная школа оптимизации, принятия решений и теории игр. Здесь одним из несомненных лидеров был, конечно, все тот же Л.В. Канторович. То, что он получил Нобелевскую премию по экономике, было немного странно и отчасти даже несправедливо, потому что Канторович прежде всего был гениальный математик. Нобелевскую премию ему принесла побочная прикладная работа, которую он выполнил совсем еще молодым человеком. Он был вундеркиндом – в четырнадцать лет поступил в Ленинградский университет, с 18 лет начал там преподавать. В то время от ученых требовали прикладной работы – дескать, здорово, что ты занимаешься теорией, молодец, но сделай что-нибудь полезное и для народного хозяйства.



Из размышлений Канторовича над простой, казалось бы, задачей оптимального раскроя фанерных листов родилась теория линейного программирования, принесшая ему мировую известность.

Образование, которое я получил в НГУ, было универсальным, а сила хорошего образования математика состоит в том, что его учат свободно учиться самому. Какие-то основы, фундаментальные курсы математики, которые вам читают, – их, безусловно, надо знать. А все остальное – это просто привычка и навык: читать, анализировать, понимать и применять. Всему этому меня научили, поэтому мне нетрудно было ликвидировать пробелы в образовании, когда я решил заняться новой областью науки и перейти от гидродинамики к теории игр и оптимизации. Мне нужно было где-то работать, найти свое место в системе советской науки, и этим местом стал Институт экономики Сибирского отделения Академии наук, где я провел больше десяти лет. Начав там работать, я почти сразу же стал преподавать на экономическом факультете НГУ. Москва тогда была далеко, в прямом и переносном смысле, так что я плохо знал, какие там существовали экономические институты. В столице был свой мир, у нас – свой. Конечно, мы общались: были конференции, поездки, – но только через два или три года после начала моей работы в Институте экономики я познакомился с московскими коллегами, в том числе с замечательным экономистом Виктором Мееровичем Полтеровичем, которого также чту в числе своих учителей.

Некоторое время я интересовался ситуациями, которые возникают при использовании в принятии решений не одного, а нескольких критериев – когда вы пытаетесь одновременно достичь нескольких целей, а эти цели находятся в определенном конфликте друг с другом. Одновременно я преподавал странную дисциплину, которая называлась экономической кибернетикой. Это была своего рода уступка советской системе здравому смыслу – академическому экономическому образованию. Читать просто микроэкономiku или макроэкономiku по определенным причинам было не принято, таких курсов нигде не было. Поэтому экономическая кибернетика, которая в то время была частью программы экономи-

ческих факультетов советских вузов, сильно зависела от того, что человек хотел прочитать и что он мог прочитать. К чести Новосибирского университета, нам там предоставили широкую свободу, что читать. Формальный контроль, конечно, был, но в основном нам доверяли. Поэтому я стал под вывеской экономической кибернетики читать различные модели оптимизации и принятия решений, которые так или иначе допускали экономическую интерпретацию. Несколько позже я понял, что читал, по сути дела, элементы курса микроэкономики, и, поняв это, пустился во все тяжкие и просто начал читать студентам микроэкономiku под странной вывеской экономической кибернетики.

Нельзя сказать, что мы были оторваны от мировой научной литературы. Электронных библиотек тогда, конечно, не было, но Институт экономики имел очень хорошую библиотеку. Он был подписан на пятнадцать-двадцать лучших мировых журналов. Это стоило немалых денег, но, к счастью, эти деньги выделялись. А кроме того, помимо библиотеки Института экономики в Новосибирске была большая общенаучная библиотека – Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ), и там фонды вообще были очень богаты. Так что доступ к литературе у нас был, что помогало и работать, и учить студентов. Более того, нам были доступны массовые западные журналы и газеты, такие как “Economist” “Newsweek” и т.д. Они хранились – почти в буквальном смысле – за семью печатями, но в институте их можно было достать, получив специальное разрешение руководства.

Первые несколько лет работы в Институте экономики я не читал экономических журналов, обращаясь к ним эпизодически, если были ссылки на интересовавшие меня статьи. А так как меня по-прежнему интересовали больше вещи технические, экономика была, скорее, некоторым контекстом, чем предметом изучения. Но прошло несколько лет, я все-таки варился среди экономистов, и у меня возник интерес уже собственно к экономической проблематике.

Среди моих коллег в Институте экономики были люди достаточно яркие. Я довольно много и активно работал

с Александром Григорьевичем Гранбергом, ныне покойным, к сожалению. Это был человек очень большой энергии и новаторских взглядов. Он по своему образованию и системе взглядов, безусловно, был советским экономистом – со всеми плюсами и минусами такой характеристики. Но он очень интересовался всякого рода нововведениями, мыслил независимо и не боялся новых идей. Александр Григорьевич пытался вовлечь в эту модернизационную струю своих молодых коллег. С ним было очень интересно общаться, это был яркий, незаурядный человек. Именно он во многом сформировал мое видение экономики вообще и советской экономики в частности. Он не боялся ставить неортодоксальные вопросы, даже те, на которые власть смотрела косо. Вокруг меня в новосибирском Институте экономики достаточно свободно обсуждались проблемы советской экономики и советского общества в целом. Пока эти дискуссии в профессиональной среде не выливались наружу, за стены института, они были терпимы для властей. Опять-таки, никто не говорил о сокрушении устоев, о необходимости демонтажа социалистической экономики, но проблемы этой экономики и общества обсуждались довольно открыто, откровенно и, насколько это возможно, конструктивно. В ходе этих обсуждений я стал немного лучше разбираться не только в моделях, но и в живой экономике. Но, к сожалению, меня никогда не учили экономике в современном смысле этого слова. Всему этому самому нужно было доучиваться. Когда стало ясно, что экономика сама по себе наука интересная, я стал искать соответствующие статьи, учебники и довольно серьезно занимался экономическим самообразованием. Это была середина 80-х годов. Разумеется, в это же время активизировались дебаты по проблемам экономики и общества, в Советском Союзе началась перестройка, которая, конечно, подогрела мой интерес к экономике.

А потом прямо из Новосибирска я поехал преподавать в Канаду – меня пригласили в Университет Британской Колумбии в Ванкувере. Получилось это так. С середины 80-х годов появилась возможность ездить на международные конференции. На этих конференциях я свел зна-

комство с канадскими экономистами, которые работали фактически в той же области, что и я. Они пригласили меня приехать к ним в университет и поработать там, чем я и воспользовался. Разумеется, различия между двумя университетами – НГУ и УВС – были разительными, но адаптироваться мне удалось достаточно быстро, во многом благодаря дружеской поддержке канадских коллег, среди которых было немало выдающихся экономистов, таких, например, как Чарлз Блэкорби, Эрвин Диверт, Энтони Скотт и другие.

Я, разумеется, сравнивал между собой российских (тогда еще советских) и канадских студентов. Последние гораздо серьезнее относились к учебе, они занимались этим профессионально. Они решали те задачи, которые им предлагалось решить. Они читали те статьи, которые должны были читать. Они были студентами «full time», потому что это был вопрос их карьеры и они платили за свое образование. Но при этом они были немного менее свободны в своих мыслях. Как это ни странно, и у них было меньше собственных оригинальных идей, и вдобавок их математическая подготовка сильно уступала той, к которой я привык, имея дело со студентами НГУ. И потом, когда я опять вернулся в Россию, мне везло на хороших студентов. А в остальном молодые люди везде остаются молодыми людьми, что в России, что в Канаде! Были те, которых интересовала наука, а были совершенно очевидные карьеристы, которым нужна была хорошая отметка. Но и для того, и для другого нужно было много работать.

Я проработал в УВС четыре года и очень много преподавал. Свои курсы я читал довольно часто, что называется, «с колес». Выглядело это примерно так: сегодня я изучаю какой-то раздел курса, а через неделю я его уже преподаю студентам, стараясь делать умный вид и не показывать, что сам недавно об этом узнал. Приходилось одновременно много преподавать и очень многому учиться самому. Вообще это был очень хороший режим, потому что он создавал отличные стимулы, чтобы быстро и качественно выучить новый материал. Было совершенно невозможно опростоволоситься, потерять лицо перед студентами.

Все время были небольшие риски, ведь для того, чтобы уверенно читать курс, особенно сильным студентам или аспирантам (а мне приходилось читать и студентам PhD), нужно знать не только то, что есть в учебнике, а вдвое больше. Я знал больше в полтора раза, так что порой было ощущение, что ходишь по лезвию ножа.

Так или иначе, это позволило мне довольно быстро компенсировать пробелы в моем экономическом образовании. Через пару лет преподавания в Ванкувере я почувствовал, что стал профессиональным экономистом. Но поскольку я специализировался в определенных областях экономики, то, как говорил Козьма Прутков, «стал подобен флюсу». Я прилично ориентировался примерно в половине содержания экономической науки, а остальное приходится по мере необходимости восполнять до сих пор. Если бы мне снова было двадцать с небольшим, я бы пошел учиться на хорошую магистерскую программу или программу PhD по экономике после математического бакалавриата.

В Советском Союзе считалось, что, если человек заканчивает математический факультет, он будет заниматься математикой всю оставшуюся жизнь. Было не принято менять профессию. Есть примеры, когда математики трансформировались в экономистов, но таких примеров мало. В современном мире такая смена специальностей в ходе обучения – это, скорее, норма. При современной системе образования (североамериканской по крайней мере), когда человек учится по программе бакалавриата, он не выбирает специальность с самого начала. Я считаю, что североамериканская модель образования очень эффективна. И сейчас ЕГЭ, несомненно, является частью этой модели, что очень хорошо. Студентам дается гораздо большая свобода выбора своей академической программы. Тем не менее в России, даже в ВШЭ, человек поступает на экономический факультет – не просто в университет, а на факультет, с самого начала, с первого года. В Северной Америке это не так. Там студент-первокурсник не может поступить на экономический факультет, он поступает в университет. Он выбирает себе направление, а сказать «я изучаю экономику» на первом курсе он не может.

После того как я четыре года проработал в Ванкувере, Мансур Олсон пригласил меня на работу в США, в Университет Мерилленда, и я имел удовольствие с ним работать несколько лет. Олсон – несомненно, один из наиболее влиятельных и известных обществоведов современности – был одним из основателей современной институциональной экономики, и именно он помог мне начать мыслить в терминах институтов. Это было очень своевременно и актуально, потому что институты трансформировались: на наших глазах шли реформы в России, в других странах с переходной экономикой и странах третьего мира. Олсон в числе первых осознал важность институтов и их связи с политическими и экономическими процессами. Работа с ним была настоящей привилегией, и она оказала большое влияние на мои научные интересы и взгляды. Институциональная экономика междисциплинарна; как только вы начинаете интересоваться институтами, вы неизбежно обращаетесь к истории, политологии, антропологии. Эти вещи для меня были совершенно новыми, и я с большим удовольствием стал в этих областях работать, читать, пытался что-то понять. К сожалению, Олсон безвременно ушел из жизни. А был он человеком огромной энергии, мобильным, подвижным. Он приезжал в Россию, тут его воспринимали с большим интересом. Прошло уже четырнадцать лет после его кончины, но он по-прежнему у всех на устах, это один из наиболее известных и цитируемых экономистов-политологов современности.

Что касается учеников, то работать со студентами мне было очень интересно во все времена. Мне всегда это нравилось и нравится до сих пор. Мне исключительно повезло с моими молодыми коллегами – это яркие, одаренные люди. Не сомневаюсь, что они станут успешными учеными и в свой черед годы спустя будут рассказывать о своих учителях и учениках.

# ВАДИМ ПЕТРОВСКИЙ

## УЧИТЕЛЯ

---



Учитель – сложное понятие. Учителя вообще могут выступать в разных ипостасях, некоторые больше в одной, некоторые – в другой. Например, у меня были учителя-гуру, учителя в науке, учителя в жизни, наставники.

Мой ученический путь начался не в университете, а еще в математической школе – мехматовской школе при МГУ. Среди тех, у кого я учился, был профессор Юрий Иванович Манин. Совсем молодой человек. Ему тогда было, по-моему, двадцать восемь лет. Лауреат Ленинской премии, выдающийся математик. Мировая величина в математике. Гуру! Я лишь эпизодически виделся с ним один на один, но это общение сильно на меня повлияло. Помню, как на одной из лекций он нарисовал два символа, один над другим. Сначала он нарисовал символ « $i$ », мнимое число, а затем над ним еще одно « $i$ ». Получилось « $i$ » в степени « $i$ », и оказалось, что это действительное число. После этого он сказал: «Если вы не ощутите красоты этого выражения, то вам вообще нечего делать в науке, и в математике в частности». Потом я сдавал ему экзамен по комплексным числам. Получил «5». Фраза, брошенная о красоте, меня зацепила. Прошло тридцать лет. Я не стал математиком. Я – психолог.

Но через тридцать лет после окончания математической школы я написал работу «Алгебра cogito: опыт игры в бисер». По сути, это было посвящение Манину. В этой работе я построил алгебраическую группу, описывающую отношение между разновидностями картезианского «мыслию» («приемлю», «воздерживаюсь», «допускаю», «сомневаюсь»). В этой алгебре как раз фигурировало число « $i$ ». Я искал красоту, о которой говорил Манин.

Учителем в жизни была Наталья Васильевна Тугова, она вела литературу в школе. В конце 9-го класса я выдал ей сочинение о философских воззрениях Толстого в «Войне и мире». С этим сочинением я потом выступал в музее Толстого вместе со студентами-филологами МГУ. Недавно я пролистал тетрадку с тем сочинением и с удивлением обнаружил, что моя докторская оттуда... Я помню, как однажды Наталья Васильевна пришла в класс, вытащила из сумки учебник по литературе, положила на стол и сказала: «Вот, если я увижу хотя бы одну мысль из этого учебника, вы все получите двойки». Потом она вытащила еще один учебник и сказала: «Если я увижу мысли из этой книжки, то это будет тройка, и вообще: держитесь подальше от учебников литературы».

Это был хороший урок! Даже дочки мои помнят слова Натальи Васильевны, хотя они никогда не встречались с нею.

Так случилось, что еще школьником я оказался в лаборатории одного психолога, который в гипнозе внушал людям (в том числе и мне), что они репины, и они рисовали. Это был Владимир Леонидович Райков, одареннейший человек. Надо сказать, я совсем не поддаюсь гипнозу. Так что рисовать-то я рисовал, но в гипнозе не был. Зато я учился у Райкова гипнотизировать. Затем я попробовал гипнотизировать своих сверстников, и у меня получалось. Я стал читать книжки о гипнозе и постепенно увлекся всем психологическим. Я это к тому, чтобы сказать еще об одном учителе. Это мой отец. Он был психологом, автором еще школьных, а потом уже вузовских учебников психологии, историком психологии, социальным психологом, теоретиком и организатором науки, создателем Российской академии образования и ее первым президентом. Я ему благодарен за то, что он умел поддерживать мои начинания, помогал мне завершать начатое. Две свои книги я посвятил ему... Никогда не забуду, как он неожиданно сказал мне: «Может быть, психология?» И в этот момент я, увлеченно гипнотизирующий математик, вдруг осознал, что меня интересует именно психология. Она сопоставима по трудности с математикой и физикой. Это меня вдохновляло. Эйнштейн как-то сказал Пиаже: «Психология! Насколько она сложнее физики!»

Еще одним моим учителем в школе был Анатолий Александрович Якобсон. Он преподавал нам литературу, читал нам лекции о «подзапретных» Мандельштаме, Пастернаке, Цветаевой. В советские-то времена! Ему принадлежит фраза, которая тоже определенно стала для меня девизом: «Раннего Пастернака я люблю так, что невозможно любить больше, а позднего Пастернака я люблю еще больше... Через невозможное!» Эта идея о трансценденции – «через невозможное!» – тесно переплетается с моими научными интересами. Дело в том, что я занимаюсь изучением тенденции человека выходить за пределы заданности, выходить за пределы ситуации, трансцендировать. Это стремление человека

к краю, к риску, когда человек рискует просто так, рискует, потому что иначе никак. Его влечет риск как таковой, его притягивает граница. Сама граница в силу присущей ей природы является побудительной в отношении активности. В самой границе содержится связь с тем, что находится по ту ее сторону. Я как экспериментатор это исследовал и показал, что, когда человек имеет возможность рискнуть, но знает, что при этом он ничего не получит взамен, он все равно идет на риск. Это и есть неадаптивность, надситуативность, выход за пределы того, что от тебя требуют, и того, к чему тебя побуждают. Здесь есть в некотором смысле иррациональная тенденция, которая при этом имеет очень глубокие биологические, социальные и экзистенциальные корни.

...А в университете моим научным руководителем был профессор Алексей Николаевич Леонтьев. Я почерпнул у него мысль о том, что наука – это парадоксальное знание, потому что в науке всегда есть некая видимость и некая сущность, которая противостоит видимости. Вся же прелесть состоит в том, чтобы поймать это парадоксальное несоответствие сущности и явления. Вот этот склад мышления, эта ориентация на поимку нетривиального в видимом мире – это то, чему я у него учился. С ним было очень интересно общаться. Он рассказывал мне о своих встречах с людьми. Я помню его яркие истории о том, например, как он встречался с академиком Павловым.

Недавно я вспоминал, как, будучи студентом четвертого или пятого курса, все никак не мог зайти к нему в кабинет (он был там с кем-то, и мне было неловко). Я топтался в некоем предбаннике и осторожно заглядывал в дверь. Потом он приглашает меня к себе и говорит: «Вот вы знаете, что самое главное в жизни? Это – активность. Что вы там за дверью стоите? Заходите». А я как раз тогда занимался проблемой активности, неадаптивного поведения, способности действовать в направлении непредрежденного. Ну, думаю, это же «синхронизировать» по Юнгу, совпадение двух процессов: моего внутреннего процесса и того, что снаружи. Значит, сам Бог велел этим заниматься!

Я хорошо помню не только слова, но и мимику, жесты учителей. Они столь многое высказывали своими жестами и восклицаниями, что это было порой гораздо ценнее слов. Так, я помню смех Леонтьева, когда он сталкивался с какими-то занятными парадоксальными фактами. Это был демонический смех. Он смеялся так... он заражал этим смехом, как бы давая понять: видимая жизнь и жизнь внутренняя – совершенно разные жизни.

Еще Леонтьев в преподавании, учительстве прибегал к провокации. Например, однажды в конце лекции по психологии смысла он сказал такие слова: «Смысл – это и есть, по сути, то, что мы называем идеальным». Потом посмотрел в зал и добавил: «Если вы этого не понимаете, очень жаль». И тут же исчез из аудитории, резко закрыв за собой дверь. Иногда он приглашал некоторых своих студентов (и меня в том числе) для того, чтобы они давали ему обратную связь, говорили, насколько хороша или плоха была его лекция. Это умение поставить ученика вровень с собой и даже поставить над – важная часть учительства в моем представлении. Это – настоящий профессионализм. Ощущение от нашего общения с ним было таким, как будто мы немножечко поднимались на цыпочки. Он смотрел на нас так, будто бы мы понимаем его и будто бы годы мы находимся с ним в диалоге.

Мы говорим об учителях, а это имеет прямое отношение к тому, как я понимаю «личность». Человек как личность живет не только в самом себе, не только в своем жизненном мире. Он существует в жизненных мирах других людей, инобытийствует в них, идеально представлен и продолжен в других людях. Именно с этой стороны можно и необходимо исследовать то, что мы называем личностью. Когда я однажды понял это, когда вдруг появились сюжеты исследований, в которых можно было уловить это неуловимое инобытие, я подумал: «Надо будет срочно рассказать об этих замыслах Алексею Николаевичу!» В этот момент я впервые ощутил, что Леонтьева больше нет на свете – он умер несколько месяцев тому назад... И все-таки Учителя остаются живыми, когда уходят... Учителем-гуру стал для меня Эрик Берн, транзактный аналитик, чью книжку «Игры, в которые играют люди» я в свое время для себя открыл. Берн как психолог от-

крыл для меня условность многих запретов, которым мы подчиняемся в жизни, и задолго до наших политических реформ – идею: «Что не запрещено, то разрешено!» Я никогда не видел Берна. Он всегда был где-то в отдалении, но при этом очень близок мне. Я чувствую в себе его ученика. На вопрос «Умер ли Берн?» я отвечаю: «Не знаю. Как для кого...»

Среди моих учителей были такие, которые напрямую учили меня уму-разуму. Я их называю «наставники». Я, честно говоря, никогда не отличался особой адаптивностью, выламывался за пределы ситуации, а эти люди ставили меня на место. С одним из таких людей я работаю и сейчас в Высшей школе экономики. Он для меня и гуру, и учитель психологии, и наставник. Это Владимир Петрович Зинченко, ныне ординарный профессор Вышки. Так вот, я помню, как в юные годы, когда я всю исследовал надситуативную активность, буквально носился с нею и сам себя вел не вполне адаптивно, Владимир Петрович мне веско сказал: «Вадим, только не надо тут надситуативной активности!» (то есть неплохо бы и с окружением считаться!).

Еще раз о своем отце. У него я научился находить некий баланс между двумя ипостасями психолога: быть теоретиком, строящим модель действительности, и быть экспериментатором. Пока я не найду экспериментального хода, пока я не выстрою ситуацию, в которой есть некая интрига, ситуацию, в которой я рассчитываю получить неординарные факты, я не могу успокоиться. Я – не математик и не философ. Я – психолог, экспериментирующий с теми реальностями, которые открывает нам философия и которые могут быть математически осмыслены. Меня интересует, например, проблема свободы, но я исследую ее как психолог-экспериментатор. Это у меня от отца.

Важное качество для учителя – это учить своего ученика быть учителем. Этому я тоже научился у отца. Важно не вступать в конкурентные отношения со своим учеником. Учитель счастлив, когда ученик достигает большего, чем сам он достиг, пошел дальше, чем сам учитель. Как когда-то сказал Винокуров: «Художник, воспитай ученика, чтоб было у кого потом учиться!»

# ЭМИЛЬ ЕРШОВ

## УЧИТЕЛЯ

---



Я не типичный «ученик» – в том смысле, что у меня никогда не было какого-то одного наставника, у которого я бы учился продолжительное время. Дело в том, что я по образованию математик, но больше пятидесяти лет работаю в среде экономистов, поэтому мой личный опыт в этой области достаточно специфичен.

Конечно, в экономике встречаются классические случаи наставничества. Их, может быть, не так много, как хотелось бы, но все же они есть. Например, Л.В. Канторович и его ученик – академик В.Л. Макаров. В то же время бывают и другие случаи, которые я бы назвал случаями сетевого способа обучения или выращивания, когда человек постепенно начинает понимать то, что ему нравится, чем он хочет и может заниматься, не под влиянием одной личности, а проходя через серию взаимодействий с разными людьми, учителями и соратниками. Моя история как раз из этой серии.

Эту историю я, пожалуй, начну еще со своего обучения в школе, ведь мой интерес к математике появился именно там. Интерес этот возник в первую очередь потому, что у нас был очень

хороший преподаватель математики – И.В. Шевяков. Сама же школа была в основном гуманитарного профиля. Среди ее выпускников много известных деятелей культуры. Однако, к сожалению, самым слабым предметом, который нам преподавался, была физика. И по несчастливому совпадению я как раз хотел быть физиком. Меня очень интересовало то, как реализуется в космосе закон всемирного тяготения, как планеты, звезды и галактики взаимодействуют друг с другом. Я тогда активно занимался этой темой, читал относительно простые статьи, в которых пересказывались идеи теории Альберта Эйнштейна. А когда пришла пора определяться с факультетом, то оказалось, что на физфак идти бессмысленно, так как общий уровень моей подготовки по физике был невысок. И я выбрал мехмат МГУ, потому что математика мне давалась лучше всего.

В то время ситуация на факультете была непростой. Да и само время было тяжелым, так как тогда были гонения по национальному признаку. Вычислительная математика, языки программирования и то, что сегодня называют информатикой, – все это только-только еще начиналось. На мехмате я проучился с 1951 по 1956 год,

учился хорошо, был сталинским стипендиатом. Среди тех математиков, которые нам преподавали на первых курсах, были ученые мировой величины: А.Я. Хинчин, П.С. Александров и другие. Конечно, среди профессоров выделялся гениальный и разносторонний математик А.Н. Колмогоров. На старших же курсах уже практически не было таких преподавателей, которые своими лекциями действительно могли заинтересовать студентов. Хотя позднее относительно молодые преподаватели стали большими учеными (например, А.А. Милютин, Р.Л. Добрушин). В эти годы еще студентами были В.И. Арнольд и С.П. Новиков – в будущем известные математики. На семинары такого выдающегося ученого, как И.М. Гельфанд, студентам третьего-четвертого курса ходить было очень интересно. Но не вполне продуктивно: он был настолько разносторонним ученым и в то же время настолько резким и темпераментным человеком, что студенту понять систему его рассуждений было трудно.

В итоге, когда дело дошло до выбора кафедры, я выбрал кафедру дифференциальной геометрии. Там моими учителями были: профессор С.П. Фиников, который говорил на итальянском и французском лучше, чем на русском; полковник, профессор, доктор физико-математических наук Г.Ф. Лаптев, который преподавал в академии Жуковского и одновременно был крупнейшим специалистом на мехмате, и П.К. Рашевский, работы которого меня заинтересовали после того, как я прочитал его учебник по тензорному исчислению и римановой геометрии. Тогда меня продолжала интересовать не физика вообще, а теория тяготения, космология, и во время обучения я стал понимать, что в самой математике заложены подходы к проблемам физики.

Однажды я присутствовал на докладе академика А.Н. Колмогорова, в котором он рассказывал о том, что такое кибернетика и теория информации. Обратившись к его работам, я понял, что математика имеет широкий спектр нематематических сфер приложения (наряду с прочими, например, и в области литературоведения). В итоге вскоре после этого я решил попробовать приме-

нить математику к той области, которая у нас еще была плохо изучена, – экономике. Нашел несколько книг зарубежных авторов, в том числе и не переведенных на русский язык.

Тогда же я узнал, что к нашей кафедре имеет близкое отношение выдающийся математик, статистик и экономист Е.Е. Слуцкий и что за год до моего поступления в университет кафедрой заведовал знаменитый профессор С.С. Бюшгенс, учеником которого был известный экономист А.А. Конюс, разработавший совместно с ним идеальный индекс стоимости жизни. Благодаря работам Слуцкого и Конюса я понял, что математика в экономике – это не счет, а логика, то есть некоторая формализация теории.

Мне повезло, что после учебы я попал на работу в Институт Госплана. Там я был единственным сотрудником с высшим математическим образованием. Довольно скоро ко мне за консультациями по решению отдельных задач стали приходиться экономисты. Потом вокруг меня сначала образовалась лаборатория, а затем и отдел. Кроме того, я уговорил директора института А.Н. Ефимова пожертвовать спортивным залом, и мы поставили туда компьютер.

В то время роль моего коллективного руководителя играли многие и совершенно разные люди. Старшие товарищи, конечно, не были специалистами в математике, но к молодежи относились всерьез и были готовы говорить с нами на содержательном языке. Это было важно, потому что, конечно, куда легче просто говорить своим ученикам, что они ничего не знают, вместо того чтобы разговаривать с ними профессионально о серьезных проблемах. Назову нескольких экономистов, у которых мы учились. Это – Л.Б. Альтер, Л.Я. Берри, Р.А. Белюсов, В.Ф. Майер. Позднее в институт пришел работать А.А. Конюс.

Одновременно со мной в институте работали многие талантливые молодые экономисты. Позднее они состоялись и как ученые, и как организаторы науки.



Это – С.С. Шаталин, Н.Я. Петраков, А.А. Анчишкин, Ю.В. Яременко, Ф.Н. Клоцвог, М.Я. Лемешев. Многие, однако, вскоре ушли из института, в том числе после событий в Чехословакии. Некоторые ушли также и потому, что стало понятно, что Госплану и правительству не нужна правда об экономике. Доходило до того, что запрещалось произносить слово «инфляция». Кроме этого, когда планировалось, что темпы роста по национальному доходу должны будут составить более 6%, «молодежь» (в том числе и я) спрогнозировала темп чуть больший, чем 4%. За это нас фактически называли «антисоветчиками», но ничего не стали предпринимать ни в экономике, ни в отношении молодых возмутителей спокойствия. Когда в очередной раз в стране планировалась пятилетка, то рост продукции аграрно-промышленного комплекса отраслей по плану должен был составить 30% за пять лет. Было ясно, что такой рост не может быть получен без принятия радикальных мер в экономике. Значение достижения таких темпов в сельском хозяйстве было очевидно: если бы их действительно удалось достичь, продовольственная проблема решилась бы и страна не была бы вынуждена заменять нефть на зерно. Но меры, обеспечивающие такой рост, фактически не предусматривались. После первого года пятилетки рост составил 1%, после второго – еще 1,5%. В итоге пятилетку отменили и сделали семилетку.

Вот в таких условиях работали российские экономисты, в том числе и наша институтская команда. Тогда мы все были примерно одного возраста, академиков среди нас не было, а относились мы друг к другу, с одной стороны, требовательно, а с другой – дружески. Собственно, в такой обстановке мы и формировались как исследователи и ученые.

Однако время шло, и постепенно практически вся эта команда перешла под крыло Академии наук. При этом ушедшие «потеряли соперника», им не с кем было спорить, и, соответственно, не было и особой мотивации для саморазвития. А Академия наук сама не могла помочь

в подготовке и реализации серьезных стратегических решений. Вскоре члены этой команды стали молодым ядром Отделения экономики АН СССР.

Таким образом, я могу себя назвать порождением сетевого подхода к обучению. Это вполне объяснимо, так как я перешел из математики в экономику, которая на тот момент у нас еще не сложилась как настоящая наука. Тогда практически не было таких наставников, которые могли действительно за собой повести и чему-то научить. В то время, когда мы формировались как ученые (в начале 60-х годов), практически не было экономистов, которые были бы не только старше нас, но и могли бы стать наставниками-учителями (кроме Л.В. Канторовича и А.Л. Лурье). Крупные российские экономисты к тому времени либо уже умерли (и не всегда своей смертью), либо не участвовали в решении серьезных практических и научных проблем и в подготовке научной смены после того, как побывали в тюрьмах и ссылках. В этом смысле история всего нашего поколения – это история поколения людей, выращенных в коллективах.

Преимущество сетевого подхода состоит в том, что в его рамках есть возможность собирать нектар с разных цветов, учиться у разных людей. А когда вы еще и работаете в команде талантливых ученых, результаты не заставят себя ждать.

# ИРИНА САВЕЛЬЕВА

## УЧИТЕЛЯ

---



Я поступила на исторический факультет МГУ сразу после школы. Выбор специальности не был предрешенным, скорее, он осуществлялся по принципу «орел или решка». Дело в том, что мне одинаково легко давались как гуманитарные, так и естественные науки, поэтому в итоге я выбирала между биологией и историей. И это были не единственные предметы, которые мне нравились. Может быть, потому, что мои родители были историками, выбор в итоге пал на историю. Я поступила на исторический факультет в Московский университет.

Во всяком университете преподаватели делятся на плохих, хороших и звездных. Плохие – это преподаватели, сделавшие большую ошибку, избрав нашу профессию. Хорошие преподаватели – это основа университетской корпорации. Они делают очень важную работу, и студенты их за это ценят. Наконец, есть звезды, которых на каждом факультете больше, меньше или нет вовсе. На истфаке все было точно так же, разве что с поправками на роль идеологии, пролетарского происхождения или партийной карьеры, что сказывалось на облике преподавательского корпуса. Я застала еще и профессоров «из бывших» – так называли тех, кто повзрослел до революции.

Не могу сказать, что они были самыми приятными людьми или самыми умными, разные они были, но отличала их культура речи и манеры, в частности манера двигаться. Они умели всходить на кафедру. Я говорю об этом потому, что преподаватель в университете не только передатчик знаний или наставник в научных штудиях, но и транслятор культуры.

Если говорить о модусе существования разных групп на истфаке того времени, то в основном остатки «старого корпуса» были представителями позитивизма в духе немецкой исторической школы. А если говорить о влиянии идеологии на состояние преподавания исторической науки в Московском университете 1960–1970-х годов, то мой опыт здесь не укладывается в сложившуюся в постсоветские годы традицию. Когда я училась (после «оттепели»), доминировала идеология марксизма. Почти все историки в СССР тогда работали в этой парадигме, то есть все анализировали прошлое с позиции марксистской концепции развития общества, исторического материализма. Но, во-первых, я всегда говорю, что марксистская теория не самая плохая среди тех, которыми пользовались историки на протяжении XX века

(в этом важное отличие роли марксизма в историографии XX века от его значения, скажем, для экономической теории). Плох не марксизм сам по себе, а его монопольное положение в советской общественной науке, невозможность выбора другой интерпретативной модели. Ведь и в западной историографии позиции историков-марксистов были очень сильными. Например, приверженность марксизму считается системообразующим принципом великой французской школы Анналов, лидирующей в исторической науке многие десятилетия. Конечно, разница между нашими марксистами и западными историками-марксистами была серьезной. Я, например, всегда неомарксизм понимала гораздо хуже, чем структурализм. Так вот, на истфаке МГУ нас, конечно, учили работать в марксистской парадигме, но горизонты исторической науки оставались открытыми. В этом смысле «неспособности, приобретенной благодаря обучению» (выражение Торстейна Веблена), многие из нас счастливо избежали.

Благодаря родителям я хорошо знала многих московских историков, в частности Петра Андреевича Зайончковского, одного из самых интересных, ярких и «не вполне советских» советских историков. Знакомство с ним и походы к нему в гости позволили мне прочесть много книг – дореволюционных российских и современных западных, последние у него были в изобилии благодаря американским аспирантам. Я очень ценила общение с ним, однако, когда к третьему курсу надо было выбирать специализацию, я все же выбрала американистику. Причем в этот момент я не решила, у кого именно буду учиться.

Американистику я предпочла по разным причинам. Может быть, отчасти потому, что в то время она была более престижной специальностью. Она давала выход в мир современной исторической науки, политических и социологических знаний. Меня интересовала именно эта сторона исследования. Я уже много раз говорила в разных интервью, что я не настоящий историк. У меня нет привязанности к архивам, фактам, документам, которая в принципе должна отличать историка (П.А. Зайончковский был именно таким).

Американистика в отечественной исторической науке очень долго была заброшенным ребенком. Всеобщая история Нового времени в целом в России была очень сильным направлением, вышедшим в начале XX века на европейский уровень, но именно американистикой в дореволюционной России вообще не занимались. Впервые курс по американской истории, если я не ошибаюсь, начали читать в конце XIX, а может быть даже в начале XX века. Так как традиции не было, до середины 1950-х годов говорить о существовании американистики в нашей стране не приходится. Однако каким-то до сих пор не до конца понятным для меня образом в середине 1950-х годов на кафедре новой и новейшей истории МГУ три человека одновременно стали заниматься историей США (сначала в студенческие годы, а затем в аспирантуре) – Евгений Федорович Языков, Игорь Петрович Дементьев и Николай Васильевич Сивачев. Все они были яркими, интересными учеными, благодаря им кафедра стала одним из двух ведущих центров американских исследований в России. Из этой тройки в итоге я выбрала руководителя, который мне по характеру, психологии и культурному бэкграунду подходил меньше всех. Очень часто студенты ориентируются на мнение других студентов. Старшекурсники мне рекомендовали Николая Васильевича Сивачева как совершенно потрясающего руководителя. Ему было в то время тридцать четыре года. Он еще не был доктором, а следовательно и профессором (хотя очень быстро защитился). На факультете он был известен прежде всего как очень строгий замдекана по учебной работе. Я лично его не знала, он мне не был определенно симпатичен, и, кроме того, у него была еще ужасная тема. Хуже темы для девочки с гуманитарными способностями не придумаешь. Он занимался трудовым правом США. Это означало чтение и изучение законов, материалов арбитражных судов, протоколов заседаний Ассоциации трудовых отношений и прочую всевозможную скуку. Должна сказать, что некоторые преподаватели пытались меня отговорить. Тем не менее я все же решила пойти на собеседование. У него была репутация хорошего руководителя, и к нему тогда пошла не я одна, а пять человек, причем все пятеро были

сильными студентами. Он посмотрел на меня и сказал: «Ну, вот насчет девочки я как-то сомневаюсь». Так как я всегда была азартной и легко принимала вызовы, после этой фразы у меня уже не было никаких сомнений в том, что я пойду к нему и что через какое-то время я буду его любимой студенткой. Так и получилось.

Николай Васильевич родился и вырос в глухой деревне, не то алтайской, не то уральской. Он вообще очень напоминал Шукшина, даже внешне: самородок, в послевоенной деревне чудом выживший. В этой деревне была библиотека, в которой он все книги перечитал. Затем, бог знает какой уверенностью движимый и на какие деньги, приехал в Москву поступать в МГУ на исторический факультет, куда в основном поступала элитная московская публика. И поступил!

Даже когда мы с ним познакомились, он не очень был силен в риторике и письме. Совершенно не потому, что я была самонадеянна, но в том юном возрасте я точно знала, что и то и другое я делала лучше, чем он. Речь и письмо — это те качества, которые в интеллигентной семье приобретаются сами собой. А если этого нет, то, конечно, человеку приходится потом, уже во взрослой жизни, очень много над этим работать. Я здесь имею в виду только внешнюю сторону речи и письма (форму выражения), а не способность системно мыслить, формулировать и выстраивать эвристически сильные концепции. Всеми этими качествами он был наделен сполна, и этому я училась прежде всего у него.

Николай Васильевич был блестящим ученым и организатором науки. В 1956 году, когда ему было меньше тридцати лет, у него появилась возможность стажировки в Америке. Легко представить себе, какой культурный шок он тогда испытал, поехав в Америку лишь через десять лет после того, как покинул свою деревню. Оказалось, что за десять лет в МГУ он действительно сильно преобразился, и американские коллеги потом отмечали, что он совершенно спокойно вошел в их среду. Мало того, попав в библиотеку Рузвельта в его поместье, он

так очаровал вдову президента Элеонору Рузвельт, что она ему очень помогла и с документами, и с условиями работы. Вернулся Сивачев из поездки человеком с хорошими и стойкими американскими связями, что было тогда редкостью в нашем научном сообществе. Он рано защитил докторскую диссертацию, рано опубликовал свои первые книги. Он был ученым американского уровня, то есть писал и работал так, как это делали в Америке. У него была своя концепция (не марксистская!), чего не было в нашем цехе в то время почти ни у кого. Он объяснял рабочую политику государства, особенности формирования трудового права, идеологию трудового права в рамках концепции национального интереса, баланса и дисбаланса политических групп, либерализма и консерватизма в идеологической сфере.

Он был не только выдающимся ученым, но и увлеченным и самоотверженным педагогом. У него был домашний семинар. Мы приходили к нему чуть ли не каждую неделю и сидели в его маленькой квартирке часами. Разговаривали почти только на научные темы — о своих работах, книгах, которые мы вместе читали, планах. Доверительных разговоров не помню. Кроме этого, у нас был еженедельный спецсеминар, где мы впятером обсуждали тексты. Задавал он безжалостно много, но не готовиться к его семинару никому не могло прийти в голову. Не прочитать какой-нибудь стостраничный закон, в котором сто пунктов с десятью параграфами в каждом, и еще не понять хотя бы приблизительно то, что ты прочитал (на английском языке), было просто невозможно.

Он часто ездил в Америку и привозил чемоданы, набитые книгами. Необходимой литературы в то время в библиотеках было мало, и из своего шкафа с книгами он спокойно мог за один раз выдать мне двадцать книг в общежитие (а мы там довольно безалаберно жили). И это были или самые лучшие исторические книги, которые выходили с 50-х годов, или нужные непосредственно для работы. У меня, например, дома два года, пока я писала диплом, стояли все двадцать пять томов протоколов заседаний Американской ассоциации индустриальных отношений.

Наши с ним занятия в основном заключались в продумывании темы, концепции, структуры, выборе материалов, на которых будет основано исследование, в обсуждениях. Но с самим текстом (в плане редактуры) работы практически не было. Николаю Васильевичу нравилось, как я пишу. Мне, пожалуй, в этом отношении очень многое дал мой отец – он был самым строгим моим критиком. Как только я защитила диплом, в тот же день вечером Николай Васильевич предложил мне писать с ним статью – большую и важную для нас обоим. Моя первая публикация в хорошем американском историческом журнале, чуть позднее, тоже была написана в соавторстве с ним.

Научный метод Сивачева заключался прежде всего в том, что он умел создать концепцию и свободно чувствовать себя в ее рамках. Нарастивать обороты, передвигаться от одной проблемы к другой. Его исследования были не развитием каких-то идей марксизма по поводу классово-борьбы или государства как рупора господствующего класса; он в своих работах выстраивал траекторию американской рабочей политики, развития трудового права в контексте изменений в соотношении сил между предпринимателями и профсоюзами, где государственная власть выступала в качестве арбитра. Потом он создал лабораторию американистики на факультете (тоже редкость в советских вузах того периода) и переключился на изучение истории политической системы США. Но самое поразительное, что в застойные советские годы Сивачеву удавалось каждый год приглашать на кафедру ведущих американских профессоров для чтения семестровых авторских курсов. С экзаменами на английском языке и безо всякого вмешательства парткома в содержание лекций! Сейчас молодые люди едва ли могут себе представить, насколько трудно было утвердить эту практику и сохранять ее на протяжении десятилетий. В то же время он побывал и в роли секретаря парткома МГУ и хорошо владел, как он говорил, «искусством социалистического реализма».

Как и многих настоящих ученых, его отличала высокая требовательность к себе. Мы точно знали, что этот человек работает столько часов в сутки, сколько он может не спать. Соответственно и нам он не делал никаких скидок – нельзя было сказать: «Я была занята другим, устала, не успела, болела и т.д.».

У Николая Васильевича было очень специфическое обаяние. Американцы, которые потом о нем рассказывали, всегда подчеркивали именно это качество, которое открывало ему все двери. Он был самым *self made man* из всех *self made men*, которых я знала. Он все время развивался, и это отражалось даже на его внешности (от облика Василия Шукшина – к облику Вадима Радаева).

В итоге я могу сказать, что главное, чему меня научили мои учителя, – это тому, что занятия наукой могут быть профессией, призванием и, тем самым, образом жизни (и даже двадцатилетнее пребывание в Академии наук с ее культом праздности эти устои не пошатнуло); что наука требует постоянных интеллектуальных усилий и эрудиции, которой никогда не бывает достаточно (в том числе и в области сопредельных дисциплин). Приобщение студентов к науке – это большой и взаимный труд. Слово «труд» – ключевое, но оно оправдано только атмосферой поиска, открытия, которая рождается именно в общении студента и ученого.

# АНАТОЛИЙ ВИШНЕВСКИЙ УЧИТЕЛЯ



Я учился на экономическом факультете Харьковского университета и после его окончания в 1958 году работал в градостроительной проектной организации. Это был филиал киевского института «Гипроград», который занимался составлением генеральных планов городов (я, в частности, много работал по генеральному плану Харькова) и так называемой районной планировкой. Одним из отцов-основателей этого направления в Советском Союзе был Даниил Ильич Богорад, который когда-то жил в Харькове, имевшем до 1934 года статус столицы Украины. Тогда он работал с Юрием Коцюбинским, сыном знаменитого украинского писателя Михаила Коцюбинского, председателем украинского Госплана, расстрелянным в 1937 году. Когда столицу переводили в Киев, он предложил Богораду переехать с ним. Даниил Ильич тогда отказался, и, как он сам мне говорил, это спасло ему жизнь. Впрочем, он тоже подвергся аресту, но попал под краткую волну освобождений, а после войны и эвакуации вернулся уже в Киев.

Районная планировка – это особая область проектирования, работать в этой области Даниил Ильич начал еще до войны, в частности, он руководил разработкой

гигантского проекта районной планировки Донбасса. Когда я с ним познакомился, это был уже известный мэтр, доктор географических наук. Он заведовал огромным отделом районной планировки в киевском «Гипрограде» и практически руководил всеми работами по районной планировке на Украине – в то время это было связано с хрущевской «семилеткой». Я оказался в гуще этой работы – наш Харьковский филиал «Гипрограда» отвечал за районную планировку Харьковского экономического района, охватывавшего Харьковскую, Полтавскую и Сумскую области. Тогда я много ездил по этим областям, хотя бывал и в других. Помню, заехал как-то в древнейший, но ставший захолустным город Овруч (мы там что-то проектировали), зашел по делам в местный горкомхоз, и во дворе этого горкомхоза мне показали могилу Вещего Олега, того самого, который собирался «отмстить неразумным хазарам».

Занимаясь районной планировкой, которая велась под руководством Богорада по единой программе во всей Украине, я познакомился со многими участниками этого проекта из многих городов (это была большая комплексная программа, в составе нашей группы работали

самые разные специалисты), но прежде всего, конечно, с самим Даниилом Ильичом и его ближайшим сотрудником – главным экономистом «Гипрограда» Ароном Самойловичем Израилевичем. Наши контакты продолжались несколько лет. «Гипроград» был проектным институтом, но в Киеве был еще и научно-исследовательский институт градостроительства, и где-то в начале 1960-х годов Богорад стал заведовать отделом в этом институте (я не помню, ушел ли он из «Гипрограда» или совмещал обе должности). Он и предложил мне поступить к нему в аспирантуру.

Моя кандидатская диссертация называлась «Экономические проблемы развития городских агломераций (на примере Харьковской агломерации)». Я был одним из первых исследователей в СССР, которые занимались агломерациями – тогда это была совсем новая тема. И вот тут я впервые встретился с демографией, причем сразу в практической плоскости.

Во время обучения в аспирантуре я продолжал участвовать в составлении генерального плана Харькова, занимаясь разработкой так называемой демографической гипотезы – на двадцать пять лет вперед. Когда я соприкоснулся с этой задачей вплотную, я почувствовал, что методы, которыми обычно пользовались для таких расчетов, меня не совсем устраивают. Эти методы были очень жестко привязаны к централизованному планированию и совершенно не учитывали неизбежных стихийных элементов развития. Я стал изучать прошлые демографические тенденции и именно тогда впервые заинтересовался собственно демографическими методами.

Одна из проблем заключалась в том, как учесть и отразить в прогнозе людей, которые хотя и работали на харьковских заводах и в харьковских учреждениях, но жили за пределами города, иногда очень далеко, и каждый день ездили на работу. Никто не знал, сколько таких людей. Нужно было это выяснить, и я придумал, как это сделать, хотя повторить мой опыт сегодня вряд ли кому-нибудь удастся.

Я поступил в аспирантуру в 1963 году – это была пора временных (но в действительности постоянных) экономических трудностей, которые дошли до того, что полки магазинов почти совсем опустели. Карточную систему не ввели, но все жители Харькова получали по месту жительства что-то вроде пайков – надо сказать, весьма небогатых. Из продажи исчез, например, белый хлеб, и когда я приезжал из Киева домой, где у меня за год до поступления в аспирантуру родилась дочь, то привозил несколько белых батонов – Киев все-таки был столицей. И так, харьковчане получали свои пайки по месту жительства, а их товарищи, работавшие в Харькове, но жившие за его пределами, – нет. В воздухе запахло социальной несправедливостью, к которой всегда было так чувствительно партийное начальство, и было решено, что рабочие и служащие – нехарьковчане тоже должны получать свои пайки, но по месту работы. Для этого всем предприятиям и учреждениям, где работали маятниковые мигранты, было предписано составить поименные списки таковых и сдать их в райисполкомы. И я предложил городскому начальству, надзиравшему за составлением генплана города, собрать и обработать эти списки, а оно дало указание всем райисполкомам предоставить их нам.

Никаких компьютеров тогда не было, были бумажные списки. Для того чтобы их обработать, была выделена группа студентов Института инженеров железнодорожного транспорта, которым это зачлось как летняя практика. Они сидели и обрабатывали эти списки, устанавливали населенные пункты, откуда приезжали люди. Я их проверял, контролировал, и в результате получился ценнейший материал. Оказалось, что в Харьков ежедневно приезжало на работу 125 тысяч человек, в этих списках была представлена вся география Харьковской области, а кое-кто ездил и из Белгородской. Так я стал одним из первых в СССР исследователей маятниковой миграции. Такого материала, думаю, никто не имел. Он, конечно, вошел в мою диссертацию и в мои публикации по маятниковой миграции. Это был совершенно новый материал. Благодаря этим публикациям я получил даже некоторую известность, главным образом среди географов, за пределами Харькова и Украины.

Я продолжал работать над демографической гипотезой Генплана Харькова, получал необходимые данные в Областном статистическом управлении, и там жизнь свела меня с одним удивительным человеком, который тоже сыграл немалую роль в моем интересе к демографии. Я случайно познакомился с ним, придя в отдел статистики населения Облстата, где он работал в скромной должности старшего экономиста. Человек этот, совершенно нетипичный по облику, никак не вписывался в окружение очень советских чиновниц: немолодой, в костюме, жилетке, галстуке, он скромно сидел за одним из столов.

В Харькове есть здание, которое называется «Госпром», – знаменитый памятник конструктивизма, построенный еще в начале 30-х годов. Это огромное многоподъездное здание – целая гора на одной из центральных площадей. Наш институт находился в этом самом «Госпроме», и Областатуправление – тоже, хотя и в разных подъездах. Неудивительно, что по утрам, по дороге на работу, мы с моим новым знакомцем нередко оказывались в одном трамвае, и постепенно наше знакомство закрепилось. Со временем выяснилось, что этот человек, которого звали Михаил Вениаминович Курман, был в свое время в Москве начальником отдела учета естественного движения населения в ЦУНХУ. Его арестовали после переписи 1937 года, объявленной вредительской, и лишь недавно он вернулся после 18-летней отсидки в ГУЛАГе и приехал в Харьков, где жили его жена и дочь, родившаяся незадолго до его ареста. Он мне рассказывал – и его рассказ впоследствии, когда стали доступны архивы, подтвердился, – что после переписи 1937 года у него затребовали объяснений, почему насчитали так мало населения; он написал соответствующую докладную записку, которую Сталин переадресовал членам Политбюро примерно с такой надписью: «По-моему, это мог написать только враг народа. Ваше мнение?» Спустя много лет Всеволод Васильевич Цаплин, тогда директор Центрального государственного архива народного хозяйства, обнаружил и опубликовал эту докладную записку. На нее и сейчас нередко ссылаются – она стала документом истории переписи 1937 года.

Мы сдружились с Михаилом Вениаминовичем, и спустя некоторое время он стал приходить ко мне по выходным и надиктовывать на мой «Гинтарас» – были такие магнитофоны – свои лагерные воспоминания. Мы держали это в секрете, бобины с записью пролежали без движения четверть века, и только в конце 80-х я расшифровал эту запись и опубликовал ее – сначала у нас, но здесь не обошлось без цензуры, а затем во Франции, уже без всяких купюр.

Курман был по образованию математиком, но, придя в ЦУНХУ, стал демографом. Несмотря на потерянные семнадцать лет, он не собирался складывать оружия: в то время, когда мы познакомились, он писал книгу о населении Харькова. Узнав, что я занимаюсь маятниковой миграцией, он предложил мне вместе с ним написать в эту книгу главу, что и было сделано. Книга потом была издана, она называется «Население большого социалистического города». В каком-то смысле она уникальна – я не знаю подобной книги по другим советским городам. Впоследствии Михаил Вениаминович защитил по ней кандидатскую диссертацию (кстати, когда-то у него уже была написана диссертация, но ее изъяли при аресте).

Узнав о том, что я занимаюсь демографической гипотезой для Харькова, он и сам включился в ее разработку, благодаря чему я узнал от него массу профессиональных вещей, о которых до того не имел никакого представления. По сути, только тогда я понял, что демография – это серьезная и весьма полезная наука с развитым и далеко не простым методологическим аппаратом. Чтобы закончить эту историю, скажу, что наш прогноз оказался очень точным. Прошло больше четверти века, Михаила Вениаминовича уже не было в живых, я давно работал в Москве, и получилось так, что я оказался в группе экспертов Госплана СССР, которая рассматривала новый Генеральный план Харькова – ведь двадцать пять лет, на которые он был рассчитан, уже истекли. Во время доклада харьковских проектировщиков выяснилось, что фактическая численность населения города



совпала с прогнозной, и это вызвало большое удивление присутствовавших – такого никогда не бывало. Проектировщикам стали задавать вопросы, и они указали пальцем на меня.

По совпадению, каких немало бывает в жизни, одновременно открылась еще одна тропа, которая тоже вела меня к демографии.

У меня было два сокурсника, Валентина Стешенко и Владимир Пискунов, с которыми мы были дружны еще с институтских времен. Они поступили в Киеве в аспирантуру Института экономики Украинской Академии наук и стали заниматься демографией под руководством Михаила Васильевича Птухи. Это был известный демограф, в молодости он учился за границей, был учеником Владислава (Ладислава) Борткевича, русско-немецко-польского демографа с мировым именем. В 1918 году, во времена независимости Украины, там была создана Академия наук. Ее президентом стал В.И. Вернадский, а отделением экономики заведовал М.И. Туган-Барановский. Он и способствовал (возможно, по инициативе Птухи) созданию в Киеве Института демографии – едва ли не первого в мире. Это был не очень большой институт – там работало всего несколько человек, и ближайшим сотрудником Птухи был Юрий Авксентьевич Корчак-Чепурковский. Институт просуществовал до 1939 года, когда его ликвидировали<sup>1</sup>. Птуха был арестован, но когда вместо Ежова пришел Берия, настал короткий период послаблений, часть людей выпустили, и Птуха (как, возможно, и Богорад, о котором я упоминал) попал в их число. Корчак тоже был арестован, но, в отличие от Птухи, его не выпустили, он, как и Курман, отсидел восемнадцать лет и потом вернулся в Киев.

Птуха стал научным руководителем моих сокурсников, но, к сожалению, в 1961 году он умер, и им пришлось искать нового руководителя. В конце концов им стал Б.Ц. Урланис. В то же время они дружили и тесно сотрудничали с талантливейшим Корчаком-Чепурковским и многое получили от него. Они были очень увлечены демографией, и это тоже как-то повлияло на мои тогдашние интересы.

Некоторое время спустя мою сокурсницу Валентину Сергеевну Стешенко назначили заведующей отделом демографии в Институте экономики АН УССР. И она мне предложила перейти к ним на работу на должность младшего научного сотрудника.

Я к этому времени уже окончил аспирантуру, написал диссертацию, но тут случилась беда: умер на операционном столе мой руководитель Даниил Ильич Богорад. Он был человек уважаемый и в Киеве, и в Москве, за ним я чувствовал себя как за каменной стеной, а теперь все изменилось. Предстояла защита, а мне было непонятно, где защищаться, как искать оппонентов и т.д. Без Богорада отдел, которым он заведовал, ничего собой не представлял. Чтобы понять, каков был настоящий уровень его сотрудников, расскажу такой анекдотический случай. Когда у меня была предзащита (еще при жизни Богорада), его заместитель, кандидат наук, которому не нравилось само слово «агломерация», стал меня упрекать: «Зачем вы так злоупотребляете иностранными словами? Повсюду у вас “центробежный”, “центростремительный” и так далее... Разве нельзя сказать по-простому, по-русски?» Такой вот был уровень. Найти место для защиты в Киеве с моей темой было трудно. Я представлял, как меня спросят: «Агломерации – это что, это по-какому?»

---

<sup>1</sup> В 2002 г. в Киеве был создан Институт демографии и социальных исследований НАН Украины, а в 2009 г. ему было присвоено имя М.В. Птухи.

Я вернулся в Харьков. Там мне предложили довольно высокий для моего возраста пост – я стал главным экономистом большого проектного института «Горстройпроект», получал высокую по тем временам зарплату. Однако мне хотелось продолжать занятия наукой. Но сначала надо было защититься. Я познакомился – снова по случайному стечению обстоятельств – с Олегом Пчелинцевым и Майей Стронгиной, работавшими в Институте экономики АН СССР в Москве, в отделе размещения производительных сил (кажется, так он назывался), показал им свою диссертацию, и они решили, что я должен защищаться у них, убедили в этом свое начальство, уговорили Михаила Яковлевича Сонины выступить первым оппонентом. Диссертацию приняли к защите. Тогда я и получил предложение Стешенко перейти к ним в отдел демографии. Я вдвое терял в зарплате, но все-таки согласился. Уж больно заманчивые были условия – заниматься тем, чем тебе хочется, да еще и не ходить ежедневно на работу. Я продолжал жить в Харькове, иногда только наезжал в Киев, чтобы отчитаться о сделанном.

Я защитил кандидатскую диссертацию, но условия работы были такими, что я решил не терять времени и начать писать докторскую – она должна была быть посвящена экономической демографии. Я и в самом деле начал ее писать и написал одну главу, которая потом была даже опубликована, в том числе и за рубежом. Но дальше этого дело не пошло. Мое положение было слишком хорошим, чтобы продолжаться долго. Подвижки произошли где-то очень далеко от меня – отправили в отставку первого секретаря ЦК партии Украины Шелеста. А он покровительствовал директору института, где я работал, и, чувствуя такое покровительство, тот мог позволить себе принять на работу человека, который жил в другом городе. А когда покровительство исчезло – видимо, уже не мог. Дистанционная работа тогда не приветствовалась. Помню, мне кто-то из моих приятелей говорил:

*– Я знаю только два таких случая: Игорь Семенович Кон, который живет в Ленинграде и работает в Москве, и ты – живешь в Харькове и работаешь в Киеве.*

Короче, в какой-то момент меня уволили.

Но к этому времени я уже знал многих своих московских коллег. В 1966 году в Киеве прошла большая демографическая конференция, первая в СССР за многие годы. Туда приехали все: Б.Ц. Урланис, А.Я. Боярский, П.Г. Подьячих, Д.И. Валентей, приехал отдел Волкова в полном составе. Об Андрее Гавриловиче Волкове я уже слышал от Курмана, а тогда в Киеве познакомился с Андреем Гавриловичем и всеми его коллегами: Л.Е. Дарским, А.Я. Квашой, Р.И. Сифман, В.А. Беловой, Г.А. Бондарской. Потом, приезжая в Москву, я всегда заходил к ним в отдел демографии НИИ ЦСУ СССР. В общем, мы заприятельствовали. И когда я остался без работы, Волков, который руководил этим отделом, предложил мне попытаться поступить к ним по конкурсу. И одновременно такое же предложение поступило от В.Л. Глазычева, который работал в Институте теории и истории архитектуры, – я ведь тогда был больше известен как урбанист, а не как демограф. Я подал документы в оба эти института и, как ни странно, в оба прошел, и теперь мне нужно было между ними выбирать. Поколебавшись, я выбрал демографию, которую посчитал более строгой наукой, – урбанизм, градостроительство не казались мне таковыми.

Оставалось только переехать в столицу, а это было не так-то просто. Поступление по конкурсу давало мне право обменять квартиру и переехать в Москву, но я искал этот обмен, потому что кто же поедет из Москвы в Харьков. Кончилось тем, что я обменял квартиру, но не на Москву, а на Московскую область, на город Солнечногорск. Так в 1971 году я сам стал маятниковым мигрантом, зато начал работать в НИИ ЦСУ СССР – в самом сердце демографии.

В Москве были и другие демографические центры – прежде всего центр народонаселения Д.И. Валентя в МГУ. Но я и тогда был убежден, и сейчас так думаю, что сердце нашей демографии билось именно в отделе Волкова. В этом заслуга прежде всего самого Андрея Гавриловича – он, безусловно, был очень яркой фигурой.

Потом у меня с ним отношения складывались по-разному, но это все было преходящее, а переоценить его подлинные заслуги в развитии нашей демографической науки трудно: в этом отделе действительно была настоящая научная атмосфера.

Конечно, имело значение и то, что директором института был А.Я. Боярский, а он все-таки был настоящий демограф, автор первого учебника по демографии. Другое дело, что он был идеологически немножко свихнувшийся демограф – а как тут не свихнуться, если всех твоих друзей пересажали, да и по тебе прошли такой критикой, что едва ноги унес?! В 30-е годы пользовался известностью учебник «Теория математической статистики», написанный четверьмя авторами – А.Я. Боярским, В.Н. Старовским, В.И. Хотимским и Б.С. Ястремским. Хотимского впоследствии расстреляли, а Старовского сделали начальником ЦУНХУ, позднее он стал начальником ЦСУ СССР, пережил в этой должности не только Сталина, но и Хрущева и руководил этим ведомством почти до самой смерти в 1975 году, став чуть ли не самым большим должжителем среди членов советского правительства.

В 1972 году отмечали 50-летие СССР, и Старовский решил откликнуться на это событие юбилейным выпуском статистического ежегодника «Народное хозяйство СССР», приведя в нем данные не только по союзным республикам, как это делалось обычно, но и по всем автономным образованиям. Он собрал группу сотрудников ЦСУ, среди которых был и я, и объяснил нам, что мы командируемся в эти самые автономии – для того, чтобы на месте собрать недостающие статистические материалы. Мне достался Ханты-Мансийский национальный округ, я побывал тогда в Тюмени, Тобольске и Ханты-Мансийске (до их теперешней славы тогда было далеко), собрал все, что мог, и через несколько месяцев получил юбилейный сборник, сопровождавшийся письмом Старовского: «Посылаю Вам, как одному из участников подготовки юбилейного ежегодника...»

Косвенно Старовский также содействовал созданию отдела демографии, где я работал. Он был не просто соавтором Боярского по «Теории математической статистики», их связывали приятельские отношения, в свое время они какое-то время воспитывались в одном детском доме. Неудивительно поэтому, что, когда создавался НИИ ЦСУ СССР, Старовский предложил Боярскому стать его директором. А Боярский, в свою очередь, сделал безошибочный выбор, предложив возглавить создаваемый отдел демографии А.Г. Волкову, которого он знал еще студентом, а затем аспирантом МЭСИ.

Сам Боярский был человек противоречивый. При очень большой одаренности у него были дремучие, якобы марксистские, взгляды, и он иногда их очень агрессивно отстаивал. Но, надо отдать ему должное, он не использовал при этом административных инструментов. Когда я стал заниматься теорией демографического перехода, мы с ним сильно разошлись во взглядах: он пытался меня переубедить, но никакого административного давления (все же директор института) на меня не оказывал.

Отдел демографии пользовался особым покровительством Боярского: ему, видимо, казалось, что он и сам еще вернется в демографию. Он очень доверял Волкову, не вмешивался в наши дела, и в отделе сложилась нечастая по тем временам свободная творческая обстановка, мы не были зашорены, нас всех объединяло критическое отношение ко всякой официальной идеологии. Небольшой штрих: как-то – кажется, в конце 70-х – институт проверяла высокая комиссия, и она с ужасом обнаружила, что в отделе демографии нет ни одного члена партии. Для отдела социально-экономической направленности это был настоящий скандал!

Нас попытались укрепить партийными кадрами, и в отдел пришел новый сотрудник, в прошлом партийный работник. На первом же заседании, где обсуждался вопрос о том, почему в СССР повышается смертность, в то время как везде она снижается, он выступил и сказал, что это неправильная постановка вопроса, нельзя говорить,

что у нас смертность выше, чем в капиталистических странах. Но это было первое и последнее его выступление в таком духе. После заседания Андрей Гаврилович отвел его в уголок, они долго там беседовали. Самое удивительное, что эта беседа дала результаты, он что-то понял. Впоследствии оказалось, что он вообще не так глуп, многое понимал, но только считал, что говорить следует не то, что ты думаешь, а то, что «положено» говорить. На партийных собраниях он по-прежнему так и делал, но в общении с нами был совсем другим. Я с ним даже заприятельствовал, мы часто ходили вместе обедать, и он мне рассказывал много такого, о чем прочесть тогда нигде нельзя было. Например, он рассказывал, что, когда убили Кирова, его привезли хоронить в Москву, и от Ленинградского вокзала до Красной площади шла похоронная процессия, в которой шагали Сталин и все члены Политбюро. И в каждом окне на всех этажах по ходу их следования по Мясницкой, которая потом стала называться улицей Кирова, стоял надежный человек, который обеспечивал безопасность процессии, и одним из этих надежных людей как раз и был мой собеседник, тогда кремлевский курсант.

Может быть, нам повезло, но укрепление отдела партийными кадрами ничего в нашей жизни не изменило.

При этом бытовые условия работы, надо сказать, были ужасными: одна-единственная комната, в которой мы были как сельди в бочке – кажется, восемнадцать человек, и при этом обязательно надо было ходить на работу каждый день. Если опаздывал хоть на одну минуту, тебя регистрировали, а ведь я ездил из загорода электричкой. Помню забавный случай. Я в то время часто печатался в газетах, меня приглашали выступать в разные учреждения, и вот однажды зазвонил телефон (он был один на всю нашу бочку сельдей) и милый женский голос спросил: это приемная профессора Вишневецкого? Шуток хватило на неделю.

Но творческая атмосфера, постоянное общение с интересными, неординарными людьми, живой общий интерес к тому, что мы делали, отсутствие мелочных

дрягг – все это перевешивало. Среда в нашем отделе была очень живая: туда слетались интересные люди со всего Советского Союза. Были постоянные контакты с другими республиками: с Прибалтикой, Средней Азией, Грузией, Арменией. Тогда проводилось довольно много всяких конференций, и все были между собой знакомы. Мы были молодыми и неутомимыми, могли подолгу спорить друг с другом, доказывая свое. Неподалеку от ЦСУ, на Садовом кольце, в магазине «Военная книга» было «Кафе книголюбов». Мы иногда выкарабкивались из нашего перенаселенного логова, шли туда и долго там спорили о всяких научных проблемах. Там вырабатывалось общее понимание многих профессиональных вопросов, мы все учились друг у друга.

Говоря о том времени, не могу не вспомнить знакомство с чехословацким демографом Зденеком Павликом: он, как и я, занимался проблемами демографической революции, мы оказались единомышленниками, это нас очень сблизило, и мы сохранили добрые отношения на всю жизнь, а она получилась длинной – не так давно я ездил в Прагу на его 80-летие. Познакомился я и с мэтром польской демографии, академиком польской Академии наук Эдвардом Россетом, ему уже тогда было за 80. И нельзя не сказать, что я получил от них серьезную моральную поддержку, в которой я тогда нуждался. Советский демографический истеблишмент относился к тому, чем я занимался в то время (теория демографического перехода), весьма неодобрительно, Боярский был далеко не единственным, кто видел в этом что-то немарксистское и вообще сомнительное. А вот от Зденека Павлика, очень скоро после того, как появились мои первые статьи на эту тему, я получил письмо, где он писал (на хорошем, но все же не безупречном русском языке): «Я перечитал еще один раз Ваши две статьи из “Вопросов философии”, и я могу только повторить, что я Вам уже сказал. По всему, что я читал в вашей демографии раньше, это как новая эра» (1974). И конечно, мне было приятно вскоре после выхода моей книги «Воспроизводство населения и общество» (1982) получить поздравление Россета, в котором говорилось, думаю,

даже с перебором: «Это замечательная работа, она является свидетельством идейного патроната, присущего Вашей научной деятельности. Нашей науке – демографии – указываете новые задачи, новые направления развития».

Еще один мой коллега, которого я не могу не вспомнить, – живший в ГДР иранский политэмигрант Парвиз Калатбари. Если я не ошибаюсь, он был родным братом шахского министра иностранных дел Аббаса Калатбари, казненного после исламской революции, но сам он стоял на противоположных политических позициях, был коммунистом, членом партии ТУДЭ, которая преследовалась при шахе, и вынужден был покинуть Иран, чуть ли не бежал из тюрьмы. В качестве желанного политэмигранта он жил в Восточном Берлине и заведовал кафедрой демографии в университете имени Гумбольдта. Впервые я услышал о нем от Зденека, который охарактеризовал его так: он хоть и коммунист, но open mind. Калатбари опубликовал на немецком языке мою статью из «Вопросов философии» (а затем ее перепечатали и в Западной Германии), упорно приглашал меня на проводившиеся им международные демографические семинары. Я был невыездным, но в конце концов он добился своего – я впервые выехал за границу именно на его семинар. Не знаю уж, какая у меня была там репутация, но помню мистический ужас на лице молодого немецкого коллеги, с которым меня познакомили в кулуарах семинара. «My goodness! – воскликнул он. – Я думал, что вы давно уже умерли!»

В Москве в те годы очень большую роль играла демографическая секция Дома ученых. Ее создал и долго ею руководил Борис Цезаревич Урланис. Это было важно, потому что раньше у демографов почти не было никаких площадок для встреч и обсуждений, а демографическая секция Дома ученых стала именно такой площадкой. И главное, Урланис как-то очень хорошо умел ее вести. Не берусь судить, оценили ли это современники, но его манера была такой, какую потом никому не удалось повторить. Я не знаю, за счет чего это делалось, но он умел

создать удивительно свободную, дружелюбную атмосферу. Тогда мы не пропускали ни одного заседания этой секции. И очень много лет именно там мы все с удовольствием встречались.

В НИИ ЦСУ я проработал с 1971 по 1984 год, написал там свою докторскую диссертацию – правда, не на ту тему, на которую когда-то нацеливался. Сама защита была в Институте системных исследований. Моими оппонентами выступили Татьяна Ивановна Заславская, Станислав Сергеевич Шаталин и Александр Яковлевич Кваша. С Сашей Квашей я был давно и хорошо знаком, а двух первых знал раньше, скорее, шапочно. Подготовка к защите, участие в обсуждениях, не всегда простых, упрочили наши контакты, которые тоже дали мне немало. Поддержка этих людей при защите диссертации много значила для меня.

В 1984 году я перешел в Институт социологии, но там не прижился. Затем какое-то время работал в Совете по изучению производительных сил Академии наук, который тогда возглавлял Абел Гезевич Аганбегян, приехавший из Новосибирска. Мы с Аганбегяном обсуждали идею создания (или воссоздания?) института демографии в Академии наук, ведь когда-то такой институт существовал в Ленинграде, но был закрыт еще раньше, чем киевский институт Птухи. Идея казалась вполне здравой и реализуемой, тем более что тогда Аганбегян был советником Горбачева. Он этим занялся и в какой-то момент сказал мне, что вопрос решен и что есть высокое согласие на создание института демографии Академии наук. Директором туда Аганбегян собирался пригласить Заславскую. Но события развивались несколько иначе. Неожиданно на очень высоком уровне – ЦК и Совмина – было принято решение о каких-то мерах по улучшению всего, и в частности науки. Вместо института демографии было решено создать Институт социально-экономических проблем народонаселения с большим отделом демографии – человек на семьдесят, – а меня пригласили руководить этим отделом. Всем сотрудникам отдела демографии Института социологии

официально предложили перейти в этот новый отдел, но на строго добровольной основе: кто не хотел, мог остаться в Институте социологии. Почти все перешли. Это случилось в 1988 году, тогда образовалось ядро нашего коллектива, с которым мы работаем до сих пор. Стало быть, в 2013 году исполняется двадцать пять лет с тех пор, как мы работаем вместе, – четверть века. Но семидесяти человек, о которых говорили тогда Аганбегян и Владимир Николаевич Кудрявцев (вице-президент Академии наук, который специально приехал, чтобы встретиться с сотрудниками нового отдела), конечно, не было тогда, нет и сейчас. Все понимали, что мы сильно отстали от мировой демографии, и мне запомнилось, как Кудрявцев спросил: сколько понадобится времени, чтобы догнать? Сергей Захаров, сегодня – маститый ученый, а тогда – мой молодой аспирант, сказал: лет 10–12. По мнению Кудрявцева, это было многовато, надо бы побыстрее. С тех пор прошло уже более двух названных Сергеем сроков, а догнали ли?

Накануне наступления 2013 года я получил поздравление от одного из своих нынешних студентов, который написал, что желает мне «и в следующем году оставаться таким же активным и здоровым дедушкой. Очень благодарен Вам за пример человека, который идет по эскалатору вниз, а не занимает правую сторону». Так он еще не знает, что я и вверх по эскалатору, как правило, иду. Но от возраста все равно не убежать. Мой трудовой стаж приближается к пятидесяти пяти годам, примерно пятьдесят из них отданы демографии. И это были довольно интересные для меня пятьдесят лет.

# АЛЕКСЕЙ ГОРОДЕНЦЕВ

## УЧИТЕЛЯ

---



Мой отец был очень хорошим инженером и всячески старался поддерживать во мне интерес к естественным наукам. Ну и математикой мы с ним немало занимались в детстве. А дальше все пошло довольно накаптаным путем. Я участвовал в разных олимпиадах, и там частенько бывали люди, занимавшиеся со школьниками разными науками. Однажды мне прислали по почте записочку с приглашением на университетский математический кружок. Кружок этот вели Андрей Хохлов, Дима Богданов, Саша Романов, Коля Репин и еще несколько студентов. Это была совершенно другая жизнь, совсем не такая, как в школе. Потом Хохлов и Богданов из этого кружка набрали математический класс 57-й школы. Я тогда не попытался к ним поступать – трудно объяснить, почему: видимо, сам я не был еще достаточно взрослым, а родители мною тогда уже и не особенно старались управлять. Потом я еще год ходил на другой кружок – его вели в МИСИСе Юра Лысов и Коля Константинов. Из этого и нескольких других кружков Коля набирал матклассы в 179-ю и 91-ю школы, и вот туда я уже пошел — под влиянием Константинова, он мне просто домой позвонил и уговорил.

Поступил, учился два года в 179-й школе. Это было совершенно незабываемое время. Эстонский лагерь. Беломорская биостанция. Походы. Песни. Встречи с удивительными и легендарными людьми: Тимофеев-Ресовский, Эйдельман, Эфроимсон... И с людьми не столь известными, но не менее удивительными: однажды, например, Коля устроил нам беседу с ребятами, которых выгнали из института – за то, что они бойкотировали всенародное голосование за нерушимый блок коммунистов и беспартийных, – а потом немедленно призвали и отправили служить во внутренние войска, стерегущие заключенных.

Я думаю, что именно в школьные годы человек получает основной жизненный импульс. Во всяком случае, у большинства моих друзей это было именно так. Когда нынешние, уже мои школьники спрашивают, где я научился строить дома или колоть дрова, я честно говорю, что в школе. У нас была небольшая компания в классе, на которую Константинов иногда рассчитывал в том плане, что мы можем что-нибудь новое с нуля сделать. В тот год у него возникла идея построить в эстонском лагере стационарные «теремки» – эдакие большие «палатки»

в форме буквы «А», но деревянные, двухэтажные и на ножках-сваях. На втором этаже – спать, на первом – чай пить, а под полом, между ножками, велосипед и прочее барахло держать, и чтобы зимой снег до пола не доставал. Мы сначала порепетировали на Колиной даче, сделали зимой разборный образец. И следующим же летом начались в «Эстонии» теремки...

На Беломорской биостанции вообще была сплошная стройка. Мне там даже на пилораме удалось поработать. Она, конечно, старенькая была, 40-х где-то годов выпуска, безо всякой автоматики, но тем интереснее.

Ну и математика, конечно. У нас в классе кроме Коли Константинова преподавали Сергей Григорьевич Роман, Юра Неретин, Коля Репин, из МИФИ несколько ребят. Во многом Колиными стараниями в нескольких московских матшколах было поставлено лучшее в мире математическое образование, и оно до сих пор лучшее. Школьникам дают попробовать позаниматься профессионально. Самостоятельно. И полная свобода при этом. Не хочешь – не бери. А хочешь – бери сколько унесешь. И с каждым учитель лично беседует. Мы с Константиновым не один десяток часов пробродили по Москве, самые разные вещи обсуждая...

Нечто сопоставимое было еще разве что в биологии и физике. Биологические классы организовывала Галина Анатольевна Соколова. Мы тогда очень дружили с биологами, вместе ездили на разные биостанции, в походы вместе ходили.

Физику у нас в школе вел Владимир Владимирович Бронфман, один из лучших учителей физики в Москве. Среди его учеников пара нынешних академиков, один членкор, докторов просто не сосчитать... К сожалению, он умер три года назад... И во всех ведущих матшколах были выдающиеся учителя физики: и в 57-й, и во 2-й, и в 91-й... Класс, в котором я учился, был, собственно, физико-математический: там были группа физиков и группа математиков, и идея была в том, чтобы возродить единство физиков и математиков, существовавшее до Второй мировой войны и приведшее к столь внушительным прорывам в науке.

И сейчас мало-помалу эти усилия тридцати-сорокалетней давности начинают приносить плоды.

И еще программированию нас в школе научили. Делалось это под видом УТК – все должны были тогда научиться в старшей школе какому-нибудь ремеслу в учебно-трудовом комбинате, а мы в разные институты к Колиным друзьям ходили программировать вместо этого. И все это было по-настоящему и гораздо интереснее и эффективнее, чем потом на мехмате. Кстати, один из первых в мире мультфильмов, целиком нарисованных компьютером при помощи трехмерной графической модели, был с участием Константинова сделан – знаменитая «кошечка» (это в незапамятные еще времена было, даже до ЕС ЭВМ: кошка буквами на АЦПУ рисовалась).

Когда в 10-м классе встал выбор – куда поступать, – у нас примерно половина класса двинула в Физтех и МИФИ, а другая – на мехмат. Я выбрал мехмат по абсолютно дурацкой причине: два предмета – черчение и труд – стараниями учителей из моей первой, начальной школы впечатались в мое подсознание настолько бессмысленным и унижительным кошмаром, что, когда я выяснил, что на первом курсе физфака оба они так или иначе наличествуют, выбор в пользу мехмата стал для меня однозначным.

Шел 1980 год, в Москве затевалась олимпиада, и экзамены в университет отложили, чтобы поселить в университетских общежитиях людей, обслуживающих олимпиаду. В результате МГУ из вуза «первой очереди» – провалившись в котором, вы могли еще успеть поступить во множество других мест – стал в «последнюю очередь»: в начале сентября, когда проходили вступительные экзамены в университет, прием документов всюду был уже закончен. Естественно, многие побоялись ждать до сентября, и в результате в оставшихся «первоочередными» Физтехе и МИФИ в тот год был рекордный конкурс, а в университете – небывалый недобор. Поговаривали, что для создания конкурса многих поступавших в военные училища погнало в тот год на мехмат. Зато экзамен был очень простой, и практически



все, кому специально палок в колеса не ставили, его сдали. Из нашего класса на мехмат десять человек поступило.

Несмотря на такое отсутствие конкурса, на нашем курсе учились весьма сильные люди: например, будущие лауреат Филдсовской премии Максим Концевич и лауреат премии Неванлинны Саша Разборов. Кстати, если мне не изменяет память, Концевичу поставили-таки «тройку» на вступительном экзамене по математике – во всяком случае, он до самого последнего момента очень переживал, что не пройдет по конкурсу.

На мехмате я не сразу определился со специальностью. В классах, где преподавал в те годы Константинов и близкие к нему люди, много внимания уделялось общей топологии, ТФДП<sup>1</sup> и т.п. И на первом курсе я ходил на семинар по теории функций действительного переменного к Скворцову и Виноградовой, что было довольно интересно, но, как сейчас говорят, «не круто». Как-то зимой ехали мы из универа домой в Текстильщики вместе с Мишей Капрановым. Он учился тогда на третьем курсе у Юрия Ивановича Манина, а сейчас он замечательный математик, работает в Йельском университете. Миша спросил, чем я занимаюсь. Я ответил, что дифференцированием интегралов, что для разных изысканных функций с ним большие проблемы и т.д. Он посмеялся и сказал: «Ну зачем заниматься такими функциями, которых никто никогда в жизни не видел? Сперва придумывать патологии, а потом с ними разбираться?» После этого я стал похаживать на топологические и геометрические семинары и вскоре осознал, что алгебраическая геометрия – большая и красивая область, требующая изрядных усилий, но зато и охватывающая сразу почти всю математику. Значительное влияние в том же направлении оказал на меня Александр Михайлович Виноградов – он вел у нас аналитическую и дифференциальную геометрию, и на его семинар я тоже ходил.

Там делались попытки изложения теории уравнений в частных производных на языке Гротендика (вышедшая недавно под псевдонимом Джет Неструев книжка про гладкие многообразия – это конспекты именно тех виноградовских семинаров).

А еще я ходил на маленький семинарчик по алгебраической геометрии, который устраивал Алексей Николаевич Рудаков «для своих» – нескольких толковых студентов, которые учились в группах, где он вел регулярные занятия по алгебре. Моя будущая жена Таня училась как раз в рудаковской группе, ходила на этот семинарчик, ну и я за ней увязался. Это был замечательный семинар, именно в том духе, к которому я в школе привык. Мы сами разбирали разные сюжеты и рассказывали их друг другу под присмотром Рудакова. Так мы выучили алгебраические группы, потом Хартсхорна. В результате мы с Таней выбрали научным руководителем Рудакова.

Алексей Николаевич Рудаков – ученик Игоря Ростиславовича Шафаревича. Шафаревич тогда на мехмате уже не преподавал, и знаменитый на весь мир семинар Шафаревича проходил в Стекловке. Именно на семинаре Шафаревича я через некоторое время понял, что такое настоящая математика. И пожалуй, ни на каком другом московском математическом семинаре не было такой дружелюбной, комфортной и продуктивной атмосферы. После каждого из этих семинаров хотелось заниматься. Они наполняли энергией и вселяли в тебя веру в собственные силы. Кроме главного семинара по вторникам тогда еще работал семинар про К3-поверхности, у меня до сих пор его конспекты на полке стоят – лучшие специалисты рассказывали разные куски теории, как раз те, где они сами наиболее преуспели: Аносов и Паламодов – про деформации комплексных структур и условия интегрируемости, Куликов – про смешанные структуры Ходжа, Никулин – про решетки и многогранники, ну и сам Шафаревич, конечно.

---

<sup>1</sup> Теория функций действительного переменного.

Когда я был на пятом курсе, А.Н. Рудаков пригласил на наш внутренний мехматский семинарчик Андрея Николаевича Тюрина – порассказывать нам про векторные расслоения. Это было яркое событие: Андрей Николаевич уже несколько лет на мехмат не задерживал. Когда И.Р. Шафаревича уволили с мехмата за его общественную деятельность – публикацию книги «Социализм» и многое другое, – А.Н. Тюрин тоже стал для мехматского начальства персоной *non grata* (из книги «Бодался теленок с дубом» многие, наверное, знают о роли Андрея Николаевича в сохранении архива А.И. Солженицына). С уходом И.Р. Шафаревича алгебраическая геометрия на мехмате осталась представлена двумя большими семинарами – под руководством Юрия Ивановича Манина и Василия Алексеевича Исковских. Сегодня почти все ученики Ю.И.Манина уехали из России, и семинар Манина перестал быть московским, а вот школа В.А. Исковских по-прежнему эффективно функционирует в Москве, хотя сам Василий Алексеевич трагически погиб три года назад. Когда А.Н. Тюрин появился на семинаре Рудакова, наш семинар из маленького «междусобойчика» быстро превратился в большой научный семинар, куда стало ходить множество людей – и студентов, и профессионалов. Обсуждались векторные расслоения: инстантоны, кривые подскока, стабильность, пространства модулей. С подачи Тюрина мы с Рудаковым стали разбирать статьи Дрезе и Ле Потье про исключительные векторные расслоения на плоскости. В результате у нас получилась теория спиралей: исключительные наборы, перестройки и полуортогональные разложения производных категорий. Сейчас это вылилось в целую область: многие занимаются полуортогональными разложениями триангулированных категорий. А тогда это была моя первая полноценная научная работа.

Алексей Николаевич Рудаков был моим научным руководителем и в аспирантуре. Это замечательный человек, и работать с ним мне всегда было очень приятно. Когда у меня появлялось что-то новое, я звонил ему прямо домой, вскорости после чего обычно приезжал в гости. Наша первая статья про исключительные расслоения была совместной, и так как она сразу писалась на английском

(был 1987 год, страна уже настолько открылась, что стало можно печататься на Западе, и американцы тогда как раз решили издать специальный номер *Duke Math. J.* с публикациями русских алгебраических геометров), а я в университете учил немецкий, делал это в основном Алексей Николаевич. Однако английский я именно тогда и выучил – и во многом с его помощью. Алексей Николаевич Рудаков – один из основателей Независимого университета. Собственно, он был первым деканом математического факультета. Это было самое трудное время, начало 90-х: денег не было, профессора уезжали массово, многим казалось, что жизнь кончается. Однако Независимый университет именно тогда возник, встал на ноги и выпустил первых студентов – самых лучших, как водится, ибо к первым – наибольшее внимание. Без Рудакова Независимого бы не было.

Научным лидером рудаковского семинара был, конечно, Андрей Николаевич Тюрин. Он же был и «душой компании», и неформальным научным руководителем как для меня, так и для многих других участников семинара. Андрей Николаевич, вне сомнений, был одним из ярчайших геометров XX века. Анри Пуанкаре делил людей на аналитиков и геометров, имея в виду, что аналитики больше думают формулами, а геометры мыслят картинками. Тюрин мыслил именно картинками, иногда это было просто поразительно и всегда – восхитительно красиво. Все его результаты, какими бы сложными в алгебраическом и аналитическом плане они ни были, всегда мотивировались и объяснялись удивительно простыми и естественными образами из классической проективной геометрии. И еще он обладал удивительным даром вселять в людей веру в свои силы и желание работать. После общения с ним всегда хотелось заниматься. Именно поэтому вокруг него всегда было много молодых людей: в те годы завсегдатаями нашего семинара были Миша Капранов, Алеша Бондал, Витя Пидстригач, Сережа Кулешов, Саша Полищук, Рома Безрукавников, Митя Ногин, Боря Капов и многие другие... Семинар часто проходил прямо дома у А.Н. Тюрина или у него на даче.

В 90-е годы многим в России перестали платить жалованье. В том числе подавляющему большинству математиков. Единственным способом зарабатывать на жизнь в рамках своей профессии стала работа на Западе. И я глубоко благодарен нашим коллегам в Европе и Америке за то, что они не только предоставили нам возможность работать и зарабатывать, но и многократно совершенно бескорыстно помогли российским математикам как финансово, так и административно.

В моей жизни и в жизни многих моих друзей большое место занимает Математический институт Немецкого научного общества им. Макса Планка. Последнее является своего рода академией наук и объединяет полный спектр международных научных центров – физический, биологический, химический и т.д. Математический институт находится в Бонне, с момента создания им руководил Фридрих Хирцебрух – выдающийся математик и удивительный человек. Он подростком пережил войну и своими глазами видел бомбардировку Бонна и Кёльна союзниками. Про нее меньше известно, чем, скажем, про дрезденскую, потому что там меньше народу погибло, ибо и было меньше людей. Но Кёльн и Бонн снесли полностью, абсолютно все разрушили «под ноль», кроме Кёльнского собора, по которому было удобно ориентироваться и наводить дальнобойные орудия. И он, видевший это своими глазами, был чужд всякой озлобленности. Добрейший человек, идеальный ученый. Когда присоединили ГДР, восточногерманские математические институты закрыли – их руководство и многие сотрудники, как и в СССР, были люди партийные. Берлинские алгебраисты и геометры лишились работы, и Хирцебрух их приютил на некоторое время, платил им зарплату. Точно так же он помогал и российским математикам. Максим Концевич работал в Бонне около двух лет, это редкий случай – у института формально нет постоянных сотрудников, и обычно туда приезжают на несколько месяцев.

Я несколько раз оказывался в Бонне вместе с Андреем Николаевичем Тюриным, пару раз мы даже жили вместе в одной квартире. Я тогда был потрясен тем, как этот человек работает. Каждый день он распечатывал в институте

толстую кипу статей из математического архива – страниц триста в среднем, – и за вечер всю ее прочитывал. А ведь это не водянистые философские сочинения или политологические обзоры, а плотный математический текст, в котором каждое слово дорого стоит и нуждается в обдумывании! Андрей Николаевич постоянно держал руку на пульсе всего математического мэйнстрима. Временами мне казалось, что нет области, про которую он не мог бы аргументированно высказаться, – что содержательного там сейчас делается, каковы перспективы и от кого следует ожидать главных достижений. Он мог навскидку прочитать зажигательную лекцию о новейших достижениях в самых разных областях и поставить задачи, которые немедленно можно было начинать решать и к которым будет прикован интерес в ближайшее время.

Преподавать я начал довольно рано. Вся система матшкольного образования построена на том, что старшеклассники помогают принимать задачи на математических кружках, студенты преподают в матклассах, аспиранты и старшекурсники ведут семинары у младших студентов. Когда в начале 80-х Константинова вытеснили из 179-й школы, он набрал класс в 315-й (если я правильно помню) школе, и я ему помогал этот класс вести. Одним из учеников там был Коля Тюрин – сын Андрея Николаевича. Я тогда на третьем курсе учился и с Андреем Николаевичем даже знаком еще не был. Помню, как я удивился, когда первый раз пришел к Тюриным домой и дверь открыл Коля. Да еще оказалось, что жена Андрея Николаевича – Софья Абрамовна Тюрина – некоторое время работала вместе с моей мамой и тоже меня заочно знает. Словом, мир тесен.

После окончания аспирантуры я распределился в МИРЭА. Там на кафедре высшей математики собралась отличная команда: Игорь Артамкин, Андрей Хохлов, Сергей Хорошкин и многие другие, с кем я с тех пор еще не раз вместе работал и работаю уже в совершенно других местах. Неподалеку, в Тропарево, есть 109-я школа под директорством Ямбурга, и мы тогда, в конце 80 – начале 90-х, вели в ней матклассы. Я один класс выпустил на пару с Андреем Хохловым и еще один вдвоём с Таней.

Я довольно много преподавал математику студентам технических вузов: в начале 90-х – в МИРЭА, в конце 90-х – в МИИТе. Должен признаться, что эта работа всегда казалась мне мало осмысленной – по разным причинам, о которых можно много говорить, но едва ли это здесь сейчас уместно. Я бы многое поменял в организации преподавания математики будущим инженерам, но слишком хорошо понимаю, что ни сил, ни жизни на это не хватит. Неправильно превращать курс математики в аналог строевой подготовки. Умение исполнять команды и готовность угодить начальнику – это не те навыки, которым надо учить на математических занятиях. Уроки математики призваны помочь отличать верное от неверного, научиться видеть причины и следствия, познать чувство победы, а также цену оной победы. К сожалению, во многих технических вузах, а самое трагичное – во многих школах, все организовано ровно наоборот: отсутствие строевой подготовки стараются компенсировать курсом математики.

В начале 90-х появился Независимый университет. Тоже, кстати, при деятельном участии Коли Константинова. Я работаю в НМУ более-менее с момента основания. Первые два года вел упражнения за Рудаковым, потом сам стал читать лекции. Независимый – это удивительное учебное заведение, существующее вопреки отсутствию каких бы то ни было рациональных гарантий его существования. Просто потому, что есть сейчас в Москве поколение людей, считающих, что математике следует учить всех, кто этого хочет, людей, умеющих очень неплохо это делать и делающих это более-менее бескорыстно. Слава Богу, есть все основания полагать, что на смену этому поколению приходит по меньшей мере еще одно, даже более продуктивное.

Поразительный успех той уникальной и не имеющей мировых аналогов системы математического образования, что сложилась сейчас в ведущих математических школах России, во многом основан на традиции личного, индивидуального общения учителя с учеником – беседе один на один, с глазу на глаз. Ученикам дают задачи. Ученики их обдумывают и решают или не решают – сами или в компании с одноклассниками.

А после этого происходит занятие с преподавателем, которое состоит в обсуждении данных задач. Это обсуждение никоим образом не является «контрольным мероприятием» по проверке домашнего задания. Оно, собственно, и есть процесс обучения. Неверно думать, что если ты ничего не решил, то с тобой не о чем говорить. Как раз в этом случае поводов поговорить, как правило, гораздо больше, и мы пытаемся убедить в этом наших студентов. Это довольно трудное, а главное, трудоемкое дело. Вот сейчас там, за стенкой, в аудитории сидит около сорока студентов и десять преподавателей, которые с ними задачи обсуждают, – профессора, доктора. И ни в какую формальную «нагрузку» им это, естественно, не идет. И они там не галочки в зачетные ведомости ставят, а лично объясняют каждому студенту математику в самом широком смысле этого слова.

И ведь точно так же, по сути своей, обстоят дела в обучении живописи, музыке, актерскому искусству. Индивидуальное мастерство в любом виде творчества всегда передается из рук в руки, от мастера к ученику. Тут нет ничего ни нового, ни удивительного. Это игра в бисер.

Математика – как искусство: в ней есть красивые и не очень красивые результаты, есть великие теоремы, а есть – граничащие с графоманией. Это как в живописи или музыке: есть произведения выдающиеся, а есть посредственные, есть – открывающие новые горизонты, а есть и коммерческая рутинка. С другой стороны, математика контролирует множество точных инженерно-технических приложений: от шифрования, передачи и хранения разнообразных данных до моделирования и управления сложными, эволюционирующими системами.

Но самих математиков математика привлекает к себе прежде всего как способ причаститься истины, причем у большинства профессиональных математиков имеется удивительно согласованное мнение по поводу последней. В математике лучше, чем где бы то ни было, понятно, что правда, а что ложь, что является существенным достижением, а что – профанацией деятельности.

# ГАСАН ГУСЕЙНОВ

## УЧИТЕЛЯ

---



Вся моя жизнь чуть ли не с четырнадцатилетнего возраста прошла под сенью моей главной учительницы и впоследствии моей научной руководительницы – Азы Алибековны Тахо-Годи, которая была спутницей жизни и ученицей Алексея Федоровича Лосева, великого филолога-классика. А самое начало было случайным. Я учился в 8-м классе в химической школе, взорвался в руках пакет бертолетки с фосфором, и я не мог несколько недель ничего делать руками. И тогда я от химии переключался в филологию. Пришел посмотреть на кафедру классической филологии, впервые встретился с Азой Алибековной, увидел эту кафедру на Моховой, стал что-то читать...

В советское время выбирали специальность на всю жизнь. Было понятно, что не надо выбирать ничего на стрелке политическом. Выбор был – классическая филология, потому что говорили: вот настоящая классическая наука, и она всегда будет тебя как-то кормить. И вот парадокс: я пошел в классическую филологию, потому что хотелось уйти от всякой современности, но когда я начал реально этим заниматься, оказалось, что все это страшно актуально и как раз объясняет современность. Все, что кажется нам древностью и чем-то не от

мира сего, на самом деле именно и содержит ростки того, что сегодня остро. Эта острота касается значения слова, злоупотребления словом, в котором мы жили в советское время, искажения не просто абстрактной истины, а самого подхода к человеку. И классическая филология в каком-то смысле была кислородной подушкой, которая нас спасала от многих бед. С другой стороны, меня всегда интересовало представление о человеке, то есть в филологии меня интересовала антропология. Философия была идеологической дисциплиной. Если ты занимался, например, современной западной философией, то это должно было называться «критика современной буржуазной философии» – никак иначе. Ты попадал в идиотское положение: не успев еще толком изучить предмет, уже должен был критиковать его с позиций официальной философии. А филология была в этом смысле нишей.

С Алексеем Федоровичем Лосевым я познакомился, когда уже был на третьем курсе. И с 1973 года я приходил на Арбат примерно раз в неделю. Алексей Федорович был величайшим тружеником. Он исполнял свою жизнь как некоторый подвиг, который считал себя обязанным выполнить. Попутно, поскольку он не видел, они с Азой

Алибековной готовили людей, которые могли бы хоть чуть-чуть соответствовать его текущим задачам. У него было много секретарей, некоторые работали более интенсивно, некоторые по каким-то отдельным темам, вот как я. Алексей Федорович давал мне задание: я должен был сделать и прочесть ему реферат какой-нибудь книги, которую он хотел использовать в своей работе, или он диктовал свои сочинения, или надо было редактировать что-то, записанное другими... Тогда же не было никаких компьютеров, а тархатеть на машинке он не любил – надо было более-менее аккуратным почерком писать. И вот эти занятия на протяжении примерно пятнадцати лет были для меня самым важным ученичеством, даже когда я этого не осознавал. Как формулируется мысль? Как человек, который не имеет шпаргалки в руках, сочиняет многотомное собрание с тончайшей, ажурнейшей структурой глав и параграфов? Как все это держит в памяти? Вы только представьте: человек тебе диктует не по писаному, а он тебе диктует свою книгу, которая вся у него в голове! И его представление о том, что наше собственное знание лишь малая доля какого-то связывающего людей общего понимания и что это не мы владеем языком, а язык нами владеет и нам надо под него подстроиться. Все это было настолько значительно, что приобщение к этому чужому пониманию было огромным счастьем.

Любимая присказка А.Ф. Лосева – «корни учения горьки, зато плоды его сладки». При этом под «горечью» Алексей Федорович понимал вовсе не труд, который как раз был его усладой, а в некотором роде неудовлетворительные результаты иногда очень большого труда. Проблема науки в том, что плод, образ плода, который имеется у исследователя в качестве гипотезы, ведет его к корню, только достигнув которого ты сможешь сказать, что за плод ты, собственно, возвращал. Это не словесная эквилибристика, а как раз довольно горькая истина. Научный результат – опровержимый или открытый для опровержений, но и пригодный для трансляции и передачи дальше по эстафете поколений, – может прокиснуть, не достигнув качества благородной горечи.

Вот это и есть та горечь пилюли, которую учителя призывают или заставляют проглотить своих учеников. Корень здесь понимается и немного фармацевтически.

То, что я буду рассказывать сейчас, – это ответ на вопрос собеседника и некоторый мемуар, который важен для меня самого и для тех, кто занимается или будет заниматься историей последнего поколения собственно советских гуманитариев, – просто как отдельный случай, кейс, так сказать.

У книги А.А. Тахо-Годи об А.Ф. Лосеве есть одно удивительное свойство: автор очень много говорит о молодых спутниках и учениках – своих и Алексея Федоровича. Это свойство настоящего учителя. Азе Алибековне сейчас за девяносто. А говорили мы об этом ее искусстве с когдатшним ее взрослым студентом (он был фронтовиком) и моим, наверное, первым наставником по литературоведению – Виктором Исааковичем Камяновым. Школьный учитель, литературный критик и редактор, он стал потом писать прозу. Обладал удивительным искусством объясняющей декламации стихов – не художественного, а, как я потом это для себя назвал, академического чтения. Показать в реальном масштабе времени, как было сделано стихотворение и почему оно воспринимается так, эдак, а еще и иначе – в зависимости от степени вовлеченности читателя, – этим искусством Камянов владел мастерски, а учился ему он у Лосева. Алексей Федорович не раз говорил, что жалел, отчего Камянов не стал заниматься классической филологией. А Виктор Исаакович объяснял просто: после войны «на старости лет» братья за древние языки не хотелось. Не раз и не два рассказывал, как в конце войны, оказавшись в Норвегии, почувствовал себя «представителем русской литературы».

В университетские годы были, конечно, и другие учителя – и на филфаке, и за его пределами. Литературный критик Иосиф Львович Гринберг. Он и его жена заменили мне дедушку и бабушку, которых у меня не было, –

мои родители были уже сиротами, когда я родился. Для Гринбергов литература была всем. Именно у них дома я прочитал, наверное, большую часть из того, что входило в середине XX века в читательский канон молодого человека, – от Зоценко, Гашека, Ильфа и Петрова до Томаса Манна или русских формалистов. Это было время, когда чтение замещало реальный социальный опыт. Вот почему именно мое поколение в конечном счете оказалось совершенно неспособно к социальному творчеству. Как бы прекрасна ни была меняющаяся мимика химер, химеры остаются химерами. А мне невероятно повезло с соседями по подъезду, где я прожил безвылазно с 1962 по 1975 год. Леонид Ефимович Пинский, который впервые дал мне прочитать самиздатский перевод «Мужества быть» Пауля Тиллиха. Рядом с Пинским жили Эмилия Александрова и Владимир Левшин, которые давали мне читать рукописи еще не опубликованных детских книг. Некоторые из них я помню до сих пор. Вдовы убитых писателей из нашего подъезда на Красноармейской – Кина, Лоскутова – точно относятся к кругу «учителей». Из их рук подросток получает не только книгу или настоящее письмо – из рук, чтобы знал, вспомнил вовремя! – но и кусок картины мира, который будет твоей опорой и десять, и сорок лет спустя. Цецилия Исааковна Кин, Григорий Маркович Литинский. И еще важнейшая линия – японистка, ученица академика Н.И. Конрада Ирина Львовна Иоффе и ее муж, Наум Павлович. Оба они страшно много курили и очень скупно, но рассказывали о своих лагерях. Сеймчан, Сусуман, Эльген. Когда я впервые попал в середине 1980-х в те края, в роли заштатного лектора общества «Знание», рассказы середины 1960-х ожили страшно. Потому что переспросить было уже невозможно.

Это были, стало быть, дорогие моей памяти учителя плохого ученика. Увы.

После университета я шесть лет преподавал в ГИТИСе. Потом у меня была операция, из-за которой я потерял голос на довольно длительное время. И тогда отец по большому благу устроил меня в 1984 году в Институт

мировой литературы, где у меня сложились замечательные отношения с моими тамошними учителями, очень значительными людьми – Сергеем Сергеевичем Аверинцевым и Михаилом Леоновичем Гаспаровым. Они никогда бы сами не признали себя моими учителями, но рядом с ними находиться и ничему у них не учиться, не воспринимать их как школу было нельзя. Вместе с тем оба они не были нацелены на учительство. Учитель – это человек, который дает тебе задание, ты его выполняешь, и он с тобой вместе разбирает, что ты сделал не так. Человек, который тебя, так сказать, шпынует. А с ними таких отношений у меня почти не было.

У Азы Алибековны я писал свою кандидатскую диссертацию по Эсхилу. Она называлась «Мифологемы судьбы, правды и ритуала в трагедиях Эсхила». Меня всегда волновало соотношение словесных средств выражения некоторой концепции и изменение во времени этой концепции в зависимости от слов, которыми это явление описывается. Например, представления о судьбе. Что такое судьба? Если все предписано человеку, то к чему, вообще говоря, шевелиться? А если не все предписано, значит, нет никакой судьбы. Это понятие становится совершенно запретным в христианстве, где другое представление о Провидении, о личных отношениях с Богом, о диалоге... Хотя в отношениях с судьбой и с роком тоже есть некоторая форма диалога: человек, чтобы узнать свое будущее, вступает в диалог с оракулом. Но он вступает в диалог с оракулом, чтобы узнать, что будет, причем независимо от того, что он сам станет делать. А в отношениях с Богом верующий все-таки стремится узнать, что ему делать, как ему поступить, какой выбор ему лично сделать. Таким образом меняется представление о судьбе.

А докторская диссертация возникла благодаря другому человеку, который в формальном смысле моим учителем не был, но у которого я многому научился и продолжаю учиться. Это выдающийся ученый и создатель своей школы Сергей Юрьевич Неклюдов. Вообще-то Сергей Юрьевич – монголист, занимался фольклором и стал заниматься постфольклором, а в сущности теорией

словесности в индустриальном, посткрестьянском и немножко вторично малограмотном обществе. С одной стороны, существует высокая литература и наука, с другой стороны, существует фольклор где-то там, в горах и лесах, а в городе есть такая странная промежуточная форма, и она объединяет и интеллигенцию, и простонародье, и самых разных людей. Сергей Юрьевич Неклюдов открыл целое направление в науке, бросив своих учеников в эту среду.

Много лет я работал над словарем идеологом, которые были в русском языке в 1990-е годы (первая часть словаря) и в советское время (вторая часть). С конца 70-х годов выписывал на карточки слова – те, что имели жесткую привязку к определенному времени, или те, у которых на наших глазах менялось значение. И эту книжку я, к слову сказать, делал по заветам Лосева: библиографический указатель к ней построен так, как Лосев составлял свою библиографию. Обычно библиографию составляют по алфавиту, а Лосев строил свою библиографию по хронологии: тогда, просто читая список литературы, видишь, как менялась фокусировка тем, что появлялось нового в подходе. То, что в алфавитном указателе никогда не увидишь.

Так вот, когда Сергей Юрьевич Неклюдов увидел нарабатанный массив и почти готовую книгу, он, что называется, велел из нее еще до ее выхода сделать докторскую диссертацию. Он считался «научным консультантом», а был человеком, который своим огромным опытом и необычайным талантом соединять далекие друг от друга вещи, в сущности, кристаллизовал это именно как диссертацию, которую я, получилось, специально не писал, но ведь, с другой стороны, работал над ней двадцать один год. Тут важно не формальное ученичество, а признательность за важные уроки, открытие поля, на котором ты увидел, что тоже можешь что-то интересное тебе и, может быть, другим сделать.

Необыкновенно важным было для меня ученичество у Георгия Степановича Кнабе, которое началось еще в те времена, когда этот замечательный историк и филолог

занимал должность заведующего довольно заштатной кафедры иностранных языков в одном из московских институтов. После прочтения первой его статьи «Римский гражданин Корнелий Тацит» в сборнике в честь Ф.А. Петровского я «записался» в его ученики, еще ничего о Кнабе не зная. В отличие от многих своих коллег, считающих наукой только то, что, как им кажется, непосредственно связано с их школьным предметом, трансляторами которого они должны оставаться, Кнабе интересовался посмертной жизнью исследуемой эпохи. Дело не только в том, что время – искажающая линза, но и в необходимости понять вирулентность чужой эпохи, со всеми ее бедами, в новые времена, в новом человеческом окружении. С этим связаны и опубликованные исследования, и многочисленные устные обсуждения того, что иногда неправильно называют «античным наследием» в русской культуре. Я абсолютно уверен, что следующее поколение историков культуры возьмется за изучение человеческой и академической судьбы советских ученых, то есть ученых советской эпохи.

Были и другие учителя, которые стали также и моими друзьями. И остаются друзьями, хотя их нет с нами. Например, Виктор Моисеевич Смирин – историк римского права и изумительный знаток русской поэзии, друг Гаспарова и Аверинцева. Он был старше их обоих – 1928 года рождения, – и он был воплощением лучших черт своего поколения. Это был человек, с которым мы друг другу очень много читали стихов. И иногда эти стихи вместе разбирали. Мы подружились в конце 70-х годов, и с того времени нас связывала очень тесная, глубокая дружба, и филологическая тоже. Мы вместе ездили в Крым большой компанией, и там, на рубежах восточного Средиземноморья, представляли себе Античность. И я вспоминаю о нем как о большой потере, но вместе с тем часто с ним беседую. Мы с женой и дочкой нет-нет да и обменяемся словечками Вити, когда-то врезавшимися в память. Часто пытаюсь перенести оптику этого человека на время, которого он уже не знает, на ситуации, которых он уже не знает. И я думаю, что это один из признаков ученичества, который хочется сохранить подольше.



Смирин был потрясающим редактором и критиком перевода. Его любимой поэтессой была Ольга Седакова, и он тщетно пытался и мне передать свое понимание ее поэзии. Мне были ближе поэты, отошедшие от русской архаики. Для меня учителем понимания нового поэтического языка стал поэт Владимир Бурич, очень рано умерший. Новая поэзия была мишенью постоянного преследования со стороны официоза и по большей части хамского непонимания со стороны многих признанных и даже хороших поэтов, которые нанесли этим своему языку непоправимый урон. Владимир Бурич был очень добрым человеком, никогда никому не завидовал и обладал даром показывать собственные стихи как события, словесные картины, особого рода беспредметную живопись, явленную в слове.

Учитель – это человек, который видит твои слабости и никогда не устает о них с тобой говорить. И еще человек, который не устает твою персону изучать: что-то ты сделал за «отчетный период»? куда тебя занесло? Когда похвалит, когда отругает, но всегда знает, где ты находишься – не в географическом смысле, а в содержательном. И тут бывают неожиданности. Когда я приехал в Германию, поддержать связь с моим официальным наставником я, к стыду своему, не сумел: слишком резко ушел в современную русскую политическую филологию, дезертировал, так сказать. Но один человек – профессор Дитрих Гайер, – посмотрев, чем я занимался многие годы, на что разбрасывался, вдруг нашел сквозную линию, которую я сам для себя никогда в таком виде даже на четвертом десятке не формулировал. Как будто что-то мешающее отлетело, и возникло необычайно резкое изображение тебя самого. Прием, которым воспользовался Гайер, хорошо известен в педагогике, и я его часто наблюдал, например, у лучших преподавателей языков, которые умели дифференцированно оценивать знания своих учеников, чтобы показать, куда нужно бросить новые силы в первую очередь.

В такой исключительно интенсивной и полезной для следующего поколения форме, как у Гайера, я ее больше не наблюдал. Зато всех его учеников, вышедших из тюбингенского гнезда, распознаешь, где бы те потом ни очутились.

Здесь возникает понятие школы. В МГУ такой школы не было, а вот в Тарту, у Ю.М. Лотмана, и в Ленинградском университете, у историков и филологов-классиков, она, мне кажется, была. В Москве она начала складываться вокруг Е.М. Мелетинского и С.Ю. Неклюдова в РГГУ, но дальнейшая судьба этого университета довольно туманна. Однако самое удивительное явление – это, конечно, Тартуская школа. Ее неправильно называют Московско-Тартуской: только в Тарту был университет, где реально выращивались новые поколения учеников, отобранных, прошедших школу и перенесших ее семена туда, куда их жизнь потом занесла. А москвичи – сотрудники по большей части академических институтов – там оказывались лишь постольку, поскольку в столице СССР сосредоточилось подавляющее большинство вообще всех специалистов, некоторые из которых, что называется, не могли не войти в орбиту Лотмана и Тарту.

Мне только однажды довелось на себе испытать учительский дар Ю.М. Лотмана, когда мы общались на осенней школе Совета по сознанию АН СССР в Грузии. И в его учениках это отпечаталось – от Михаила Безродного, который теперь в Гейдельберге, до Романа Лейбова в том же Тарту.

Гораздо длиннее у меня список ученых, у которых я учился и даже местами выучился, но по стопам которых не пошел, потому что ушел в другую сторону. Например, пройдя курс греческой палеографии у великого Бориса Львовича Фонкича, не пошел дальше. Борис Львович и сейчас преподает этот курс на филфаке МГУ. Пока и я там работал, мы регулярно встречались. Как и почему выходит, что вокруг ученого такого масштаба и дарования не выстроили школу, остается для меня загадкой. Но здесь, очевидно, есть и моя вина.

# АЛЕКСАНДР ЧЕШУРЕНКО

## УЧИТЕЛЯ

---



Я отношу себя к поколению детей «оттепели». Поэтому, если говорить о том, что оказало на меня влияние, я бы в первую очередь назвал общую атмосферу 60-х годов, воспринятую мною через учителей и весь коллектив той школы, которую я окончил. Теперь это школа № 1249, а тогда она была средней специальной школой № 3 с углубленным изучением немецкого языка, располагается она в Чапаевском переулке. Это была замечательная школа, с очень ровным по силе составом преподавателей и по математическим, и по естественно-научным, и по гуманитарным дисциплинам. Работали там подвижники своего дела, возвысившие с нами, наверное, куда больше, чем со своими собственными детьми. Кружки, походы, летний школьный лагерь в лесу под Москвой, свое поэтическое кафе – все это формировало обстановку очень насыщенной, интересной событиями жизни. Состав учеников тоже был достаточно интересным. Это были в основном дети небогатой, но в общем успешной советской интеллигенции: учителей, врачей, научных работников. В школе была очень демократичная атмосфера. Нас не заставляли зубрить, а терпеливо и тактично вводили в определенную проблематику. Я имею в виду, конечно, старшие классы, где нам пытались привить вкус к само-

стоятельной работе, размышлению, анализу. И с этим светлым ощущением, что образовательное учреждение – это такое сообщество, где как раз есть место для дискуссий, где многому можно научиться и многое узнать, я, собственно, и пришел в МГУ.

Первоначально я думал о географическом или историческом факультете, но поступил все-таки на экономический. Мне сейчас даже трудно сказать, почему я свой выбор остановил на экономическом. Очевидно, здесь сыграло роль то обстоятельство, что экономический факультет обеспечивал некоторый баланс между дисциплинами гуманитарного и математического циклов, то есть примерно то, что сегодня дает факультет социологии Вышки. В гуманитарных дисциплинах меня в первую очередь интересовала история и те элементы социальных наук, которые были заложены в курс обществоведения. В моей школе историю и обществоведение замечательно вела Инна Федоровна Гончарова. Эта учительница сформировала у меня интерес к истории не как набору неких фактов, но как к попытке понять те внутренние организующие принципы, которые определяют характер общественных процессов.

В общем, я тогда решил, что именно экономический факультет меня устроит в большей степени, чем какой бы то ни было другой. К тому же факультета социологии тогда ведь не существовало. Плюс к этому у меня был достаточно неплохой немецкий язык. Я знал, что на экономическом факультете есть кафедра экономики зарубежных стран, а я уже тогда интересовался тем, как (и почему именно так?) живет мир по ту сторону железного занавеса. Так сложился мой выбор в пользу экономического факультета.

Поступил я не сразу, только через год. В первый год недобрал одного балла (в отличие от сегодняшней Вышки, в тогдашний МГУ невозможно было поступить платно, но с большой скидкой, – и при конкурсе в 20 человек на место огромное число потенциально интересных студентов оставалось за бортом), то есть из 15 возможных я набрал 14. У меня было время поразмышлять – целый год, но я не отказался от своего выбора. Я решил доказать, что в первый раз, наверное, произошла ошибка. И сделал это, год проработав на одном из московских заводов. Сдал экзамены, в ходе которых увидел несколько знакомых лиц – товарищей по прошлогоднему несчастью. В их числе был, например, Владимир Гутник, впоследствии блестящий российский германист и экономист-теоретик, заведомо ИМЭМО и руководитель кафедры на факультете мировой экономики и мировой политики Вышки, с которым мы оказались затем в одной учебной группе и дружили всю жизнь. Как и с Владимиром Сергеевичем Автономовым, научным руководителем факультета экономики Вышки, и с другими замечательными людьми, с которыми свел меня экономический факультет МГУ.

Должен сказать, что я считаю товарищей по учебе, свою студенческую группу, не менее важным своим «учителем», чем многих преподавателей и профессоров. На семинарах по любому предмету у нас, например, всегда возникала обстановка живой творческой дискуссии, которая доставляла такое же удовольствие, как джазовая джем-сессия, когда разные участники по очереди берут

на себя солирующую функцию... Если бы нам в Вышке всегда удавалось воспроизводить такую же обстановку коллективного сотворчества студентов, было бы замечательно! Но многое здесь зависит не от университетских преподавателей, а от самих студентов. Нужно, чтобы они приходили на занятия не отбывать номер, а совместными усилиями раздвигать горизонты своих познаний...

На третьем курсе у меня был очень серьезный кризис, и я даже думал о том, что мне надо уходить из МГУ. Я постепенно осознал: то, чему и как нас учат, не имеет никакого отношения к действительности, к тем проблемам, которые переживают страна и мир. Дело в том, что на меня и на других представителей моего поколения довольно сильное влияние оказали события студенческой революции конца 60 – начала 70-х годов на Западе – в Соединенных Штатах, во Франции и Германии. Это наложило на общее ощущение некоторого прорыва в светлое будущее, которое было у нас в 60-е годы – первый спутник, первый человек в космосе, начало расселения людей из подвалов в отдельные квартиры и т.д. Казалось, что мы находимся на подъеме, одновременно с этим достаточно серьезные внутренние проблемы переживает Запад и там есть прекрасное равнодушное поколение, которое отрицает сытое мещанство и ищет лучшие перспективы. Поэтому хотелось понять, в каком направлении пойдет развитие человечества и где находятся явно намечающиеся точки бифуркации. Эти вещи в ту пору занимали меня гораздо больше, чем «политическая экономия социализма». Я начал читать много литературы – прежде всего философской, социально-философской и исторической. Читал книги Э.В. Ильенкова, Н.И. Лапина, других советских философов, специалистов в области теории познания. Стал ходить на разные лекции на других факультетах, в том числе на факультет философии – к В.А. Вазюлину, который заразил меня своим прочтением Гегеля. Примерно с третьего курса я фактически стал заниматься по индивидуальному учебному плану. То есть я старался как можно меньше посещать лекций, досрочно сдавать сессии, а в то время, когда основная масса студентов

разъезжалась на каникулы, как можно больше ходить в библиотеку МГУ и в тишине и почти в одиночестве работать с книгами.

В тот период на меня довольно сильное влияние оказали два человека: Владимир Петрович Шкредов и Григорий Григорьевич Водолазов. Водолазов вел у нас курс философии, но влияние на меня оказал не столько его курс, сколько его книга «Диалектика революции». В этой работе – разумеется, не без помощи эзопова языка – он вводил читателя в мир тех идей и проблем, которые активно обсуждались представителями умеренно диссидентствующей интеллигенции. Той ее части, которая группировалась тогда вокруг редколлегия выходявшего в Праге журнала «Проблемы мира и социализма», к которой принадлежал и сам Водолазов.

Владимир Петрович Шкредов был профессором кафедры политической экономии. В середине 70-х годов у него наметились достаточно серьезные расхождения с кафедрой и ее заведующим. Взгляды Владимира Петровича на основные проблемы методологии и теории политической экономии отчетливо не совпадали с господствующей точкой зрения. Он усомнился в самом святом – трактовке экономической теории Маркса, которой придерживалось большинство советских политэкономистов. И предложил свою трактовку – во многом опередив возникшее чуть позже на Западе направление критического марксизма, из которого вышли многие современные социологи (Боб Джессоп, Эрик Олин Райт, Джефф Ходжсон и др.). Начальство ничего не могло с ним поделать – он был заслуженным фронтовиком, весьма популярным среди студентов профессором – и решало, куда бы его послать на занятия, чтобы это не повлияло «дурным образом» на формирование умов будущих преподавателей политэкономии. Самой подходящей показалась группа студентов, специализирующихся по кафедре экономики зарубежных стран. Там же не будут всерьез интересоваться проблемами экономической теории! И Шкредов стал читать у нас. Он дал нам совершенно иное представление о «Капитале» Маркса,

о его роли в истории социальной мысли, нежели то, о котором можно было прочитать в различных толстых книжках того времени. И это определило мое дальнейшее профессиональное развитие на многие десятилетия.

Где-то к середине 70-х годов я оказался среди той части молодежи, которая совершила, по сути, «внутреннюю эмиграцию». Но не в той форме, когда люди уходили работать истопниками, а по ночам писали какую-нибудь нетленку в стол и общались на кухнях. Я выбрал для себя другой путь. Я ушел в изучение логики, теории познания, классической философии и первоисточников – только начавших появляться русскоязычных изданий рукописей Маркса. Я бы не сказал, что это было таким уж необычным для нашего времени явлением. На нашем факультете тогда было достаточно много людей, которые выбирали для себя аналогичный путь. Мы понимали, что у нас нет или очень мало подлинной информации, которая позволила бы направить нашу энергию в сторону практических усилий. Для нас в значительной степени была закрыта реальная статистика, а опубликованная не давала представления о том, в каком состоянии находится экономика. Но было стойкое неприятие того, что мы видим вокруг.

Не знаю, допустима ли такая аналогия, но мои ощущения можно сравнить с тем, что переживали представители нарождающейся германской интеллектуальной элиты под влиянием Великой французской революции. Понимая, каков глобальный тренд, они отчетливо ощущали, что в затхлой атмосфере тогдашней Германии возможно только одно – мысленно сконструировать совершенно новый мир. Для них таковым миром оказалась философия. А для меня такой отдушиной стали «Капитал» Маркса и его неортодоксальное прочтение – своего рода теоретическая «фига в кармане».

Я уже говорил, что на меня большое влияние оказала студенческая революция конца 60-х годов. Здесь нужно сказать, что в 70-е годы – особенно в Германии – появляется огромное количество различных проектов, кружков,

групп, которые занимаются ровно этим же – изучением Маркса по первоисточникам, а не по учебникам для системы партучебы. И через несколько лет после того, как я окончил университет, у меня появилась возможность найти среди них достаточно много единомышленников. Сначала через чтение их работ, а потом и через личные контакты.

Чем дальше я в этом направлении двигался, тем больше для меня становилась понятной идея Владимира Петровича Шкрёдова, который, на мой взгляд, был первым, стихийным марксистским экономистом-институционалистом. Он свое видение теоретических проблем экономики формировал через вдумчивое, беспредпосылочное прочтение экономических произведений Маркса. Беспредпосылочное в том смысле, что на него не оказывали давления позднейшие тексты, включая тексты соратников Маркса и его последователей – Энгельса, Ленина, Каутского и др. В результате возникла довольно своеобразная трактовка «Капитала», входившая в резкое противоречие с официальной коммунистической доктриной. Например, трактовка содержания, роли и отношений собственности, трактовка структуры и системы понятий экономической теории, ну и целый ряд других вещей. И я стал писать у Шкрёдова дипломную работу. Я был старостой кружка, который он вел. Каждые две-три недели я таскал через весь город огромный кассетный магнитофон, на который мы записывали его выступления на нашем кружке, потом их расшифровывали и распечатывали. (Некоторые из них позднее были изданы.) В итоге все это закончилось следующим образом. Меня рекомендовали в аспирантуру по кафедре политической экономии после защиты мною дипломной работы. Но она стала предметом анализа партбюро факультета, после чего мне четко дали понять, что в аспирантуре меня видеть не желают. На тот момент я уже знал, что Шкрёдова «уходят» из МГУ, поэтому я поостыл к аспирантуре.

Я пошел работать в Институт марксизма-ленинизма, где уже до этого побывал на преддипломной практике

и понял, какое книжное богатство хранит его библиотека. Там я работал достаточно долго: с 1977 по 1990 год. Я занимался изданием экономических произведений Маркса. Поэтому у меня была возможность читать в оригинале его рукописи. Некоторые из них до меня не читал и не расшифровывал никто. Фрагменты одной из этих рукописей мною были опубликованы в последнем, 50-м томе сочинений Маркса и Энгельса на русском языке. Потом я готовил отдельные тома для английского собрания сочинений и для полного издания Маркса и Энгельса на языке оригинала (МЭГА). Но это была как бы внешняя канва.

Что дал мне Институт марксизма-ленинизма? Здесь, наверное, будет уместно вот какое сравнение. Те, кто читал «Имя розы» Умберто Эко, знают, что в какое-то время монастыри были не только средоточием интеллектуальной жизни, но и, в определенном смысле, средоточием крамолы. Потому что люди, которые имеют время читать и размышлять, рано или поздно ставят под сомнение устои существующего общества. При этом стены монастыря до определенного времени ограждают человека от костров инквизиции. Примерно такую же функцию в 60–70-е годы выполнял Институт марксизма-ленинизма. Все, что закупалось за рубежом по истории марксизма, рабочего движения, новой и новейшей истории, современных течений в философии, обязательно поступало в библиотеку этого института. Сотрудники института раз в неделю на так называемых книжных палатах имели возможность рыться в новых поступлениях и заказывать себе нужные книги для работы. В этот период, хотя и по затухающей, но все еще продолжалась волна, связанная с теоретическими и методологическими дискуссиями по поводу Маркса и его роли для современного общественного развития. Определенную подпитку этому давали выходящие в свет новые тома сочинений – все это я читал и осмысливал. В итоге у меня вышел целый ряд статей, где я под видом критики современных буржуазных течений – как было принято в то время – вводил в научный оборот ряд идей, которые тогда обсуждались в международных дискуссиях среди

неомарксистов и институционалистов-социологов, но были совершенно неизвестны советским экономистам и философам. Полагаю, что определенную позитивную роль эта моя деятельность сыграла потому, что большинству советских обществоведов эта литература была тогда недоступна.

Все это стало возможным благодаря мудрому невмешательству тогдашнего завсектором произведений Маркса и Энгельса ИМЛ А.И. Малыша в дела нашей небольшой «молодежной группы», о чем чуть позднее, а также благодаря поддержке со стороны старших товарищей – настоящих знатоков классической английской политэкономии и специалистов по истории возникновения Марксова «Капитала» – Виталия Соломоновича Выгодского и Георгия Александровича Багатурия.

Кроме того, был еще ИНИОН. Я там подрабатывал, реферируя огромное количество всякой мути. Зато имел возможность общаться с разными интересными людьми. Через ИНИОН я познакомился, в частности, с Михаилом Яковлевичем Гефтером, потому что его супруга там работала. Раньше я ничего не знал о Гефтере и его судьбе, но в то время я смог с ним лично познакомиться. Я имел счастье несколько раз беседовать с ним на разные темы, в частности о возможных путях развития нашей страны. Это было очень интересно и подействовало на меня, как глоток интеллектуальной свободы.

Какую еще функцию нам удавалось выполнять тогда? В ту пору в московском ИМЛ сложилась группа молодых людей и примерно такая же группа – и по возрасту, и по образу мыслей – образовалась в берлинском институте марксизма-ленинизма. Мы сотрудничали, периодически издавали различного рода сборники и статьи. В эти сборники мы активно привлекали советских и гэдээровских «полудиссидентов», чьи идеи иначе просто не смогли бы увидеть свет. В частности, я горд и счастлив тем, что мне удалось там напечатать ряд статей Шкредова в тот период, когда его нигде больше не публиковали – с середины 70-х до начала 80-х годов. Из более знакомых нам по Вышке

(и более молодых) людей у нас публиковался Рустем Махмутович Нуреев, который занимался изучением азиатского способа производства. Поскольку эти публикации осуществлялись в сборниках Института марксизма-ленинизма, которые выходили в «Политиздате», считалось, что они транслируют устоявшееся мнение ИМЛ. Это было как бы высшее партийное слово. Действуя таким образом «изнутри монастыря», мы до некоторой степени раздвигали границы идеологической свободы.

С социологией связан следующий период моей жизни – конец 80-х годов. Когда стало понятно, что земля начала ходить ходуном, в Институте марксизма-ленинизма под руководством тогдашнего его директора Георгия Лукича Смирнова была создана одна из дискуссионных площадок. Туда приходили интеллектуалы, в том числе и «демократического» толка – Юрий Афанасьев и некоторые другие деятели демократической оппозиции. И как-то я вовлекся в эти семинары, где обсуждались проблемы, далекие от академических споров об основных категориях в «Капитале» Маркса. Параллельно с этим усилилась потребность в неформальном профессиональном общении. И вместе с группой моих сверстников – в основном выпускников экономического факультета – мы создали некий клуб. В течение 1990 года в его составе достаточно активно работали ныне такие хорошо известные люди, как Александр Аузан, Александр Бузгалин, Андрей Колганов, Леонид Гребнев, Андрей Клепач и целый ряд других коллег.

Тогда мы обсуждали проблемы, связанные с субъектностью процесса изменений в СССР. Понятно было, что довольно серьезные изменения назревают, но происходить они могут совершенно по-разному, разными темпами и в разной конфигурации. Все зависело от того, какие субъекты станут движущей силой этих изменений, кто станет, говоря сегодняшним языком, основным агентом развития. Тогда мы провели мозговой штурм, и в результате был сформулирован документ, который мы опубликовали и на русском языке, и в ряде левых журналов Запада на других языках.

Мы наших левых коллег огорчили своим выводом, который заключался в том, что никакого социализма с «человеческим лицом» в России возникнуть не может – в силу обстоятельств экономического, политического и ментального характера. Кроме того, мы пришли к выводу, что Советский Союз ожидает период деконструкции, в ходе которого будут формироваться новые субъекты. В период их формирования ситуация будет крайне неустойчивой. В течение какого-то периода, возможно достаточно длительного, сформируются новые социальные группы на базе разваливающейся интеллигенции, стремительно люмпенизирующегося рабочего класса и выходящей из подполья теневой буржуазии. То есть возникнут новые акторы, взаимодействие которых будет формировать новую политическую повестку дня, новые социально-политические и социально-экономические модели развития. Сегодня эти выводы звучат банально, но нельзя забывать, что мы писали это в 1989–1990 годах.

Социологическую литературу я начал читать еще в университете, хотя тогда еще не знал, что она социологическая: в СССР господствовала точка зрения, что никакая социология нам не нужна, поскольку ее функции взял на себя «исторический материализм». Я считал, что социология – это что-то на стыке социальной философии, экономической теории и т.д. Участие, с одной стороны, в «кружковом движении», с другой – в этих дискуссиях в Институте марксизма-ленинизма заставили меня обратиться на социологическую литературу более пристальное внимание. И тут большое влияние на меня оказал Андрей Григорьевич Здравомыслов, который тогда также работал в ИМЛ, но он ведь был представителем первой советской волны в социологии, возникшей еще в 60-е годы. В общем, я начал потихонечку читать социологическую литературу, общаться с Андреем Григорьевичем, и постепенно мой интерес стал фокусироваться на науках, связанных с объяснением системных общественных изменений. Потом наступил 1991 год. И дальше уже на меня в большей мере оказывали влияние какие-то внешние события и проектная работа, чем люди, которых я мог бы назвать своими учителями. В ходе

этой проектной работы я постепенно освоил некоторые основные подходы и технологии социологических исследований – за это должен выразить признательность Михаилу Константиновичу Горшкову и Наталье Евгеньевне Тихоновой, вместе с которыми в 90-е годы мы осуществили ряд крупномасштабных исследований российского общества и которые дали мне первые «курсы молодого бойца» в области методики и организации полевых исследований.

Преподавать я начал сравнительно недавно, в начале 2000-х годов. Своим основным занятием я до этого всегда считал научно-исследовательскую деятельность, и меня не особенно тянуло преподавать «политэкономии» в советских вузах. Когда же в начале 2000-х я стал преподавать в ряде московских вузов, то увидел, «насколько все запущено». Я столкнулся с поколением людей, у которых совершенно отсутствуют многие базовые предпосылки для восприятия социально-экономических наук – гуманитарный цикл в средней школе совершенно развалился, а потому студенты не обладают историческим мышлением. У них нет представления о том, что определенные процессы могут иметь место только в определенной исторической эпохе. Что существует взаимозависимость между социальными отношениями и технологией, между образом жизни и способом мышления. Это, на мой взгляд, сильно мешает готовить хороших социологов. Когда человек усваивает определенные понятийные матрицы и определенные методы анализа данных, но при этом не очень представляет себе социальный и социетальный контекст того, о чем он пишет, то получаются такие работы, где технически все вроде бы грамотно, но выводы могут быть в лучшем случае наивными, а в худшем – бессмысленными.

Поэтому первое, что должно произойти для того, чтобы социологическое образование в России развивалось, – это серьезная перестройка средней школы. Я имею в виду как качество преподавания, так и его содержание: нынешнее «обществоведение» является совершенно фантастическим набором общих мест (зачастую сильно

устаревших), который, конечно, у нормального школьника не может вызывать ничего, кроме отвращения. Как, когда, при каких обстоятельствах возможно изменить складывающееся у школьников отношение к общественным проблемам и сформировать к ним интерес – отдельная большая тема. Надеюсь, созданный в Вышке лицей станет экспериментальной площадкой для отработки новых подходов в этой области.

Второе. Должны появиться такие преподаватели, которые в состоянии поставить студентам основы социологического подхода к осмыслению окружающей действительности. То есть настоящие Учителя – с большой буквы. При этом они должны хорошо владеть методами и технологиями сбора и анализа данных. С этим в России тоже беда, потому что развитие социологического образования на многие десятилетия было прервано. Строго говоря, возобновлено оно было немногим более двадцати лет назад. Совершенно понятно, что сейчас у многих преподавателей, которые учат студентов, в значительной степени нет базового образования. И атмосфера в высшей школе, и уровень заработной платы, и недоступность литературы, и невозможность участвовать в серьезных международных научных конференциях формируют у многих некую местечковость. И приводят к ухудшающему отбору. Для этого нужны серьезные институциональные изменения в системе высшего образования, у которых много противников, и главный из них – институциональная инерция.

В Вышке в этом отношении уникальная ситуация. Здесь работают очень сильные специалисты, с устойчивой достижительной мотивацией, которым интересно ставить перед собой и решать все более масштабные задачи. И, конечно, это состоявшиеся профессионалы. Не скрываю и не стесняюсь того, что у многих своих коллег я учусь и сегодня – и у более опытных, и у более молодых, – поскольку, в отличие от некоторых из них, систематического социологического образования не получил.



# ЕЛЕНА ПЕНСКАЯ УЧИТЕЛЯ



Есть долги, которые нельзя вернуть. Они называются «неоплатные».

Я с интересом читаю мемуары коллег. Многим повезло, и они с теплой благодарностью вспоминают своих наставников. У некоторых обстоятельства складывались так, что человек «делал себя сам» и без посторонней помощи, опеки выстраивал свой путь. Такое бывало.

Мой случай не укладывается ни в одну из категорий, потому что он естественным образом относится не только к прошлому, но к самому что ни на есть настоящему, а еще и к будущему. Учителя, ушедшие и живые. Они постоянно рядом. Постараюсь объяснить, почему так вышло.

Собственно, историй всего две. Первая – школьная.

«Мне повезло». И дальше в моем рассказе эта «формула везения» встретится не один раз. Я училась в хорошей московской школе. Девятая английская. Раньше их называли «специальные», «с углубленным изучением иностранных языков». Не то чтобы элитная, но, чтобы туда попасть, надо было пройти серьезное собеседование. И еще там был очень сильный учительский состав. Например, всей иностранной частью заведовал выпускник Оксфорда. Нам повезло. Повезло и потому, что история, литература и математика были настолько увлекательны,

что некоторое время мне даже трудно было сделать выбор. Победили все же гуманитарии.

С пятого класса и до самого выпуска мы оказались в жестких руках Юлиа Анатольевича Халфина (в дальнейшем ЮАХ). Сейчас ему 84 года. Я знаю его ровно половину жизни. 42 года. С 1971-го. Какие-то страшные цифры накопились! Он и сейчас учителствует.

За полвека с лишним где только ни побывал, а с конца 1950-х – в Москве, воспитал сотни учеников: математиков, поэтов, педагогов, филологов, художников, философов, людей странных и несуществующих профессий – известных и пропавших без вести, обладателей громких имен и скромных тружеников-анонимов. Если уж важен список, то вот, пожалуйста. Среди его учеников – известные филологи: Нина Брагинская, Татьяна Венедиктова. Марк Фрейдкин – литератор, переводчик, бард. Екатерина Рахилина руководит лингвистическим направлением на факультете филологии в Вышке. Так что и к созданию нашего факультета он причастен косвенно и прямо, потому что преподает – да-да, преподает – «юным филологам», которые только готовятся к поступлению, а еще и учителям в магистратуре. Но это сейчас. А тогда...

Многое можно объяснить, вычислить, выстроить. Но все же в том, что мы называем «ЮАХ», в его трудах и днях, присутствует какой-то небольшой «сухой остаток», который не укладывается в привычные объяснения.

Слой первый – время. 1950–1960-е – на волне оттепели короткий праздник, торжество педагогов-новаторов, вылезших из разных закоулков; пир движений, бригад, театров, слетов, открытий. Славное, романтическое время. Наш ЮАХ – той же выпечки, новаторской. Он, к примеру, придумал школьный поэтический театр (иначе – полифонический) как универсальный инструмент, позволяющий решать все задачи разом. По всем правилам и законам, система ЮАХ (а театр – ее главная составляющая, фундамент) предполагала полную внутреннюю автономию и стала в конце концов «государством в государстве», продолжая давнюю культурную традицию, самым известным, но далеко не единственным образцом которой был Царскосельский лицей.

Неслучайно одним из гимнов ШПТ – «Школьного Полифонического Театра» – была лицейская «речевка»: «Нам целый мир чужбина, / Отечество нам Царское Село». Социальные результаты этого опыта не учесть, но педагогические были блестящими.

О ЮАХ существует богатая мифология.

«Бывает такой учитель, культовый, харизматический, как “Лев Ощ” Соболев в 67-й школе, с его музыкальным театром и традиционными ежегодными зачетами, которые проводят старые выпускники.

В школе моего детства, московской Девятой спец, тоже был такой авва, гуру, ребе. Юлий Анатольевич Халфин, учитель литературы, в 1965 году породивший “Школьный Полифонический Театр”, ШэПэТэ. Спектакли там представляли собой своего рода коллективные (мело-) декламации, часто под фортепьяно. Играла Ольга Лебедихина, преподающая сейчас музыку “пятидесятисемитам”, несущая им традиции Халфина.

В ШэПэТэ можно было найти все что угодно, от театра коллективного чтения профессора Сержникова и полупародийной Синей блузы (“Стоит как на-до // Всегда-всегда // Агитбрига-да // Людей труда”) до желтой

кофты или бродячей собаки. Халфин раздавал строчки по голосам, выстраивал хоры и “живые картины”, самозабвенно волхвовал над Есениным и Багрицким, Достоевским и Некрасовым, декабристами и Герценом, поэмой Маяковского о Ленине и шестидесятилетним Серебряным веком с “Двенадцатью” Блока, полузапрещенным Мандельштамом и Цветаевой. Один раз на спектакль пришел психиатр и сказал, что все это было бы очень целительно для его больных. Именно Халфин стоит у истоков такого глубоко эзотерического института интеллигентской России, как школьные театры. Трудно переоценить их значение как культурной лаборатории по отработке актуальных моделей неконформизма и как мощного терапевтического процесса, обеспечивающего подростку начало социальной эмансипации и вхождения во взрослый мир. Это воспитание гармонией, как назвал свою книжку Халфин, это первые любви, романы, конфликты с родителями, первые по-настоящему любимые книги, но не только все это, а гораздо больше. Недаром на семидесятилетии Юлия Анатольевича среди великого множества учеников разных поколений, кроме Академии славянской культуры, где он работает и где у него сейчас театрик, были заметно представлены “Век XX и мир”, РЖ и Интеллектуальный форум». Это Псой Короленко, бард, филолог и журналист.

Неблагодарное дело вспоминать уроки. Удач и поражений было немало. Но их не передать описанием методики, плана. Многие помню до сих пор.

«Теперь из некоторой дали / Не видишь пошлых мелочей. / Забылся трафарет речей, / И время сгладило детали, – / А мелочи преобладали».

За десятилетия и многие юбилеи, которые пережил ЮАХ, набралось немало «штрихов к портрету». Они сложились в мифологию. Ее не отделить от реального, живого Халфина – может, все эти байки/шлягеры и есть важная часть, без которой невозможно нас представить. «Наш учитель, / Он, создавший наш мирок, / Вдохновитель, / Предводитель и пророк, / Знал, заметим, / В совершенстве ремесло, / Жаль, что детям / Так, как нам, не повезло». Эти слова – из песенки Марка Фрейдкина. Искусство устраивать капустники тоже прививалось в школе.

Говорят – учитель «милостью Божьей». Наверное. Халфин был жесток и неумолим. Мог высмеять и пристыдить публично, чего многие не прощали. Умел и разглядеть искру таланта, тонкую душевную организацию ученика. И юное дарование, согретое дружеским вниманием учителя, расцветало на глазах. Юлий Анатольевич зажигал и создавал звезды – и делал это, признаться, мастерски. У него был нюх, азартное чутье, свой стиль, своя манера угадывать, а потом не отступать.

Если бы не было театра, то его, конечно, стоило бы придумать. В этом бульоне, в этом фольклорном изобилии театр не мог не возникнуть, став эдаким «венцом халфинских творений». Характер этой многолетней затеи подробно несколько раз описал сам автор сначала в книжечке «Воспитание гармонией», а потом более обстоятельно и научно в книге «Школьный Полифонический Театр. Из опыта работы» (2006). Анонс гласит: «В брошюре описываются основные структурные элементы и принципы работы школьного поэтического театра. Эта форма взаимодействия ученика и поэзии позволяет учителю не только вывести на новый уровень преподавание литературы, но и углубить восприятие...». Что ж? Все так. Каждое слово в этих формулах – правда. Но есть и другая правда. И ее труднее всего «поймать» каким-либо набором определений, педагогических реминисценций и образовательных коннотаций. Она неуловима и тонка, сопротивляется любой казенной методике, потому что театр, возникнув как сугубо школьное детище («проект» – как мы бы сказали сейчас), консервативное по определению (а как иначе?), перерос собственные рамки и мерки, перемешав разные возрастные группы (в нем всегда плодотворно уживалось несколько поколений), создал свой стиль, свою культуру, в которой соединялись богема и строгость нравов, авангард, романтика, Серебряный век, шестидесятничество, фронда, культ поэзии, искусства и осмеяние всякого культа, свой кодекс чести, суды громкие, разборки коллективные и частные, капустники, любви, браки, разводы, – разрасталась вся эта подлинная и обязательная густота быта, без которого любой театр не театр. Словом, было и есть все, как у людей. «Уж сколько их упало в эту бездну».

Бездна ШПТ обычно начинала засасывать некоторых класса с седьмого-восьмого, когда более-менее серьезная литература вступала в свои права. Собственно, театр на самом деле был и необходимым продолжением уроков, и одновременно делом исключительным. Манил искушением, соблазном избранничества, игры в инакомыслие, игрушечное детское диссидентство, для начала в пределах школы, соблазнял особой атмосферой.

Неизбежно, наверное, но вся эта вольница, художественные шалости, все эти «игры с огнем» нашли позднее продолжение и логическое завершение, когда в середине 1970-х на Халфина в ГБ завели дело, хотя формально его пустили по другой линии – нарушение методических предписаний, строго каравшееся законом. Затя эта, как выяснилось позднее, была предрешена заранее. Но сценарий соблюли привычный: сначала сигнал, коллективный донос (врагов и недоброжелателей как в педагогической, так и в недовольной родительской среде было хоть отбавляй, а тут в нужный момент как-то обе стороны счастливо обрели друг в друге союзников), потом комиссии, проверки, протоколы, решения, беседы в нужном месте с учениками поодиночке. Темные силы-светлые-темные-темные. Друзья, доброжелатели бросились со всех ног в высокие кабинеты, редакции. «Литературка», «Известия», «Комсомолка». «Дело Халфина» оказалось добычей маститых журналистов. Евгений Богат, Ольга Чайковская, молодой и смелый Валерий Хилтунен, один из зачинателей легендарного «Алого паруса»... Весь журналистский мир 70-х, занимавшийся человековедением, признаться, довольно бестолково толпился в наших прихожих. Осторожничали, многозначительно перешептывались, намекали. В доэлектрическую безынтернетную эпоху слухи быстро охватили пол-Москвы. Стоило начать фразу, как незнакомые люди ее быстро подхватывали и уже знали продолжение. Девятая школа. «Дело учителя литературы». Чем ярче были заметки, чем яростней защита, тем очевидней становилось бессилие прессы, наше бессилие. Провал. Поражение. А может быть, победа, но выигрыш, случившийся в совсем другой, неведомой нам далекой перспективе.

Мой десятый класс был полон далеко не выпускной круговертью. Мы бросили все дела.

Доживали старую и начинали вместе новую жизнь вскоре после моего окончания. Ю.А. Халфину пришлось уйти из школы и пуститься «в бега» в 1977-м. Театр остался один, сам по себе, без школы и школьного подспорья – основы, бесконечно важной и необходимой прежде всего для обновления воздуха, новых идей, появлявшихся всякий раз с приходом новой группы, атмосферы и циркуляции живой крови. Думаю, эта пора оказалась в конце концов очень плодотворной, несмотря на естественные человеческие потери, не столь заметные в прежние времена, разрывы, мнимые и подлинные близости, сомнения, подступавшее отчаяние, попеременные разочарования и понятное желание бросить все и всех к чертям собачьим.

ЮАХ меньше всего свободный художник, хотя как человек, не чуждый искусству, всегда толику вольности поощрял в театре, держа под контролем персонажей, наиболее склонных к богемному образу жизни. Поэтому для него, привыкшего к жесткому распорядку, методичному труду и дисциплине, внезапное освобождение от школьного ярма стало серьезным испытанием. Прежнее, нарабатанное и обжитое, нельзя сказать, чтоб в одночасье, но довольно быстро превратилось в руины. В 70–80-е годы начальство, не склонное к попустительству, бдительно оберегало образование от нежелательного элемента. ЮАХ расстался с Девятой формально «по собственному желанию», реально почти что «с волчьим билетом». Поэтому ни о каком серьезном восстановлении в педагогических правах на другой территории не могло быть и речи. На десять лет почти растянулись скитальчества по клубам. Новая полоса требовала прежде всего внутреннего обоснования, на которое, ясное дело, не хватало собственных сил. Именно тогда в окружении ЮАХ и, соответственно, в орбите театра – кто ближе, кто дальше, кто коротким мерцанием, кто долгим светом – стали появляться «знаковые фигуры»: поэт Ольга Седакова, философ Генрих Батищев, Григорий Померанц, историк и диссидент Глеб Павловский. Интеллигентские пути неисповедимы, особенно когда одна смута умов сменяет другую.

Школа ЮАХ существовала в одном экземпляре, ее опыт не тиражируется, трудно приживается на другой почве. Наверное, поэтому много лет спустя он оказался совсем чужим в 57-й школе, где он недолго проработал, испытав острое и болезненное отчуждение, одиночество. Даже самые близкие старые и верные его ученики, прежние единомышленники, которые до сих пор успешно работают в 57-й, раздраженно отстранились. В новых обстоятельствах все вдруг почувствовали, насколько выросли, состарились, пережили друг друга. Но, может быть, это более чем объяснимо: взрослым детям и родителям, как правило, трудно жить вместе.

Но если перейти ко второй истории, университетской, то стоит вспомнить, как трудно мне было первые два года. Очевидный парадокс: чем лучше в школе, тем труднее потом. Всё, буквально всё в университете на первых порах казалось тусклым, казенным, официозным и бессмысленным. До той поры, пока я не пришла в семинар к Анне Ивановне Журавлевой. Более противоположных людей, чем Халфин и Журавлева, трудно найти. Разный стиль, разная культура, вкусы, педагогический подход. Полный контраст. Поначалу я сравнивала постоянно. И увы, чтобы принять университетские правила, не сразу, постепенно, но пришлось внутренне расстаться со школьными.

Анна Ивановна Журавлева (12 июня 1938 – 8 июня 2009), в дальнейшем – АИ, филолог, доктор наук, автор многих книг и статей по русской литературе, профессор Московского университета, воспитала десятки учеников. Писать об АИ для меня сложно, потому что с ней связано самое главное, что происходило в моей жизни. Ей я обязана «другим рождением», послешкольным, и это не литературный оборот, не метафора, а самая суть дела.

А «дело» началось осенью 1977 года, когда на втором курсе университета я пришла к АИ в лермонтовский семинар. Студенты во все времена обычно идут либо «на имя», либо на тему. Я мало что знала об университете, преподавателях и традициях. В школе мы жили, с одной стороны, открыто, а с другой – очень замкнуто, герметично. Таковы неизбежные издержки «кружковой жизни», куда допущены только «избранные». Меня привлекла тема.

Об АИ я почти тогда ничего не слышала. Многие мои однокурсники выбирали то, что обычно кажется соблазнительным, – рубеж веков, начало XX века, преимущественно век Серебряный. Привлекательность такого выбора в 1970–1980-х годах поддерживалась тем, что казалось – именно там все главные запреты и тайны. А в 90-е годы доступ к закрытым архивам и документам еще больше усилил «бум». Иллюзия изученности XIX века, его школьной, хрестоматийной затертости прочна и сохраняется до сих пор.

В тот первый семинарский год народу было немного, и мы, похоже, больше удивляли друг друга, притираясь и привыкая. Нам, как водится, хотелось «всего и сразу», но образ этого представлялся весьма туманным. АИ же охладила бестолковый пыл прозой обыкновенных конкретных заданий, непривычной экономией слов, сдержанностью, речевой скуповатостью. Но почему-то чем дальше, тем больше нарастала уверенность, что за этим молчанием, немногословностью живет и постоянно копится какой-то важный опыт, скрытый от нас. Это особое ощущение постоянно подтверждалось тем, что молчание нарушалось репликами.

АИ вообще свойственно было «проговариваться» (как мы это называли): сказать две-три фразы так, что они дорогого стоили, запоминались надолго и порой вмещали столько, что другому на это понадобился бы пространственный монолог. Она и писала так же – сжато, густо, настолько концентрированно, что научный текст основательно «забирал» читателя, без остатка. Но то, что получалось, никак не походило на конспективное, недосказанное, отрывочное. Наоборот. Все необходимое на месте, выговорилось.

Одна из первых статей АИ, которую мне довелось прочитать, была «Стихотворение Тютчева “SILENTIUM!” (К проблеме “Тютчев и Пушкин”», опубликованная в сборнике, подготовленном к юбилею С.М. Бонди. Эта работа уже тогда на нас, студентов, произвела сильное впечатление не только выпуклостью каждого умозаключения, филигранностью разбора, емкостью анализа и спокойной убедительностью концептуальной новизны, но и чем-то еще. Вот это «еще» было и остается

загадкой в текстах АИ до сих пор. Они не исчерпываются только тем локальным литературным предметом, о котором идет речь, а прорастают глубже, дальше и имеют отношение к самой АИ, к каждому из нас, к тому, что составляет первооснову жизни и искусства.

С.Г. Бочаров, автор предисловия к последней книге А.И. Журавлевой «Кое-что из былого и дум о русской литературе» (она успела составить), неслучайно заметил: «Хотелось бы, чтобы читатель книги не пропустил в ее тексте летучие меткие формулы, из которых иные я еще позволю себе отметить, – как в лермонтовском стихе “внезапные толчки прозаизмов взрывают регулярность и выводят речь в другое пространство”». Да-да. Именно «летучие меткие формулы». «Внезапные толчки». Они постоянно глуховатым или вполне очевидным присутствием напоминали о себе, как в устном общении, так и на письме.

Тексты АИ, далекие от субъективизма и необязательности эссеистики, тем не менее совершенно особой природы. Литературоведческий академизм и добротная традиционность соседствуют в них с тем, что можно было бы осторожно назвать автобиографизмом. Но будет ошибкой считать, что эти начала существуют сами по себе, чередуются, всякий раз уступая друг другу место. Нет, здесь удивительная органика. Научный почерк абсолютно узнаваем благодаря присутствию повсеместно разбросанных очень личных следов пережитого и обдуманного, спрятанных в строгую академическую ткань. Ей удастся абсолютно естественно сочетать знание профессиональное, предметное, прикладное и опыт житейский, человеческий, ей удастся показать, как на самом деле велики возможности филологического инструментария.

1979 год был для АИ одним из самых тяжелых – один за другим ушли ее родители. Той весной мы ее почти не видели, на кафедре отвечали что-то тревожное. Мы не понимали до конца, что происходит, почему-то казалось, что расстались и семинар больше не возобновится. Но осенью АИ нашла в себе силы вернуться. Семинар набирал силу и весело рос не по дням, а по часам, прибавлялось народу. К тому же В.Н. Турбин, учитель Анны Ивановны, уезжал в ту пору за границу читать курс

и отдавал своих студентов «в хорошие руки». С разных сторон у семинара намечалось расширение, и в конце концов образовалось «два рукава»: один прежний, лермонтовский, другой новый, связанный с театром, – «Русская драма и литературный процесс» (как через несколько лет АИ назовет свою книгу).

В то время наметился и закрепился в основных чертах широкий диапазон тем, которыми занимались АИ и ее ученики, сложился тот исследовательский спектр, что существовал на пересечении разных временных срезов, течений, жанров, видов искусства: театр и лирика, поэзия и проза – от классики XIX века к авангардной поэзии второй половины XX, ставшей для нее глубоко личным переживанием и делом благодаря мужу, известному поэту-концептуалисту Всеволоду Некрасову, в соавторстве с которым написано немало.

Думаю, что отнюдь не только теоретическая, но и самая что ни на есть «домашняя» непосредственная повседневная включенность в живой литературный процесс в качестве заинтересованного свидетеля и соучастника многое определила в подходах АИ к русской классике. Если попытаться описать путь АИ в науке, то он заключается в себе равномерное движение от детальной проработки проблемной фактуры, контекстов, освоения участков внутри и вокруг монографически выбранного героя к концептуальному обобщению в поздних работах. Среди стержневых для нее «эталонных» имен – Лермонтов, Григорьев, Островский. Верность им АИ сохраняла, к ним она неизменно возвращалась, каждый раз предлагая новый ракурс, новое измерение.

Полюс ее самого пристального внимания становятся те случаи, те виды искусства, где с наибольшей очевидностью слово, остро переживаемое читателем или зрителем, речь получают статус главной темы, основы художественных и исторических коллизий. В поэтическом произведении и в пьесе слово представлено открыто, непосредственно, задевающее. Поэтому среди многообразия литературных сюжетов, исследуемых АИ, лирика и театр рядом и всегда доминировали. Лирическое слово требует предельной сосредоточенности, концентрации, оно на переднем крае, в этом смысле авангардно и

чем больше обращено внутрь, тем больше ориентировано вовне, адресовано любому читателю. Так и в театре: во время постановки или чтения пьесы зритель на себе проверяет подлинность ситуации и речи, ее описывающей, правдивость сказанного, зрительский слух и восприятие сразу ловят фальшь.

На лирико-драматическом перекрестке выросло и другое капитальное открытие АИ – театр А.Н. Островского, в художественной плоти которого просматривалось главное: «осознание национальной самобытности новой русской литературы». Недаром книга «А.Н. Островский – комедиограф» (1981) становится еще одной отправной точкой, одним из центральных пунктов на исследовательском пути АИ.

Помню, как душным летним вечером мы, семинарские, собрались тогда в Сокольниках, где на Большой Остроумовской АИ с родителями, а потом и с мужем Всеволодом Некрасовым прожила почти полвека. Своего «Островского» она подарила мне, надписав: «Надеюсь, не на прощанье». С этого времени я стала «домашним человеком», и не было дня, чтобы мы не виделись, не разговаривали хотя бы по телефону, а если кто-то из нас уезжал, переписывались. Сейчас даже трудно поверить, но в самом деле не было дня... Видеть и слышать их – Всеволода Николаевича и Анну Ивановну – ежедневно. Это стало не просто привычкой – необходимостью.

Да. Еще на втором курсе, в 1978 году Анна Ивановна познакомила нас со своим мужем Всеволодом Николаевичем Некрасовым (24 марта 1934 – 15 мая 2009). Сейчас о нем пишут: советский и российский поэт, литературовед, лидер «Второго русского авангарда» и основатель направления «московский концептуализм». Тогда, в 1970-х, мы узнали: Всеволод Некрасов – неподцензурный поэт, один из тех, кто входил в группу «лианозовцев». Легко представить, как рисковала Анна Ивановна, беспартийный преподаватель университета, в те годы, когда стихи Вс. Некрасова публиковались в журналах «Синтаксис», «37», «Ковчег», «А-Я», в сборнике «Аполлон-77».

С начала 1980-х мы не расставались и вместе ходили в музеи, смотрели фильмы, а самое главное, Анна Ивановна и Всеволод Николаевич познакомили меня со своими

близкими друзьями-художниками. Посещение мастерских Эрика Булатова и Олега Васильева, Ильи Кабакова, Семена Файбисовича стало неременной частью нашей семинарской жизни. Надо добавить, что в этих мастерских тогда нередко читали свои тексты те, кто в перестроечное время обрел громкое имя, – Тимур Кибиров, Лев Рубинштейн, Михаил Айзенберг и другие.

АИ на первых курсах привела меня в Литературный музей, где я и осталась на 15 лет, соединяя учебу и работу. Мы вместе создавали музей Лермонтова, открывали выставки. Одна из самых последних – большая программа «Лианозовские вечера» в 1992-м, которая была сделана целиком на основе богатейшей коллекции русской живописи и графики второй половины XX века, собранной А.И. Журавлевой и В.Н. Некрасовым. Мой опыт работы в Гослитмузее, приобретенный благодаря АИ, – поистине бесценный, поскольку он открыл для меня источники, историю культуры и идей через историю вещей, книг, предметов быта. Для Анны Ивановны Журавлевой и Всеволода Николаевича Некрасова такая органичная жизнь «внутри живой культуры» и живой непрерывающейся традиции была естественным состоянием.

Последние десять лет их, ее жизни (с семинарской поры, со времени моего «одомашнивания» я всегда думала и говорила о них как о неразрывном целом) складывалось целостное, очень личное, понимание и почти что экзистенциальное переживание феномена живой культуры. В те годы, наверное, ярче и последовательней всего проступали контуры новых идей. Имею в виду прежде всего мысль о соседстве двух начал: магистральном, каноническом, освященном именем Пушкина и всего, что связано с ним, регулярном, петербургском – и периферийном, московском, альтернативном в их конструктивных, строительных интенциях. И второе. Для АИ принципиально понимание «русской классики как национальной мифологии». Статья «Новое мифотворчество и конец литературоцентризма», по замыслу автора, должна была завершить последнюю книгу «Кое-что из былого и дум о русской литературе». Да, в ней есть чувство конца – исчерпанности целого культурного пласта, но профессия литературоведческая этим не об-

рывается, наоборот, она должна обрести свое законное место и заниматься тем, чем ей должно: быть посредником между писателем и читателем, «если не принимать за него (за литературоведение. – Ред.) охватившую мир умственную чесотку, перевернувшую с ног на голову нормальное, законное и почтенное положение литературоведения как секундарной литературы, вторичной по отношению к собственно литературе. Прежде всего классической, она ведь тоже “прирастает” – сейчас за счет XX века, как прирастают в процессе жизни нации смыслы старой классики» (А.И. Журавлева. «Несколько реплик архаиста новаторам»).

Работы АИ последних лет – это во многом хорошо и подробно прописанные конспекты будущих направлений. В них – компас. К числу таких «завещаний», оставленных будущим исследователям, я бы отнесла «университетский проект». Как поясняла АИ, проблема не только биографическая для многих русских писателей, она более многоаспектная и включает в себя само формирование (и переменчивость) понятия «классический канон». С другой стороны, совершенно недостаточно осознано влияние университета на поэтику литературы. АИ попутно комментировала: «Московский университет, первый в России, естественным образом стал моделью российской университетской жизни, а также моделью отношений “университет–общество”. Непредвзятому исследователю совершенно очевидно, что примерно к середине XIX века формируется и становится достаточно влиятельным в общественном сознании представление об университете как некоей области свободного научного поиска и интеллектуально-духовного созревания нового поколения русских людей» (А.И. Журавлева. «Татьянин день»).

А когда АИ спросили о том, как она видит свое место в перипетиях университетской жизни эпохи реформ, она ответила: «Мысль уйти из университета не могла мне и в страшном сне привидеться. Я его люблю всем сердцем, его любили и в моей семье. Дело в том, что Московский университет – это не просто учебное заведение, хорошее – по мнению одних, плохое – по мнению других. Это – явление российской культуры, пронизывающее

разные стороны жизни нашего образованного общества, объединяющее разные поколения – “отцов и детей” – и разные социальные слои этого образованного общества: богатых людей и тех, кто продает свой труд, основанный на знаниях, когда-то полученных в университете, людей разных политических убеждений, по крайней мере, консерваторов и тех, кто надеется на эволюционные перемены, которые должно принести, в частности, распространение просвещения, на улучшение жизни России в целом» (А.И. Журавлева. «Университет больше каждого из нас»). К этой «неизменности» университета, университетской культурной константе АИ мысленно постоянно возвращалась, припоминала, напоминала нам и тщательно проговаривала: «В университете есть что-то, что выше нас. Мы можем быть хуже или лучше. Я могу представить себе эпохи, когда все московские профессора оказываются на уровне недостаточно хорошо... Но есть стены, традиции. Что-то, что продолжает удерживать представление о Московском университете».

Идея университета, идея университетского семинара, память о родителях и семье стягивает всю корневую систему АИ, на которой держится и все остальное.

«Самое важное, ценное, что дал нам университет именно через семинар, – это понимание того, что основанием долгой дружбы могут быть общие умственные интересы... совсем не всегда это “методология” в собственном смысле, но это – живое отношение к классике. Вот те несколько слов, которые хотелось сказать о Лермонтовском семинаре...». АИ говорит о свойственной ей застенчивости и замкнутости. «Но семинар восполнил мое одиночество с лихвой» (А.И. Журавлева. «Семинар был уже легендарным»).

«Ложится мгла на старые ступени»... Эта книга А.П. Чудакова в свое время нравилась Анне Ивановне, особенно та часть – главная и наиболее подробная, со вкусом прописанная, – где идет рассказ про людей и время, проведенное в эвакуации, про быт, детство и взросление. АИ тоже знала и свою «мглу», и свои «ступени».

«Я из незапамятно старой семьи духовенства, со спокойной, неагрессивной верой. Самая мной любимая из

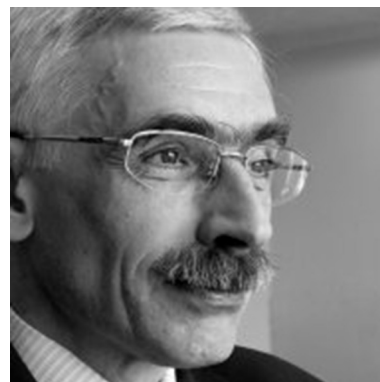
моих книг, “А.Н. Островский – комедиограф”, совсем не случайно посвящена памяти Дмитрия Ивановича и Екатерины Ивановны Журавлевых – мамы и ее брата, заменившего мне отца от самого моего рождения. Это были люди, у которых вера была светлая, активно добрая, как и у Островского, открывающего своим читателям возможность жить, а не погибать в мире» (А.И. Журавлева. «За нами тигры стоят»).

Наверное, на этих корнях и держалось многолетнее самостояние АИ в науке, в преподавании и в жизни.

После ухода Анны Ивановны Журавлевой и Всеволода Николаевича Некрасова остались ученики. Многие сейчас работают на факультете филологии в НИУ ВШЭ. Остались наследники – я и Галина Зыкова, профессор, доктор наук. Впереди – трудная обработка архива, подготовка к изданию книг, передача уникального художественного и рукописного собрания в Музей частных коллекций ГМИИ и РГАЛИ, организация выставки, поддержка сайта <http://www.vsevolod-nekrasov.ru/>. Вот почему я говорю о том, что мои учителя для меня – это совсем не прошедшее время, а настоящее и, если хватит сил, будущее.



# ИГОРЬ ДАНИЛЕВСКИЙ УЧИТЕЛЯ



Мне в жизни очень повезло – я встречал людей, на которых можно было равняться. В этом смысле учителей было много. В научном плане первым моим учителем был Владимир Яковлевич Кияшко. Он был начальником археологической экспедиции, в которую я попал, еще будучи школьником. Человек по-житейски очень мудрый. Руководить группой из сорока человек, которые находятся у тебя на полном довольствии и за которых ты отвечаешь головой, довольно сложно. Надо, чтобы они и жили нормально, и работу выполняли, и чтобы не возникало конфликтных ситуаций с местным населением. Он это делал и делает до сих пор гениально.

Десять лет я занимался археологией, а на втором курсе университета меня стал уговаривать перейти к нему Александр Павлович Пронштейн. На историческом факультете Ростовского университета Александр Павлович был «звездой номер один». И для меня он остается главным учителем в академическом плане. Москвич, выпускник Московского университета, ученик академика М.Н. Тихомирова, соученик таких известных историков, как Сигурд Оттович Шмидт, Иван Дмитриевич Ковальченко, Валентин Лаврентьевич Янин.

Он окончил университет в 1941-м и ушел на фронт. Пройдя всю войну. Вернулся в декабре 1945-го и был зачислен в аспирантуру. Написал диссертацию по Новгороду Великому XVI века, что само по себе было необычно. А накануне защиты произошло то, что часто происходило в то время: Александра Павловича вызвали в партком и «предложили» выступить на партийном собрании, на котором рассматривалось персональное дело его учителя М.Н. Тихомирова, обвинявшегося в непатриотизме. Якобы он в своей монографии «Ледовое побоище», основанной на древнерусских летописях и Ливонской рифмованной хронике, пошел на поводу у немецких источников, принизил роль Ледового побоища и т.д. Был 1948 год, время борьбы с «безродным космополитизмом» и «низкопоклонством перед Западом». Ясно было, в каком тоне нужно выступать, и расчет был стопроцентный: ученик-фронтовик, член партии, еврей и через неделю защищает диссертацию. Но Александр Павлович проявил редкое по тем временам гражданское мужество и выступил в поддержку Тихомирова. Сказал, что Тихомиров настоящий патриот, о чем свидетельствует все его творчество. Для Тихомирова все обошлось, а вот для Александра Павловича обернулось

двумя защитами: на первой защите оба оппонента просили присудить ему сразу докторскую степень и диссертационный совет за это проголосовал, но на следующий день его вызвали в отдел аспирантуры и сказали, что процедура была нарушена и он будет защищаться еще раз. Когда он пришел на повторную защиту месяц спустя, весь состав совета был новый. Естественно, там ни о какой докторской степени речи уже не шло, но за кандидатскую степень совет проголосовал единогласно. Затем аспиранту-целевику было предложено направление на работу в Тюмень или Воркуту — на выбор. В конце концов ему все-таки удалось устроиться на работу в Харьковский университет, но стоило это больших мытарств и сильной нервотрепки — и испугало его на всю оставшуюся жизнь. А кого бы не испугало?

Из Харьковского университета его потом забрал Юрий Андреевич Жданов, сын советского партийного деятеля Андрея Жданова, ректор Ростовского университета. Надо отдать ему должное — он умел подбирать неординарных людей. Так Александр Павлович попал в Ростов, где вскоре написал докторскую диссертацию по истории Области войска Донского в XVIII веке. Как-то я набрался наглости и спросил его: «Как вы, еврей, и вдруг пишете такую диссертацию? Почему до вас никто не написал?» Он ответил: «Я приехал, скучно было. Пошел в архив, спросил, есть ли у них материал XVII–XVIII веков. А мне говорят: есть какие-то дела, но прочитать их никто не может — скоропись». У Александра Павловича была блестящая палеографическая подготовка, он прочитал этот материал и написал докторскую диссертацию. Фактически он стал основоположником ростовской научной школы источниковедения, восходящей через Тихомирова к традициям дореволюционного российского источниковедения. Александру Павловичу удалось сохранить и развить эту традицию. Он был потрясающей личностью, человеком, целиком поглощенным наукой. Его день был распisan по часам. С шести до десяти часов утра он работал дома, к нему можно было прийти и получить консультацию, в десять он уходил на работу. У него были кафедра, лекции в университете, работа в Северо-Кавказском научном центре высшей школы.

Он возвращался домой часа в три-четыре. До семи часов звонить было нельзя, потому что он отдыхал, а в семь часов шел гулять. Это вот трава не расти, с семи до девяти он гулял. Я знал, где он гуляет, с ним можно было встретиться и прогуляться вместе. Кроме того, у него еще было хобби: по определенным дням с шести до половины восьмого он играл в волейбол. Практически до конца жизни. У него было правило: каждый день хотя бы страница или полторы должны быть написаны обязательно. Он сам всегда сдавал работу вовремя и нас приучал к тому, что если что-то должно быть сделано, то сделано в срок — качество, которое я в меньшей степени смог от него воспринять, но тем не менее.

Еще одно его качество — невероятная щепетильность. Дело доходило до каких-то парадоксальных вещей. Когда я заканчивал аспирантуру, день окончания совпал с Днем учителя, и я решил сделать Александру Павловичу подарок. Есть классический двухтомный труд «Методология истории» Лаппо-Данилевского, я случайно в библиотеке своего деда раскопал разорванный второй том и переплел его. У Александра Павловича был первый выпуск, у меня — второй. Еще один экземпляр был в областной Ростовской библиотеке, а на руках эта книга была только у меня и у него. Я пришел к нему домой и оставил книгу завернутой пакет. Не успел я вернуться домой, как пришлось идти назад: Александр Павлович звонил моей маме, топал ногами, возмущался — как он смеет делать такие подарки! И я вынужден был забрать книгу обратно. На другой день он позвонил мне и спросил, может ли он взять ее почитать. А в подарок так и не принял. Мелочь, но показательная.

Он научил меня отстаивать свою точку зрения, не поддаваться внешнему давлению — и при этом очень беспокоился о том, чтобы это не повредило мне в политическом отношении. Когда в 1992 году, уже будучи в Москве, я написал свою первую статью по библейским параллелям в «Повести временных лет», Александр Павлович каждый день присылал мне письма, в которых просил никому ее не показывать, ни с кем не обсуждать и, главное, не вздумать публиковать. Позже при встрече он признался: «Вы меня простите, я полностью

поддерживаю вашу идею и являюсь ее пропагандистом, но тогда я очень за вас боялся». Страх остался. И это тоже урок...

Было еще два университетских преподавателя, у которых я никогда ничего не писал, но многому научился. Просто фантастические люди! Абсолютно разные, даже внешне. Один длинный, худой, с язвой желудка, курил постоянно – Юзеф Иосифович Серый. Такой рабоче-крестьянский профессор. Юзеф Иосифович занимался Ростовской стачкой 1902 года и Первой русской революцией. Он составил поименные списки членов рабочих дружин, вел картотеку: казалось, он задался целью знать в лицо каждого участника. И нам объяснял, что революцию делали не люмпены, а квалифицированные рабочие, которые имели образование, приличную зарплату и свою позицию... Такое отступление от точки зрения официальной советской науки стоило ему больших проблем с защитой докторской диссертации.

А рядом с ним – совершенно другой человек. Внешне – Луи де Фюнес, в свитере... Михаил Абрамович Люксембург – специалист по истории Франции. Читал лекции по Новой истории стран Запада. Это были самые потрясающие лекции, которые я слышал. Если у Серого были строгие, точные, логически выстроенные лекции, объяснявшие, почему события развивались так, а не иначе, то Михаил Абрамович рассказывал нам просто-таки детективные романы. Он блестяще знал источники, очень хорошо писал. Он тоже прошел войну, был тяжело ранен. Человек невероятной внутренней свободы. Фрондер, много себе позволявший, по тем временам невероятно много. К нему на лекции приходили с проверкой: «Вы читаете лекции без конспекта? Это методически неправильно». Тогда он брал пачку каких-то листов и во время лекции периодически их перекладывал. «Теперь совсем другое дело», – говорили ему. А он смеялся... Он не раз помогал мне в трудных ситуациях. Говорил: «Имей в виду, на тебя наступали, так что готовься к неприятностям с этой и этой стороны». И давал четкую инструкцию, что делать, как себя вести.

Его сын Александр Михайлович Люксембург был очень неплохим литературоведом, занимался Чарльзом Питером Сноу. Со Сноу они дружили. Правда, сам Люксембург не мог к Сноу поехать, но Сноу в Ростов прилетал. И Михаил Абрамович говорил: «Чарли прилетал, мы с ним беседовали». Или он мог сказать: «Ну, вот ты сейчас поедешь в Москву, там тебе позвонит Женя Долматовский, передашь ему посылку». Я говорил: «Я никакого Долматовского не знаю». – «Ну, что ты, не знаешь великого советского поэта Евгения Долматовского?» А он доводился свояком Михаилу Абрамовичу: жена Люксембурга Ирина Адольфовна – родная сестра Евгения Долматовского.

Среди моих неакадемических учителей — преподавательница изостудии в ростовском Доме пионеров Алла Степановна Софановская, ученица Николая Акимова, театрального режиссера и художника-графика. Она не просто обучала нас рисунку и акварели — она учила нас понимать искусство. Алла Степановна невероятно любила живопись и прекрасно ее знала. Она воспитала целую плеяду профессиональных художников. Сценограф, лауреат премии «Золотая маска» Степан Зограбян – ее ученик.

Был еще один учитель, которого я помню смутно, но личность которого оказала на меня очень большое влияние. Я много слышал о нем от мамы – они вместе учились и были очень дружны. Святослав Николаевич Федоров, знаменитый офтальмолог. Это человек, вся жизнь которого была каким-то недостижимым идеалом. Уже будучи инвалидом, потеряв ступню, он стал чемпионом Ростова по плаванию. Человек потрясающей физической силы. Его товарищ по общежитию рассказывал, что Федоров вставал в шесть утра и час делал гимнастику, которая завершалась тем, что он надевал калоши на руки и поднимался на руках на шестой этаж по лестнице. Став всемирно знаменитым, он как-то был в Японии, где ему приходилось делать по нескольку операций в день. Во время интервью на японском телевидении ведущий спросил, как он выдерживает

такие нагрузки. Святослав Николаевич в ответ взялся за крышку стола и сделал стойку на руках. Там все операторы побросали камеры и стоя ему аплодировали. Это человек был очень неудобный. Его выжили из Ростова, он уехал в Чебоксары. Выжили из Чебоксар – уехал в Архангельск. Он потом «отомстил» всем этим городам – открыл там филиалы МНТК «Микрохирургия глаза». Он говорил: «Я человек вязкий: меня выгоняют в дверь, я войду в окно. Жизнь меня била, и кожа так загрубеела, что новые удары я уже не воспринимаю». Человек, у которого всегда были какие-то идеи, который всегда мыслил глобально. Он говорил: «Все здорово. Сейчас хочу сделать вертолетную площадку, буду на вертолете летать». Сделал операцию дочке какого-то арабского шейха, и тот подарил ему трехпалубный теплоход. Он этот теплоход переоборудовал в плавучую клинику и ходил на нем вокруг Европы. Он разработал ту самую знаменитую «ромашку», на которую в начале 80-х годов очередь стояла на 25 лет вперед. А Федоров за пять лет ликвидировал очередь – сделал все операции. Он посещал все встречи выпускников и всегда произносил тост за настоящую дружбу: «Пусть нам будет стыдно, если к нам обратится друг, а мы ему не поможем». При этом он знал, что если кто-то будет в чем-то нуждаться, к нему первому обратятся: у него были возможности, все-таки это был Федоров, понимаете. Он не был отличником, когда учился, но у него была своя цель, и он шел к этой цели и добился всего, чего хотел. Не прибегая ни к каким обходным маневрам – просто делая свое дело.

У меня есть ученики, у которых я учусь. Кроме наших студентов есть компания магистрантов, которые три раза в неделю, после работы, имея семью, приходят в четыре-шесть часов вечера и слушают лекции до девяти часов. Это люди, перед которыми я преклоняюсь. У них спрашивают: «Зачем вам это надо?» А они говорят: «Хотим повышать свой уровень». Это тоже очень важная вещь.

Сейчас гораздо более напряженное время, у нынешних студентов другие средства связи, у них чудовищные

возможности, понимаете, чудовищные, это просто убивает! Когда я учился в аспирантуре, наш преподаватель философии Михаил Михайлович Шолохов, сын писателя Михаила Александровича Шолохова, прочитал первую главу моей кандидатской диссертации и сказал: «У вас все правильно написано, но вам надо еще почитать Гуссерля, Поппера». – «Где почитать?» – «Язычки знать надо». Я не мог даже представить себе, что смогу поехать на стажировку куда-то там, в Польшу даже, не говоря уже об Англии, Соединенных Штатах Америки, Франции, Германии... А у них все это есть. Они могут читать все что угодно, поехать куда угодно, говорить что угодно. Тем более что в Вышке – колоссальные возможности. Просто колоссальные!

Мы, конечно, были совершенно другими. У нас было очень много увлечений, причем это были увлечения коллективные. В 60–70-е годы невероятной популярностью пользовались студенческие театры: их было иногда по нескольку на факультете. Кстати, многие из ребят потом ушли в профессиональный театр: Гена Тростянецкий, Юра Попов. Нынешние студенты более пассивны в этом отношении и более индивидуалистичны. Они, может быть, чуть более циничны, чем мы. Хотя мы тоже были циниками: знали, что можно говорить одно, думать другое, а делать третье. Но у них и цинизм какой-то другой. Они читают другие книжки. Я был потрясен, когда, задав на первой лекции свой традиционный вопрос – являются ли «Три мушкетера» источником по истории Франции XVII века, – услышал в ответ, что на курсе только два человека читали роман Дюма. Они читают другую литературу. А другая литература – это другой способ мышления. Другой, как сейчас говорят, бэкграунд, другой юмор. Они по-другому все воспринимают. Но я учусь у них этому новому восприятию жизни, потому что в целом они, наверное, более точно эту новую жизнь ухватывают.

А еще я постоянно учусь у своих коллег, у всех... Понимаете, я не могу назвать даже десятой доли тех людей, которые меня чему-то научили. Но им всем я очень благодарен.

# ГРИГОРИЙ КАНТОРОВИЧ УЧИТЕЛЯ



Я родился в Москве, мои родители окончили Московский институт химического машиностроения. Папа учился замечательно и должен был остаться в аспирантуре, но если мама была русская по национальности и ее в аспирантуре оставляли, то папу, естественно, нет. В результате они уехали по распределению в маленький городок – Бердичев, известный по всяким еврейским анекдотам. Поэтому я окончил провинциальную школу в провинциальном городе, но та школа, в которой я учился в старших классах, считалась самой сильной в городе. В 10-м классе я впервые услышал про Физтех – от одного одиннадцатиклассника, который собирался туда поступать и поступил, став первым из нашего города, кто учился в Физтехе. А вообще в московские вузы пытались поступать многие, и про тех, у кого это получалось, было известно всему городу. Сейчас точно уже не вспомню, в 9-м или 10-м классе я принял участие в физико-математической олимпиаде Физтеха, которая проходила в Житомире, нашем областном центре. Такие олимпиады проводились по всей стране. Я до сих пор помню одну задачку, которую мне удалось решить. Это была задача по математике, требовавшая использования свойств пределов, которых я еще не изучал в школе.

Я их придумал на ходу и задачку эту решил. Что такое предел, я точно не знал, но интуитивного представления оказалось достаточно, чтобы догадаться об очень коротком решении этой задачи. Как и многие школьники, я участвовал в олимпиадах и учился хорошо. Мое высшее достижение – я попал на две республиканские олимпиады сразу, одна была по математике, другая – по химии. Родители, конечно, хотели, чтобы я пошел в МИХМ. Из школьного времени я могу назвать двух учителей, которые могли оказать на меня какое-то влияние, прежде всего своими человеческими качествами. Один из них – Владимир Викторович Сорокопут, учитель математики еще дореволюционной закалки, по нашим школьным разговорам – отсидевший. Это был солидный, взрослый человек, очень строгий и суровый, как мне кажется, идеальный учитель математики. Я пришел к нему в 9-м классе и чувствовал, как его отношение ко мне теплело, потому что я знал предмет. Вторая – учительница литературы Рахиль Мироновна Шехтман, с которой дистанция устранилась быстрее, потому что я много читал, писал сочинения, любил литературу и интересовался ею. Вот эти два совершенно разных человека, думаю, оказали на меня влияние.

В школе было много кружков – я ходил в литературный и в математический. Я окончил школу с золотой медалью и после выпускного вечера поехал поступать в Физтех. Как сейчас помню, 30 июня я подал документы, а на следующий день начались вступительные экзамены. Все пять экзаменов я сдал на отлично и поступил, хотя конкурс был достаточно большой.

Шел 1965 год, Физтеху было столько же лет, сколько поступившим в него студентам, – он же после войны возник. И уже тогда ходили такие разговоры: «Ну вот, что сейчас? Вот тогда – вот это были люди! Вот это была жизнь! А у нас... Это так, пожиже!» Тем не менее я сейчас вспоминаю, кто был тогда в Физтехе. К сожалению, я никогда лично не слушал лекции Петра Леонидовича Капицы, который там работал. Я учился на факультете аэрофизики и прикладной математики, куда поступил отчасти под влиянием книги и фильма «Иду на грозу». Слова «аэрофизика», «прикладная математика» меня завораживали, хотя самым престижным тогда считался факультет общей и прикладной физики. Но и с нашего факультета, в принципе, потом можно было перейти к физикам-теоретикам.

У меня была мечта – после второго курса сдать теорминимум Ландау и уйти в эту группу. Такая возможность была открыта для всех. Ландау, правда, уже попал в страшную катастрофу, и хотя ему продлили жизнь, из института он ушел, но присутствие его людей чувствовалось. Я с ними не контактил, но с ними общались мои знакомые ребята. Мы ведь жили в кампусе, в пригороде, и все в этом варились. Моим лектором по матанализу был Лев Дмитриевич Кудрявцев, недавно умерший. Кудрявцев читал лекции, словно надиктовывая конспект, хотя он не диктовал. Это была такая академическая математическая манера. Первые два года Лев Дмитриевич читал курс математического анализа. На втором курсе к нам пришел Василий Кириллович Романко, который первый год работал тогда в Физтехе. Это был совсем молодой преподаватель – ему было лет двадцать пять. Лекции по линейной алгебре на первом курсе мне читал

Д.В. Беклемишев, тогда еще относительно молодой доцент, потом ставший автором известного учебника.

На первом курсе у нас были физические лаборатории – как мы их называли, «физлабы». И этот рядовой предмет вел у нас не кто-нибудь, а лауреат Ленинской премии физик-экспериментатор Самойлов. Этот человек произвел на меня сильное впечатление. Он был уже в возрасте и чем-то походил на Арчибальда Арчибальдовича из «Мастера и Маргариты». В рубашке, с галстуком, очень острого, едкого ума человек. Он научил меня критически подходить ко всему, что вижу. Потом читали знаменитый Айзерман, Коренев, академик Дородницын, чье имя сейчас носит Вычислительный центр Академии наук. Это был уникальный человек, он обычно читал лекции с закрытыми глазами. Когда он обращался к залу, глаза у него были закрыты; наверное, когда поворачивался к доске, то открывал их. А семинары вел недавно скончавшийся, к сожалению, академик Александр Александрович Петров. То есть совсем простые вещи вели у нас люди подобного калибра. Такое сейчас трудно себе представить. На старших курсах, когда я перешел на вновь организованный факультет прикладной математики, деканом там был Никита Николаевич Моисеев, будущий академик. Иными словами, меня окружали люди, которые предопределяли и создавали определенную среду. И мне кажется, что самое сильное влияние человеческих личностей в том, что они задают некую планку. Когда я перешел в экономику, я людей такого масштаба больше не встречал. Ни один из советских академиков-экономистов не стал для меня таким авторитетом, как те люди, которые окружали меня в Физтехе, – это были действительно авторитеты, личности гигантского масштаба. Мне кажется, многие наши сложности связаны с тем, что нам не удалось еще вырастить в области экономики людей такого или подобного масштаба.

К сожалению, я никого не могу назвать своим персональным учителем, в чью школу я бы попал и там учился и работал. Как-то не сложилось, хотя я учился легко, закончил Физтех с красным дипломом и сразу поступил там в аспирантуру.

Моим руководителем был Евгений Александрович Федосов. Когда я в 1974 году закончил аспирантуру и защитился, Евгений Александрович не мог оставить меня работать у себя в закрытом институте. У меня еще не было московской прописки, но не это, конечно, было главным. И тогда я попал в Институт бумаги, в лабораторию моделирования процессов целлюлозно-бумажной промышленности. Сначала меня хотели взять заведующим этой лабораторией, но в итоге приняли на должность старшего научного сотрудника. Когда я работал в этом институте, я познакомился с целлюлозно-бумажной отраслью, которая мало знакома большинству населения. Я ездил на бумажные комбинаты, видел, какие это колоссальные сооружения. На Сыктывкарском лесопромышленном комбинате бумагоделательные машины были величиной с девятиэтажный дом. Они размельчают древесину, варят эту массу, затем она выливается на сетку девятиметровой ширины, несется по сетке, застывает. В общем, там своя хитрая технология, а я пытался моделировать этот процесс, очень физически сложный, потому что эта масса вроде и не жидкость, а непонятно что – неоднородная. Я проработал в этой отрасли пять лет, и мне там не очень нравилось. Но зато именно там я получил хорошие навыки общественной деятельности, а я ведь был не очень хорошим общественником. В годы учебы я любил спорт, шахматы, но потом меня затянуло участие в организации и проведении школьных олимпиад типа тех, в которых я участвовал еще в Житомире. Эту деятельность настолько уважали в Физтехе, что мы имели своих представителей в институтском комитете комсомола. И я был ответственным за эту работу.

Все это было очень интересно, но к экономике не имело никакого отношения. И вот в 1980 году мой товарищ Сева Гурвич предложил мне перейти в НИИ по ценообразованию. Не то чтобы я очень хотел, но решил попробовать. В качестве старшего научного сотрудника я решал на компьютере какие-то задачи, но чувствовал себя некомфортно, потому что мне казалось, что экономика вся какая-то неупорядоченная, в отличие от точных наук. Но что-то здесь было общее с физикой: был

какой-то объект, для которого следовало построить модель. Первый ученый совет, на который я пришел в НИИ цен, произвел на меня шокирующее впечатление. Диалог был примерно такой: «Вот это то-то и то-то, потому что Маркс в третьем томе “Капитала” сказал так-то и так-то». – «Да, но вот в четвертом томе он сказал следующее...» И это было всерьез. А я все-таки защищался в Физтехе, и для меня это было полным безумием. Но потом началась перестройка, которая открыла новые возможности, и в конце 1980-х годов я перешел в Институт народнохозяйственного прогнозирования Академии наук. Его тогда возглавлял Юрий Васильевич Яременко, а моим непосредственным начальником был Виктор Александрович Волконский. Я бы сказал, что эти два человека оказали на меня сильное влияние. На мой взгляд, Волконский был одним из самых интересных людей, и он ведь тоже математик по образованию. Мы там организовали семинары, и я кое-что читал с учебными целями. И тут мне сказали, что есть такая идея – организовать Вышку – и нужно будущих ее преподавателей подтянуть по экономической теории и математике. И Игорь Владимирович Липсиц предложил мою кандидатуру для чтения лекций по математике, по тем разделам, которые нужны экономистам. Тогда даже такого понятия не было – математика для экономистов. Мне это было любопытно, и я согласился попробовать. Сейчас трудно себе это представить, но до этого времени я никогда регулярно не преподавал. В аспирантское время я подрабатывал в долгопрудненской школе, подменял заболевших учителей. Кстати, одним из моих учеников был Андрей Кузьмичев, сейчас известный доктор наук. Но, видимо, потому, что я занимался олимпиадами, у меня были педагогические навыки. Я плохо знал, как учили экономике в советское время, да еще некий физтеховский снобизм всегда во мне присутствовал. И я, как и все тогда, понимал, что нет у нас учителей, готовых преподавать экономику.

К тому времени в Москве прошли летние школы Лондонской школы экономики. И там уже какой-то кружок начал собираться. Меня пригласили прочитать курс для

будущих молодых преподавателей, которых сначала нужно было отобрать. С сентября мы вдвоем с Револьдом Михайловичем Энтовым начали читать лекции. Я читал математику, а Револьд Михайлович – экономическую теорию. Я рассказывал про оптимизацию, пытался строить лекции с нуля. Мне было интересно раскрывать в себе талант преподавателя, да еще задача была поставлена чрезвычайно амбициозная: сделать что-то похожее на европейское экономическое образование. Вот так я начал быть учителем, систематически преподавать, хотя сначала для меня это было больше хобби, и я не ощущал, что оно превратится в мою профессию. Сейчас ведь даже трудно представить, с чего мы начинали. Например, я впервые стал знакомиться с таким предметом, как эконометрика. В России никогда такого предмета не было, нигде его не преподавали. Конечно, часть эконометрических методов читали, но под другими названиями. У нас что-то такое в курсе статистики могло быть, в методах обработки информации, но такой науки, как эконометрика, не было. Приходилось быть учеником и учителем одновременно. Это очень тяжелый, но чрезвычайно интересный опыт: все было совсем не так, как когда-то в Физтехе, где мэтры, крупнейшие ученые, по отработанным программам занимались с юнцами, учили их тому, что сами знали, может быть, лучше, чем большинство ученых в мире. Тут было совсем по-другому. Мы учились в Роттердаме, куда я ездил на месяц-полтора каждый год. Именно там я понял, как надо учить. Это была очень насыщенная жизнь: библиотека, люди, методические занятия. Познакомился с голландскими профессорами и от них стремился взять побольше, а потом отдать как можно больше своим студентам. Это было удивительное ощущение – на работу ходил как на праздник. Весь первый год работы в Вышке – замечательное время. Нам было так интересно сюда ездить, общаться друг с другом, и студенты были такие интересные и очень мотивированные. Они искали себя. Мы мало что знали в экономике – и они мало что знали в экономике. И мы, и они впитывали всё. Начало моих занятий экономикой и преподавания оказалось совершенно удивительным, и я благодарен судьбе за это.



# ЮРИЙ ОРЛОВСКИЙ

## УЧИТЕЛЯ

---



Моя трудовая деятельность началась после окончания юридического факультета Московского университета. Я – блокадник. Учился в ленинградской школе. Так получилось, что отца перевели в Москву и я оказался москвичом. У нас в семье никто не занимался юриспруденцией, поэтому выбор мой был чисто самостоятельный, не связанный с традициями семьи. Почему я выбрал юриспруденцию? Потому что мне всегда казалось, что юристы – это защитники интересов людей. В юности я очень увлекался юридической литературой, читал Кони и других известных русских юристов. Мне было интересно приобщиться к этому процессу, который касался защиты людей. Тогда я не думал, что буду заниматься наукой, – просто хотел быть юристом. Но хотя я и говорил о защите людей, адвокатом я быть не хотел. Мне казалось, что гораздо интересней работать в тех органах, которые расследуют преступления. У меня сначала было желание идти в прокуратуру. Но я не стал прокурором, не стал адвокатом, я стал научным работником. Я сейчас объясню, почему.

Закончив школу, я поступил как медалист на юридический факультет Московского университета. У нас на факультете очень развита была система научных кружков.

Я записался в кружок по трудовому праву. Мне нравился преподаватель и были интересны те дела, которые мы рассматривали на семинарах. Поэтому я стал заниматься в этом научном кружке. Вел кружок очень интересный человек – Константин Петрович Горшенин. Он был в то время министром юстиции Советского Союза. Не знаю, какой он был министр, но преподаватель был замечательный. Константин Петрович работал индивидуально с каждым студентом. Когда я пришел в кружок, то увидел, что он как-то сразу определил, кто какой доклад должен сделать. Мне тоже поручили сделать доклад на определенную тему. Я сделал, и Константин Петрович сказал:

*– Юра, вы сделали хороший доклад. И самое интересное, что у вас есть свое мнение по тем вопросам, которые вы изложили.*

Видимо, он меня так приободрил, что я стал постоянно ходить на заседания кружка и время от времени делать доклады по трудовому праву. Поэтому, когда встал вопрос о том, какую тему дипломной работы мне выбрать, у меня сомнений уже не оставалось: диплом я писал тоже по трудовому праву.

И вот уже шестьдесят лет я занимаюсь этой дисциплиной. Я занимаюсь трудовым правом, но это не значит, что вся моя научная работа всегда сводилась к нему. После окончания юридического факультета я работал в издательстве «Юридическая литература». Однако проработал там я очень недолго, потому что поступил в очную аспирантуру института, который тогда назывался «Всесоюзный институт юридических наук». Там я позже защитил свою кандидатскую диссертацию. И вот судьба сложилась так, что в этом институте я начинал аспирантом, а потом через много-много лет – по существу, как раз перед поступлением на работу в Высшую школу экономики – опять вернулся туда и проработал семнадцать лет заместителем директора по научной работе Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации (такое название он носит теперь). Это довольно известный среди юристов, да и не только среди них, институт.

И вот, когда я защитил диссертацию, меня направили на работу в Министерство юстиции Советского Союза. А потом я работал в Юридической комиссии при Совете министров СССР. Интересно, что я защитил диссертацию, но пошел работать именно в министерство. Почему? Так поступить посоветовал мне мой учитель – Николай Григорьевич Александров. Это известный профессор и вообще очень интересный человек. Он был профессором не только трудового права, но и теории государства и права. А до того как он стал профессором, Николай Григорьевич был дирижером Театра оперетты. И даже когда он прекратил дирижировать, он организовал камерный оркестр, и они в Доме ученых по четвергам всегда играли концерты. Вот такой у меня был учитель. Он говорил мне, что если я хочу быть неплохим специалистом, то, конечно, мне надо идти на какую-то работу, связанную с юридической практикой. Потому что заниматься трудовым правом, не зная практики, невозможно. Эта отрасль права непосредственно связана с человеком, от работодателей зависит благосостояние людей, их эффективная производственная деятельность, и здесь обязательно нужно иметь хорошую практику.

Сейчас у меня много учеников, есть уже и доктора наук, и люди, которые сейчас пишут докторские диссертации. Я и им тоже внушаю мысль, что надо больше изучать практику. Хорошо было бы немного поработать на практической работе и в том случае, если ты в дальнейшем собираешься заниматься научной деятельностью. Это совершенно не мешает, а наоборот, помогает.

Чтобы закончить рассказ о своей трудовой биографии, хочу сказать, что после работы в Министерстве юстиции мой научный руководитель Николай Григорьевич Александров пригласил меня в Институт государства и права Академии наук СССР. Сейчас этот очень авторитетный научно-исследовательский институт по-прежнему существует в системе Российской академии наук. Там я защитил докторскую диссертацию, как тогда считалось, в молодом возрасте – мне было тридцать семь лет. Я доктор наук в области права. Для математиков и физиков это, наверное, не очень молодой возраст, но для нашей специальности я защитил докторскую диссертацию довольно рано. Почти сразу после моей защиты в системе МВД организовалось учебное заведение по подготовке командных кадров правоохранительных органов для Москвы. Это называлось тогда Высшей школой милиции. Меня пригласили туда работать начальником кафедры гражданско-правовых дисциплин. Нужно сказать, что там был очень интересный коллектив, потому что институт был новый и туда пришло много профессуры из других учебных заведений. Я работал в этой Школе двенадцать лет, пока меня не пригласили в Президиум Верховного Совета СССР на должность заместителя руководителя группы научных консультантов. Тогда было принято решение для подготовки законопроектов и вообще экспертизы создать группу научных консультантов, куда приглашали довольно известных людей, очень успешных в своей области. Но проработал я там недолго, потому что было принято решение группу ликвидировать. И из группы консультантов я перешел в Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.

Ушел я отсюда в 2007 году и перешел в Высшую школу экономики на должность заведующего кафедрой трудового права. Вначале я работал два года по совместительству, потому что основная работа у меня была в Московской юридической академии имени Олега Емельяновича Кутафина, где я работал профессором на кафедре трудового права. По совместительству работать было трудно, а кроме того, мне понравилась обстановка в Высшей школе экономики. Я ушел из Московской юридической академии и целиком сосредоточился на работе в Высшей школе экономики. Таким образом, всю жизнь я занимаюсь трудовым правом. Об этом не жалею, потому что около 90% трудоспособного населения являются субъектами трудового права. Конечно, здесь большие просторы для трудовой деятельности, здесь возникает очень много вопросов. И вообще мне интересно работать в Высшей школе экономики. Интересно не только потому, что это очень серьезное учебное заведение, но и потому, что сюда приходит интересная молодежь. Ис каждым годом все интереснее и интереснее. Она очень эрудированна, инициативна и задает высокую планку преподавателям. Работать с этой молодежью нелегко – надо и самому все время быть на высоком профессиональном уровне. Поэтому все время приходится заниматься повышением квалификации, даже если работаешь в области трудового права уже шестьдесят лет. И это нормальное явление: кто не повышает квалификацию, тот отстает, а отстающие сегодня эффективно работать не могут. Поэтому надо серьезно изучать те вопросы, которые жизнь выдвигает на передний план.

Мне очень любопытны проекты, предполагающие совместную работу учеников и учителей, – те, которые сейчас разрабатываются в Высшей школе экономики. Я считаю, что нет большей похвалы для учителя, чем если ученики воспринимают его советы. Если ученик доволен своим учителем, то для учителя это самая большая награда. У меня есть орден, который я получил за работу в Высшей школе экономики к ее двадцатилетию. Я ординарный профессор, но честно вам скажу: когда я заканчиваю лекции и студенты аплодируют – для меня

это высшая награда. Это показатель того, что мы делаем полезное дело. И делаем его неплохо, если такова отдача со стороны студентов. Я стараюсь привить нашему студенчеству чувство ответственности. Надо, чтобы они больше думали, чтобы самостоятельно решали те проблемы, с которыми им придется сталкиваться после окончания Высшей школы экономики.

Мы практикуем очень много различных форм для решения этой задачи. У нас есть специальный интернетовский журнал по трудовому праву, который готовят наши студенты. Один из наших доцентов занимается этим журналом. Мы ежегодно проводим именно для студентов конференции по самым актуальным проблемам трудового права. По итогам этих конференций выпускаем сборники их работ. На последнем конкурсе в Высшей школе экономики два наших студента, которые специализируются по трудовому праву, заняли первое и третье место. Таким образом, кое-что удается сделать. Естественно, это требует дальнейшего продвижения вперед. Коллектив наш в последнее время пополнился квалифицированными людьми. Сейчас у нас пять профессоров. В этом году открывается специализированный Совет по нашей специальности для защиты диссертаций, поэтому я думаю, что аспирантура, которую мы организовали при факультете, будет успешно развиваться.

Что касается учителей, которые оказали влияние на мое профессиональное становление, то, конечно, я могу назвать не только моего научного руководителя. Я могу вспомнить не только Константина Петровича Горшенина, который руководил научным кружком. Хорошо помню преподавателей, которые вели у нас семинарские занятия, потому что с ними мы общались более тесно, чем с лекторами. Могу вспомнить доцента Якова Львовича Киселева, который у нас преподавал, и Александру Афанасьевну Абрамову. Кстати, они не имели ученой степени доктора юридических наук, они были кандидатами, но степень не всегда определяет, какими знаниями владеет человек. У них были такие знания, что, я думаю, сегодняшние доктора могут у них поучиться. Мы тогда еще

были молодыми, но понимали, что по своим знаниям, по отношению к студенчеству это очень значимые люди. Они не читали нам нотаций, но оказывали на нас влияние своим подходом к делу, и мы были всегда признательны им за такое родительское отношение к нам, студентам.

Курс-то у нас был не очень простой: там было много людей, демобилизованных из армии. Я же поступил в университет в 1947 году – война совсем недавно окончилась. Поэтому у нас выпускников школы было намного меньше, чем вчерашних участников Великой Отечественной войны, которые были намного старше нас. Мы были молодыми, инициативными, энергичными и помогали им в учебе, потому что знаний у них в силу объективных причин, конечно, было меньше, чем у нас. Но тем не менее сложилось так, что все успешно закончили факультет, и потом наши дороги разошлись. 1947 год – это было непростое время вообще и для поступления в частности. Число мест для выпускников школ было жестко лимитировано, поэтому поступать было трудно. Даже среди медалистов возник конкурс. Хочу сказать, что это был трудный этап как для меня, так и для моих родителей. Они так до самого моего зачисления и не знали, возьмут меня в университет или нет, потому что медаль еще не открывала дорогу на юридический факультет.

Поступление в университет – это, конечно, очень далекое время, но я его помню. Может быть, поэтому я всегда очень внимательно отношусь к молодежи. Ведь от нас, учителей, зависит, кого мы выпускаем, как они будут трудиться. Когда с ними общаешься каждый день, конечно, оказываешь на них влияние своим поведением, отношением к людям и знаниями. И не надо лукавить: есть люди, которые формально знания дают, но контакта между ними и студентами нет. Потому что студент очень чутко улавливает, кто действительно очень хочет, чтобы он стал хорошим, знающим специалистом, а кто подходит к делу формально. Преподавателю нельзя так работать – свою профессию нужно любить. Если ты любишь свое дело, то обязательно найдешь, как воплотить эту любовь в работе, как донести ее до студентов, с которыми постоянно общаешься.

Спрос на выпускников факультета права среди работодателей велик, наших студентов с удовольствием приглашают на работу. Мы следим за их послеуниверситетскими судьбами и узнаем, что они становятся успешными работниками, закрепляются в организациях, где начали работать; что их ценят и у них есть карьерный рост. Это значит, что мы свою работу делаем неплохо. Ну, конечно, есть и минусы: не все поступают на факультет права потому, что осознанно хотят быть юристами. Какая-то часть молодежи считает, что юрист – это прежде всего профессия, которая хорошо оплачивается. Когда они видят всякие репортажи о том, какие большие деньги получают адвокаты, им кажется, что если они поступят на юридический факультет и станут адвокатами, то будут хорошо зарабатывать. Как правило, такие люди потом и хорошими адвокатами не становятся, и хорошо не зарабатывают. В настоящее время происходит очень серьезный «естественный отбор» среди выпускников. Прошли те времена, когда наша специальность была дефицитной. Сегодня конкурс на рынке труда очень большой, и работодатель имеет возможность выбрать наиболее достойных.

Не случайно Высшая школа экономики создала сейчас много магистерских программ: они дают возможность углубить знания и получить на выходе специалиста более высокого уровня, чем получалось раньше. И вот таких людей, которые закончили магистратуру, сегодня работодатель берет весьма охотно. Могу сказать, что сейчас основная часть молодежи поступает на факультет, потому что профессия им нравится – это чувствуется. Я читаю лекции на втором курсе у бакалавров и вижу, с каким интересом они приходят на лекции, записывают их. Но самое главное – они задают вопросы. А это значит, что преподаватель пробудил у них желание их задать. Преподаватели, которые ведут семинары, говорят, что теперь активность студентов стала очень высокой, а это значит, что они занимаются именно так, как и нужно заниматься. Ну, а небольшой отсев – он, наверное, будет всегда, потому что стопроцентного успеха едва ли можно достичь. Но мы будем стараться.

# СЕРГЕЙ ФИЛОНОВИЧ УЧИТЕЛЯ



Я руковожу Высшей школой менеджмента, хотя по образованию физик. Но это не так уж странно, потому что по образованию я не только физик, а еще и учитель. Я закончил Педагогический институт им. Ленина, где был и остается очень хороший физический факультет. В пединститут я шел за физикой, не за педагогикой. В 1969 году я закончил лучшую тогда, на мой взгляд, физико-математическую школу Советского Союза – Вторую, теперь это лицей «Вторая школа», и я член ее попечительского совета. Это был период расцвета школы, именно там я встретился с замечательными учителями. Я получил блестящую подготовку: математику у нас преподавал знаменитый Израиль Сивашинский, историю – Анатолий Якобсон, литературу – Феликс Раскольников. Все они были совершенно выдающимися людьми. Когда через два года школу разогнали, я и четверо моих одноклассников написали в ЦК КПСС письмо в ее защиту. Конечно, не помогло, но это был своего рода крик души. Самое главное, что во Второй школе давали тогда и прекрасное гуманитарное образование. У меня была единственная в классе пятерка по литературе, у троих – четверки, а у остальных – тройки: нас оценивали по гамбургскому счету. Я не знаю, как учитель литературы Раскольников угадал, что я впослед-

ствии напишу более десятка научно-популярных книг. И еще о роли гуманитарных наук в моей жизни. Когда я был физиком, то помимо экспериментальной физики занимался историей науки, причем отчасти социальной, а докторская диссертация у меня была посвящена истории институционализации физического эксперимента – тут и социология, и история. А кроме того, моя мама – профессиональный искусствовед, член Союза художников, а отец – вице-адмирал, инженер.

Почему я поступил именно в педагогический вуз? В любой жизни есть обстоятельства, связанные со случайностью. В Физтех у меня не взяли документы из-за плохого зрения, поэтому я вынужден был поступать на физический факультет МГУ и не поступил. На мехмат я поступить мог, туда из моего класса поступили 14 человек, но я хотел заниматься физикой, а на физфаке Вторую школу ненавидели. Пятеро из класса поступали на физфак, а поступил только один, и то он туда прошел как участник советской команды на международной олимпиаде по физике. Не взять его просто не могли, а нам четверым пришлось поступать в педагогический, и мы все его закончили. Теперь я совсем не жалею, что так случилось, потому что преподавание – это мое призвание.

Когда жизнь прожита, я это могу сказать совершенно определенно и рассматриваю это как свою миссию. Так же как мои учителя, особенно во Второй школе, ее рассматривали. Я считаю, что миссия преподавателя – помогать другим стать более успешными в широком смысле слова. Если это средняя школа, то стать просто успешными людьми, потому что еще не ясно, какую профессию человек выберет в дальнейшем. Если это вуз, то добиться профессионального успеха. Мы ведь ничем больше не занимаемся кроме того, что помогаем людям стать успешными. Ну и фундаментальное требование – при этом оставаться порядочными людьми. Это и есть базовая модель образования. Однажды Анатолий Якобсон – а это был известный диссидент, его потом изгнали из страны – пришел к нам в класс на замену заболевшего учителя. Он вел у нас историю с 8-го класса, но тут он заменял учителя по другому предмету. Поскольку не было темы урока, пошел разговор за жизнь, мы его спросили, почему он никогда не ведет историю в 10-м классе. Он нам честно ответил: «Ребята, у меня свои отношения с советской властью, и это моя жизненная позиция, но я считаю морально невозможным обращать вас в свою веру, вы должны прийти к этому сами, потому что это связано с большими жизненными сложностями и опасностями. Я не считаю себя вправе подвергать вас этим опасностям и испытаниям. Поэтому я только по XIX век преподаю, а XX веком не занимаюсь». Это была абсолютно честная позиция человека, который думал о том, как помочь нам стать людьми, но понимал, что если он начнет активно влиять на наши юные души, то многим из нас может сломать жизнь. Вообще лозунгом нашей школы была такая речовка: «Вторая школа научит сдавать все, что потребует Родина-мать», – и это мне в жизни очень пригодилось, потому что когда появилась возможность резко изменить свою жизнь – а мне было ровно сорок лет в 1992 году, – я ничего не боялся.

В пединституте я заканчивал кафедру, при которой в советские времена была крупнейшая в отрасли физическая лаборатория, выполнявшая исследований и хозяйственных работ на 3-4 миллиона рублей в год.

Я руководил исследовательской группой в этой радиофизической лаборатории, где начал работать на втором курсе, и у меня были замечательные учителя. Меня окружали совершенно феноменальные люди. Ну, например, Николай Николаевич Малов, который создал эту кафедру еще до войны. Это был человек «дореволюционного» издания, а когда создавался ВАК, он одним из первых без защиты получил кандидатскую степень с разрешением защищать сразу докторскую диссертацию. И вот он пришел в Пединститут и вместе со Шпольским – это тоже очень известный физик – создал прекрасный факультет. И у него было два замечательных ученика: Евгений Михайлович Гершензон и Валентин Семенович Эткин, которые, еще будучи аспирантами, создали при кафедре исследовательскую лабораторию – сначала крошечную, а когда я пришел, мы уже выполняли огромный объем хозяйственных работ, в основном для оборонки, конечно. Это был педагогический институт, казалось бы, далекий от науки. Но если есть энтузиасты, то все можно делать по-человечески. Мы занимались радиофизикой – у меня кандидатская диссертация по экспериментальной квантовой радиофизике. Мы использовали самые современные методы – сверхнизкие температуры, сильные магнитные поля и пр., все это было абсолютно всерьез. Закончив институт, я сразу поступил в аспирантуру, причем написал такой диплом, что рецензент рекомендовал немедленно превратить его в книгу, и через три года после института мой диплом вышел в виде книжки в научно-популярной серии Академии наук. Мне было двадцать шесть лет, и я был самым молодым автором этой редакции за всю ее историю. Так что учили на физфаке очень хорошо. Если ты хотел, ты мог получить отличное образование, тебе никто не мешал. Понятно, что если ты выделялся на общем фоне, то тебе помогали, и я первый экзамен вместе с группой сдал на пятом курсе – это был ГЭК по научному коммунизму. К началу сессии у меня все экзамены всегда были сданы, поэтому я имел лишний месяц каникул в июне и весь январь был свободен для научных занятий и путешествий. Мне это позволялось, потому что у меня не было ни одной четверки в дипломе и я не манкировал никакими занятиями.

Я поступил в аспирантуру, и так получилось, что мой диплом по истории науки и моя диссертация по экспериментальной физике никак не были связаны. Но историко-научные интересы у меня сохранились, и докторская диссертация была опять по истории физики. Я шел к тому, чтобы стать профессором физики в том же «педе», но в 1989 году по просьбе Госкомитета по народному образованию на общественных началах стал координировать уникальную программу по школьным обменам. Это была программа, по которой советские дети уезжали за рубеж на 11 месяцев и жили там в семьях, учились в школе, получали аттестат о среднем образовании и возвращались на родину. Этой программой, в которой принимали участие 57 стран, я занимался семнадцать лет и, занимаясь ею, познакомился с замечательным человеком – Стивеном Райнсмитом, который в тот момент, когда я вошел в эту систему, был ее президентом, а еще раньше – специальным послом в Советском Союзе по восстановлению международных контактов, нарушенных эмбарго Картера. В 1991 году В.И. Добренев, декан социологического факультета МГУ, решил воспользоваться этой ситуацией и предложил Стиву создать кафедру социологии организаций – полностью в духе того времени. Стиву это было интересно. Поскольку я был с ним знаком по программе детских обменов, то, когда он приезжал в Россию, я ему помогал, потому что в 1991 году американцу в России было тяжело без культурного переводчика. И когда он в 1991 году открыл кафедру и стал искать себе заместителя, я помог ему проводить интервью с разными людьми. Он проинтервьюировал человек двадцать, и никто ему не подошел. У кого-то был слабый английский, кто-то просто по-человечески не понравился. И тогда он мне сказал: «Ты все равно этим занимаешься, становись моим заместителем». Я посмотрел на него с нескрываемым изумлением и говорю: «Стив, ты в своем уме? Я физик, я про социологию ничего не знаю», – а он мне ответил: «Вот именно! Именно потому что ты физик, ты во всем и разберешься, а книги я тебе пришлю». И он действительно прислал мне десяток коробок с книгами по социологии, которые я штудировал в течение четырех лет.

Так что я опять стал учеником – и вот тут мне вспомнился лозунг Второй школы. Я читал и читал, так глубоко в это ушел, что ничего не помню о событиях в стране с 1992 по 1996 год. Мне ведь еще и лекции приходилось читать – а Стив, который формально был заведующим кафедрой, прилетал в Москву раза три в год на неделю, так что мне приходилось решать все технические вопросы на кафедре, программы строить. И через полтора года эта кафедра стала самой популярной среди 11 кафедр соцфака МГУ. Из 110 человек, которые заканчивали соцфак, в 1996 году, когда я оттуда ушел, 35 человек специализировались по нашей кафедре. Некоторых мы просто не брали, чтобы не было скандала. Наши выпускники очень хорошо трудоустроивались, многие в консалтинг ушли, некоторые теперь у нас в Вышке преподают на факультете менеджмента.

Переход от точных наук к гуманитарным не прост: когда я начал читать литературу по социологии, у меня пропала аксиоматика, которая есть в любой точной науке. Но я довольно быстро пришел к выводу, что все не так страшно. Например, социологические исследования очень напоминают эксперименты в квантовой физике. Потому что исследователь влияет на исследуемый объект – это в социологии неизбывная вещь: проводите ли вы опрос, интервьюирование или фокус-группу, личность интервьюера оказывает влияние на участников исследования. Когда вы проводите исследования в квантовой физике, вследствие измерения параметров объекта вы меняете его состояние. И в физике эти эффекты были замечены раньше, чем в гуманитарных науках. Я сейчас считаю, что психология и социология более сложные науки, чем физика, с идейной точки зрения, потому что у них гораздо более сложные объекты. Во-первых, это объекты, не сохраняющиеся во времени. Проводить измерения в области физики относительно легко, поскольку заряд электрона не меняется. Скорость света, о которой я написал книжку, – это константа, а ни в социологии, ни в психологии констант нет. Так что я смотрю на мир, с одной стороны, глазами физика, с другой – историка науки, с третьей – теперь уже и социолога.

Когда я учился социологии, читал эти ящики книг, естественно, на меня произвел сильное впечатление Макс Вебер, которого я сначала читал в английском переводе. Из живых классиков мне посчастливилось довольно много общаться с Дж. Несбитом, автором «Мегатрендов», – он сейчас живет в Европе и занимается исследованиями Китая. На меня произвел большое впечатление Вернер Берк – один из самых известных специалистов по организационному развитию, почетный профессор Колумбийского университета, я через Стива с ним тоже лично знаком. Стив мне помог даже познакомиться с Питером Дракером – основоположником современного менеджмента. У нас его Друкером обычно называют. Он австриец и прожил в Австрии часть жизни. Там он, конечно, был Друкером, но когда Гитлер пришел к власти, он эмигрировал в Америку и там стал Дракером. Кроме того, большое влияние на меня оказал Ноэл Тичи – это профессор Мичиганского университета, один из столпов управленческого консультирования и один из ведущих исследователей лидерства. Он одно время возглавлял кафедру организационного поведения, а я стажировался на этой кафедре. Пока я занимался самообразованием, я ничего вокруг не видел, а когда вынырнул оттуда – это был 1996 год, – то решил перейти в вуз, где больше внимания уделяется качеству образования. Мне поступило три предложения, и я решил перейти в Вышку, куда меня пригласил А.Н. Дятлов, который был деканом только что образовавшегося факультета менеджмента. Я сейчас уже не могу точно вспомнить, какие были рациональные основания для выбора именно Вышки. Ведь тогда о Вышке мало кто знал, многие спрашивали: «Высшая школа экономики? А что это такое?» Это теперь бренд, это теперь мы конкурируем с МГУ, а тогда это была небольшая магистратура, три факультета, все друг друга знали и существовала политика открытых дверей – ты в любой момент мог войти в кабинет ректора. Я ни минуты не жалею, что пришел именно сюда, потому что здесь можно сделать то, чего нельзя сделать больше нигде в России. У нас не было ни одного случая, чтобы кто-то из крупных бизнесменов отказался прочитать лекцию для наших студентов. Ни одного!

В Вышке работает и регулярно читает лекции Д.Б. Зимин – на него все смотрят как на живую легенду. У нас есть очень сильные факультеты с блестящими преподавателями. Это и экономический факультет, и социологический, и ряд других. В Вышке у студентов есть возможность получить столько, сколько они могут взять, и даже больше. Очень важно, что значительная часть студентов нашего университета действительно хочет учиться. В Вышке очень развита студенческая инициатива, она просто бурлит – это тоже наша особенность. У меня двое детей учились в Вышке, и я все это знаю еще и изнутри. У нас не берут денег за оценки, в отличие от очень многих вузов, – студенты прекрасно это знают, и они понимают, что такое честное образование. Все это делает Вышку не только вузом, дающим качественное образование, но и здоровым элементом нашей системы образования. У нас уже есть актив выпускников. Профессора Высшей школы менеджмента читают открытые лекции, на которые собирается по 400–500 человек, и ведь примерно треть из них – это студенты Вышки, а половина – это наши выпускники, которым мы привили интеллектуальный голод. Они привыкли интересоваться вещами не только прагматическими. Мне представляется это очень важным следствием образования, когда у человека формируется интерес не только к своей специальности, не только к узкопрактическим вещам, но он учится смотреть на жизнь широко и ему интересно все, что происходит вокруг. А главное, что лучшие профессора нашего университета – это люди мира, они полностью лишены какого-либо провинциализма.



# ИННА ДЕВЯТКО УЧИТЕЛЯ

---



По образованию я психолог. Почему я пошла на психологию – это забавная история, так как я никоим образом не должна была там оказаться. Я жила в Киеве, заканчивала 171-ю школу с углубленным изучением физики и математики. Это и сейчас хорошая школа, но тогда она была просто уникальной. Училась я хорошо по всем предметам, и учителя математики думали, что я пойду на мехмат, а учительница литературы была уверена, что я пойду куда-нибудь по литературной части. Только вот я так не думала. Может быть, в силу крайней самонадеянности, может быть, из желания попробовать что-то еще, но я не была намерена идти по слишком уж ясной и простой дороге. И хотя некоторые учителя пытались меня отговаривать, решила поступать в МГУ на факультет психологии. По своему психологическому типу я прирожденный самоучка. И не потому, что мне чего-то не хватало – информационная среда как раз была очень богатая, – просто мне нравилось самой что-нибудь изучать. В детстве я аномально рано сама выучилась читать и читала очень много и бессистемно. Поэтому у меня всегда были необычные отношения с учителями. Они мне всячески помогали – снабжали книгами, которые было трудно достать и которые, как им казалось, могли оказаться мне полезными, то есть

могли меня в какую-то сторону сдвинуть. В шестом-седьмом классе школы на меня огромное влияние оказал учитель литературы Леонид Аронович Рохварг, хотя он и не преподавал у нас. Он преподавал литературу в старших классах. Леонид Аронович был обладателем совершенно феноменальной по тем временам библиотеки. Я даже не помню, как мы с ним познакомились и откуда он про меня мог узнать, но он предложил мне брать у него книжки. Я раз или два в неделю приходила к нему домой, брала у него книги по литературоведению, философии, психологии. Я тогда очень много всего прочла. Он не вел со мной особых бесед – просто сдержанно интересовался моим мнением о прочитанном. Вот таким образом он мне помогал – в силу какой-то альтруистической мотивации.

Бывают учителя, которые чему-то учат. Мои учителя математики учили меня в разных смыслах. Во-первых, они научили меня своему предмету, а во-вторых, дали мне ролевую модель поведения, причем, как ни странно, в науке тоже. В 171-й школе работали замечательные учителя. Большую часть времени у меня математиком был очень известный в то время Яков Иосифович Айзенштадт, замечательный, удивительный человек.

Потом ему по каким-то причинам пришлось раньше уйти на пенсию, и на один учебный год к нам пришел еще более пожилой и тоже замечательный учитель математики Яков Моисеевич Янкевич. Его знают все, кто в Киеве учился в элитных школах. По сути своей, по духу это были настоящие университетские профессора, просто в силу понятных биографических обстоятельств им не удалось таковыми стать. Яков Иосифович вынужден был уйти из аспирантуры в 40-х годах, хотя он был ветераном войны. Стилистически это были совершенно разные преподаватели. Яков Иосифович был склонен к иронии, самоиронии, шуткам, словесной игре, он был очень артистичным и эмоциональным человеком. А Яков Моисеевич был человеком чрезвычайно сдержанным, более формальным, не позволял себе никаких прямых шуток, выдерживал дистанцию при общении. Он тоже обладал отличным чувством юмора, но менее игровым. При всей его внешней сдержанности, его влияние на нас было удивительным и имело двойной эффект. Они оба учили нас, как нужно думать и решать задачи самого разного рода и каким нужно быть человеком, если ты занимаешься интеллектуальной деятельностью. Сейчас молодые люди с такими феноменальными способностями, как у Якова Иосифовича Айзенштадта, могут сделать прекрасную университетскую карьеру. А тогда... Я понимаю, каким образом тогда оказывались в школах такие учителя, которым была закрыта другая дорога. Это были замечательные люди, причем с исключительной гуманитарной образованностью, эрудированные, как это обычно бывает у таких харизматичных школьных учителей. С удивительно широким взглядом на мир и высокой требовательностью к собственному поведению.

Кстати, у меня были и замечательные учителя физики: в средних классах – Илья Ефимович Вербицкий, а позже – Вениамин Зиновьевич Махтин. Когда я решила поступать на психологический факультет, они пытались меня отговорить. Начитавшись тогда самых разных книг по философии и психологии, я в какой-то момент решила, что это вроде бы естественная наука, но при этом

в ней есть некий компонент философской, эпистемологической загадочности. Мне попадались книги о работе мозга, загадках сознания; помню, на меня большое впечатление произвело интервью Лурии в журнале «Знание – сила». Мне казалось, что здесь и есть то самое поле непаханое, к которому нужно приложить усилия. И вот когда я приняла это решение, они меня пытались переубедить. Слова Ильи Ефимовича я запомнила навсегда. Он сказал, что, возможно, мне придется иметь дело с очень неприятными людьми. Ему казалось, что в гуманитарных науках – философии и научном коммунизме – существует какая-то нездоровая атмосфера, поэтому я могу пожалеть о своем решении. Это был неожиданный ход. Я потом не раз вспоминала его слова, но тогда это меня не смутило.

Я поступила на психфак, и это тоже было совершенно замечательное место, необыкновенное во многих отношениях. Надо сказать, там я встретила большое число людей, которые меня впечатлили. Я не знаю, как широко можно понимать слово «учитель», но здесь, на мой взгляд, важен эффект личного присутствия. Поведенческий образец очень значим, даже если человек и не предполагает каким-то особым образом тебя воспитывать. Очень большое влияние на меня оказал мой научный руководитель Валерий Викторович Петухов, к сожалению очень рано ушедший от нас. Он преимущественно занимался психологией творческого мышления и немного визуальным мышлением. Это как раз то, что мне показалось очень интересным, когда я изучила список возможных научных руководителей. Он только недавно защитился и был доцентом, а может быть и старшим научным сотрудником. Во-первых, он был замечательным лектором: читал у нас изрядную часть курса общей психологии. И я знаю, что очень и очень многие люди, которые учились в то время в университете, вспоминают о нем именно как об исключительном лекторе. У него был прекрасный голос. Когда он был студентом, у него были небольшие проблемы с дикцией, и чтобы справиться с этим недостатком, он поступил в театральную студию МГУ, где выработал превосходную дикцию.

У него был очень красивый баритон, и лекции он читал так хорошо, как будто родился с этим божьим даром. И то, что он говорил, было не менее прекрасно. Он в основном обучал меня и воспитывал на собственном примере, плюс давал мне читать книги – и, наверно, это и была самая правильная стратегия. Он давал мне читать в основном англоязычные книги, которые тогда трудно было достать. Давал какие-то самиздатовские книги Пятигорского и Мамардашвили – в общем, то, что считал для меня полезным и нужным.

Меня тогда очень занимала идея, что есть некий недискурсивный, невербальный язык мышления, что по большей части то, что мы называем «мышлением», не вполне доступно нашей интроспекции. Что происходит это на каком-то «том языке», который лишь ретроспективно предполагает возможность аналитического, дискурсивного описания и решения задачи. Это было начало. Потом меня заинтересовали другие аспекты этой темы. С этого момента наши интересы совпали, и я все свои курсовые и дипломную работу писала у Петухова. Потом, сделав достаточно неожиданный, с точки зрения многих людей, выбор, я не осталась сразу в аспирантуре. Тогда это вообще было довольно сложно. Требовалось целевое направление в аспирантуру МГУ, а я не особенно старалась его добыть, да у меня и не было такой возможности. Каким-то образом Валерий Викторович Петухов с помощью кафедры нашел «целевку» от Минобрнауки, но я пренебрегла этим, решив на время уехать из Москвы с мужем. Поэтому я была у него соискателем. Потом я родила ребенка, вернулась в Москву и оказалась в силу очень случайного стечения обстоятельств у социологов. Но это уже совсем другая история.

Я вспоминаю один свой разговор с Валерием Викторовичем о когнитивной психологии во время какой-то нашей с ним совместной прогулки. У него был огромный интерес к символам в культуре, к недискурсивным формам мышления. Следствием этого был, в частности, его интерес к психологии искусства, который позднее он мне тоже привил. Впоследствии я написала работу,

близкую к области когнитивной психологии, в которой пыталась типологизировать стили эстетического восприятия. На основе изучения восприятия живописи и графики я пыталась найти связь между эстетическим предпочтением тех или иных картин и какими-то индивидуальными характеристиками когнитивной системы. На основе курсовой работы за четвертый курс я написала статью, которую в следующем же году опубликовал журнал «Социологические исследования». Кстати, опубликовав эту статью, я познакомилась с будущим научным руководителем моей кандидатской диссертации – Геннадием Семеновичем Батыгиным, который тогда был заместителем главного редактора этого журнала. К сожалению, он тоже умер очень и очень рано.

Я могу еще долго рассказывать о Валерии Викторовиче Петухове. О его отношении к студентам, его необыкновенной деликатности, способности в недирижерской, неавторитарной манере помогать человеку. Он умел нащупать ту область научных склонностей человека, в которой тот смог бы работать очень долго. Он в принципе не навязывал никому свои идеи, никогда не предлагал разрабатывать фрагмент той темы, которая ему в данный момент была наиболее интересна. И это, как мне кажется, просто замечательное качество Валерия Викторовича.

Немало ярких людей присутствовали на психфаке и тем или иным образом влияли на нас. Мой интерес к когнитивной психологии был отчасти связан и с Борисом Митрофановичем Величковским, который читал у нас вводный курс, хотя и очень недолго – всего год или два. Кажется, по его инициативе нам на втором году обучения читал лекции Роберт Солсо – когнитивный психолог и довольно известный автор американского учебника. И конечно, на меня очень здорово повлияли практикующие по психологии восприятия и мышления, которые вели совершенно разные, но очень яркие преподаватели. В основном это были доценты, которые позднее стали профессорами. Большое влияние на мой интерес к психометрике, математическим методам в психологии оказал Александр Георгиевич Шмелев. Тогда не столь

легким был доступ к вычислительным устройствам, и первый свой анализ данных я проводила у него. В этом контексте я должна вспомнить еще одного человека. На первом курсе у нас был практикум по психофизике. Это такая область психологии, которая мне всегда очень нравилась. У нас по этому предмету был великолепный учебник, написанный двумя авторами. С одним из них, Мартой Борисовной Михалевской, я общалась во время практикума – это замечательный психолог и специалист по психофизике. Второй автор – Чингиз Абиляфович Измайлов. Мы с ним меньше общались лично, но, слушая его лекции, я не могла не восхищаться уровнем его мышления. Мне безумно нравились его работы по психологии цветового зрения.

Помню, из чистого интереса я взялась на этом практикуме что-то посчитать для всего курса. Тогда я все это сделала вручную. Меня это очень увлекло, и постепенно я стала считать какие-то вещи сама. Сначала мы имели право просто приходить, набивать перфокарты и считать свои данные на ВМК МГУ. Со временем я стала делать это самостоятельно. Позже Шмелев мне предложил провести практикум вместе с ним. Часть практикума, в которой он меня задействовал, была посвящена использованию калькулятора инженерного типа для анализа данных в психологии. В то время большинство студентов не имели для этого достаточных навыков. Шмелев сам разрабатывал задания к практикуму по психологии, потом что-то еще мы с ним делали в рамках производственной практики, но уже на почти персональном компьютере, точнее на такой небольшой машине, которая почему-то стояла во ВНИИ МВД. Там существовала небольшая лаборатория, где можно было невозбранно и без особых ограничений, по многу часов вводить и обрабатывать какие-то данные. Мне это было очень интересно. Работа с Александром Георгиевичем Шмелевым оказала очень сильное влияние на мой интерес к анализу данных и математическим методам их обработки.

И конечно, я должна сказать, что на меня серьезно повлиял Виктор Федорович Петренко, который первым

пробудил у меня специальный интерес к психосемантике. У него были замечательные семинары. Оказалось, что я как-то слишком много на его семинарах выступаю. Я вроде бы и не хотела так часто выступать, но он все время «заставлял» меня высказываться. У него была какая-то эмоциональная стратегия поощрения к высказыванию. Там была целая плеяда замечательно умных людей. Например, Владимир Викторович Столин – тоже известный профессор, который занимался психометрикой и самосознанием личности. Он также меня очень поддерживал. Может быть, эти люди и апеллировали иногда к моему юношескому тщеславию, но они помогли мне втянуться в работу студенческого научного общества, поддерживали любой мой научный интерес, иногда советовали, что нужно прочитать по той или иной теме. Они воздействовали на меня собственным примером, потому что это были ученые, активно и плодотворно работающие в науке.

После окончания института мы с мужем уехали во Владикавказ. Я работала в тамошнем Научно-исследовательском институте истории, филологии и экономики. Когда мы вернулись в Москву, мне уже казалось странным поступать в очную аспирантуру – я думала, что пора идти работать. И тут через общих знакомых я совершенно случайно узнала, что Геннадий Семенович Батыгин стал заместителем директора в Институте книги. А он меня, когда я еще была студенткой, спрашивал, не хочу ли я пойти в аспирантуру. Ему нужны были сотрудники, и я подумала, что можно совместить завершение диссертации и работу. Я переговорила с ним, и он сказал:

*– Зачем вам восстанавливаться на прежнем месте? Давайте мы вас зачислим в аспирантуру. Вы будете работать в секторе социологии чтения и заодно напишете диссертацию. Прекрасно!*

Нужно сказать, что мы там поработали недолго: Геннадий Семенович меньше года, а я примерно год. Это тоже был довольно интересный период. Вокруг

снова были люди, которые оказали на меня большое интеллектуальное влияние. Вот, например, руководитель нашей группы Сергей Серафимович Шведов – замечательный знаток литературы. Мы проводили исследования по функционированию литературы как институции, анализировали и публиковали данные – это была достаточно большая и кропотливая работа. Я тогда многому научилась, и кстати говоря, это мне потом пригодилось. Но позже, когда возникла такая возможность, я ушла в Институт социологии. Правда, я успела сдать кандидатский экзамен по книговедению самому Ефиму Абрамовичу Динерштейну. Это просто невероятно! Ну, я думаю, он просто человек был очень добрый. А ушла я потому, что мне, конечно, очень хотелось работать в социологии. Ну не хотелось мне заниматься тем, что имеет оттенок архивно-историографических изысканий, – хотелось вернуться к живой науке. И когда такая возможность представилась, я ею воспользовалась.

Тогда предполагалось, что Геннадий Батыгин может стать заместителем Владимира Ядова, когда тот вернется в Институт социологии. Но так не получилось, и я думаю – к счастью, потому что во многих отношениях для него это было бы совершенно непосильной психологической ношей. Он, с одной стороны, хотел помочь Ядову, но, с другой стороны, его принципиальности и адской работоспособности немножко побаивался коллектив. Наверное, поэтому его недостаточно поддерживали в качестве заместителя, зато у него появилась своя группа, которая поначалу состояла только из двух человек и первое время отлично в этом количестве существовала. Он стал не только руководителем группы, но и моим научным руководителем. Тогда я очень быстро, почти мгновенно, написала диссертацию, и это стало толчком к дальнейшим нашим совместным занятиям.

У Геннадия Семеновича был огромный интерес к методологии социологических исследований. Я, конечно же, знала его книгу «Обоснование научного вывода в прикладной социологии». Но мне хотелось написать что-нибудь по истории измерения в социальных на-

уках. Это не значит, что я радикально отошла от психологии. Мне казалось, что измерение в социальных науках – это как раз та область, которая позволит мне быть максимально близкой к психологии. Ведь известно, что первые шкалы когда-то возникли именно в психологии. Первые модели измерения, первые подходы к измерению в социологии, за некоторым исключением, носили заимствованный характер. Собственная традиция появилась потом. Но в целом психометрика – по крайней мере на первых этапах – очень сильно на это повлияла. Под руководством Геннадия Семеновича я написала диссертацию про эволюцию идеи измерения в американской социологии, которая заодно стала частью нашего проекта. Моя диссертация довольно скоро превратилась в книжку. Она называлась «Диагностическая процедура в социологии: очерк истории и теории». Предисловие к ней написал Геннадий Семенович. В ходе этих изысканий мы постепенно пришли к совместным проектам в области методологии. У нас возникли какие-то общие публикации.

Разумеется, у каждого из нас были свои интересы, но во многих отношениях мы совпадали. Геннадий Семенович был такой же книжный червь, как и я. Он ужасно любил книги. Найти какую-нибудь новую интересную книгу и разделить эту радость с другими для него, как и для меня, было огромным счастьем. Мои старшие коллеги, да и сам Геннадий Семенович, рассказывали, как они радовались, когда не нужно стало отмечаться в специальном журнале, что ты завтра идешь в библиотеку. Вместо этого можно было с утра просто пойти в библиотеку. Представляете, какое счастье! И они туда ходили. Сейчас это кажется немного архаичной практикой, а тогда это было замечательно.

Потом случился совершенно неожиданный поворот. Я хорошо помню, как это произошло. Я изучала книгу, кажется под редакцией Бергера, где было двадцать биографических интервью с американскими социологами. И как-то разговор у нас зашел о том, что можно было бы такого рода биографические интервью собрать у отече-

ственных социологов. Особенно у представителей того поколения, которое подверглось травме. Так постепенно возник новый проект, и у нас с ним стали появляться статьи о ранней истории российской социологии, которая институционально была тесно связана с философией. Мы научились ходить в архивы. У меня уже была некоторая подготовка, а Геннадий Семенович – он просто рожден был для этого. Архив – место, которое требует особого уважения к документу, к подлинной истории. А у него еще с юности был интерес к тому, как было устроено советское обществознание. Я-то, если бы не эти процессы конца 80-х, скорее всего, и не пошла бы в социологию. Мне бы это и в голову не пришло. Конечно, я бы осталась психологом, потому что инстинктивно – да и воспитали меня так – старалась держаться подальше от советских общественных наук. А тут возникла совсем новая ситуация, когда стало не стыдно этим заниматься. Мы ходили в бывший ЦИКовский архив на Старой площади, архив при ИМЭЛе. Иногда появлялась возможность получать доступ к нужным фондам, хотя там до сих пор не только не все открыто, но что-то еще и дополнительно закрыто. Но тогда хоть описи можно было читать, а сейчас и это не всегда удается. В общем, мы эту возможность постарались использовать, потому что была какая-то закрытая, темная сторона у советской социологии. И мне она была любопытна – может быть, в силу достаточно легкомысленного разоблачительного мотива, а может быть, в силу возраста. А у Геннадия Семеновича мотивы были гораздо более глубокими. Он довольно непростой личный период в советской социологии прожил, и Наверное, как и всякому человеку, ему хотелось понять, что же на самом деле происходило и что всему этому предшествовало. И мы довольно сильно в это погрузились.

Сейчас я не буду подробно перечислять, что мы тогда написали совместно, я хочу рассказать о Геннадии Семеновиче некоторые важные вещи. Например, о том, как он работал, как писал. Это передает природу его отношения к тексту. Все, кто его знал, помнят, что он удивительно ответственно относился к языку. Тут у него были осо-

бые и, как мне кажется, воспитанные и выработанные способности. Он в детстве заикался и, видимо, поэтому очень и очень ответственно относился к тому, что говорил. У него было необыкновенно глубокое понимание природы языка, бесконечности этого семиозиса, когда у всякого текста есть подтекст, а у подтекста есть свой подтекст, и те смыслы, к которым отсылает нас даже самый короткий текст, могут бесконечно далеко отстоять от очевидного значения. Он как никто умел пользоваться этим. Он любил экономить слова, но при этом любая его фраза, даже внешне безобидная, могла содержать бездну юмора, иронии или сарказма, которых человек, не слишком внимательный к языку, мог и не заметить.

А уж как он относился к письменному тексту! Я такого больше никогда не встречала. Не то чтобы он мои статьи или диссертацию сильно редактировал – видимо, в этом не было большой необходимости. В этой области он относился ко мне как к равной, ну разве что какие-то отдельные стилистические правки делал. Но совсем другое дело, когда мы пытались что-то вместе писать. Я хочу рассказать, как это в принципе было устроено, то есть описать саму модель поведения. Вот ты пишешь некий текст и отдаешь ему. Он берет этот текст и перепечатывает. Причем, если его не остановить, он мог сам перепечатать его два или три раза. А как тогда правились рукописи на машинке? Нужно было вырезать и вставлять, вырезать и вставлять, а потом склеивать. Вот он приносит такую пачку с вырезками и склейками и отдает ее мне. Я все это беру и заново перепечатываю текст так, как мне нравится и как я считаю правильным. А потом... я снова отдаю ему этот текст. И все это могло повторяться снова и снова. Вот такая удивительная модель. Я и сама довольно придирчиво отношусь к тексту, но я не до такой степени языковая пуристка. А у него был потрясающий стилистический и лексический слух. Он любил всех эфффектов добиваться минимальными средствами. Если бы он занялся теорией тропов, теорией выразительных средств, мне кажется, он мог бы нам такое рассказать, чего мы все еще не знаем.

Я предполагаю, что отчасти это результат стремления максимально использовать ту способность устной речи, которая изначально ему трудно давалась. Я не была в числе его слушателей, но знаю, что он читал великолепные лекции.

Еще один человек, которого я не могу не упомянуть, – это Юрий Николаевич Давыдов. Этот человек оказал на меня очень сильное влияние, и я просто обязана о нем сказать. Я прочитала его книги гораздо раньше, чем с ним познакомилась. Я знала, кто он, но не знала его лично. Для меня он был огромный авторитет и титан. Позже он пригласил меня работать в сектор истории социологии, которым руководил и где я до сих пор работаю по совместительству. Я думаю, многие люди, которые работали с ним, могут о нем что-то рассказать, но я хочу обратить внимание на некоторые черты его личности. Он обладал удивительно толерантным и демократическим взглядом на мир. Юрий Николаевич отличался бесконечной терпимостью к каким угодно убеждениям и взглядам, но только если речь шла о человеке мыслящем и интеллигентном. Поэтому среди его гостей, друзей и знакомых встречались самые разные персонажи, у которых друг с другом зачастую не было ничего общего. Просто Юрию Николаевичу всегда был интересен мыслящий человек. Он был абсолютно ровен и искренен со всеми. Он со всеми был на «ты». Он не возражал бы, если бы и его называли на «ты», но я уж совершенно точно не могла этого делать, да и члены сектора, которые были постарше, – тоже. Он всегда живо, искренне и непосредственно интересовался любой интересной идеей, от кого бы она ни исходила. Неважно, был ли ты маститым членом авторского коллектива или молодым человеком, недавно защитившим кандидатскую диссертацию.

И еще одно качество, о котором мне важно помнить. Он умел никогда не терять ровного, благожелательного, веселого расположения духа. Он считал, что афишировать свои мрачные ощущения или депрессивные настроения невежливо, неинтеллигентно. Всякие бывали обстоятельства и ситуации, иногда возникали какие-то трения

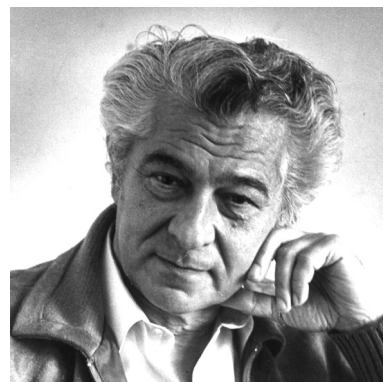
и конфликты, но я никогда не видела его взбешенным, никогда не видела его испуганным. Он никогда не терял присутствия духа и ровной, приятной, мягкой, ироничной манеры общения. Это редкая способность для людей творческих, обычно нервных, с часто меняющимся настроением. Я думаю, Юрий Николаевич тоже был подвержен переменам настроения, но на окружающих это никак не отразилось. И конечно, его любили все сотрудники.

Вот это о моих учителях. Теперь несколько слов о том, что я сама считаю главным в работе учителя. Геннадий Семенович Батыгин говорил: «Ты пишешь учебники и руководишь кем-то для того, чтобы воспроизводить себе подобных». Наверное, это очень радикальное заявление, но в каком-то смысле это ведь так. Ничем другим, кроме собственной мотивации, собственного интереса, мы никого не можем заразить или впечатлить. Но для того чтобы кто-то пошел в науку вслед за тобой и в этом занятии – тоже связанном с определенными рисками – увидел какой-то интерес, нужно быть честным. Нужно быть чуть менее манипулятивным, чем в других областях человеческой деятельности, чуть более последовательным, цельным и искренним. Иногда эти качества мешают ученым, если они находятся вне своих привычных рамок, но мне кажется, что это важно. Конечно, мы не можем превратить всех своих студентов в себе подобных – это довольно странная идея, – но в тех, у кого есть внутреннее призвание к другим видам деятельности, мы можем открыть только им присущий интерес и специфическую одаренность. Мы можем показать, что то, чему они учатся сейчас, в будущем может очень и очень пригодиться для раскрытия их жизненных интересов и самореализации.

# АПОЛЛОН ДАВИДСОН

## УЧИТЕЛЯ

---



Спасибо за интерес к моей судьбе. Рад, что в нашей Вышке с таким вниманием относятся к сотрудникам.

О своей судьбе могу сказать, что мне очень не везло – или что, наоборот, очень везло.

Мой отец оказался среди тех тысяч людей, которых Сталин, укрепившись в 1928 году у власти, выгнав Троцкого и покончив с нэпом, отправил в Сибирь. Моя мама поехала разделить с ним его судьбу. Ссылные там звали ее декабристкой. А она потом говорила, что никогда не видела такого множества настолько интересных, ярких людей, как петербургские ссылные в таежных деревнях. Там я и родился, в деревне Ермаково.

Сосланный отец и рождение в ссылке стали первой черной меткой в моих анкетах. А анкетные данные в сталинское, да и послесталинское время определяли отношение властей к человеку. Так что нахлебался я из-за этого вдоволь. Потом получил официальный документ, что и отец, и я, как его сын, – жертвы политических репрессий. Но получил я эту бумагу лишь через много лет после кончины отца.

Вы можете спросить: а о каком же везении тут можно говорить? Не только можно, но и, без сомнения, нужно. Трагедия моей семьи открыла передо мной в Ленинграде души и сердца, может быть, лучшей части интеллигенции: людей, незаслуженно обиженных советской властью. Будь я из преуспевающей семьи, эти люди не пошли бы со мной на откровенность, не допустили бы до души. А рождение в ссылке делало меня для них своим. Для соседей по коммунальной квартире – семьи Набоковых: они тоже побывали в ссылке. Я не знаю ничего об их родстве с писателем: тогда еще имя Набокова не гремело, поэтому не знаю, кем они ему приходились. Но у них была великолепная библиотека.

Среди друзей моей мамы была и семья Григорьевых. Леонид Николаевич Григорьев в 1904–1905 годах был одним из врачей в эскадре адмирала Рожественского, прошел вокруг Африки, был в сражении при Цусиме, оказался в японском плену. Библиотека у него была прекрасная. Его рассказы и вызвали у меня интерес к путешествиям. В советское время его не ссылали, но до конца дней держали только врачом на «Скорой помощи», несмотря на его огромный врачевный опыт.



Его сын, Георгий Леонидович Григорьев, привил мне интерес к истории. Ему самому не удалось поступить на исторический факультет – больно уж благородных он был дворянских кровей. Не мог он со своей родословной поступить в университет. Начинал с монтера, потом стал крупнейшим в Ленинграде специалистом по автоматической телефонии. Но все свое свободное время занимался историей и написал книгу о том, почему Иван Грозный создал опричнину. Георгий Леонидович умер в 1980 году, а книгу его издали в 1990-х.

Мой дядя был редактором, вместе с Лилей Брик издавал сочинения Маяковского. У него в Доме книги я бывал, слушал разговоры редакторов, что-то понимал, о чем-то догадывался.

Рядом с этой старой петербургской интеллигенцией прошли мое детство и юность. Эти люди старались уберечь меня от официальной пропаганды, которой была полна даже «Пионерская правда». Старались открыть для меня те сферы, которые интересовали их. Это классическая литература, и прежде всего литература начала XX века – та, через которую прошли они сами. Теперь ее называют Серебряным веком. Тогда этих слов мы не знали, они еще не дошли до нас из Русского зарубежья.

Жили мы у Пяти углов, поблизости от дома, где когда-то была редакция журнала «Аполлон». Гумилев был тесно связан с «Аполлоном». Конечно, от взрослых я об этом слышал.

А первая коммунальная квартира, где я жил, была на улице Радищева, рядом с тем домом, где с 1918 по 1921 год жил Николай Гумилев. Теперь уже никто не помнит, что тогда на лошадях, в больших цистернах возили по городу керосин. К керосинщику сбегались со своими бидонами домохозяйки из окрестных домов. Впервые я услышал фамилию «Гумилев», когда стоял с мамой в такой вот очереди за керосином. «Вот тут, на втором этаже, он и жил». Теперь на этом доме повесили мемориальную доску.

У мамы были все книги стихов Гумилева. Они усилили мое увлечение путешествиями, дальними странами, далекой Африкой. У нас дома бывала Арбенина, артистка Александринского театра. Я, конечно, не мог толком понять ее рассказы о Гумилеве, но что-то все-таки до меня доходило. А говорила она увлеченно – когда-то была его возлюбленной.

В ужасах ленинградской блокады и голода ряды старой петербургской интеллигенции поредели. Но с оставшимися дружественными нам семьями, тоже каким-то чудом выжившими, у нас с мамой отношения стали еще ближе. И влияние их я чувствовал сильнее. Стали глубже те интересы, которые они в меня заронили. Интерес к Серебряному веку, к романтике путешествий, дальних стран. И вообще к истории – не официальной, пропагандистской, а подлинной, настоящей, всамделишной.

С этим я пришел в университет, на факультет истории. Хотел заняться историей Серебряного века.

Но как раз на мои студенческие годы, 1948–1953, пришлись сталинские кампании «борьбы против низкопоклонства перед Западом» и «против космополитизма». И пик антисемитизма – выдумка о «врачах-отравителях». Ленинград был у Сталина в опале, и все эти кампании проходили особенно дико.

Никакой речи о том, чтобы в студенческой работе писать о Гумилеве, конечно, не было. Его имя было под полным запретом и тогда, и еще несколько десятилетий, вплоть до 1986 года. Да и в целом все, что мы теперь называем Серебряным веком, было отвергнуто решением руководства большевистской партии в августе 1946-го. Вот типичная фраза из доклада Жданова (руководство партии поручило ему объяснить народу это решение): «До убожества ограничен диапазон ее поэзии – поэзии взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и моленной». Это – об Анне Ахматовой. О других людях Серебряного века – в том же духе.

Можно ли было студенту-историку писать о Серебряном веке то, что ему хотелось?

Другая тема, которая меня интересовала, – это Великобритания: ее культура, ее политика. Но на те годы пришелся разгар холодной войны. Хочешь ругать Англию – все ворота открыты. А что-то положительное, объективное – ни-ни.

Увлекала меня и далекая «Черная Африка», особенно южная ее часть. Ее жизнь я представлял себе мало, но впечатления путешественников, и прежде всего русских, уже знал. Но и эту тему утвердить на факультете оказалось трудно. Африка вплоть до второй половины 1950-х не входила в советскую геополитику. Так что заниматься ею – это уход от актуальных тем. Декан возражал. Удалось добиться утверждения, лишь когда я сказал, что займусь историей сопротивления английскому колониализму.

Бывал я и безработным. После университета не нашел в Ленинграде работу. В Москве, к счастью, нашел. Но для получения московской прописки и жилья работал на стройке дома – освоил все, от земляных работ до монтажника-высотника.

А невыездным был до 53 лет. В капстраны и в Африку не выпускали.

Что меня поддерживало? Друзья. Студенты. И учителя. Дмитрий Алексеевич Ольдерогге, патриарх отечественной африканистики, говорил мне: «Надо делать не только то, что начальство приказывает, но и то, что оно категорически запрещает, – потому что именно это завтра и будет самым важным». Год был – 1949-й. Тогда за такие слова можно было ой как поплатиться. И все-таки он говорил это мне, зеленому первокурснику. Таким же откровенным был со мной, уже в аспирантуре, мой научный руководитель, крупнейший англовед Николай Александрович Ерофеев. Казалось бы, он мог быть до смерти запуган. В конце 1930-х его исключили из партии.

В конце 50-х резко критиковали, в духе того времени, и несколько лет не печатали. Но он сохранял и мужество и откровенность.

Вот так и начиналось. А потом – долгая жизнь. Что ж, говоря словами Вертинского (он тоже был под запретом в мои школьные и студенческие годы):

*А потом города, степь, дороги, проталинки...  
Я забыл все, что так не хотел бы забыть...*

Да. Забыл. Но все же не забыл, о чем мне говорили в детстве и юности. И старался что-то сделать. Конечно, далеко не все получилось. Но все-таки.

Мне посчастливилось расспрашивать о Серебряном веке Анну Ахматову, Ирину Одоевцеву, Нину Берберову, Всеволода Рождественского. И после «реабилитации» Гумилева (1986 г.) одной из первых книг о нем стала моя «Муза странствий Николая Гумилева», а затем и другие мои книги о нем и о Серебряном веке.

Об истории русского восприятия Африки, да и об истории самой Африки удалось найти и подобрать немало материалов, даже уникальных. Все-таки я побывал во многих странах, а в ЮАР прожил шесть лет, был директором Центра российских исследований Кейптаунского университета. Издавал сборники архивных документов, свои книги, коллективные исследования. Мы с коллегами выпустили трехтомник «История Африки в документах», двухтомник документов об истории отношений России с Африкой, в Лондоне издали двухтомник «Коминтерн и Южная Африка». Только что вышла наша «История Африки в биографиях». Две из моих книг («Зов дальних морей» и «Сесиль Родс и его время») выходили тиражом по 50 тысяч экземпляров. А «Сесиль Родс» издали и в Кейптауне на английском языке.

Великобритания, российско-британские отношения? Ассоциация британских исследований, которая избрала меня президентом, собирает конференции в Москве и Лондоне, издает сборники трудов российских и британских ученых.

В названии последнего из этих сборников выражена наша главная общая цель: «Россия и Британия на пути к взаимопониманию».

Конечно, возникли и проблемы, о которых не задумывалась та старая петербургская интеллигенция. Тогда говорили о вестернизации неевропейского мира. Теперь возникла тема: афроазиатизация современного мира. Об этом я тоже читаю курс лекций в нашей Вышке.

Не хочется вспоминать о запретах, препятствиях, худых начальниках – обо всем, с чем неизбежно сталкиваешься. Когда-то, в 1979-м, было и такое: дирекция Института всеобщей истории РАН вместе с партбюро решили ликвидировать в институте сектор Африки. Обвинений не было. Просто: не нужен (совсем как в песне: «И Африка мне не нужна»). Но прошло несколько лет, и мы добились: сектор воссоздан, и в том же составе сотрудников.

Можно вспомнить немало такого. Но главное: хороших людей видел не только в детстве и юности. Мне везет. Рядом с ними живу и работаю.

Мои сверстники, люди уже немолодые, частенько сетуют: молодежь не та пошла, интересуется только деньгами.

А меня студенты радуют. Приведу пример.

Читаю курс лекций о Серебряном веке. Он необязательный, факультативный. Но записываются, приходят, пишут хорошие работы, увлеченно выступают. Так было и на экономическом факультете. Казалось бы – ведь так заняты макроэкономикой, до стихов ли Ахматовой и Гумилева? Но приходили, выступали. Храню их прекрасные эссе и рефераты.

А в нынешнем учебном году в Вышке, на нашем истфаке? Бывало, приходишь на семинар в хмуром настроении, а уходишь – в радостном.

Как хотел бы встретить тех, кто когда-то влиял на мои интересы, вкусы. Увы, этих людей уже нет. Но как хотелось бы сказать им, что их добрые советы не забыты. Не только мной. И воспринимаются нынешней молодежью, во всяком случае немалой ее частью.

# ВИТАЛИЙ КУРЕННОЙ УЧИТЕЛЯ



Вообще-то я окончил философский факультет МГУ – это мое основное профессиональное образование. Но, честно говоря, когда я заканчивал школу, то не думал, что когда-нибудь буду заниматься философией. В 10-м классе, когда встал вопрос о выборе вуза, мама даже провела со мной профориентационный разговор, который свелся к тому, что она сказала: «Понятно, что писателем тебе не быть, так что давай определяйся, в какой именно вуз будешь поступать». Ирония тут состоит в том, что хотя действительно писателем я не стал, но писать приходится постоянно и много, так что в каком-то смысле вышло наоборот.

Нельзя сказать, что в школе я не читал книг по философии: дома, я помню, были письма Сенеки к Луцилию – это мне очень нравилось. Мемуары Сартра «Слова» я также читал. Но однажды я решил ознакомиться с философией упорядоченно и взял какой-то стандартный диаматовский учебник по философии для вузов – синий такой. Лучше бы я этого не делал: он отбил у меня интерес к этому предмету на многие годы.

Что мне действительно было интересно, так это естествознание. Учебник по «Общей химии» Глинки был у меня вообще любимой книгой. В школе у нас была не-

большая компания «ботанов» (хотя отличником я никогда в школе не был), которые увлекались химией. Мы дружили с нашим химиком – Сергеем Николаевичем, – и школьная лаборатория была в нашем распоряжении. У меня было неплохо с математикой, и наша математичка Эрика Давыдовна всегда посылала меня участвовать в олимпиадах, но математика никогда не была мне действительно интересна.

Какая математика, если тебя окружает фантастически интересный мир – там, за порогом дома! Все школьные годы я провел в городе Лермонтове – есть такой небольшой город на Кавминводах, один из нескольких «городов будущего», которые были построены Среднемашем – советским ведомством атомной промышленности, где мама работала в проектном институте. Когда я был молодой и в хорошей спортивной форме, то за час добегал от порога нашей квартиры до вершины горы Бештау. Вообще горы-лакколиты, в окружении которых стоял наш город, – это была одна большая игрушка. Роберт Вуд – американский физик, биографией которого в юношестве, наверное, не один я зачитывался, – однажды сказал: «У детей должны быть большие игрушки, как у меня завод паровых машин или Миссисипи у Марка Твена».

Так вот, такой игрушкой у меня были эти самые горы Кавказских Минеральных Вод. В итоге я решил стать геологом, поехал и поступил в Московский геологоразведочный институт на геологоразведочную специальность. Геология – это вообще-то наука очень конкретная и, главное, наглядная. В философии, где имеешь дело с очень абстрактными вещами, понимание того, что такое исследование и открытие в такой области, как геологическая разведка, очень помогает – прививает, знаете ли, уважение к эмпирической работе и позволяет верно оценить значение используемых отвлеченных конструкций. Кроме того, геологи в советское время были совершенно особой категорией людей – годы, проведенные в общезжитии на улице Волгина, я всегда вспоминаю с большой теплотой. У меня до сих пор много друзей-геологов, хотя многие, как и я, потом поменяли свою профессию: один работает врачом-реаниматологом в больнице Склифосовского, другой – известный фотокорреспондент. Но про своих наставников в геологии я тут рассказывать не буду – это заслуживает отдельного разговора.

Однако потом у меня случился опыт «переоценки ценностей»: я оказался в том последнем призыве, когда студентов из вузов брали в Советскую армию. Вообще я очень благодарен опыту службы в Забайкалье, хотя, честно говоря, никому никогда бы не пожелал его повторить. В экзистенциализме это называется «пограничная ситуация» – многое понимаешь про такие вещи, как свобода, выбор, достоинство и так далее. Места там – да, удивительные по красоте. А еще в Советской армии были прекрасные библиотеки. Ими почти никто не пользовался, но укомплектованы они были очень хорошо. Читаешь, например, «Записки из Мертвого дома» и видишь, что в чем-то нравы раньше-то были лучше, помягче, что ли. Если кто представляет себе ситуацию в тех местах и в то время, то все было примерно так: полгода, когда ты попадаешь из учебки в часть, – как страшный сон. Но потом ты можешь заполучить в свое распоряжение довольно много свободного времени. В общем, я тратил его на то, чтобы читать, – благо, в моем распоряжении была почти вся серия «Философского наследия». Тогда же – это был 1988/89 год – стали

появляться публикации по философии, которых раньше быть не могло: помню, мы бурно обсуждали одну из первых публикаций Ницше в «Вопросах философии» с одним майором – у нас повсюду можно встретить людей образованных и мыслящих.

После армии – указом Бориса Ельцина тогда всех служивших студентов уволили, а я как раз отслужил полтора года, – надо было возвращаться в свой вуз. Интерес к геологии я утратил, хотя и закончил три курса МГРИ и успел поработать в разных частях страны в геологических партиях. В 1992 году я поступил на философский факультет МГУ. Считаю это правильным: философия – такая область, к занятиям которой надо приступать на основании обдуманного, серьезного решения.

Конечно, это была уже постсоветская ситуация, все было в брожении, никто уже ничего не контролировал в этой области. Но в этом тоже были свои риски – дезориентация страшная. Поэтому я пошел специализироваться по кафедре, которая и в советское время имела репутацию самой деидеологизированной, – истории зарубежной философии (разве что логика с ней могла сравниться в этом отношении). Хотя я и специализировался на современной философии, но довольно сильно увлекался древней и античной. Индийскую философию у нас читал, например, Владислав Сергеевич Костюченко, и у меня до сих пор по этому курсу огромный конспект текстов где-то лежит; кроме того, я легко могу заткнуть за пояс любого кришнаита, если такой приста-нет где-нибудь у метро. Геннадий Георгиевич Майоров – один из самых артистичных лекторов – читал весь период от античности до Нового времени. Однако самое интересное происходило тогда на семинарах – ими у нас руководил Михаил Анатольевич Гарнцев, к которому я отношусь с большим почтением.

Что касается современной философии, то французскую нам преподавал Милий Николаевич Грецкий – блестящий ее знаток. Принесет, бывало, на семинар книгу Фуко: смотришь, а она с автографом автора. Анатолий Федорович Зотов, который был у меня научным руководителем, конечно, в своей манере преподавал современную

философию, но предоставлял мне полную свободу в моих исследовательских интересах. Ряд курсов вел у нас Юрий Анатольевич Кимелев, которого я без всяких реверансов считаю учителем в плане определенных профессиональных вещей. Юрий Анатольевич принадлежит к группе коренных сотрудников ИНИОНа – удивительной институции, породившей в нашей культуре совершенно своеобразную фигуру профессионала и знатока, которой просто нет аналогов в мире. Во всяком случае, многие, кто серьезно проходил через этот институт, обладают выдающейся эрудицией и пониманием современного интеллектуального ландшафта.

Конечно, кафедра истории и теории мировой культуры тогда была дисциплинарной инновацией, именно там мы слушали лекции Александра Львовича Доброхотова – а всякий знает, что он лектор от Бога, не говоря уже о его работах, которые становятся букинистической редкостью сразу после выхода в свет. Владимир Николаевич Романов развивал там крайне любопытную собственную концепцию культуры.

Университет – это прежде всего определенная степень свободы, возможность подниматься не только по эскалатору своей специальности, но и двигаться во всей толще актуальной жизни знания. Семиотику, например, я слушал на филфаке у Юрия Сергеевича Степанова, туда же я ходил заниматься латынью к Николаю Алексеевичу Федорову. Конечно, большим событием в то время были лекции Владимира Вениаминовича Библихина – он приходил читать их вечерами, вне всяких курсов, и там воцарялась особая атмосфера, наверное в чем-то похожая на ту, что окружала лекции Шеллинга в Мюнхене. Библихина, правда, всегда обступала плотная группа читателей, я же всегда предпочитаю сидеть на задних партах. А еще мы ездили в РГГУ слушать феноменологию у Виктора Игоревича Молчанова и лекции Валерия Александровича Подороги – оба они выдающиеся философы, хотя каждый на свой особый манер. В то время приезд западных философов был большим событием в Москве – аудитории на лекциях Деррида были забиты до отказа, Ричард Рорти читал в ИФРАНе, как и Поль Рикёр.

В философии все же важна традиция, некая преемственность. Вообще важно, когда вы можете сказать «я учился у того-то, который учился у того-то, который учился у того-то» – в этом есть существенный элемент философской традиции. Это началось с Платона – по теме Блага он текстов не писал, а излагал ее только на лекциях, поэтому важно ходить на лекции. Темой моей диссертации была феноменология, и в аспирантуре я воспользовался случаем и почти все время провел за границей, в Международной академии философии – небольшом, но в каком-то смысле выдающемся заведении (тогда оно располагалось в Лихтенштейне), которое имело чисто феноменологическую направленность. Там была представлена ветвь реалистической феноменологии, идущая от Шелера, Райнаха, Ингардена, Гильдебранда – тех, кто в какой-то момент разошелся с Гуссерлем, не принял его трансцендентального поворота. Хотя с реалистической феноменологией у меня определенные расхождения, но этот опыт был, безусловно, важным, тем более что лидер школы профессор Йозеф Зайферт – выдающийся философ, да и вообще особый тип интеллектуала. Кажется, он говорил на всех европейских – древних и современных – языках. Для меня это был совершенно новый опыт кампуса – закрытого, в чем-то похожего на средневековый монастырь, но с потрясающими возможностями для занятий. Академия, впрочем, не была чисто феноменологической: там, например, преподавала также Элизабет Энском, ученица Витгенштейна.

Для занятий философией, впрочем, важный фактор – это не только учителя, но также атмосфера дружеского общения и коммуникации. И в этом смысле мне также очень повезло. С начала 1990-х такой средой для меня был круг журнала «Логос» – старейшего сейчас негосударственного журнала по философии в России. Вообще это очень здорово, что молодые тогда люди – Валерий Анашвили, Игорь Чубаров, Олег Никифоров, Алексей Козырев – затеяли этот проект. У журнала была непростая судьба: группа много раз распалась, заново собиралась, там шли и до сих пор идут постоянные перемены в плане политики издания.

От журнала так или иначе тянутся нити ко множеству нынешних интеллектуальных, журнальных, издательских центров. Очень хорошо помню первую редакцию «Логоса» – в помещениях издательства «Прогресс» на Зубовском бульваре. Туда всегда приходило множество народа, велись жаркие дискуссии. Несмотря на перемены, «Логос» в чем-то, хотя далеко не во всем, всегда старается следовать своему легендарному предшественнику – Международному ежегоднику по философии культуры «Логос», который выходил в России перед началом Первой мировой войны (эта институция, кстати, и была систематическим началом исследований культуры в России). А именно тому кредо, которое сформулировал тогда Борис Степун: главное не «как веруешь», а «владеешь ли своим мастерством». Вообще, ближайшие мои коллеги вышли именно из этой среды, хотя все они очень разные. В нашей области принципиальным институтом научного образования являются семинары – когда люди сами, по своей инициативе собираются и начинают заниматься каким-то вопросом. Для меня таких важных семинаров было несколько. В Институте философии Игорь Михайлов инициировал в конце 1990-х семинар, где мы штудировали «Логические исследования» Гуссерля. Это было важным знакомством с Институтом в целом, а также с сектором современной западной философии, которым тогда руководил Алексей Михайлович Руткевич. Много лет мы проводили семинар по аналитической философии, у истоков которого стоял Андрей Денежкин. В нем принимали участие Алексей Черняк, Тимофей Дмитриев, множество других людей на нем выступали, например Максим Лебедев, который, увы, совсем недавно скончался. Хотя я давно отошел от этой темы, тем не менее несколько лет я читал в РГГУ курс по аналитической философии и рад, что оттуда пошла целая генерация молодых философов, работающих в этом направлении. В РГГУ на философском факультете многие годы существует Центр феноменологической философии, в котором я оказался сразу после защиты диссертации. Считаю, что это очень важный элемент поддержания и развития феноменологической традиции в России. Конечно, я очень многим обязан его бессменному руководителю –

Виктору Игоревичу Молчанову, да и факультету в целом. Завершая, я хотел бы сделать одно отступление по поводу учителей. Знаете, философия – весьма особая интеллектуальная традиция. Ей, напомним, две с половиной тысячи лет. В силу стержневого для западной культуры характера у нее свое отношение к преемственности: его, возможно, трудно с ходу понять дисциплинам, которые сформировались в лучшем случае лет 150 назад, то есть в общем-то всем гуманитарным и обществоведческим наукам в современном смысле слова. В этой области принципиально ваше собственное напряжение мысли, которое возникает в общении с этой колоссальной по своей интеллектуальной плотности и насыщенности традицией. Например, я не очень люблю конференции. То есть я понимаю их важность для циркуляции коммуникации, но дело в том, что личный контакт создает некоторую иллюзию понимания, осведомленности, что часто бывает заблуждением. В научном сообществе не зря существует принцип «печатайся или умри»: прямая преемственность по линии «учитель – ученик» важна, но это только часть практики выстраивания преемственности. Не менее, а часто и более важной является именно седиментированная в текстах мысль. Множество своих настоящих учителей я никогда не видел, да и не мог видеть. Поэтому в философии есть такая величественная метафора – она, возможно, важна для гуманитарного знания в целом: неспешная беседа здесь ведется отдельными людьми с вершин, между которыми расстилается море тумана. Чтобы такая беседа состоялась, как раз и нужно писать тексты, делать публикации – только Сократу здесь было позволено исключение. Поэтому закончу небольшим анекдотом на эту тему. Недавно я оказался на одном философском симпозиуме, где в том числе вручается философская премия – кажется, она самая большая в мире. Так вот, в конце прошлого года ее вручили Герберту Шнедельбаху – уже эмеритировавшемуся немецкому профессору. После церемонии я подошел и поздравил его, тем более что хорошо знаю и ценю его работы, часто опираюсь на них в своих исследованиях. Он даже поразился: «Неужели меня знают в России?» Так я ненадолго познакомился с одним из своих учителей.

# МАРК ЛЕВИН

## УЧИТЕЛЯ

---



В моей жизни, если говорить о моей научной карьере, о моих научных работах, моем преподавании и многом другом, главным Учителем был Эммануил Маркович Браверман. Есть много людей, которым я очень обязан, которым я старался подражать и стараюсь до сих пор. Есть те, у которых я не только учился, но учусь и, наверное, буду учиться. Но, размышляя на тему «Учитель и Ученик», я хотел бы говорить главным образом об Эммануиле Марковиче – ЭМ. Он не дожил до своего 46-летия – родился 25 июня 1931 года, умер 26 апреля в 1977-м.

К тому моменту, когда мы познакомились, ему было тридцать девять. Познакомился я с ЭМ весной 1970 года сравнительно случайно. Он был уже доктором наук, действительно всемирно известным специалистом в области распознавания образов и «искусственного интеллекта». Работал в одном из лучших научно-исследовательских академических институтов – Институте проблем управления (но я этого ничего не знал).

Я же поступал в аспирантуру на кафедру инженерной кибернетики Института стали и сплавов, в то время лишь недавно образованную. Мне предложили вы-

брать себе научного руководителя. Я не знал никого на этой кафедре, но мой приятель порекомендовал мне Эммануила Марковича, потому что однажды случайно встречался с ним в гостях, – и сказал мне, что он классик! Заведующий кафедрой Станислав Васильевич Емельянов (вскоре избранный членом-корреспондентом Академии наук, а потом и академиком) попросил ЭМ – они были хорошо знакомы – поговорить со мной. Придя в назначенное время, я увидел невысокого человека, хромящего. К счастью, у меня хватило ума не спросить «что у вас с ногой?», потому что у него был протез ноги с детства. При этом он катался на коньках, на лыжах, велосипеде и танцевал – но это я уже узнал потом. Он попросил меня рассказать о себе. Я рассказал, что окончил нефтяной институт, успел поработать на биофаке МГУ и в научно-исследовательском институте радиопромышленности. Что учусь на инженерном потоке мехмата МГУ. Как он мне потом говорил, он бы меня, конечно, не взял – «ну что это за странный тип, к тому же рекомендованный сверху». Но мой мехмат и то, что я на втором курсе факультета радиоэлектроники и автоматики начал работать на биофаке, – все это как-то примирило его с моей кандидатурой.



Он спросил, на какую тему я хочу написать реферат для поступления в аспирантуру. Я думал поразить его своей осведомленностью и назвал какую-то идиотическую тему. Он тут же назвал мне литературу, которую надо осветить, и я понял, что лучше замолчать – ничего из этой литературы я не знал. «А что бы вы мне посоветовали?» Он посоветовал мне написать реферат на тему «Модель общего экономического равновесия», о которой я и не слыхивал. Рекомендовал Карлина, его знаменитую книгу «Математические методы в теории игр, программировании и экономике» и еще одну книжечку, которую я нашел потом с большим трудом. Как я потом понял – это был первый урок!

Сказал, что ждет от меня реферат к концу августа. На этом мы распрощались.

Я начал писать с огромным трудом, ничего не понимая, не зная никаких слов про экономику. «Спрос», «предложение», «равновесие», «полезность» – ничего этого я не знал. Но к сентябрю мне удалось написать реферат, и, в общем, он ему вполне понравился. (Ура – с уроком справился!)

Так в декабре 1970 года я стал аспирантом Эммануила Марковича, чем горжусь с тех пор, чем пользуюсь и прикрываюсь и поныне! Формально наша «совместная жизнь» длилась всего семь лет, а реально для меня она продолжается и сейчас.

Эммануил Маркович предложил заниматься принципиально новой областью – неравновесными экономическими системами. К этому времени он начал разрабатывать «свою» теорию таких систем. Как теперь известно, это было действительно новое направление в экономической науке. Но тогда я об этом и не подозревал – абсолютно никакой культуры у меня в этой области не было.

Теперь-то я знаю, что то была огромная удача: благодаря Э.М. Браверману (Учителю!) я присутствовал и даже немного участвовал (Ученик!) в создании нового направления в науке!

Он мне предложил разобраться в одной проблеме, относящейся к этой новой тематике. Здесь он преподавал мне второй урок – «Ищем решение», с которого и началась наша совместная работа. Изучая его работы, тогда еще лишь бывшие в печати, я наткнулся на идею, о которой и рассказал ЭМ. На ее первое оформление у меня ушло три-четыре месяца. Я предлагал решение, ЭМ его смотрел и выяснял, что решения нет. Но сама идея оказалась конструктивной – ЭМ решил, что в дальнейшем из этого может что-то получиться. И началось! Мы встречались практически каждую неделю. Приезжали к нему домой после его лекций по распознаванию образов, на которые я ходил – учился! Лена, жена Эммануила Марковича, кормила нас фантастическим обедом. (Спасибо тебе огромное, Лена, Елена Лазаревна Браверман, что принимаешь меня в своем доме – в Москве, в Лоде, а теперь и в Бостоне – вот уже сорок три года!) Два-три часа с ним сидели и придумывали разные варианты. Хотя «придумывали варианты» – это слишком громко звучит. Он – придумывал, а я – записывал. Искали ошибки, и я получал задания на неделю.

В конце концов мы вдруг напали на область, которая «пошла», на результат, который получился. Какая-то зацепка, из которой он вырастил нетривиальную идею. До этого как-то сказал Эммануилу Марковичу, что вот прошло уже много времени с тех пор, как я поступил в аспирантуру, но до сих пор ничего из этого не получилось. Его комментарий: «Так всегда бывает до первого результата». Через три года он сказал мне, что отвел на первый результат восемь-девять месяцев и решил, что если к этому времени у меня ничего не получится, то он сменит тему, даст новую – по распознаванию образов. И по ней я заведомо защищусь.

Должен сказать, что я пользовался любой возможностью с ним общаться. И сегодня удивляюсь, как у меня хватало на это ума. Задним числом я объясняю это тем, что через два месяца после знакомства с Эммануилом Марковичем умер мой тесть – человек абсолютно незаурядный. Тогда я впервые в жизни понял – все может вдруг рухнуть.

И надо успеть. Я решил, что у меня есть всего три года на аспирантуру и либо я успею, либо окажусь проигравшим и время, и возможности.

Возможности: в то время Эммануил Маркович читал лекции по шесть-восемь часов раз в неделю. Лектор он был превосходный – глубина, точность, доступность и логика. В перерывах мы беседовали. После этих лекций ехали к нему домой работать. У него была машина – он как раз сменил «Запорожец» на «Жигули», что в то время казалось ну просто верхом всего. Кстати, именно тогда он впервые объяснил мне, что такое коррупция, на примере ГАИ. Дорогой беседовали. В основном это были его монологи. Я старался лишнего не говорить, чтобы не тратить его время на свои высказывания, а кроме того, я ужасно боялся, что любое неудачно сказанное слово приведет к тому, что меня больше не пригласят поехать вместе.

Эммануил Маркович ввел меня в одну из лучших научно-исследовательских лабораторий мира, где он работал и сам. Лабораторию эту возглавлял Марк Аронович Айзерман в Институте проблем управления. Это была удивительная лаборатория: для меня она и сегодня остается примером настоящего научного коллектива. В него входили и аспиранты, свои (например, мой будущий друг Р. Л. Шейнин) и со стороны – как я. И студенты разных вузов. И неформальные участники (такие, как тогда еще очень молодые, но уже очень яркие ученые Б.Г. Миркин и В.М. Полтерович). Некоторые из них были чуть-чуть моложе меня, но основная масса – значительно старше. Это была звездная команда! Назову лишь некоторых: сам Марк Аронович Айзерман, Андрей Витальевич Малишевский, Илья Борисович Мучник, Александр Александрович Дорофеев и, конечно, Лев Ильич Розоноэр, к которому я и сегодня почитаю за счастье слетать на три дня в Бостон, чтобы побеседовать, и чье мнение и советы для меня на вес золота. (Низкий поклон вам всем – где бы вы сейчас ни находились – за то, что вы для меня сделали!) Эммануил Маркович ввел меня в круг, где устанавливались неформальные эталоны научной

работы, нормы работы с учениками, требования к публикациям. В этом кругу люди отказывались лишней раз баллотироваться в членкоры или академики, потому что это требовало суеты и, возможно, унижений. Выслуживаться – неприлично. Истинная ценность каждого была известна независимо от степени и звания. Было известно, что человек может быть просто старшим научным сотрудником, как Эммануил Маркович Браверман или Лев Ильич Розоноэр, но иметь у коллег абсолютный авторитет. Высоко ценилась общая культура: чтение книг художественных, театр, музыка, кино, выставки.

Еще через год ЭМ стал систематически ложиться в больницу на две-три недели. Я приезжал к нему туда три-четыре раза в неделю. Мы садились за огромный стол, за которым обычно кормили больных. Вокруг ходили врачи и пациенты, а мы с ним работали над статьями. Писали текст. Переделывали по сто раз. Но вдруг – для меня – оказалось, что родилась теория! И статьи, и диссертация, а потом и книга! Так меня учили писать.

Теперь о забавных уроках. Где-то года через два знакомства я сказал Эммануилу Марковичу, что у меня проблема – я не могу накачать сыну велосипед. А у него вроде бы велосипед есть, нельзя ли воспользоваться насосом? Все это, конечно, с извинениями. Он мне ответил, что можно, а потом позвонил через два часа и сказал, что сейчас заедет ко мне. Первый раз в моей жизни. Приехал, чтобы накачать велосипед, справедливо не будучи уверенным, что я справлюсь. Однажды мы поехали в какую-то деревню покупать книгу «Геометрия для детей»: «Детям непременно надо бы знать топологию, – сказал он. – И это наша с вами забота, а не школы». (Может быть, поэтому оба его сына сегодня всемирно известные математики!) «А кстати, Марк, я нашел учителя английского для вашего сына – вы как-то говорили, что ищете».

Весной 1975 года я защитил кандидатскую диссертацию (а через двадцать лет уже докторскую) в ЦЭМИ, куда меня сосватал Эммануил Маркович и где ко мне

отнесли как к своему, хоть я был уж совсем со стороны, – и где таковым, надеюсь, остаюсь до сих пор (теперь уже и как главный научный сотрудник). Диссертацию, прошедшую в ЦЭМИ «на ура», ВАК рассматривал два года. Итог – отрицательный отзыв «черного» рецензента и вызов через три недели на комиссию Экспертного совета ВАКа. Конфиденциальное сообщение от главного лица Совета: «Диссертация – отличная, но вас не утвердят – план по утверждениям лиц “определенных национальностей” в этом полугодии уже, увы, выполнен!»

Эммануил Маркович – в больнице: онкология. Удалены голосовые связки, часть пищевода, проблемы с легким. Говорить не может. Дышит с трудом. Скоро ему сорок шесть. Я прихожу к нему. Сказать, что я растерян, – значит не сказать ничего. Сообщаю, что вызов на 26 апреля. Показываю отзыв, сообщаю мнение «Лица». Спрашиваю: «Все кончено? Начинаем делать новую?»

Он пишет: «Когда же вы поймете, что в подобных делах – в отличие от любви – важен не процесс, а результат?!» И составляет детально расписанный план моих будущих действий! «Начнем с ответа на рецензию», – пишет он и поясняет мне – письменно – логику ответа! На следующий день получаю от него список вопросов, комбинируя ответы на которые я должен быть готов ответить на любые вопросы членов комиссии. И требует: «Готовьте ответы!» А сам уже готовые ответы отдает Л.И. Розоноэру и А.В. Малишевскому с просьбой: за две недели подготовить меня вопросами и намеками так, чтобы я сам догадался о том, какие ответы дал он, – тогда меня уже не собьешь. Через пару дней еще одна, как потом оказалось последняя, встреча – получаю указания, как писать начатую книгу и как вести себя на комиссии.

За неделю до защиты я уже готов – отвечаю правильно!

Эммануил Маркович – без сознания. Утром 26-го узнаю, что Эммануила Марковича больше нет, а днем Роман Шейнин (его же аспирант!) везет меня своей машине на комиссию. Отвечаю, как учили.

Через час сообщают: «Утвержден!»

Едем к Браверманам домой. Там масса народу – его друзей, коллег, родственников.

Несмотря на трагедию, меня поздравляют, понимая, что это – его, Эммануила Марковича, победа!

Вот уже тридцать шесть лет в этот день в «его» доме – сначала в Москве, потом в Израиле, а теперь в США – собираются те, кто может прийти! Другого подобного прецедента не знаю.

И в заключение. Мой Учитель преподавал мне много уроков!

Три из них:

*– Научная работа и преподавание – это очень серьезное дело всей жизни!*

*– Помогать ученикам максимально, никогда при этом не самоутверждаясь и без какого-либо самолюбования!*

*– Прожить (сколько доведется) и умереть – достойно!!!*

Чему я, Ученик его, смог научиться – об этом судить другим.

# ЕВГЕНИЙ ШТЕЙНЕР

## УЧИТЕЛЯ



Я выбирал специальность исходя из двух соображений. С одной стороны, мне хотелось быть как можно дальше во времени и пространстве от окружавшей меня тогда действительности. Середина 70-х была временем самого глубокого застоя – когда было уже не страшно, а просто противно. Поэтому я решительно не хотел принимать участия в том, что делалось вокруг меня, не говоря уже о том, что во многие места меня, скорее всего, не приняли бы. Да мне и не хотелось. С другой стороны, мне всегда нравился Дальний Восток (Китай, Япония). Как сказал бы Гёте, здесь имело место «избирательное сродство». Не знаю почему, но, еще мало что понимая, я читал восточную литературу, читал танка (классический японский стих), смотрел классические японские фильмы. Мне чрезвычайно нравилось японское искусство, которое я изучал по альбомам, сидя в Иностранке и Ленинке. Все это отвечало моим интенциям, затрагивало какие-то струны в моей душе. Особенно волновали меня живопись и искусство японского Высокого Средневековья эпохи Муромати, живопись и культура, связанные с учением школы дзэн. Изучение истории искусства вообще было мне интересно.

Возможно, эту тягу усилили еще школьные мои учителя. Я часто вспоминаю учительницу истории Лидию Исааковну Эстерман – ее уроки не просто научили меня любить прошлое и размышлять о нем. Она организовывала чудесные внеклассные занятия – факультатив по истории искусства: возила гомонящих пубертатов в Третьяковку и Пушкинский или устраивала целый цикл лекций по истории русской мемориальной скульптуры в некрополе Донского монастыря. Помню, что потом, на вступительном экзамене в МГУ, я отвечал на вопросы о Шубине и Мартосе, описывая запомнившиеся мне с 7-го класса памятники. Или Рашель Давыдовна Иткина – учительница английского. Она была сильно немолода, и было в ней нечто непохожее на остальных. Потом я понял, что это была европейская аура, какая-то несоветская. Она родилась и прожила до войны в Риге, то есть сформировалась не при советской власти, и как-то – манерой держаться, говорить и шутить – выражала, что когда-то жизнь была иной и люди были иные. С тех лет я запомнил и полюбил старинные английские песенки.

Затем, отслужив в Советской армии, я поступил в Московский университет и выучился на искусствоведа.

Защитил диплом по средневековой японской живописи, то есть именно по той теме, какой и хотел заниматься. Тему диплома я назвал по-юношески претенциозно: «Некоторые проблемы изучения живописи эпохи Хигасияма». Мало кто знал тогда, что это за эпоха. Это сравнительно короткий исторический промежуток (конец XV века в Японии), на который приходится высшая точка расцвета дзэнских искусств. Это и живопись тушью великих художников, и первые чайные церемонии – то, с чего пошла современная классическая культура Японии. Все это я изучал самостоятельно по книгам, так как в то время (как и сейчас) серьезных специалистов по японскому искусству в нашей стране не было. Будучи в университете, я пользовался советами Евгении Владимировны Завадской, замечательного китаиста. Она тоже занималась живописью, но больше отвлеченными философско-эстетическими проблемами. Вообще это был прекрасной души человек, с которым у меня было хорошее неформальное общение. Однако в силу разного рода административных ограничений ей не разрешили быть моим научным руководителем (она работала у нас на отделении как почасовик). Руководителем моим формально стала одна очень молодая особа, только что защитившая диссертацию по теме, как-то связанной с японской культурой, и немедленно принятая в штат. Работал я совершенно самостоятельно, о чем не раз жалел. Мне не хватало настоящей школы, настоящих учителей. Вероятно, они где-то и у кого-то были – по крайней мере в других гуманитарных областях. Наверняка они были в естественных науках – я много слышал о математической школе Колмогорова, Лузина и других. У филологов-классиков был Лосев. Люди чуть постарше меня и даже некоторые из моих сверстников успели застать домашние аспирантские семинары у Лосева, на которых в узком кругу разбирались греческие тексты. В искусствоведении же вообще не было ничего подобного. Советская власть серьезно прошла по искусствоведам. Не думаю, что это было сделано специально. Просто так получилось.

Конечно, были яркие имена. Например, Виктор Никитич Лазарев – крупнейший специалист по искусству

Византии. Эта область меня тоже интересовала (хотя и несколько меньше), однако он скончался, когда я учился еще на первом курсе. Были и другие относительно заметные (и прекрасные по человеческим качествам) люди, но никто из них не создал своей школы. Да и личностей, подобных Лосеву, в искусствоведении не было. Поэтому разного рода премудростям, а равно и практическим мелочам мне приходилось учиться самому и много позже. Мне за мою дипломную работу поставили пятерку, хотя защита не обошлась без забавного скандала. Я не то чтобы диссидентствовал, но, как и все, был в некоторой тихой, но явной оппозиции к существующим порядкам. По большей части это заключалось в ношении длинных волос и чтении запрещенной литературы, но и это уже было чревато, поэтому лучше было не вылезать. Я же, будучи, с одной стороны, наивным, а с другой – несколько авантюрным молодым человеком, включил в текст своей диссертации цитаты из богословской литературы – для того чтобы можно было сравнить представление о личности человека в китайской и японской традиции с антропологическими представлениями в восточнохристианской, византийской традиции. Помню, я сослался на работы замечательного русского религиозного философа Николая Лосского, которые были напечатаны во вполне легальном советском издании «Богословские труды». Молодая тетенька, которая была номинально моим руководителем, заявила, что это антисоветская литература, она этого не потерпит и доложит кому следует. Как выяснилось, она заявила это непосредственно на защите. Однако на защите сидели порядочные люди, и они этому не придали особого значения. В конце концов, даже по тогдашним законам это не считалось антисоветской литературой.

Однако, став выпускником отделения истории искусств МГУ, в аспирантуру я там не пошел. Когда я заикнулся о поступлении в аспирантуру, искусствоведы сказали мне, что, несмотря на мою пятерку, это невозможно. Поэтому в итоге я защищал диссертацию по филологии в Институте востоковедения, из-за чего мне пришлось многое доучивать и досдавать. Об этом я не жалею, потому что филология (при всех недостатках именно

советской филологии) обладала некоторой методологией. Там не было такого печально-постыдного положения дел, как в истории искусства. Почему это было так? Трудно сказать. Ведь советская власть прошла катком и по востоковедению тоже, и мало кто из востоковедов первого советского поколения не оказался в лагере или не был расстрелян.

От идеологии тогда можно было укрыться, занимаясь чем-то древним. Так, мои друзья-филологи занимались японской ритуальной поэзией, разного рода обрядами или поэтикой танка. Во-первых, это все было далеко от всякой классовой борьбы, а во-вторых, достаточно сложно для понимания, и любому партийному бдящему проверяльщику было невозможно продрасть через специальную терминологию и прочие экзотические материи. Когда я писал свою диссертацию в Институте востоковедения Академии наук (в высшей степени идеологизированном учреждении в целом), я это делал в отделе литературы Дальнего Востока, выбрав себе тему из японского Средневековья. Люди там были порядочными (руководителем тогда был Л.З. Эйдлин) и сочувствующими и не требовали, чтобы я ссылался на Маркса и Ленина.

Однако востоковеды совершенно не занимались историей искусства (я имею в виду главным образом японистов и в меньшей степени китаистов). Российская японистика же вообще очень молодое явление. Ее история началась с того, как четыре талантливых студента, только закончивших обучение в Санкт-Петербургском (Петроградском) университете, накануне или во время Первой мировой войны были посланы на стажировку в Японию. Из них могла бы получиться блестящая плеяда специалистов мирового уровня. Это были будущий академик Николай Конрад, специалист по буддизму Оттон Розенберг, Николай Невский, уникальный этнограф и диалектолог. Наконец, последним был Сергей Елисеев. Он как раз много занимался изобразительным искусством и стал первым европейцем, окончившим японский университет. Он блестяще знал японское искусство, умел писать скорописью, что мало кто умеет даже сейчас.

Еще в послереволюционной России он начал заниматься японским искусством, но затем его на этих широтах не стало, а дело его никто не продолжил. Ему удалось уехать за границу в 1920 году. Там он стал фактически одним из главных лиц французской, а затем американской японистики, много лет заведовал кафедрой в Гарварде, а работы по японскому искусству писал по-французски и по-английски.

Конечно, всегда были люди, которые по должности должны были представлять искусствоведческое востоковедение в Советском Союзе, которые должны были учить студентов. Но учили не очень хорошо. Как правило, они пересказывали какой-то набор иностранных книжек, что, наверное, лучше, чем ничего, но в то же время не является серьезной школой.

В России были неплохие музейные коллекции дальневосточного искусства, которые за время советских и постсоветских перипетий отчасти исчезли, а отчасти дошли не в лучшем виде. На хранителей этих коллекций тоже нужно было учиться. Как раз когда я работал над подготовкой каталога японской графики, которая хранится в Пушкинском музее, я столкнулся с совершенно невообразимым состоянием дел в изучении японского искусства в музее. Там работала очень достойная женщина. Она служила хранителем японской коллекции примерно пятьдесят восемь лет, но при этом она была, как бы это помягче сказать, лишена надлежащей школы и условий труда. Никто и никогда не рассказывал ей о том, что собой представляют японские картинки и что с ними делать, – ни в университете, ни где-либо еще. Работая в полной изоляции (без книг, поездок, стажировок и т.п.), она не могла узнать того, что необходимо знать человеку на ее месте. Поэтому мне пришлось в значительной степени переписать каталог японской коллекции, и сделать это я сумел благодаря тому, что многие годы проработал на Западе и в Японии.

Вот еще один пример положения дел в отечественном искусствоведческом востоковедении. Несколько лет назад я начал делать большой проект по изучению «Манга

Хокусая», всемирно известного издания из пятнадцати графических альбомов знаменитого японского художника. Ко мне обратился издатель, который хотел выпустить эту работу в свет. Сначала он заказал статью одному весьма видному и знающему японисту. Только этот безусловно неплохой японист не был специалистом в области изобразительного искусства, и написанная им статья издателя не удовлетворила. Попросили меня. В процессе работы я обнаружил, что на эту тему в Советском Союзе была защищена диссертация в Институте истории искусствознания и выпущена книжечка. Мало того что там были какие-то ошибки, которые бывают у всех и всегда, – она была в значительной степени перекатана с одной американской научно-популярной работы. Автор диссертации рано умер и вообще, говорят, был прекрасной души человек, но что касается его научных качеств, то они были, скорее, менее, чем более... Так что номинально служить по ведомству искусствоведения тоже было совсем недостаточно. Что же тут говорить о школе и передаче знаний студентам...

Научить меня было практически некому. Когда в итоге оказалось, что единственное место, где я могу написать кандидатскую диссертацию, – Институт востоковедения, я подумал, что это отнюдь не самый плохой вариант. У филологов, в отличие от искусствоведов, был хотя бы какой-то способ анализа поэтического текста. Там я научился более-менее читать японскую поэзию. Если говорить об учителях, то и здесь, я считаю, мне не очень повезло. Моим научным руководителем была Татьяна Петровна Григорьева, доктор наук, очень известный специалист по японской литературе. Но она не очень много мною занималась. У нее было достаточно своих дел. Я же, в свою очередь, был робким юношей и не особенно ее донимал. Кроме дел у нее были идеи. Она работала, как я тогда шутил, в мифопоэтической традиции, в ассоциативной, свободной манере, не строго доказательной. Мне нравились ее общие идеи, а когда требовалось ответить на мой вопрос (почему что-то так-то, а не как-то иначе) – звучали общие слова и следовала милая улыбка. Я сохранил с ней очень хорошие отношения, но работа с ней тоже не была настоящей школой.

В нашем ремесле, будь то разбор старинных японских текстов или изучение старых картинок, с учителем нужно просто сидеть, а он должен буквально водить пальцем и показывать, что это за скорописный иероглиф, как лучше перевести его в контексте других; что означает та или иная маленькая незаметная деталь в картинке; как прочесть ту или иную загадочную надпись и на что здесь аллюзия. Прочесть в книжках такие вещи чаще всего нельзя (хотя как раз в последние лет десять появилось на английском и на японском немало прекрасных конкретных исследований). А вообще эти знания можно почерпнуть только на особых маленьких семинарах из трех-пяти человек (с участием продвинутых специалистов) по разбору таких текстов.

В ходе учебы у меня всего этого, к моему величайшему сожалению, не было. Когда я бывал в западных и японских университетах, мне приходилось эти знания понемножку накапливать, пользуясь разного рода нерегулярными консультациями. В связи с этим я довольно много общался с ведущими искусствоведами-японистами в Европе, Америке и Японии. Однако, даже несмотря на такой опыт общения, мой путь был очень непрямым и совсем небыстрым.

Что касается темы моей диссертации, то, как писали в старинных японских моногатах, нынче это уже старые песни. Хотя эта диссертация, пожалуй, имеет определенное историческое значение и по сей день. Она стала первой работой на русском языке (второй или третьей на Западе) по одному жанру японской поэзии, который совершенно выпал из внимания исследователей. Это поэзия рэнга, которую на русский язык чаще переводят как «сцепленные строфы», создававшаяся в эпоху Муромати, то есть Высокого Средневековья, и находится она стадильно между поэзией танка и поэзией хайку. Рэнга – самый сложный жанр. Это жанр коллективного художественного творчества: несколько человек (чаще всего трое) собираются, садятся в круг и сочиняют один за другим поэму. Все они должны при этом сочинить единый текст. Каждый из них должен, с одной стороны, послать сложный вызов другому, чтобы тот сумел показать

свое мастерство, а с другой – подлаживаться под соседа. Это совершенно уникальный японский жанр, который показался мне интересным не только в силу своего головоломного устройства и правил, которые полагалось учить двадцать лет. В нем четко выражена особенность японского национального средневекового сознания: умаление личности и приоритет сосуществования в группе. Здесь главным является не выпячивание своей собственной гениальности, а гармонизация своих отношений с группой или социумом. Поэтому моя диссертация была не узко филологической. Я больше занимался особенностями сознания, воплощенными в коллективном художественном творчестве.

Если говорить о методиках преподавания в различных университетах, где я работал, то, конечно, везде есть своя специфика. Прежде всего стоит сказать, что мое заграничное путешествие началось не так просто. Шла перестройка. Я списался с японскими коллегами, которые дали мне грант на работу в их университете. Но когда я с этим явился в ОВИР, мне сказали, что перестройка так далеко еще не продвинулась, чтобы таких, как я, посылать на год в Японию. Я, будучи молодым, горячим, высокого о себе мнения, этим возмутился и сказал: не хотите, чтобы я поехал советским специалистом, так я поеду антисоветским. А тогда выехать из СССР можно было только через Израиль. Я так и поступил. За это меня благополучно лишили гражданства и квартиры. Когда же я оказался в Израиле, выяснилось, что сам грант уже закончился. В Израиле два года я работал в Иерусалимском университете на двух кафедрах – преподавал японское искусство и японскую классическую литературу. Там я общался с очень интересными людьми, которые сильно расширили мои профессиональные горизонты – в методологии гуманитарного знания и в изучении Японии. В частности, я многому научился у известного социолога Шмуэля Айзенштадта. Он был крупнейшим специалистом по изучению японского общества. Я часто с ним об этом беседовал. Вообще, общие черты любой школы – это преподавание языков. Нас (искусствоведов) в свое время языкам

практически не учили. Поэтому продвинутые студенты должны были в свободное время сами искать возможности для их изучения. Например, я параллельно с обучением на искусствоведческом отделении изучал японский – три года по четыре часа три раза в неделю. Изучал я его, наверное, не по полной филологической программе, сосредоточившись главным образом на письменном языке. В итоге, когда я наконец попал в Японию, я испытал лингвистический шок. Оказалось, что я плохо говорю и плохо понимаю японскую речь.

Что же касается чтения старых японских текстов, то мне удалось это освоить лишь спустя несколько лет. Эти тексты я изучал в разных мастерских, которые время от времени устраивают крупные университеты мира. К примеру, не так давно в Лондоне, в Школе востоковедения и африканистики, где я проработал около шести лет и до сих пор числюсь как ассоциированный профессор-исследователь, прошла мастерская по чтению классических японских рукописей. Это занятие проводил крупнейший в мире специалист по изучению старопечатной японской книги – профессор Питер Корницки из Кембриджа. Дело в том, что в позднесредневековой Японии тексты книг писали каллиграфически – от руки, кистью, а потом вырезали на деревянных досках и печатали вручную. Таким образом, возможно выявить все особенности этого каллиграфического почерка. Чем почерк был непонятнее, тем он считался более красивым. Соответственно, без подготовки читать это решительно невозможно. Надписи в картинах и гравюрах я не раз разбирал с крупнейшим специалистом по японским суримоно Джоном Карпентером. Суримоно – специфический жанр японской гравюры, в котором содержится довольно много поэтических текстов. Эти тексты тоже чрезвычайно сложные. Даже для современного японца это абракадабра.

Такого рода неформальные занятия в разных странах с разными специалистами дали мне очень много. С годами я стал замечать, что едва ли не более важно, чем получение некоторых конкретных сведений, само неформальное общение с корифеями, легендарными учеными.



Мне кажется, что именно такие неформальные отношения в каких-то случаях даже лучше, чем отношения между научным руководителем и аспирантом. Важнее сама возможность прикоснуться к традиции, физическое присутствие легендарного человека, его воспоминания (включая даже анекдоты). Например, мне много дало общение с Дональдом Кином, который приглашал меня к себе домой в Японии и с которым мы беседовали о принципах композиции в японских текстах и об Иккю. В связи с этим я могу упомянуть о своем пребывании в дзэнском монастыре Дайтокудзи в Японии. Когда я жил в Японии в середине 90-х и работал в одном из японских университетов, то как-то летом во время каникул отправился в Киото и попросился в послушники в этот дзэнский монастырь, настоятелем которого в свое время был Иккю Содзюн (1394–1481), монах, поэт, художник – крупнейшая фигура японского Средневековья. Там был расположен мемориальный храм, куда вообще никого не пускали, но я попросился у настоятеля, сказал, что буду писать об Иккю книжку и поэтому мне хотелось бы пожить в этом самом месте, прочувствовать эту атмосферу. К тому моменту мне было уже тридцать семь лет (совсем не мальчик). Я сказал, что буду самым смиренным послушником – стану мыть посуду на кухне, подметать дорожки от палых листьев и т.д. Храм был практически пуст. Там жил только старый настоятель, духовный наследник дхармы Иккю, и еще один монах. Я стал третьим. Мне приятно осознавать, что эта традиция – больше, чем пустые слова. Приятно осознавать, что я там жил, ходил по этим дорожкам, убирал могилы великих деятелей японского искусства, похороненных на храмовом кладбище, присутствовал в пустом храме на ежеутренних (в 4 утра) чтении сутр с мастером, сидел за трапезой с этим святым человеком. Хотя он и не учил меня всяким премудростям, тем не менее показал мне, как нужно правильно сидеть в позе лотоса и медитировать (у меня не очень хорошо получалось, так как этому нужно основательно учиться).

Это – подлинное приобщение к традиции. Такие вещи не забываются. Самое важное здесь – просто участие,

наблюдение. Опыт пребывания в монастыре и жизнь в качестве послушника дали мне чрезвычайно много – именно для некоторого внутреннего понимания сути этой традиции. Может быть, это и не нашло потом выражения в какой-то конкретной статье, но вполне возможно, что это выразилось в некотором тоне моих текстов. Именно такой опыт, опыт погружения, является необходимой частью работы по овладению нашей профессией.

К сожалению, на данный момент в России так и не сформировалась школа искусствоведческого востоковедения. Это тем более странно потому, что в нашей стране уже давно есть огромный интерес к японской культуре. И с течением времени он не проходит, хотя после перестройки несколько сместился. Сейчас этот интерес более поверхностный, ориентированный на поп-культуру. Это манга и аниме, японская электроника, псевдосуси какие-то и т.д. Интерес есть, а специалистов нет. Но ведь специалистам нужно где-то работать и на что-то жить для того, чтобы заниматься классической японской древностью (поэзией и искусством). Я думаю, что нынешний уровень зарплат в стране, на которые невозможно прожить, отвращает от нашей профессии многих способных ребят.

В свое время я думал о создании в России школы искусствоведческой японистики. У меня все-таки есть определенный опыт, двадцатилетний опыт преподавания в западных университетах. Кроме этого, у меня был опыт практической работы, опыт работы с вещами. Многие вещи просто необходимо держать в руках. Это посетителям музеев нельзя их трогать. Специалист же должен общаться с произведениями искусства не через стекло и не по книжкам. Однако тогда создать свою школу так и не получилось, но идею эту я не оставил; отчасти потому, что имел ее в виду, принял предложение профессора Маслова поработать в Вышке. Надеюсь, здесь я смогу поделиться своим опытом с молодыми коллегами.

# ИРИНА ИВАШКОВСКАЯ УЧИТЕЛЯ

---



Мне сейчас трудно сказать, почему я стала заниматься экономикой, но есть ощущение, что другого варианта для меня не было. Когда мне пришлось выбирать профессию, у этого моего выбора не было ни рационального объяснения, ни конкретного набора причин. Но почему-то было четкое ощущение, что именно в этой области я хочу работать. И я поступила в МГУ на экономический факультет. Школу я окончила с золотой медалью, и мне требовалось сдать только один экзамен. Я, конечно, долго готовилась, несмотря на свои сверхуспехи в школе. Готовилась по полной программе, потому что хотела попасть не на факультет «вообще», а именно на отделение зарубежной экономики. И я на него попала. Зачислили меня после одного экзамена, но я должна была пройти собеседование: чтобы учиться на этой кафедре, требовалось хорошее знание английского языка. Все пять лет я училась на этом отделении и ни разу не пожалела об этом. Мне всегда было очень интересно. Это была очень богатая, разнообразная область изучения. Но в свое время, еще в старших классах школы, мне пришлось сделать жесткий выбор. До 10-го класса я очень серьезно занималась музыкой и готовилась поступать в консерваторию. Тогда я всерьез верила, что мне нужно именно это. Подавала надежды.

Но потом к нам в школу пришел новый учитель – Клара Александровна Славина. Она была учителем литературы и русского языка, но у нас вела только литературу, потому что это было уже в старших классах. Она очень хорошо смогла найти контакт с классом и потом стала нашим классным руководителем. И как-то, беседуя со мной и другими отличниками, она чисто по-житейски сказала, что лучше всего все-таки поступать в университет, чтобы получить профессию. Консерватория – это, конечно, замечательно, но нужно быть либо гениальным музыкантом, либо уходить в другую область и использовать свои возможности там. Это мне запомнилось, и, перейдя в 10-й класс, я бросила занятия музыкой. Бросила в один день, потому что поняла: я должна готовиться в университет. Кстати, именно с Klarой Александровной Славиной связано и мое первое знакомство с отделением зарубежной экономики на экономическом факультете: у нее там уже училась одна ученица. Получилось, что я узнала об этом отделении от преподавателя, который был для меня большим авторитетом. Она была очень неординарным человеком – раскованным, ярким, обаятельным. И я ни разу не пожалела, что прислушалась к ее совету о разумности выбора именно такого особого отделения.

Настроена я тогда была очень романтично, и, наверное, поэтому мне очень хотелось учиться в группе Африки. До той поры я никогда не бывала в Африке. Впрочем, я и потом там не бывала, даже в качестве туриста в Марокко или Египет так и не съездила. И не потому, что возможностей не было, – просто теперь мне туда совершенно не хочется. А тогда Африка была для меня чем-то сверхпритягательным, поэтому я поступила в эту группу. Для начальных курсов университета это означало изучение полного набора языков. Французский, который у меня вообще отсутствовал, стал первым языком: его я учила с нуля, очень интенсивно, а вот английский стал вторым. Правда, никакие африканские языки мы не изучали. Потом пошли специальные предметы, страноведение и масса дисциплин международного профиля...

Я была очень правильной студенткой: активной комсомолкой, отличницей и в школе, и в университете. Но на третьем курсе я совершила второй в своей жизни неожиданный поступок – в числе первых вышла замуж. А потом через год, будучи еще студенткой, родила сына. Учитывая, что я была отличницей, мне разрешили заниматься по индивидуальному графику. Это меня спасло – не пришлось брать никакого академического отпуска, как-то вырулила. И тем не менее я окончила университет с красным дипломом. Правда, пострадал французский язык, потому что ходить каждый день на занятия я не могла. Закончив университет, я поступила в аспирантуру на ту же особую кафедру экономики зарубежных стран.

Во время обучения на экономическом факультете мне очень сильно запомнился профессор Валентин Михайлович Кудров, который теперь работает в нашем университете на факультете мировой экономики. А тогда он работал в научно-исследовательском Институте мировой экономики Академии наук. Он приходил в университет на отдельные занятия и вел у нас специальный семинар по империализму. Вот он произвел на меня неизгладимое впечатление неординарностью своих суждений.

По долгу службы Кудров объездил много стран, у него было очень много научных работ, отличное знание специальной литературы, причем далеко не на обыденном уровне. Уже в те времена это был яркий, обаятельный, притягательный человек.

Но был у меня и негативный опыт. Как ни странно, это связано с кафедрой бухгалтерского учета. Я теперь постоянно сталкиваюсь с бухгалтерским учетом как глава департамента финансов; одновременно я курирую кафедру бухгалтерского учета и всячески продвигаю такого рода знания в нашем университете. А в МГУ, когда у меня только-только родился сын и одновременно нужно было бегать на занятия, сдавать сессию и так далее, я с трудом сдала этот самый бухучет (мне ведь, как всегда, нужна была только отличная оценка!). В тот сложный момент для меня стало проблемой держать собственную привычную высокую планку, я тогда не смогла понять всей прелести этой дисциплины. Много позже жизнь повернулась так, что я с успехом вела годовой лекционный курс на английском языке в МИЭФе по финансовому и управленческому учету.

Потом я училась в аспирантуре. Защитила диссертацию. В аспирантуре я занималась не только Африкой. Моя тема имела отношение ко всем развивающимся странам – она была связана с передачей технологий, передачей знаний. Понятно, в то время мы не могли никуда выезжать. Информацию в основном получали через библиотеки, через литературу. Литературы, конечно, не хватало, потому что в те времена очень трудно было с зарубежными книгами и журналами – это была очень большая проблема. Я пропадала в библиотеке – в ИНИОНе. Она очень специфически устроена. Там были общие читальные залы и работали сотрудники, которые вели какие-то научные исследования. Поступающую в ИНИОН литературу они брали себе, и ее приходилось очень подолгу разыскивать. Но я всегда любила учиться и с трепетом относилась ко всему, что связано с мировой экономикой, и к чтению профессиональной литературы на языке.

Когда в стране началась перестройка, стало очень трудно. Я получила диплом преподавателя политической экономии и стопроцентное марксистское образование, если не считать мощного языкового компонента и знаний по зарубежной экономике. Зарубежные экономические теории нам, разумеется, давали – правда, только в критическом ключе. Но у меня на руках оказались западные, американские учебники, которые мне просто подарили. В те времена это была большая редкость. Я их читала ночами и пыталась сама в них как-то разобраться. Хорошо, что я это делала: никогда не знаешь наперед, что может пригодиться в жизни. И вышло так, что через год началась очень интересная программа под эгидой Всемирного банка. В нее были вовлечены сотрудники экономических министерств, крупный топ-менеджмент ряда российских компаний и преподаватели университетов, которые профессионально владели английским языком в области экономики. Меня отобрали от экономического факультета МГУ, и я попала в эту программу. Это был 1990 год. Я прошла через многие туры этой программы. Сначала мы учились в Москве, потом в Австрии, в Вашингтоне – таким образом я просто доучивалась кусками. Вот тогда я и занялась финансами. Почему финансами? Не знаю. Наверное, это просто судьба. Программа, в которую я попала, была по бухгалтерскому учету, на английском языке. Организована она была по международным стандартам. Я с ней справилась, все сделала, и меня отобрали дальше. В следующей программе нам преподавали корпоративные финансы, финансовые рынки, регулирование финансовой системы, и мне это страшно нравилось. Я очень много над этим работала.

Если сравнить то, чему меня учили раньше, и то, чему меня учили в этих программах, то здесь нельзя не увидеть колоссальный разрыв. Многое приходилось начинать практически с нуля. Но мое прошлое образование очень сильно помогло мне в двух моментах. Изучение «Капитала» Маркса – непростое, нелегкое чтение – создало привычку с упорством продираться через тяжелый текст. Оно выработало умение видеть всю систему

в целом, все внутренние связки и сложные взаимоотношения между разными понятиями. Это легло в голову и потом всплыло как очень сильный навык, который помогал разбираться в совершенно другом предмете и выстраивать его системное видение. Ну и, конечно, большую роль сыграло знание языка: здесь у меня был очень приличный уровень.

После этой программы я была отобрана Всемирным банком для работы уже в качестве преподавателя Института Всемирного банка. По краткосрочным контрактам я работала в их программах в разных странах мира, в том числе в самой России и бывших социалистических странах. Часто приходилось работать на языке – например, в Восточной Европе, Китае, США. Приходилось много ездить: я много раз бывала в Америке, в Вашингтоне, работала там по краткосрочным контрактам. И каждый раз, когда такая возможность выдавалась, я использовала ее, чтобы научиться еще чему-нибудь новому.

Если говорить об этом этапе обучения, на меня очень сильное впечатление произвела личность человека, который координировал все эти программы во Всемирном банке. Меня потрясла не только его собственная судьба, но и то, какого огромного труда ему стоило все это сделать. Его имя – Джорджия Петкоски. По национальности он хорват, но к тому моменту, как я попала в эту обойму, он уже двадцать лет жил в США. Он окончил университет в Югославии, по каким-то программам попал в США, там учился, там же ему предложили работу, и он перевез в Штаты свою семью. Меня всегда потрясала его гигантская работоспособность. У него было огромное количество командировок по всему миру и колоссальная ответственность за кучу проектов, которые он осуществлял в чужой среде. На местах ему надо было очень быстро создавать работоспособные локальные команды. У него всегда было чутье на людей мотивированных, работоспособных, и вот я оказалась участницей одной из таких команд, когда он делал проект в России. До сих пор я поддерживаю с ним контакты. Но сейчас у него другая работа в банке, потому что он уже

в силу возраста не может занимать там определенные позиции. Он сумел вырастить двух прекрасных сыновей, дать им лучшее для Америки образование, обеспечить возможность поступления в лучшие американские университеты. При этом он смог привить им любовь к их родному языку и национальным традициям. Со знакомства с этим уникальным человеком началась совершенно новая полоса в моей жизни. Тогда мне пришлось работать сверх меры, потому что надо было многое нагонять. Но у меня был такой азарт, такой интерес!

Как это ни странно, я только потом, много позже, осознала, почему меня привлекала та работа, которой я занимаюсь всю свою профессиональную жизнь. Мой папа был военным финансистом в Министерстве обороны. А в молодости, до того как он стал офицером в армии, он был учителем в школе. Он умер в 2005 году. И только потом, когда папы не стало, я вдруг задумалась и поняла вот что. Папа был финансистом и учителем, и я тоже стала финансистом и учителем. Вот разве что не в школе. Но все равно я оказалась в этой области, несмотря на то что начинала совершенно в другой. У меня два сына – и оба тоже финансисты, хотя никто из них не стремился повторить мой путь. Формально они его не повторили, потому что я преподаю, а они работают в финансовом бизнесе. Но они часто говорят мне: «В какую бы область мы ни окунулись, мы встречаем твоих бывших студентов. Ты столько лет работаешь, что почти везде есть люди, которые у тебя учились и которые помнят тебя». И это, конечно, приятно.

# ОВСЕЙ ШКАРАТАН УЧИТЕЛЯ



В школьные годы меня больше тянуло к экономической истории, к анализу экономической ситуации в стране. Для меня основной проблемой было, почему так плохо живут вокруг меня люди, в том числе и я сам, и мой отец – потомственный рабочий, а жили мы практически как нищие, у нас ничего не было. Все время приходилось одалживать деньги, думать, как их добывать, а это было очень сложно. Тогда это было массовым явлением. Страна, делавшая ракеты, атомные бомбы и опередившая большую часть мира в создании современного вооружения, позволяла себе такую вещь, как массовая нищета основной части населения. Хотя жил я в городе, который не отличался особой нищетой: как только закончилась блокада, в Ленинград стали завозить продовольствие, и если у тебя были деньги, то можно было все купить.

У меня была учительница истории – Валентина Федоровна Корякина. Дворянка по происхождению, она окончила Смольный институт, а потом Санкт-Петербургский университет. Своей обязанностью считала вытащить из низов, приобщить к настоящей культуре, дать образование детишкам из рабочих семей.

А таких детей в старших классах почти не было, потому что мои сверстники, чтобы семья не голодала, после 7-го класса уходили работать. Во многих школах старшие классы состояли в основном из детей интеллигенции, а таких, как я, в старших классах было раз, два и обчелся. У нас было много других учителей, которые в нравственном отношении были ориентированы так же, как Корякина. Так как школа считалась образцовой, там оказались собраны сливки петербургской интеллигенции, учителя из дореволюционных гимназий. И все эти учителя стремились учить нас всерьез. При этом каждый выбирал какое-то количество «личных» учеников, которыми он особенно много занимался. А у нас в классе я был у Валентины Федоровны единственным, и в результате с ее помощью к окончанию школы я прошел практически весь учебный курс исторического факультета. Но дело было в том, что я стремился попасть на экономический факультет, а не на истфак. Я прикинул, что историю я доучу без всякого истфака. А Валентина Федоровна все время убеждала меня поступать именно на исторический – и убедила, спасибо ей за это. Я ведь тогда не знал, что тот год, когда я поступал в университет, – а это был 1949-й, – был годом массовых арестов в Ленинграде.

В Петербургском университете из девятнадцати профессорского экономического факультета семнадцать были арестованы как раз перед моим туда приходом, а двоих оставшихся выгнали. К моменту моего поступления в университет на экономическом факультете из профессоров просто никого не осталось. А на истфак, наоборот, вернулись старые буржуазные профессора, сосланные в 30-е годы в Среднюю Азию и другие места не столь отдаленные. Поэтому на истфаке было у кого учиться.

И тут еще вот какое дело: 1949 год, евреев в университеты не берут, в важнейшие военно-технические профессии тоже не берут, а меня вдруг взяли, единственного на курсе. Получилось так, что я был на своем курсе не только единственным евреем, но и единственным сыном рабочего. И образовался такой заколдованный круг: с одной стороны, надо обеспечить процент детей рабочих, а с другой – обеспечить нулевой процент евреев. Как они там поступили, я не знаю, может быть, изменили мое имя, может, еще что-то, но меня взяли без всяких проблем. Никто не издевался надо мной на экзаменах, никто не фальсифицировал сделанные мною письменные работы, все было по совести. Я честно получил свои пятерки и поступил.

Повторю, на истфаке было у кого учиться. Получил возможность работать Дмитрий Сергеевич Лихачев, и я у него учился. Из старых дореволюционных преподавали профессора С.Н. Валк, А.В. Предтеченский, Б.А. Романов – это были очень интересные люди, и нас они воспринимали как дурно воспитанных и плохо обученных в школе детей. Хотя насчет «плохо обученных» – это было не ко всем: меня в школе хорошо обучили. А вот насчет «дурно воспитанных» – это было ко всем, и они за этим очень хорошо присматривали. Даже представить себе невозможно было, чтобы в университете раздавались какие-то непристойные реплики или нецензурная брань. Одна сцена запечатлелась у меня в памяти на всю жизнь. Я иду по коридору и вижу свою коллегу по профсоюзному комитету. Я хлопнул ее по плечу со словами: «Ну, как сегодня?» Вдруг кто-то взял меня за шиворот,

и довольно крепко: «Вы что делаете, молодой человек?» Это оказался профессор Валк, который потом долго и подробно объяснял мне, как надо вести себя с девушкой. Казалось бы, это не имеет никакого отношения к университетским предметам – и тем не менее это был для меня очень важный урок. Наши профессора приучали нас к порядку, чистоте, достойному поведению. Это входило в набор их приемов, чтобы превратить нас в людей своих профессий. Потому что они не отделяли профессию от нравственных качеств и вообще от человеческих качеств людей.

Экономическое образование я все же получал из всех сил: исторический и экономический факультеты располагались в одном здании, а я решил одновременно получить и систематическое экономическое образование, поэтому с первого по пятый курс ходил на все занятия экономического факультета. Прослушал все курсы: и политэкономия, и экономику труда, и специальные дисциплины. Проблема была в том, что там плохо учили, и было понятно, что ничему путному я там научиться не мог. Например, там был курс экономики стахановского движения. Основное содержание, которое стремился донести до нас преподаватель, сводилось к довольно забавной идее, что производительность труда и качество продукции у советского стахановца выше, чем у хваленых американцев. Те же рабочие, которые не являются стахановцами, не достойны носить имя советских рабочих. В подкрепление приводились фальсифицированные данные.

Совсем другое дело истфак. На первом же курсе у нас читала блистательная плеяда преподавателей. Историю Древнего Востока вел Василий Васильевич Струве – академик, один из крупнейших в мире востоковедов. У него все было необычно. Во-первых, он принимал экзамены дома. Во-вторых, он принимал экзамен с книгами. Ты сидишь у него в кабинете, он говорит: «Вот книги, смотрите, берите. Но я вам задал вопросы, и вы должны сформулировать свою точку зрения по каждому из этих вопросов, определить свою позицию». Книги

были перед нами, но надо было знать, где и что искать, как сгруппировать. Это были не такие экзамены, как сейчас, которые часто бывают достаточно легковесными, – это были серьезнейшие, труднейшие экзамены. Многие предпочитали идти к обычному преподавателю, чтобы сдать по обычным билетам. Василий Васильевич, естественно, не у всего курса принимал: курс-то был человек 170, а принимал он примерно у двадцати. Разумеется, я пошел к нему.

Историю античности нам читал Сергей Иванович Ковалев – это был блестящий, высокообразованный ученый, учебниками которого пользовались во всей стране. Опять-таки он был из дореволюционных ученых. Они тогда были людьми пожилыми, но еще нестарыми. Все забывают, что между Октябрьской революцией и 1949 годом прошло чуть больше тридцати лет и молодым, тридцатилетним дореволюционным ассистентам тогда было около шестидесяти. Если отбросить то напряжение, которое создавала для них советская власть, это были люди еще в расцвете сил, в хорошей форме для того, чтобы учить нас как следует. Мне повезло, я застал настоящих профессоров, которыми могла бы гордиться русская школа и которые были способны передать свои традиции следующему поколению, что в общем-то в итоге не очень удалось, потому что политическая и идеологическая обстановка совсем этому не благоприятствовала.

Василий Васильевич Струве мною заниматься не собирался и брать меня в ученики не планировал, потому что никаких поводов для этого не было, но от него у меня осталось очень важное изречение. Не было ни одной лекции, которую он не заканчивал бы своим любимым высказыванием: «Историку память – как волку ноги, и не рассчитывайте, что вы где-то в справочниках что-то найдете, вы должны все помнить сами». Нас это страшно пугало, он действительно всегда читал лекции без бумажки. Считалось, что он все знал про разные древности, – и он действительно все знал и считал, что и мы должны так же все знать.

Что касается Ковалева, то Сергей Иванович неоднократно предлагал мне заняться античностью и считал, что из меня может выйти толк. Я считаю честью и большой удачей, что мне выпала возможность у него учиться. Мы общались по многу часов, я познакомился с его библиотекой. У меня даже сохранились наши совместные фотографии.

На первом курсе у нас читал археологию член-корреспондент АН СССР Владислав Иосифович Равдоникас – это были уникальные лекции, потрясающе интересные. Он родился в конце XIX века, участвовал в Гражданской войне на стороне красных и принадлежал к поколению ученых, которые сформировались уже в советское время. Это поколение начала 20-х годов – по культуре, по восприятию жизни. Параллельно с ним историю первобытного общества читал М.И. Артамонов, директор Эрмитажа. Это был человек и того же примерно возраста, и той же биографии, что Равдоникас, и тоже участник революционных событий на стороне большевиков, получивший высшее образование уже в советское время. И его лекции, и организовывавшиеся им походы в Эрмитаж запомнились на всю жизнь.

Я понял, что должен учиться у стариков, а изучать современность. Естественно, нам читали историю партии, но, видит Бог, я не помню, кто ее читал. Ее пытались сделать интересной, но почему-то было скучно. Этот предмет нам читали чисто фактологически, преподаватели побаивались устраивать какие-то идеологические споры, и не зря – шли аресты, это же был год «ленинградского дела» и кафедра истории партии и кафедра советского периода были включены в это дело. И поэтому читали очень осторожно, стараясь не выходить за пределы фактов.

На первом курсе я был выбран в профком своего огромного факультета из полутора тысяч студентов, стал ответственным за культмассовую работу. Впереди были первые послевоенные «выборы» в Верховный Совет СССР, и мы должны были организовывать концерт студентов для трудящихся.



Шутить с этим было нельзя. Никто не спрашивал, ни сколько тебе лет, ни имеешь ли какой-либо опыт. Говорилось только: «Должен сделать. Обязан выполнить». И вот в день, когда у меня были занятия по военному делу, ко мне приходит секретарь парткома, студент-фронтвик с четвертого курса, и требует немедленно в тот же день собрать студенческую концертную бригаду и отправить на один завод оборонного профиля.

Военное дело – это для нас было святое. Среди нас еще много училось студентов-фронтвиков, которые были майорами, капитанами, полковниками во время войны. Они только сейчас, в 1949 году, пришли в университет, потому что их не сразу отпустили после войны. И все эти ребята создавали такую обстановку, что военное дело было самым святым предметом, и ни у кого из нас в этом не было сомнений. Все блестяще владели оружием. Мы знали, что если завтра начнется война, то воевать теперь будем мы, другого даже в голову не приходило. В тылу отсидеться могли только подлецы.

И у меня возникла дилемма: то ли идти организовывать концерт, то ли идти на военное дело. Я подумал и решил идти на военное дело, а организацию концерта переложил на другого человека. Через час меня оттуда выгребают и ведут к секретарю партийного комитета. Этот парень сделал мне выговор. Тут же был собран комитет комсомола, и встал вопрос: выгонять меня или оставить. Но так как я был очень активным, закончилось тем, что меня на этот раз не наказали, хотя было совершенно очевидно, что я очень рисковал. Этот пример я привел, чтобы лучше была понятна обстановка, в которой жили и учились в те годы студенты.

Потом наступил второй курс. Я стал членом бюро студенческого научного общества и отвечал по всему университету за работу кружков для школьников – по физике, химии, истории и так далее. Мне подчинялись представители факультетов, которые имели свою сеть, по своим предметам. Это была огромная общественная работа, а с этим в то время шутить было нельзя.

Учеба шла, и непонятно было: то ли мы учились, то ли готовились к войне. В нашей университетской песне, сочиненной студентами, были такие слова: «...от окопов корейской земли люди лучших бригад вахту мира стоят, защищая судьбу всей Земли». Обстановка такая была не только на нашем факультете, что, впрочем, не мешало нам учиться, писать свои курсовые, слушать доклады, в том числе и на других факультетах. Например, когда приехал академик Отто Юльевич Шмидт с лекцией по космогонии, мы все ходили его слушать. Не то чтобы в аудитории яблоку негде было упасть, было занято все вокруг аудитории, только бы услышать хоть краем уха. Мы ходили на биологический факультет и слушали доклады очень интересных людей, которые были коллегами Шмальгаузена и сторонниками классического дарвинизма. Я до сих пор помню, как ходил слушать докторанта Иванова (не знаю, кем он потом стал), который выступил с докладом против академика Лысенко. Как считать: учеба это или нет? В любом случае, это развивало и вдохновляло.

На втором курсе у меня начались политические сложности. Нужно было написать курсовую работу по Средним векам. А мои друзья со старших курсов постоянно меня подначивали: «Хорошо тебе про современность болтать – источников нет, профессоров нет, никто ничего не знает, а ты изображаешь тут, что наукой занимаешься». Я им ответил: «Ладно, покажу вам, что я могу делать, на примере работы по источникам Средних веков». Мне нужно было написать курсовую не по публикациям ученых, которые что-то описывают, а по первоисточникам, и я такой источник нашел. Надо же было наскочить мне на хроники Генриха Латвийского, из которых вытекало, что русские, которые завоевывали Прибалтику, несли туда отсталые формы хозяйства. А когда немцы построили Ригу, а через пару десятков лет и Ревель, они стали осваивать это пространство, привезли туда новые формы организации ремесла. Я сделал вывод, что немцы принесли передовые формы феодализма. А академик Владимир Иванович Пичета и многие другие почтенные ученые писали, что немцы причинили

вред Прибалтике, которая благодаря русским встала на ноги и была бы необыкновенно счастлива, если бы так и оставалась под русскими. И тут экономика была в полном объеме. Моей курсовой работой руководил Виктор Иванович Рутенбург, который написал положительный отзыв и говорил, что надо устроить обсуждения по поводу предложенной мною концепции. Разразился дикий скандал, и мой второй курс закончился тем, что я удрал на комсомольскую стройку, куда брали далеко не всех, а меня взяли как ветерана комсомольских строек. Когда я уехал на стройку, Рутенбурга хотели выгнать из университета. Тогда он был доцентом, потом стал академиком, очень известным ученым. Мы с ним встретились до моего отъезда, он упрекнул меня, что я его подвел, на что я ответил: «Вы же учитель, Виктор Иванович, – могли бы мне сказать, что об этом писать нельзя». Тот меня спросил, зачем я ругал Пичету. Я ответил, что Пичета написал чушь, хотя и был академиком. Честно говоря, тут непонятно, кто был виноват: то ли глупый мальчишка, который в свои девятнадцать лет подвел преподавателя, то ли преподаватель, который, несмотря на то что ему было почти сорок лет, оказался полным ослом и позволил мальчишке такие штуки выкидывать. Но для меня это был очень серьезный урок: если хочешь думать самостоятельно, не надо ничего бояться. Было очевидно, что я лишь начал проходить хорошую школу идейно-нравственного формирования себя как человека, имеющего идеи и принципы.

Я ухитрился на стыке второго и третьего курсов еще парочку вещей написать. Был у нас такой профессор – Федоров, который все время ходил со мной по коридорам истфака (корпус был единый у истфака и экономического факультета). И Федоров мне говорил: «Посмотри, какие ужасные эти профессора, все эти люди из буржуазной среды, а мы с тобой дети рабочих. У меня отец был машинист, у тебя – станочник. Мы должны командовать факультетом. Наши идеи должны быть основой. Давай с тобой вместе сядем книгу писать». Я хожу, просвещаюсь, думаю, о чем писать будем, составляю примерный план. Вдруг встречаю товарища Федорова, здороваюсь с ним,

а он даже и не смотрит в мою сторону, разворачивается и уходит. Я снова к нему, а он мне говорит: «Я с тобой разговаривать не буду! Ты выступил против идей товарища Сталина!» Я в перепуге говорю, что ничего подобного не было. Он тогда припомнил мне текст, который я дал почитать, направленный против Багирова – это был секретарь ЦК Азербайджана, который тогда опубликовал в журнале «Большевик» (позднее – «Коммунист») статью, где доказывал, что движение Шамиля было инспирировано англо-французским капитализмом. А я в ответ написал контрстатью, в которой доказывал, что это движение было глубоко народным, поддержанным широкими массами чеченского и черкесского населения, и никакого отношения к англо-французскому капитализму не имело. И Федоров упрекнул меня: неужели я не знал, что товарищ Багиров – личный друг товарища Сталина? Я ответил, что не знал, откуда же мне было это знать?!

Я был представлен к награждению грамотой ЦК комсомола за успехи на комсомольской стройке, а меня черт понес всякую ерунду писать. И Багиров – это еще не все! Осенью 1951 года прошли выборы в английский парламент, на которых победили консерваторы. В наших газетах писали, будто так получилось потому, что рабочий класс предала мелкая буржуазия. А я, как назло, уже приобрел привычку смотреть статистические справочники. Я полез в справочник и обнаружил, что в Англии по составу населения мелкая буржуазия никак не составляла значительного большинства. И я объяснил это тем, что рабочий класс отвернулся от лейбористов. Вот тут-то и началось! На следующий же день было велено организовать собрание курса. Там выступил доцент Степанищев – был такой борец за чистоту идей – и сказал: «В лице Шкаратана мы имеем агента англо-американо-израильского империализма». Я впервые слышу, что я агент, да еще и трех империализмов. Я никак понять не мог, как это за одну ночь превратился из нормального парня в агента. Полез выступать, но слова мне не дали. Тогда за меня стали заступаться ребята. И они ему так дали по мозгам, что стало ясно: вот эта тактика

борьбы со мною как с агентом не пройдет, потому что у меня есть поддержка. Но я был агентом влияния, и у меня перестали принимать экзамены. Как раз пошли предметы, которые мне оказались ближе: современное развитие России, еще что-то в этом направлении – а у меня преподаватели экзамены не принимали. Я пошел к нашему ректору Александру Даниловичу Александрову – это был академик, блестящий ученый-геометр. Он знал меня по студенческой научной работе. Я пошел к нему не жаловаться, а в полной растерянности – что же мне делать? И он меня поддержал: приказа об отчислении не было и приказа о снятии стипендии тоже не было. Блестящий совершенно человек. Но нужно было дальше как-то учиться. И вот тут-то вмешалась Лидия Ефимовна Анкудинова – я ее на всю жизнь запомнил. Она была на фронте, прошла всю войну, причем не санитаркой. Лидия Ефимовна сама приняла у меня один из экзаменов, который был не совсем по ее профилю – она занималась Аввакумом, староверами.

Так продолжалось до смерти Сталина, которой я, конечно, обрадовался. У нас на факультете в день смерти Сталина вышла большая драка между сторонниками и противниками: одни плакали, другие смеялись. Мы пришли веселенькие: «Теперь вы нас не посадите». Я же не один такой был, с неприятностями – нас было человек пять на курсе. Всех нас мучил вопрос, что теперь будет. Первым делом я пошел к профессору Семену Бенциановичу Окуню. И он сказал мне: «Что ты радуешься?» На что я ответил, что теперь я оказался во всем прав. Он говорит: «Это ты брось. Ты должен колебаться с генеральной линией партии. А ты занял собственную позицию – этого у нас не прощают». И вот сейчас, как будто бы и не прошло шестидесяти лет, я наблюдаю такие же картинки и высказывания, те же самые слова. В общем, было решено, что экзамены у меня надо принять. И я сразу, с ходу сдал экзамены за длительный период. Экзамены у меня перестали принимать в 1952 году, а Сталин умер в марте 1953-го. Я сдавал сразу три с половиной сессии, многие мне ставили «автоматом». И самое смешное, что деканом вдруг прислали человека замечательного –

полковника Бориса Михайловича Кочакова, который только что демобилизовался. Он был политработником, а на самом деле – блестящим историком, который, разобравшись, кто есть кто среди студентов, вызвал меня к себе и сказал, что будет моим научным руководителем. Так появился человек, который хотел меня чему-то научить.

За тот учебный год, 1953/54, что я у него провел, он сделал все возможное, чтобы я наконец получил какое-то завершение как специалист. Это работа с источниками – он научил меня, как правильно обрабатывать материал, излагать идею, как выделять главное, как распределять значимость. С ним мне страшно повезло. В течение 1954 года были открыты фонды Архива Октябрьской революции, где оказались такие материалы, от которых хоть стой, хоть падай! Я успел написать дипломную работу и еще сделать много выписок, которые мне пригодились в диссертации. А он мне в этом помогал: объяснял, как проверить надежность данных, как установить датировку, – то есть учил меня массе вещей, которых я толком не знал. Их можно знать кое-как, а можно знать хорошо. Вот этот год был школой обучения настоящей профессиональной работе. И это мне на всю жизнь пригодилось. Так прошел мой ученический период, где не поймешь, чему больше меня учили. И я научился тому, как не испугаться в стране, где политика всегда грязна, и как при этом честно работать.

# АЗЕР ЭФЕНДИЕВ УЧИТЕЛЯ

---



Когда ко мне обратились с предложением рассказать об учителях, повлиявших на мои представления об академической деятельности, я задумался о многом, в том числе о том, что для меня главное в науке и благодаря кому из вереницы крупных и менее видных ученых я сформировал свое кредо ученого. Это не значит, что я никогда не вспоминал об этих людях, но сегодня я очень рад отдать дань памяти своим научным наставникам. А мне весьма, как я считаю, повезло на учителей.

Что я считаю своим научным кредо? Я четко понял, что это две вещи. Первая – высокий уровень теоретического мышления и фундаментальность осмысления проблем. Чтобы теория не скользила по поверхности явления, а докапывалась до первоисточков проблемы. И вторая вещь – опора на однозначно толкуемые факты. Убедительность научного знания зависит от того, в какой мере оно смогло выработать и развить эту ясность трактовки фактов. Я постоянно обращаю внимание своих студентов и аспирантов на это. Порой им очень трудно бывает, потому что я, с одной стороны, особенно требователен к фактологической стороне дела, а с другой стороны, не позволяю им остановиться на простой описательности.

Эти два момента не случайно во мне соединились. Они сформированы во мне, как я теперь ясно осознаю, моими учителями.

Начну с того, что по своему вузовскому образованию я историк, по профессиональной специализации – социолог. Можно даже сказать, что я потомственный ученый-социолог, потому что мой отец заведовал кафедрой исторического материализма в одном из вузов Баку. До поступления в московский институт я там и жил – это мой родной город. Я вырос в семье, преимущественно ориентированной на европейские ценности. У нас была огромная библиотека, поэтому с классикой мировой литературы, мировой философии я был знаком где-то с класса седьмого или восьмого. Я и сам, тогда еще будучи школьником, собрал большую библиотеку, прежде всего по истории искусств, по истории Возрождения. Все деньги, которые я получал от мамы или от отца на личные расходы, я тратил на книги, в особенности на книги по искусствоведению. У меня еще с тех пор лежат замечательные книги Джорджо Вазари, Бенвенуто Челлини, М.В. Алпатова и других, а работу А.К. Дживелегова о Микеланджело, любовь к творчеству которого я пронес через всю свою жизнь, я прочитал где-то классе в пятом.

Поступать в институт я хотел только в Москве, чтобы никто не сомневался, что я получаю высшее образование самостоятельно и без всякой протекции. С самого начала ориентировался на философский факультет МГУ, на исторический материализм – тогда социология так называлась. Но в те годы поступить на философский факультет, политическую экономию и подобные «подконтрольные» партии направления можно было, либо два года отработав на производстве, либо два года прослужив в армии, хотя я надеялся, что удастся «проскочить». Однако не удалось. Поэтому я решил поступать на отделение искусствоведения исторического факультета. И я пошел туда на собеседование, которое легко прошел.

Мой отец не то чтобы был против, но он понимал, что я выбираю себе профессию, которая проблематична со многих, на его взгляд, точек зрения, что в этой профессии слишком многое связано со случайной удачей. Дело в том, что в советское время не существовало никаких аукционов, никакой оценки художественных ценностей, как сейчас. Отец особенно заботился и опекал меня, ведь я был пятый в семье, все остальные были намного взрослее меня. Чтобы заставить меня реалистично оценивать будущую профессию, он отвел меня в Пушкинский музей и попросил:

*– Походи по музею, пристань к какой-нибудь экскурсии, сынок, и посмотри.*

Я пошел за экскурсией и экскурсоводом. После экскурсии он сказал мне:

*– Дорогой мой, нет гарантий, что после окончания МГУ ты не будешь ходить с указкой, а стать Алпатовым не сразу и не каждому дано.*

В общем, мне оставалось или вернуться в Баку, или поступить на истфак в МГПИ. Преклонение перед фактом, умение факт понять, осмыслить и истолковать – это идет от образования, которое я получил на историческом факультете (кстати, это очень пригодилось мне, когда я стал социологом).

В то время МГПИ был очень специфическим вузом – особенно это относилось к историческому факультету. Это был факультет, где разрешали преподавать крупным историкам, не очень одобряемым в партийных органах. Например, кафедру Новой и Новейшей истории возглавлял академик А.Л. Нарочницкий. Самые глубокие впечатления остались у меня от двух моих учителей, которые очень много уделяли мне времени (кстати, незаметно для меня). Я не могу сегодня их не вспомнить как людей не просто значимых, но сыгравших решающую роль в формировании моего представления о том, что такое наука и каким должен быть настоящий ученый.

Профессор Эдуард Николаевич Бурджалов – это человек с очень сложной судьбой. Он никогда не говорил о своей биографии, но я знал, что он был раньше заместителем главного редактора журнала «Вопросы истории». В 1950-х годах он был снят с этой должности за «нетрадиционное освещение роли большевиков в революционный период». После этого ему предложили работу в педагогическом институте. При этом ему не разрешили читать историю революции – он читал историю феодализма. Но когда мы оставались один на один, он мне очень много интересного рассказывал как раз про революционный период. Меня восхищало, как он выуживал факты, как он умел толковать их, как он их понимал!

Советская историография той поры имела ярко выраженную описательную ориентацию, и совершенно не развита была историография понимающая. Вот, например, во французской историографии есть такая школа Анналов, основанная М. Блоком, Л. Февром и другими. Для представителей этого направления главным являлась не исключительная сосредоточенность на описании фактов, а прежде всего понимание духа изучаемого времени, исследование истории общества во всей его целостности. А для этого нужно было соединение истории, культурологии, социологии, психологии, истории повседневности и т.д.

И вот Э.Н. Бурджалов формировал у нас – конечно же, на основании глубокого изучения фактов – понимание русской истории. Понимание того, почему исторические процессы в России развивались именно таким, а не иным образом. И в этом плане его роль в моем профессиональном становлении очень велика. При этом огромное уважение вызывала его верность научным принципам. Он знал, чем он может расплатиться за это. Он понимал, что надо бы смягчиться, надо бы пойти на попятную, надо уметь «договариваться», – но не мог. Он говорил: «Я могу договариваться по поводу личных вещей, но как я могу договариваться по поводу истории?!» И с тех пор я тоже думаю, что одно дело – договориться насчет личных отношений, а другое – насчет науки.

Вторым человеком, который оказал на меня сильное воздействие, был Михаил Абрамович Барг. Это был крупный медиевист, специалист по истории Англии и ведущий методолог. Уже после моего окончания МГПИ он ушел в Институт всемирной истории, там он работал в области методологии исторического познания, в которой он был очень крупным – если не единственным – специалистом. Это был прекрасный лектор, вдохновенный ученый. Я ему благодарен не только за то, что он научил нас филигранной работе с фактом. Это было не просто увлечение фактологией, а умение найти какую-то дистанцию, при которой ты смотришь на факт не как архивариус, а как исследователь. Именно этому он меня научил. Он еще больше продвинул меня в сторону понимающей историографии. Когда я учился в институте, меня не особенно занимали конкретные сюжеты или конкретные личности: в гораздо большей степени я интересовался механизмами исторического процесса, его закономерностями. Поэтому я бесконечно благодарен своим учителям-историкам и совсем не жалею о том, что учился на историческом факультете.

Проблема образования вообще очень сложна. Что нужно знать, чтобы стать специалистом в какой-то области? Это дискуссионный вопрос. В моей книге о соотношении исторического и социологического познания я говорю о том, что знание истории делает восприятие

мира, восприятие фундаментальных процессов, происходящих в общественной жизни, более глубоким и многомерным. И я благодарен своим учителям не только за то, что они научили меня этому, но и за то, что они сделали это с блеском.

Когда на втором курсе я работал в научном кружке Михаила Абрамовича Барга, я написал текст о социальном устройстве варварского общества. Он выдвинул этот текст (мою первую студенческую работу) на Всесоюзный студенческий конкурс, и я получил одну из высших премий. М.А. Барг потом даже приглашал моего отца на беседу. Он хотел сказать, что я мог бы стать великолепным медиевистом. Но он не знал, что еще с седьмого-восьмого класса я хотел заниматься социальными процессами, хотел понять, как устроено общество, как оно развивается. Так что выбор мною был сделан очень давно. Введение к «Немецкой идеологии», письма Маркса и Энгельса об историческом материализме и многие другие работы стали моими настольными книгами еще в школьные годы, а «Капитал» – на первом курсе. Отец приобщал меня к серьезной теоретической литературе. Когда я задавал ему какой-нибудь научный вопрос, он мне отвечал: «Что я тебе буду рассказывать – возьми такой-то том и почитай».

Скажу честно по поводу марксизма: я двойственно отношусь к марксистской теории. С одной стороны, я понимаю, что лежащие в основе этой модели теоретические положения о «целях» и направлении общественного процесса – глубочайшее заблуждение. Однако в том, что касается системности исследования, глубины анализа, комплексности трактовок исторических и экономических фактов, то есть фундаментальной научной культуры, К. Маркс сделал очень многое для развития познания, развития методов теоретического описания вообще. Кроме Макса Вебера, я не знаю никого другого, кто бы мог встать с ним рядом (не знаю, может ли на это претендовать даже Толкотт Парсонс, которого я очень люблю). А каким блестящим аналитиком был Ф. Энгельс! Я до сих пор вспоминаю его «Диалектику природы».

После окончания с отличием исторического факультета я поступил в аспирантуру Института философии – это была следующая ступень. И здесь мне опять очень здорово повезло. Ни до ни после – нигде я не встречал такой атмосферы научной раскрепощенности. Это были годы, когда Институт философии возглавлял академик Павел Васильевич Копнин. Тогда времена «оттепели» были уже позади, но там сохранилась эта атмосфера. Я очень многое перенял у этих людей, тем более что я был тогда молодым аспирантом – мне было всего двадцать два года. У нас там работал специальный семинар для аспирантов по истории философии (а так как я был историком, то обязательно должен был сдавать экзамен по истории философии), а также семинар по методологии научного познания. Когда я сегодня смотрю, что под названием «Методология научного познания» читают на многих магистерских курсах, я просто удивляюсь. Это какая-то халтура! У нас организовывал этот семинар В.С. Швырев, но главную роль в нем играл Эвальд Васильевич Ильенков. Это сейчас мы говорим о нем слова: почитаемый, уважаемый, любимый всеми. Это все так. Но когда сидишь рядом с этим «мыслящим мозгом», ты все ощущаешь несколько по-другому. П.В. Копнин, Э.В. Ильенков и многие другие – это были люди, которые не требовали к себе каких-то особых знаков уважения, были научно «демократичны» в лучшем смысле этого слова. С ними можно было спорить, не соглашаться, ставить под сомнение те или иные тезисы. Тогда в Институте философии царил очень свободная, раскрепощенная атмосфера, а превыше всего ценилось научное творчество. Не симуляция научной деятельности, а подлинная научная креативность, при этом очень фундированная, имеющая очень глубокие основания.

Во время сдачи кандидатского минимума по истории философии после раздачи «билетов» нас всех отпускали за два часа до экзамена в библиотеку. Никто не боялся обнаружения «шпор», да их просто и не было. Если ты раньше чего-то не понял, ты за эти два часа все равно ничего не поймешь. Садилась комиссия из девяти «титанов», и тебя начинали терзать. Каждый аспирант отвечал по два-три часа. Это был не столько экзамен, сколько

ко разговор: меня не то чтобы экзаменовали, а, скорее, интеллектуально обогащали в ходе этого «экзамена». Поэтому, когда я смотрю на нынешнее состояние научного сообщества... Я прошел такую школу! Я слушал М.К. Мамардашвили, когда он выступал на семинарах. Но больше всего мне дал, конечно же, Э.В. Ильенков. У Эвальда Васильевича Ильенкова была трагическая судьба. В Институт философии он пришел из МГУ. Худое, абсолютно иссохшее лицо, наивнейшие глаза. Он уже тогда сильно болел. Поэтому наше занятие начиналось в десять, а кончалось в четыре, с большими перерывами после каждого часа. Он нам рассказывал о значении идеального в сознании и о других фундаментальных вещах. И как рассказывал! Какая это была простота речи! Чувствовалось, что это все для него было осязаемо.

И последний мой крупный учитель – это, конечно, научный руководитель моей кандидатской диссертации Андрей Сергеевич Ковальчук. Он был первым замом главного редактора «Вопросов философии». Главное, чему он меня научил, что наука – это коммуникация. В науке мысль надо излагать так, чтобы тебя понимали. Наука не только «кайф» для самого исследователя. Первой задачей является конструирование текста, а второй – ясность изложения.

Завершая разговор о том, что дали мне мои учителя, я хочу отметить три момента.

Первое. Если вспоминать моих учителей-историков, то это серьезное отношение к факту. Умение отбирать факты, смотреть, чтобы они не оказывались случайными.

Второе. Если смотреть на моих учителей в Институте философии, то я бы сказал, что это высокий уровень теории, фундаментальность анализа.

И третье. Это правила игры в науке. Не подстраиваться под каждого начальника, а быть верным своим научным, исследовательским и этическим принципам.

Это три основных элемента, которые составляют мое личное и научное кредо. И все это мне дали мои учителя, а я стремлюсь передать своим ученикам.

# ЛЕВ ЯКОВСОН

## УЧИТЕЛЯ

---



Мой случай не является классическим примером наставничества, когда человек приходит в сложившуюся научную школу и долгие годы развивает ее идеи. Однако я, конечно, могу назвать людей, у которых учился и которые сыграли большую роль в моей жизни. Среди них безусловно выделяется Михаил Васильевич Солодков, который был научным руководителем моей кандидатской диссертации. Он создал научную школу, к которой я когда-то принадлежал, но то, чем теперь занимаюсь и занимаюсь не один десяток лет, не лежит в русле этой школы. Экономистом я стал случайно. Много лет назад, в 60-е годы, когда человек должен был быть или физиком, или лириком, я окончил хорошую математическую школу. Класса с восьмого подразумевалось, что я буду профессионально заниматься математикой, но чем дальше, тем больше меня тянуло к гуманитарным наукам. Сейчас, конечно, я понимаю, что мне следовало заниматься чем-нибудь гуманитарным, но тогда общественная атмосфера была такой, что надо было быть если не лириком, то либо физиком, либо математиком. К тому же в гуманитарной сфере доминировала совершенно определенная идеология, а естественные науки были вне идеологии. Мне хотелось заниматься и математикой, и чем-

то гуманитарным. При этом я решил поступать только в МГУ. Факультет же выбирал методом исключения. Полистал справочник, и в нем нашлось два отделения, на которых одновременно преподавалась математика и гуманитарные предметы, – отделение структурной и прикладной лингвистики филфака и отделение экономической кибернетики экономфака. Сначала я подал документы на структурную лингвистику, однако перед самыми экзаменами поменял решение и поступил на отделение экономической кибернетики.

Отучившись два года, задумал перейти на отделение политэкономии. Раньше мне бы и в голову не пришло на него поступать, но, уже учась на факультете, я увлекся тем, что тогда называлось творческим марксизмом (если вы посмотрите фильм «Отдел» Александра Архангельского про философов, принадлежавших к этому течению, то сможете составить о нем представление).

Я добился перевода на это отделение. Опять же случайно я стал тогда посещать проблемную группу, которую возглавлял декан М.В. Солодков. Эта группа занималась исследованиями так называемой непроизводственной сферы. Непроизводственной сферой тогда считалось все то, что не создает вещи: образование, наука, культура и т.д.



Группа не покушалась на основы марксистского учения, но при этом пыталась найти в нем место для этой сферы, основания для ее развития. Меня заинтересовала идея, я стал ходить на собрания группы, на которых яростно спорил с Солодковым, так как многое мы с ним понимали по-разному. Солодков был авторитарным человеком, жестким руководителем. Совсем мальчишкой, потеряв на войне ногу, он пришел на экономический факультет и, будучи еще студентом, стал секретарем партийной организации. Затем он стал секретарем парткома МГУ и, наконец, деканом. Много позже я понял, что на факультете очень мало кто решался с ним спорить. Я же спорил непримиримо, и ему это явно нравилось.

Когда я написал дипломную работу, Михаил Васильевич заявил, что на его факультете подобную работу защищать нельзя, поскольку она ревизионистская. Однако через пару дней я получил не только пятерку, но и приглашение поступить к нему в аспирантуру.

Солодков был исключительно талантливым человеком. Так получилось, что он очень рано начал занимать руководящие должности, так что на занятия наукой у него оставалось крайне мало времени. Теперь-то я прекрасно его понимаю, но сам я, по крайней мере до сорока лет, спокойно работал в науке, и только после этого пришлось заняться администрированием.

Еще раз повторю, что мой случай не совсем вписывается в рамки традиционных отношений между учителем и учеником. Скорее, я находился в ситуации активного поиска тех, от кого можно что-то почерпнуть. Безусловно, мне повезло, что такие люди мне всегда встречались. Конечно, среди них я особо выделяю М.В. Солодкова прежде всего потому, что научился у него жить в науке увлеченно, относиться к людям независимо от их ранга и т.д. В качестве иллюстрации могу привести следующую историю. Как-то, когда я еще был аспирантом первого года обучения, один известный в ту пору ученый попросил Михаила Васильевича выступить на его докторской защите. Солодков был человеком занятым и поэтому сказал мне: «Я не могу поехать, поэтому поезжай-ка ты вместо меня». Представьте себе, как я себя тогда чувствовал, ведь мне, недавнему студенту, надо было выступить

на защите докторской диссертации, причем не отзыв Солодкова зачитать, а высказать собственное мнение!

Помимо Солодкова хотел бы упомянуть целый ряд других людей, с которыми тогда же, еще в студенческие, аспирантские годы меня свела жизнь. Но всех не назовешь, а выбирать трудно. Пожалуй, выделю одного из самых ярких представителей творческого марксизма. Это философ Э.В. Ильенков, чьи семинары я посещал в Институте философии.

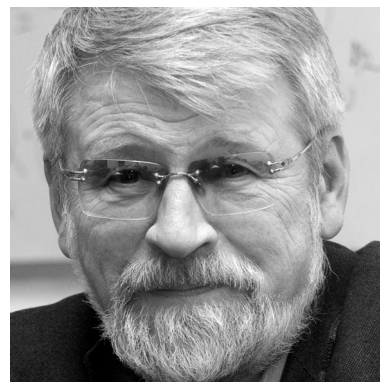
Однако на меня также оказали влияние люди, которые были связаны с экономико-математическим направлением. Даже когда я перешел на другое отделение, я с ними немало общался и многому у них научился. Это С.С. Шаталин, А.И. Анчишкин и другие.

Увлечение марксистской теорией, к которой я и сейчас отношусь с уважением, довольно быстро прошло. Мне стали интересны прикладные исследования, тем более что занятия ими были возможны вне идеологической цензуры. Работать над прикладными сюжетами мне удавалось на кафедре в МГУ, которая возникла из той самой проблемной группы Солодкова. После Солодкова кафедрой возглавил Е.Н. Жильцов. Хотя он старше меня, но отношения с ним все-таки походили на отношения скорее как со старшим товарищем, а не с учителем. Он в ту пору был лучшим специалистом по экономическим проблемам образования. Безусловно, у него я тоже многому научился. Однако уже довольно скоро моими главными учителями стали западные ученые. Общаться с ними лично было невозможно, но были доступны публикации. Сегодняшняя академическая жизнь стала возможной благодаря повороту к работе в рамках принятых в современном мире парадигм экономического исследования и преподавания. Сегодня я могу использовать не так много из того, чему меня учили, но я получил очень много такого, что позволило мне сформироваться как ученому. Для меня учитель в науке – это не просто наставник, делящийся своим знанием, а человек, с которым можно спорить, который не принимает в расчет ранги, мыслит нетривиально. Для меня учеба – это диалог, диалог без скидок, диалог иногда острый, жесткий, но взаимоуважительный. Эта школа дала мне очень многое.

# АЛЕКСЕЙ РУТКЕВИЧ

## УЧИТЕЛЯ

---



Выбор специальности для меня был в какой-то степени случайным. Дело в том, что изначально я собирался поступать на исторический факультет, но в Свердловске, нынешнем Екатеринбурге, где я жил, в то время не было сильного исторического факультета. Там были хорошо развиты такие направления, как византистика и археология, но я узнал об этом позже, когда отправился в археологическую экспедицию на раскопки Херсонеса. При этом я не хотел поступать на философский факультет, так как тогда его деканом был мой отец. Тем не менее в то время там был хороший трехгодичный курс по истории, и вообще на факультете можно было получить неплохое общее образование (не буду говорить о философском, но общее образование действительно было неплохим). Собственно, отец мне и посоветовал поступать на философский факультет, аргументируя это тем, что историей я смогу заниматься и после обучения на нем. Правда, за три года обучения в рамках курса по истории нам хорошо прочитали только историю Византии. К ней, по сути, свелся полугодовой курс по Средним векам.

Я могу выделить два этапа своего обучения. Сначала я три курса проучился в Свердловске, а потом, когда семья

переехала в Москву, продолжил обучение на философском факультете МГУ: писал курсовые работы, занимался историей философии, какое-то время – социологией. Что касается социологии, то здесь речь шла скорее об истории социологии, так как от занятий непосредственно социологией я отказывался. Это было связано с тем, что у меня были достаточно непростые отношения с собственным отцом на почве идеологических разногласий. При этом он действительно был незаурядным ученым, а затем стал директором Института социологии в Москве. К этому моменту, на старших курсах, я уже твердо решил, что буду заниматься только историей философии.

У меня не было Учителя, если это слово пишется именно так, с большой буквы. Конечно, были люди, которые оказали на меня определенное влияние. Сюда можно отнести и профессоров, которые вели у нас некоторые курсы. Такие были как в Свердловске, так и в Москве. Но это ведь другое. Многие называют своими учителями научных руководителей. Конечно, я благодарен своему научному руководителю Алексею Сергеевичу Богомолу, но при этом он не оказал большого воздействия на меня как ученого, хотя в целом общение с ним было для меня очень полезным.

Вообще кафедра истории зарубежной философии была одной из немногих по-настоящему хороших кафедр философского факультета МГУ. Там работал целый ряд профессионалов высокого уровня. Вот как раз одним из них и был Богомолов. Он постоянно собирал у себя аспирантов для беседы, иной раз за бокалом вина. Однако я не могу сказать, что на этих собраниях проходили какие-то серьезные обсуждения, так как там находились слишком разные люди, аспиранты разных лет. Поэтому в данном случае само общение с ним было полезным, так как он довольно жестко задавал параметры дискуссии. Его всегда отличало требование жесткой объективности в отношении историко-философских исследований.

Тему своих штудий я тоже всегда выбирал самостоятельно. Прозанимавшись историей социологии (последняя курсовая была о Тённисе), я на пятом курсе решил выбрать в качестве темы своих исследований испанскую философию. Отчасти это произошло случайно, а отчасти в результате прочтения ряда текстов Хосе Ортеги-и-Гассета по-английски и по-французски (этими языками я уже тогда неплохо владел). На тот момент я не знал испанского, поэтому позже мне пришлось самостоятельно изучать этот язык. Сложно сказать, чем именно меня тогда заинтересовали эти тексты. Чем вообще может заинтересовать крупный философ? Наверное, предложенной проблематикой, постановкой ряда вопросов и т.д. Потом этот интерес стал устойчивым, и я на целый ряд лет сделался испанистом. Работая над диссертацией, я очень много времени провел в библиотеке, поэтому могу сказать, что меня как ученого сформировали не мои учителя, а в огромной мере работа над текстами.

Богомолов был прекрасным специалистом по немецкой и англо-американской философии и, помимо всего прочего, прекрасным лектором. Но в то время он занимался античной философией и написал на эту тему неплохие книги. Испанской же философией он специально не занимался, поэтому все, чем он смог мне помочь, – это дать мне из своей библиотеки пару книг на немецком языке по философской антропологии. Что касается самого

текста диссертации, то там он лишь проставил две запятые и вычеркнул полторы страницы, где я обрушился с критикой на какого-то не очень умного отечественного философа. И все.

Во время обучения в аспирантуре для меня еще очень полезным было общение с выдающимися учеными – Юрием Николаевичем Давыдовым и Пиамой Павловной Гайденко. Я часто бывал у них дома на протяжении полутора-двух лет. У них самих была в это время непростая жизненная ситуация. Они были так называемыми «подписантами», то есть подписали одно из писем против того, что выделяла тогда наша власть. Их не исключили из партии (в этом случае их выгнали бы со всех мест и вообще вычеркнули из науки), но вынесли строгий выговор с занесением, что по тем временам означало: любые карьерные возможности ограничены. Они смогли защитить докторские диссертации только тогда, когда выговор был снят. Вот в этот период я с ними общался довольно много. Да, это было для меня в высшей степени полезное общение, потому что они ученые высокого уровня.

В середине 70-х оппозиционная режиму интеллигенция разделилась на две фракции, одна из которых была либеральной, западнической, а другая – не славянофильской, но более традиционалистской, связанной с православием. Вот как раз в период нашего общения Юрий Николаевич и Пиама Павловна все больше стали относиться ко второй фракции, и это привело к тому, что они не то чтобы находились в конфликте, но по крайней мере мало общались с кругом людей, который описан Зиновьевым в «Зияющих высотах». А я в то время был откровенным западником, поклонником то ли Ясперса, то ли Поппера. Так что отношения по модели «учитель–ученик» у меня с ними не могли сложиться.

Я знаю, что в это время многие мои коллеги взаимодействовали с учеными высокого уровня – например, ходили домой к Лосеву или Ильенкову. У меня же такого почти не было. Это, вообще говоря, черта поколения.

Мы вынуждены были учиться по книгам. Предшествующее моему поколению поколение шестидесятников в еще большей степени было поколением self made men, поскольку философия в 30-е годы была попросту уничтожена.

Традиция уже оборвалась в 1917–1920 годах, когда многие ученые были высланы из страны. Многие еще потом сгинули в лагерях. Кроме этого, была уничтожена даже марксистская традиция, к которой принадлежали многие незаурядные мыслители. Оставались единицы. Среди них, например, гегельянец М.А. Лифшиц, который сотрудничал с Лукачем. То поколение мыслителей, которое оформилось уже после десталинизации, в 50-е годы, было поколением фронтовиков. Это было возвращение к «истинному марксизму», то есть к текстам Маркса, Энгельса. В частности, разрабатывалась своеобразная натурфилософия марксизма, в основу которой была положена диалектика природы Энгельса.

Следующее поколение, поколение шестидесятников, обратилось уже больше к идеям Маркса, его экономико-философским рукописям, к Марксу-гуманисту. Как раз в это время марксизм стал очень популярен на Западе. Тогда многие себя к нему относили, начиная с Сартра и заканчивая югославским журналом «Праксис». Такой гуманный марксизм – это было тогда «наше все».

Особенностью поколения шестидесятников было то, что они не были знакомы с предыдущей традицией. Даже 20-е годы для них были в прошлом, недоступны. Им приходилось создавать все заново. У них даже культивировалась такая идея, что каждый должен сам созидать себя. Мое поколение следовало за поколением шестидесятников, но у нас уже не было такого культивирования себя, не было и такого артистизма. Сложно назвать конкретных людей, у которых мы учились. Мы больше учились по книгам, у представителей англо-американской и континентальной философских традиций. Таким образом, большую часть времени мы проводили в библиотеке.

# МАКСИМ НИКИТИН

## УЧИТЕЛЯ

---



В 1982 году я поступил на экономический факультет МГУ, на отделение планирования народного хозяйства. Почему именно туда? Отчасти случайно. Я учился в очень приличной математической школе, но при этом любил историю и географию. А на этой специальности были как раз вступительные экзамены по математике, истории и географии. Причем письменный экзамен по математике был очень серьезным, таким же, как на специальности «экономическая кибернетика». Первые четыре года учебы я не представлял себе, чем могу и хочу заниматься в будущем, хотя учился я весьма прилежно, был круглым отличником. Ни «Капитал» Маркса, ни кафедра планирования меня особенно не «возбуждали». Мне больше нравились математические предметы. Как оказалось впоследствии, математика (плюс английский) – это было то, что мне потом понадобилось для изучения современной «западной» экономической теории. Но это выяснилось гораздо позже. В середине 80-х я и представить себе не мог, что смогу поехать учиться за границу.

Итак, я искал, что мне будет интересно. На четвертом курсе я раздумывал, на какой кафедре писать диплом. Вариантов было два: кафедра экономики промышлен-

ности и кафедра истории народного хозяйства и экономических учений. Курсовую работу на четвертом курсе я писал на кафедре истории народного хозяйства и экономических учений, но по истории «совершенствования хозяйственного механизма в СССР». Сейчас это кажется тоскливой ерундой – какие показатели должны «спускаться» предприятиям. Но тогда этим занимались многие. Полезно мне это было только в одном смысле: доцент кафедры экономики промышленности Виталий Исаевич Кошкин познакомил меня со своим талантливым учеником – Егором Тимуровичем Гайдаром. Кошкин был научным руководителем Гайдара. Егор Тимурович был совсем молодым человеком тогда – ему было чуть за тридцать. Они с Кошкиным плотно работали, даже книгу совместную написали. Но быть руководителем и быть учителем – это совсем разные вещи. Гайдар – единственный человек, которого я считаю своим учителем. Я уже не помню точно, как нас познакомили. Гайдар хотел создать команду и просил знакомить его с разными интересными и талантливыми молодыми людьми. Было это в 1986 году. Тогда как раз создавался институт Анчишкина – Институт экономики и прогнозирования научно-технического прогресса

(ИЭПНТП), где Гайдар стал заведующим лабораторией. Он искал себе сотрудников, причем молодежь.

Конечно, Гайдар произвел на меня большое впечатление. Он выделялся тем, как он себя вел, как разговаривал, и тем, о чем разговаривал. Он был гораздо более образованным, чем другие. Гайдар хорошо знал западную литературу, в отличие от наших преподавателей, которые читали «Капитал» Маркса, последние постановления ЦК КПСС, статьи в «Вопросах экономики», и на этом их знания в основном заканчивались. Конечно, были на факультете преподаватели, часто молодые, которые понимали исчерпанность советской «экономической науки», но одно дело – понимать, а другое дело – знать альтернативу. Все-таки нормальные учебники тогда в спецхране лежали, не говоря уже о западной периодике. Но Гайдар это знал и читал, потому что, если человек очень к этому стремился, он все это мог получить и прочитать. А что касается исторической литературы – я имею в виду журналы и книги 20-х годов, – она была доступна, но, чтобы с ней познакомиться, надо было ехать в библиотеку, сидеть в читальном зале. На самом деле получить доступ в спецхран было можно, но следовало понимать, зачем тебе это нужно.

Если Гайдару нужны были молодые сотрудники, то я просто искал чего-то интересного, не тоскливого. А Гайдар был очень интересным человеком, первым человеком, который мог открыть мне новые горизонты в науке. Он радикально отличался ото всех людей, которых я видел в университете, или от подавляющего их большинства.

В 1987 году он ушел в журнал «Коммунист», мы ничего не успели написать вместе. Тем не менее мы с ним несколько раз встречались в 1986–1988 годах, и эти встречи оказали очень сильное влияние на мое интеллектуальное развитие. Егор Тимурович был просто очень яркой личностью. Общаясь с ним, хотелось «расти», а не тонуть в трясине советского болота. Он – что было крайне необычно для советского экономиста – знал несколько иностранных языков. Он читал западные учебники и книги по экономике. Он не понаслышке знал об экономических реформах, проводившихся в бывшей Югославии, а также

в других соцстранах. Его отец, Тимур Аркадьевич Гайдар, работал в Югославии в 60-е годы, и Егор жил там с родителями, выучил сербскохорватский язык (тогда он так назывался!) и хорошо знал югославскую экономическую литературу. Соответственно, Егор задолго до перестройки очень неплохо понимал и возможности, и ограниченность частичных рыночных реформ в социалистической стране. Он понимал, что такие реформы могут ослабить проблемы дефицита товаров народного потребления, сделать жизнь людей менее убогой, но при этом они не могут решить проблему мягких бюджетных ограничений госпредприятий и зачастую приводят к инфляции, структурным перекосам в экономике и накоплению внешнего долга. Я по-сербскохорватски читать не научился, но именно благодаря Егору Тимуровичу начал читать классические западные учебники по экономике. Я прочитал базовый учебник Самуэльсона, читал Маршалла и начал регулярно читать журнал “Economist” (что делаю до сих пор). Они не перевернули мое представление об окружающем мире, но... видимо, были теми кирпичиками, благодаря которым я в 1991-м уехал из России учиться, а не ушел в бизнес, как большинство моих сокурсников.

Самым главным результатом моего общения с Гайдаром было для меня «открытие» досоветской и раннесоветской экономической истории. Гайдар показал мне книгу Леонида Наумовича Юровского (не путать с Яковом Абрамовичем) «Денежная политика Советской власти». Юровский был начальником Валютного управления Наркомфина СССР, человеком, который непосредственно осуществлял денежную реформу 1922–1924 годов и который в последующие годы пытался не допустить излишней денежной эмиссии и сохранить более-менее «нормальную» нэповскую, то есть рыночную, экономику. Итак, я начал читать книгу Юровского, а затем другие книги и финансово-экономические журналы 20-х годов. Трудно передать, насколько сильно отличалась литература 20-х годов от стерильно-тоскливой литературы 80-х. Несмотря на «диктатуру пролетариата», в 20-е годы можно было писать живым языком, можно было спорить, хотя бы о денежной эмиссии и показателях ее избыточности. С пожелтевших страниц я почувствовал «дыхание рыночной

экономики». Это открытие предопределило мои дальнейшие научные интересы. Хотя Гайдар и предлагал мне идти в аспирантуру анчишкинского института и работать с Б.Г. Салтыковым, занимаясь экономикой и организацией НИОКР, я пошел другим путем. Я поступил в Институт экономики АН СССР и стал профессионально заниматься отечественной экономической историей. Нэп, денежная реформа 1922–1924 годов, демонтаж нэпа, денежная реформа Витте. Когда я уехал за границу в 1991-м, исторические штудии пришлось оставить, но экономические проблемы той переломной эпохи продолжают меня волновать и сегодня. Не исключено, что к ним я рано или поздно вернусь. Я очень хотел поехать за рубеж, чтобы как следует узнать экономическую науку. И в начале 1991 года мне позвонил Гайдар и предложил прийти на собеседование с Ричардом Лэйардом из Лондонской школы. Он еще не был лордом, а был просто Ричардом Лэйардом. Я тогда этого имени совсем не знал. Он проводил собеседование, хотел кого-то отобрать туда для учебы. Взяли одного человека, причем того, кто на собеседование не пришел, – Теплухина, а остальных забраковали. Тем не менее я продолжал искать какие-то возможности и 1991/92 год провел в Праге, в Центральном европейском университете (впоследствии он переехал в Будапешт). Там я занимался в магистратуре, программа которой совсем не была сильной, но я немало получил, так как это было мое первое более или менее систематическое знакомство с западной наукой. Не могу сказать, что там были какие-то выдающиеся профессора, которые произвели на меня большое впечатление, – преподавали в основном молодые люди, не очень уж и сильные. Но если принимать во внимание, что мы из себя представляли тогда, это был, конечно, прорыв. Мы пользовались стандартными западными учебниками, учились по стандартным западным программам, и не надо было конспектировать «Капитал», что уже казалось чем-то необычным. Это была, конечно, совсем другая наука, хотя какое-то знакомство с западной литературой у меня к тому времени уже состоялось. В 1990 – начале 1991 года я пытался что-то читать. Почитывал разные западные учебники, которые появились тогда или в какой-то мере стали доступными, но это не было систематическим образованием.

Так как я там был одним из лучших студентов, мне дали специальную стипендию Европейского экономического сообщества на обучение в течение одного года в Европейском институте во Флоренции. Уже к концу обучения в Праге я знал, что хочу учиться дальше, что хочу получить степень PhD. Конечно, к тому времени у меня уже были определенные научные интересы. Тогда мой интерес вращался вокруг монетарной политики – в первую очередь в переходных экономиках. В значительной степени это, наверное, связано с влиянием Гайдара, ну, и с тем, что тогда происходило в России, когда инфляция была свыше 1000% в год. Меня интересовал вопрос, какие институциональные и другие барьеры не позволяют монетарной политике быть столь же эффективной, как в западных странах. Меня в этом смысле интересовал и опыт развивающихся стран. PhD я хотел получить в Америке, потому что знал, что именно там сосредоточены ведущие экономические программы. Самый лучший университет, куда меня взяли с финансовой поддержкой, был университет Питтсбурга. Туда я попал благодаря знакомству с Яном Швейнартом. Он сам чех. Когда ему было лет шестнадцать, то есть сразу после разгрома Пражской весны, он вместе с родителями уехал в Швейцарию. Там он несколько лет учился, а потом переехал в Штаты. После 1989 года он стал регулярно приезжать в Прагу. В 1992 году я с ним там познакомился, и он мне помог попасть на программу PhD в Питтсбурге.

Повторю, что, кроме Гайдара, у меня не было настоящих учителей, не появились они и в США. Не знаю, почему так сложилось. Скорее всего, из-за моего характера – я никогда не хотел ни под кого подстраиваться. Ну, в России – там, понятно, практически никто не занимался тем, что меня интересовало. Было ясно, что российская наука – это не наука. В Праге просто не было постоянных людей. Понятно было, что это всего лишь год, что это временно. Большинство преподавателей там были очень молодые, и они сами искали, чем будут заниматься дальше. То есть это не был университет, в который ты пришел надолго, зная, что будешь работать с кем-то многие годы. В общем, в основном я учился сам, и учился долго.

# НИКОЛАЙ БЕРЗОН

## УЧИТЕЛЯ

---



Жизнь – это цепочка случайностей, в моей жизни очень многие вещи случались как-то сами собой. Постараюсь объяснить. Например, почему я выбрал профессию экономиста. В детстве я никогда не думал, что буду экономистом. Я заканчивал школу в начале 60-х годов. В 1961 году Гагарин полетел в космос – это был настоящий прорыв не только в технике, но и в сознании людей. Казалось, что возможности человека безграничны в освоении космического пространства и создании принципиально новой техники. Все мальчишки грезили космосом, мечтали стать космонавтами, ну, в крайнем случае конструировать и строить ракеты и самолеты. Я в этом плане был неоригинален и тоже мечтал о космосе. Пермь, где прошло мое детство, в те времена была закрытым городом, который был насыщен предприятиями оборонной промышленности. Район, где мы жили, был построен с нуля под нужды завода по производству авиационных двигателей. Практически все жители района работали на этом предприятии. И когда мне исполнилось шестнадцать лет, я без одобрения родителей решил, что пойду работать на это авиамоторное предприятие – собирать авиадвигатели. Правильное было решение или неправильное, но тогда мне казалось, что космос, самолеты – это то, чем должен заниматься настоящий мужчина.

Учение мне всегда давалось легко. Поэтому ходить в школу только для того, чтобы что-то там послушать, а потом в течение двадцати минут сделать домашнее задание, мне было не очень интересно. Мне хотелось самому принимать решения. Работая на заводе, я думал, что со временем сам буду конструировать авиадвигатели. В те времена российская авиационная промышленность была вполне конкурентоспособной на мировом рынке. Работа в этой отрасли считалась престижной и интересной, и мне хотелось быть причастным к этому процессу. Внутри завода было большое конструкторское бюро, где разрабатывались экспериментальные авиадвигатели, осуществлялась сборка опытных образцов и их испытание. Вот в это конструкторское бюро я и пошел работать в качестве ученика слесаря-сборщика и параллельно учился в школе. Таким образом, моя первая работа никак не была связана с экономикой и финансами.

Окончив школу, я, естественно, поступал в Пермский политехнический институт на факультет авиадвигателей, на вновь открывшуюся специальность «ракетостроение». Набор на эту специальность был двадцать пять человек, конкурс – десять человек на место.



Чтобы поступить туда, нужно было сдать все четыре экзамена на пятерки. К сожалению, я получил одну четверку по физике, хотя в школе у меня по физике всегда были отличные оценки и мне казалось, что физику я знаю хорошо. Но экзамен есть экзамен, и мне не хватило одного балла для зачисления. Так как у меня были хорошие оценки, то мне предлагали пойти на любой другой факультет. У меня отец – инженер-электрик. Он работал в проектном институте и параллельно преподавал в Политехе. Он меня уговаривал, что это хорошее, перспективное направление, но я весь был в ракетах и авиадвигателях. Я сказал, что у меня есть еще один год до армии – еще годик подготовлюсь, а на следующий буду поступать повторно. Но, к сожалению, поступить не удалось, потому что в тот год, когда я собирался повторно поступать в институт, перешли на весенний и осенний призывы в армию. Приемные экзамены проходили в августе месяце, а в июне мне пришла повестка. Так что вместо сдачи экзаменов я попал в армию.

Я служил в радиотехнических войсках, был оператором на радиолокационной станции – это так называемая армейская аристократия. Шесть месяцев нас обучали в специальной школе, где мы осваивали эту технику. Потом меня отправили на точку, в Челябинскую область, где я три года работал на радиолокационной станции в качестве оператора. Конечно, мне было жалко терять три года. Но, с другой стороны, эти три года мне многое дали: я понял, что такое мужская дружба, что такое взаимовыручка. Кроме того, эти три года определили мою дальнейшую судьбу.

Когда мы с ребятами-операторами работали на этой радиолокационной станции, нашим делом было сидеть за монитором, следить за небом и находить самолеты противника. Мы считывали координаты самолета и передавали их на командный пункт, где принималось соответствующее решение. Радиолокационные станции в те времена были ламповыми и оснащались самыми простыми радиотехническими платами. Если какой-то блок выходил из строя, задача оператора состояла в том, чтобы этот блок выдернуть, вставить запасной и продолжать работать.

Чинить аппаратуру приходили специальные офицеры-техники, прикрепленные к нашей станции. Моим напарником был Сергей Абрамов, молодой парень из Усть-Каменогорска, который тоже закончил десятилетку. Если блок ломался, он вставлял другой. Потом, когда тревога заканчивалась, он садился, сам разбирал сломавшийся блок, искал причину, почему он не работает, что-то паял, чинил. Это не входило в его обязанности, но он этим занимался, ему это нравилось. Если ему надо было помочь, я помогал, честно выполняя все, что от меня требовалось. Но вот чтобы я сам проявил инициативу – нет, этого не было: мне это было просто неинтересно.

Я с удовольствием читал газеты, меня интересовали события, которые происходили в экономике. Как раз тогда состоялся знаменитый сентябрьский пленум 1965 года, на котором А.Н. Косыгин провозгласил хозяйственную реформу. Появились новые слова: «хозрасчет», «самоокупаемость», «рентабельность», «стимулирование». В газетах тогда много писали о новых тенденциях в экономике, и я с удовольствием об этом читал и слушал по радио. Меня это занимало гораздо больше, чем железки и их ремонт. Тогда я понял, что из меня, конечно, может получиться какой-нибудь инженер, но именно «какой-нибудь». Когда я демобилизовался, я начал задумываться о том, что мне надо приобретать экономическую специальность, и поступил на экономический факультет. В те времена на экономический факультет нужно было сдавать математику, историю, географию и сочинение. С русским и математикой у меня всегда все было хорошо. Что касается истории и географии, то пришлось поднять школьные учебники. Экзамены сдал успешно, поступил на экономический факультет Пермского государственного университета. Вот с тех пор я в экономической среде и обитаю.

Когда я учился в университете, меня поражала большая дифференциация в качестве преподавания, умения преподнести материал, способностях преподавателя заинтересовать студентов в своем предмете. Я понял, что есть люди интересные и есть неинтересные.

Если человек интересный, то он любой курс может преподавать так, что студенты его будут слушать затаив дыхание.

Конечно, на экономическом факультете были интересные преподаватели. У нас была изумительная преподавательница политэкономии капитализма – Нина Константиновна Петрова. «Капитал» Маркса в ее интерпретации воспринимался как роман со своей фабулой – интригой, кульминацией и развязкой. Материал излагался логично, красочно, культура речи была просто великолепной. На ее лекциях никто не шушукался, не разговаривал. Она умела концентрировать внимание студентов. Для меня манера ее преподавания является примером преподавательского мастерства. И еще на старших курсах мне запомнился маленький курс «Критика современных теорий капитализма», который вела профессор Паршикова. Западной-то литературы в те времена не было вообще никакой. Советская идеологическая машина работала на полную мощность и рассказывала нам про загнивающий капитализм, про то, что все у них там плохо, рабочие бедствуют и т.д. Изучая этот курс, мы многое узнали о реальном положении дел, нам понравилось, как красиво «загнивает» капиталистическое общество, что по-новому позволило взглянуть на «преимущества» социалистической системы. Это тоже внесло свой вклад в мое профессиональное самоопределение.

Но самое большое впечатление и самые яркие воспоминания у меня остались от Рэма Александровича Коренченко, который преподавал нам курс экономики промышленности. Он с увлечением рассказывал о новых методах хозяйствования, о фондах стимулирования, о том, что люди должны зарабатывать, что их труд должен вознаграждаться, что человек не должен сидеть только на окладе. Разумеется, какая-то базовая зарплата должна быть, но должно быть и экономическое стимулирование. Впервые мы услышали про бригадный подряд именно от него. Все это были косыгинские идеи. Причем Р.А. Коренченко свято верил в то, что в условиях социалистической системы и плановой экономики это можно реализовать.

Рэм Александрович вовлек меня в студенческую научную работу. У него я сначала писал курсовую, а потом готовил дипломную работу. Когда я написал курсовую, он сказал: «Хорошая работа, подавай ее на студенческий конкурс». Работа была посвящена вопросам оценки эффективности инвестиционных проектов. Честно говоря, мне самому трудно было оценить, хорошая это работа или плохая. На мой взгляд, я ничего нового не создал, а просто систематизировал материал и получил кое-какие результаты. А он мне на конкретных примерах объяснил, что это не совсем так, и предложил сделать по ней доклад. Это был мой первый доклад на студенческой научной конференции и моя первая студенческая публикация. Это было интересно, здорово, за что ему громадное спасибо. Потом были другие исследования, доклады и конференции, но первая запомнилась на всю жизнь. У меня появилось желание остаться в университете и продолжить обучение в аспирантуре. Но в те времена у Пермского университета своей аспирантуры не было.

И тут опять вмешался Его Величество Случай. Я закончил учиться в 1973 году. В это время вышло постановление партии и правительства, где говорилось, что в каждой автономной республике должен быть свой университет. И такие университеты возникли на базе прежних институтов. В Ижевске – это Удмуртская АССР – на базе педвуза создали университет, где был экономический факультет. Однако своих преподавателей по экономическим дисциплинам у них не было, и представители Удмуртского университета приехали в Пермский университет, чтобы пригласить хороших выпускников на преподавательскую работу. В Перми в те времена экономический факультет был, наверное, самым лучшим на Урале. Рэм Александрович меня им и порекомендовал.

Рэм Александрович познакомил меня с представителями Удмуртского университета. Они побеседовали со мной и пригласили к себе на работу. Я приехал к ним в августе, и они почти сразу же сказали мне, что направляют меня в очную аспирантуру в Московский институт

народного хозяйства имени Г.В. Плеханова. Вот так я оказался в аспирантуре в Плехановском институте. И там у меня началась настоящая исследовательская жизнь. Поэтому я и говорю, что жизнь – это цепочка случайностей.

Плешка в те времена была одним из самых сильных экономических вузов. Тогда там работали замечательные профессора: Лев Иосифович Итин, Соломон Ефремович Каменицер, Александр Михайлович Бирман. Их, наверное, сейчас никто не знает и не помнит, а мы в Пермском университете, как и вся страна, учились по их учебникам. И вот я поступил на кафедру С.Е. Каменицера по специальности «Организация и управление промышленным предприятием». Конечно, я смотрел на этих профессоров как на небожителей. Даже трудно себе представить, что мальчику из провинции выпало общаться с такими людьми. Заседания кафедры проходили очень интересно, аспиранты активно вовлекались в работу кафедры, в обсуждение диссертаций. На этой кафедре я познакомился с классической академической культурой. Я начал понимать, как надо преподавать, как разговаривать, как вести заседания кафедры и т.д.

Моим научным руководителем был профессор Соломон (Семен) Аронович Хейнман. На кафедре в Плехановском институте он работал на полставки, а основным местом его работы был Институт экономики Академии наук. Это человек с уникальной судьбой. В 1941 году он был репрессирован. Сам он об этом не рассказывал: я слышал его историю от других. С.А. Хейнман несколько лет провёл в Казахстане, после смерти Сталина был реабилитирован и вернулся в Москву. Он занимался вопросами интенсификации промышленного производства на основе внедрения в производство достижений науки и техники, что полностью совпадало с темой моей диссертации.

Общались мы с С.А. Хейнманом очень редко. Он был слишком занят, поэтому я оказался предоставлен самому себе. Но это приучало к самодисциплине. Я знал, что к определенному сроку должен сдать такой-то материал. Сданные материалы, как правило, подвергались

жесточайшей критике. После разговора с Соломоном Ароновичем я понимал, что я полный бездарь, что надо все переделывать. И я все переделывал в течение полутора-двух месяцев. В общем, это было довольно жестко. Он приучил меня тщательно готовить материал, обдумывать каждую фразу, следить за логичностью изложения материала, тщательно формулировать гипотезы, проводить их тестирование и делать выводы. Учитывая большую занятость С.А. Хейнмана, у меня по диссертации был соруководитель – Маргарита Викторовна Мельник, которая работала на кафедре и много мне помогала как в научной работе, так и в организационных делах.

При Институте имени Плеханова была хозрасчетная лаборатория, которая занималась выполнением заказов для промышленных предприятий. Меня пригласили туда поучаствовать в одном проекте, и потом, учась в аспирантуре, я все три года работал в этой лаборатории. Там я собирал фактический материал для своей диссертации, там я познакомился с реальными предприятиями, для которых мы делали исследования, там же по заданиям этих предприятий я ездил в командировки. Эти предприятия относились к электротехнической отрасли. Исследовательские работы вел Александр Семенович Паламарчук. Он учил меня тому, как нужно собирать данные, как их обрабатывать, как строить регрессии и т.д. Ведь в те времена курс эконометрики в вузах еще не читали.

К сожалению, Плехановская академия стала деградировать с середины 70-х годов. В 1975 году в Плехановский институт пришел новый ректор из ЦК КПСС – Борис Мочалов, который провел колоссальную чистку в институте, избавляясь от людей с неправильными фамилиями. Профессор Бирман уехал в Израиль и стал преподавать там. Профессор Каменицер ушел в Институт систем управления Академии наук. Профессор Итин тоже ушел. Короче говоря, выдавили, выжили всю старую профессию. Пришли более молодые – но это была уже совсем другая, совковая культура. К счастью, это совпало с последним годом моего обучения. В общем, я написал дис-

сертацию и благополучно ее защитил, уложившись в положенные три года. Потом вышло так, что я женился и в Удмуртский университет уже не вернулся. Остался работать в Москве, где и началась моя трудовая деятельность.

Когда я закончил аспирантуру и надо было трудоустроиваться, мои научные руководители пытались мне помочь. Была куча выпускников, которые закончили Плешку и работали в разных НИИ, и я мог воспользоваться их рекомендациями, попытаться устроиться на работу. Я прошел собеседование в пяти или семи НИИ, но получил в них такой культурный отказ: «Понимаете, вот была у нас одна вакансия, но теперь вроде бы ее как бы и нет...» И только один из работодателей сказал: «Понимаешь, фамилия у тебя не та».

Но мне повезло, и опять совершенно случайно. Существовал такой порядок: после окончания аспирантуры ты в течение трех месяцев должен был куда-то устроиться. И вот буквально в последний день я приехал к выпускнику нашей кафедры – Борису Абрамовичу Когану, который закончил аспирантуру несколько лет назад и теперь работал в отраслевом институте при Министерстве тракторного и сельскохозяйственного машиностроения. Представился, что я такой-то и такой-то, и он поинтересовался:

*– Чем ты занимался в аспирантуре, какая у тебя тема диссертации?*

*– Я занимался вопросами интенсификации, проблемами оценки эффективности инвестиционных проектов и хотел бы продолжить исследования в этом направлении.*

А он в ответ:

*– У меня отдел новых методов хозяйствования. Сейчас есть вакансия начальника лаборатории внутризаводского хозрасчета. Предлагаю тебе возглавить эту лабораторию.*

Я ему говорю:

*– Борис Абрамович, я в этом деле ничего не понимаю.*

А Коган:

*– Да ладно, осилишь. Но чтобы тебя приняли, нам сейчас надо поехать в министерство к начальнику планово-финансового управления. Если он скажет «да», то директор института тебя возьмет без всяких вопросов.*

И мы поехали. Этого человека звали Михаил Ульянович Слащилин. Мы с ним проговорили пятнадцать минут, а потом он спросил:

*– Борис, ты за него ручаешься?*

Коган ответил:

*– Да, ручаюсь.*

И тот написал свою резолюцию на заявлении: «Рекомендую принять». С этой визой мы пошли к директору института, потом в отдел кадров, и таким образом проблема была решена в течение одного дня. Я проработал в этом институте два с половиной года, занимался проблемами внутризаводского хозрасчета. Сейчас могу сказать, что это глупость полнейшая. Если там и было что-то хорошее, так это то, что на некоторых предприятиях мы сумели построить добротную систему учета затрат, что позволило четко контролировать издержки.

Но так как все мои интересы лежали в области интенсификации и оценки эффективности, то через два с половиной года я все-таки перешел на другую работу. Меня пригласили в Институт электротехники заниматься вопросами экономики научно-технического прогресса. Тогда это было модно и важно. Я согласился и пошел работать в этот отраслевой институт, где проработал порядка десяти лет. И там я столкнулся с очень интересным человеком – Александром Михайловичем Петровским. Это был начальник отдела электротехники в Государственном комитете по науке и технике СССР. Он много лет прожил за рубежом в качестве представителя России в торгпредстве. Находясь за рубежом, он познакомился с тамошним опытом управления, с другой системой ведения хозяйства. Александр Михайлович был очень интересным рассказчиком, от него я многое узнал о зарубежном

опыте организации научных исследований, о механизме взаимодействия научных структур с промышленными предприятиями. Из этих разговоров становилось понятно, почему у нас не внедряется новая техника и вследствие этого нарастает отставание от развитых стран.

Действовавшая в те времена система управления наукой и техникой была крайне неэффективна. Существовали разрозненные научно-исследовательские, конструкторские и проектные организации, которые плохо взаимодействовали между собой и с промышленными предприятиями. Каждый вел какую-то свою часть, не отвечая за все последующие. Отдельно выделялись финансовые средства на проведение НИР, отдельно на ОКР, отдельно на испытание и внедрение новой техники. Если по одному виду работ была экономия денежных средств, то перебросить их на другой вид работ было нельзя, и неиспользованные средства изымались в бюджет. Поэтому к концу года НИИ стремились все средства использовать, финансируя любые работы, в том числе и абсолютно ненужные. А у Александра Михайловича была идея увязать все это в единое целое. Сейчас, конечно, это громкие слова: «связь науки с производством» – но мы действительно пытались это сделать.

Благодаря настойчивости А.М. Петровского было принято постановление ЦК КПСС и Совмина СССР о проведении эксперимента в электротехнической промышленности. В электротехнике был впервые создан ЕФРНТ – Единый фонд развития науки и техники. Этот фонд был единым на весь научно-технический цикл. И соответственно можно было оперативно перекидывать деньги с фундаментальных исследований на прикладные, с прикладных на конструкторские. Это позволило более эффективно использовать финансовые ресурсы. Если в течение года средства ЕФРНТ полностью не использовались, то они не изымались, а переходили на следующий год. В результате прекратилось финансирование бесполезных разработок. Это – первое. Второе: нужно было изменить систему оплаты труда в научных организациях, чтобы стимулировать эффективность работы сотрудников. Люди сидели на окладе и получали зарплату вне зависимости от того, хорошо они

работали или плохо. Избавиться от тех, кто не работает, нельзя, потому что все это заверстано в штатное расписание. И тогда возникла идея: взять и отказаться от этого самого штатного расписания, то есть перейти на оплату труда, которая будет зависеть только от результатов деятельности. Под результатом понимали объем и качество выполненных работ. Может быть, сейчас это звучит тривиально, но тогда мы ввели такое понятие, как «цена научно-технической продукции». Разработчики знали: если они сделают проект и он будет востребован и реализован на предприятии, то они получают денежную сумму, которая определяется ценой научно-технической продукции. При этом было неважно, сколько человек принимало участие в проекте – пять или пятнадцать. Это позволило избавиться от балласта – людей, которые ничего не делали. А разработчики получали зарплату в зависимости от эффекта, который давал их проект. Мы перевели институты на новые условия оплаты труда. И люди, которые действительно работали, стали нормально зарабатывать.

Это было очень интересно. На базе этих разработок я защитил докторскую диссертацию. Но защищал я ее, уже не работая в электротехнической промышленности. Мне всегда нравилась преподавательская работа. Я хотел иметь больше свободного времени, чтобы читать книги, писать статьи, заниматься наукой. Когда началась горбачевская перестройка, меня пригласили на работу в Высшую партийную школу (ВППШ). Честно говоря, для человека с моей фамилией это было весьма неожиданно. Тогда партийное руководство поняло, что партийных работников нужно учить не только марксизму-ленинизму и партстроительству, но они должны обладать еще и какими-то экономическими знаниями. Это был 1989 год. В партийной школе тогда постоянно выступали Егор Яковлев, Тельман Гдлян, Борис Ельцин и другие. Это был такой рассадник крамолы, который боролся с окостенелой партийной бюрократией. Работать в ВППШ было интересно, так как слушателями были взрослые люди с богатым житейским и производственным опытом. Например, в одной из групп, где я вел занятия, учился Николай Травкин – человек, который первым в СССР перешел на бригадный подряд.

Потом наступил август 1991 года. Часть ребят, с которыми я работал на кафедре, а также некоторые слушатели, которые у нас учились, стояли вокруг Белого дома, защищая его на этих баррикадах. Когда 1 сентября мы пришли на работу в Высшую партийную школу, на входе стояли ребята с какими-то повязками, пэтэушники по внешнему виду. Они совершенно по-хамски сказали, что школа закрыта, а мы можем идти на все четыре стороны. Я ушел работать в Академию экономики, созданную вместо госплановских курсов при тогдашнем Министерстве экономики. Возглавил ее Вячеслав Константинович Сенчагов, бывший министр финансов, который и пригласил меня туда работать. Потом эта Академия экономики плавно влилась в Высшую школу экономики. Вот таким образом в 1993 году я попал в Вышку. Как говорит Ярослав Иванович Кузьминов, я достался Вышке по наследству вместе со зданием в Гнездниковском переулке. Естественно, работа в Высшей школе экономики предполагала определенную переподготовку. У Вышки тогда были весьма серьезные партнеры, у которых можно было стажироваться. Это Сорбонна и Роттердамский университет в Голландии. Я прошел серию стажировок в Великобритании, Франции, Голландии. К тому же существовала возможность получать оттуда книги и ксерокопии статей. Так что я опять активно учился.

Нужно иметь в виду, что фондового рынка тогда в России не было. Когда волею судеб случился 91-й год и в России началось развитие приватизационных процессов, то моего коллегу из Госкомитета по науке и технике Александра Казакова пригласили работать в Госкомимущество. Мы с Казаковым очень тесно общались раньше, когда я работал в электротехнической промышленности, много ездили по командировкам, вместе бывали на наших предприятиях. Ведь электротехническая промышленность – это практически вся карта страны. Его пригласили для реализации процессов, связанных с приватизацией государственного имущества и акционированием предприятий. И когда он стал начальником департамента, ему потребовалась методическая поддержка. Я на общественных началах стал там консуль-

тантом. Тогда существовало много нерешенных методических и организационных вопросов: например, как из государственного предприятия сделать акционерное общество. Нужно было придумать какой-то механизм трансформации, нужно было оценить, сколько это предприятие стоит, каким образом продавать акции – на аукционе или на конкурсе с инвестиционными условиями, и т.д. Не все, что я предлагал, было реализовано, так как существовали разные группы чиновников с различными интересами. Но, участвуя в обсуждении вопросов, связанных с акционированием предприятий, я столкнулся с реальными проблемами и способами решения этих проблем, что, безусловно, помогло мне в дальнейшем в подготовке учебных материалов по фондовому рынку.

Во время зарубежных стажировок мне удалось познакомиться с механизмом функционирования финансовых рынков в развитых странах. То, что для западных профессоров, наверное, было набором прописных истин, для меня оказалось совершенно новой областью. Мне опять пришлось учиться и осваивать новое направление финансовой науки, связанное с развитием фондового рынка, который в России только зарождался. В нашем университете был выстроен первый в России курс по ценным бумагам, потом выпущен учебник «Фондовый рынок», который к настоящему времени выдержал четыре издания. Сейчас учебник перерабатывается и готовится пятое его издание.

Таким образом, в Вышке я работаю уже двадцать лет. Существует теория, что человек каждые семь лет должен менять место работы, чтобы не останавливаться в своем развитии. Мне кажется, что это не относится к работникам нашего университета. Вышка сама постоянно меняется (даже чаще, чем раз в семь лет), и опять надо учиться, чтобы соответствовать новым требованиям. При этом в НИУ ВШЭ работают очень интересные люди – конечно, они не учителя, а коллеги, но и у коллег можно многому научиться.

# АЛЛА ФРИДМАН УЧИТЕЛЯ

---



Думаю, что в экономическую науку я попала не случайно – мой отец тоже занимается экономическими исследованиями, хотя он по образованию математик, но так судьба сложилась, что от сугубо математических исследований он перешел к прикладным и впоследствии стал работать в Центральном экономико-математическом институте (ЦЭМИ) в отделении математической экономики. Соответственно, я имела некоторое представление о том, чем занимается эта наука. В старших классах школы, решая, куда поступать, я точно знала лишь то, что хочу заниматься исследованиями. Этот выбор был, вероятно, предопределен средой: мы жили в микрорайоне, где все дома принадлежали Академии наук. Практически у всех моих одноклассников родители были кандидатами или докторами наук. Профессия ученого в нашей среде была весьма уважаема, и многие пошли в науку по стопам своих родителей. Решив связать свою жизнь с академической карьерой, мне оставалось определиться с направлением исследований. В старших классах школы наш гуманитарный класс взял лучший преподаватель математики – Матвей Иосифович Кричевский, благодаря которому я точно поняла, что математика не только прекрасна сама по себе, но и имеет множество сфер применения.

Я пыталась найти нужную сферу и начала ходить на различные кружки для школьников. Одним из таких кружков была Экономико-математическая школа (ЭМШ) при экономическом факультете МГУ, благодаря которой я и выбрала свою профессию.

В ЭМШ меня поразили чрезвычайно сильные и мотивированные школьники. Столь серьезной конкуренции я прежде никогда не встречала. На занятиях царила особая атмосфера: здесь учились, скорее, друг у друга. Мне казалось, что я попала в группу гениев. Особенно выделялся один мальчик, который мог решить почти любую задачу еще до того, как преподаватель формулировал вопрос. Забегая вперед, скажу, что этим мальчиком был будущий блестящий математик, лауреат премии Филдса Андрей Окуньков. В результате я твердо решила, что буду поступать именно на экономический факультет МГУ.

На факультете существовало несколько отделений, я выбрала то, которое было ближе к математике, – отделение экономической кибернетики. Первые два года мы в основном изучали только математические и гуманитарные дисциплины. На нашем курсе математический

анализ читал блестящий лектор – Игорь Алексеевич Кострикин. Экономистам зачастую преподают математику в весьма упрощенном виде, но Игорь Алексеевич никогда не просил нас принять какие-то результаты на веру: все теоремы приводились с полным доказательством. Уже закончив институт и работая преподавателем в Российской экономической школе (РЭШ), я не раз с благодарностью вспоминала Игоря Алексеевича: именно благодаря ему я могла обсуждать нюансы доказательств с выпускниками мехмата и физтеха.

После второго курса, когда математические дисциплины в основном закончились, а экономические толком не начались, я начала скучать и сожалеть, что не пошла, как некоторые мои одногруппники по ЭМШ, на факультет вычислительной математики и кибернетики.

На мое счастье, в это время начались первые попытки сотрудничества ЦЭМИ с экономическим факультетом МГУ, которые впоследствии переросли в создание базовой кафедры. В то время отдельные преподаватели из ЦЭМИ начали читать свои авторские курсы на факультете, причем преимущественно на старших курсах. И вот здесь мне опять помог отец: он подсказал, что на четвертом курсе начал читать цикл лекций замечательный ученый из ЦЭМИ и он, наверное, не будет возражать, если кто-то из третьекурсников будет ходить на его занятия. Я решила попробовать – и действительно, с первого занятия была очарована как предметом, так и лектором. Это был Виктор Меерович Полтерович, который впоследствии стал моим научным руководителем курсовых работ, дипломной работы и кандидатской диссертации. Даже по нынешним временам он читал довольно сложный курс (сегодня мы бы назвали это спецкурсом), а на фоне полного отсутствия (по вполне понятным причинам) классических базовых экономических предметов для нас знакомство с экономической наукой началось сразу же с моделей общего экономического равновесия, причем мы практически сразу перешли от классических версий к моделям с неравновесными ценами. Это было интересно не только с теоретической точки зрения,

но и крайне востребовано в свете тех реформ, в которые вступала страна. То, что было вокруг, – очереди за дефицитными товарами, механизмы квот, рационирование посредством талонов – в классе мы анализировали в рамках строгих математических моделей, что было интересно вдвойне. Мне крайне повезло, что мои университетские годы прошли в столь интересное время. Экономические преобразования, происходившие на наших глазах, были уникальны, а потому тематика переходной экономики стала на время ключевой в экономических исследованиях.

Когда пришла пора выбирать тему курсовой работы, сомнений в отношении научного руководителя не было. Начиная с третьего курса все работы я писала у Виктора Мееровича. Мне очень imponировал его четкий и продуманный подход к работе со студентами: рядом с каждой темой курсовой работы было указано, какими навыками нужно владеть (или приобрести) студенту для успешной реализации данного проекта, какие статьи следует прочитать. Наша совместная работа началась с анализа механизма очередей как способа рационирования дефицита и активно обсуждавшейся в то время реформы цен. Год от года тематика моих работ изменялась примерно так же, как менялась окружающая жизнь. Постепенно развивалась система рыночной торговли: наряду с товарами, продаваемыми по фиксированным низким ценам, появлялась возможность приобрести такие же товары по более высоким ценам в так называемом коммерческом секторе. Причина сосуществования этих «параллельных» рынков крылась в ограниченности предложения товаров, продаваемых по низким ценам: в результате приобретение дешевых товаров оборачивалось огромными очередями, которые балансировали спрос и предложение. Время в очередях служило своеобразной теневой ценой. Эта проблема параллельного функционирования двух рынков стала темой моей следующей курсовой, которая впоследствии вылилась в дипломный проект.

После окончания университета многие мои однокурсники пошли работать в только-только появившийся новый сектор экономики – коммерческие банки.



Однако эти новые веяния не заставили меня свернуть с намеченного пути академической карьеры: возможно, я просто чувствовала, что должна в первую очередь реализовать ожидания родителей, а потому сразу после окончания университета поступила в аспирантуру МГУ. И вот тут мне еще раз невероятно повезло. В 1992 году директор ЦЭМИ В.Л. Макаров вместе с профессором Иерусалимского университета Гуром Офером создали учебное заведение нового типа – Российскую экономическую школу. Когда появляется новое учебное заведение, конечно, встает вопрос о том, кто там будет преподавать. Предполагалось, что лекции будут читать приглашенные из западных университетов профессора, но приехать они могут только на достаточно короткий период времени, а потому нужны люди, которые обеспечат преемственность преподавания, то есть те, кого мы называем семинаристами. Так как мой научный руководитель В.М. Полтерович как член академического комитета школы принимал активное участие в формировании программы курсов и подборе преподавателей, он пригласил меня в качестве одного из таких семинаристов.

Многие из первых студентов были старше меня, потому что РЭШ предлагала магистерскую программу, на которую поступали люди, уже имеющие высшее образование. Работать было очень непросто: сама наука для меня была новой (сначала был курс микроэкономики, потом к нему присоединился курс макроэкономики). Те элементы экономики, которые я изучала в университете, лежали, как нынче говорят, не в мейнстриме, а какие-то базовые вещи предполагались столь элементарными, что мне их никто никогда не объяснял, и я не имела четкого представления о том, как надо об этих понятиях рассказывать студентам.

Учебный год в РЭШ был разделен на пять модулей, и за это время мне удавалось поработать с пятью разными профессорами. Первые иностранные профессора запомнились больше всего, многие из них впоследствии еще не раз приезжали в РЭШ, а затем сотрудничали с ВШЭ. Первым преподавателем, с которым мне пришлось

работать, был профессор London Metropolitan University Амос Витцтум. Его лекции производят неизгладимое впечатление на всех слушателей и сегодня: любое занятие в его исполнении превращается в мини-спектакль, причем каждый студент в этом представлении не зритель, а активный участник. Несколько лет подряд учебный год в РЭШ начинался с лекций Амоса Витцтума, который не просто выступал в роли приглашенного профессора, но и активно участвовал во всех сторонах деятельности РЭШ. Приезжая, он находил время, чтобы лично побеседовать с каждым студентом. Мое первое сотрудничество с ВШЭ началось именно благодаря знакомству с Амосом: он был одним из инициаторов создания МИЭФ, совместного проекта ВШЭ и Лондонского университета, и пригласил меня преподавать в МИЭФ, где наше сотрудничество продолжается и сегодня.

Благодаря работе в РЭШ мне выпала уникальная возможность познакомиться с выдающимся ученым и блестящим преподавателем – Доном Патинкиным. Он приезжал в РЭШ, уже будучи на пенсии, но при этом у него было какое-то невероятное количество энергии. Он не просто читал лекции, но и много времени проводил в беседах с преподавателями, обучая нас педагогическому мастерству: объяснял, как лучше формулировать задания для семинарских занятий и как составлять задачи для экзаменов. При этом никогда не давил своим авторитетом, позволяя нам учиться на своих ошибках. Он мог точно предсказать, какая доля студентов сможет ответить на тот или иной вопрос. Если мы с ним не соглашались, то он заключал с нами пари, которое, как правило, выигрывал. Вспоминая мой первый опыт преподавания, считаю, что очень многому меня научили именно Амос Витцтум и Дон Патинкин.

Несколько курсов в РЭШ читал Виктор Меерович Полтерович, так что мне удалось не только слушать его лекции, будучи студенткой, но и посещать его занятия, будучи преподавателем, ведущим семинарские занятия (в РЭШ ассистенты старались посещать все лекции по курсу, на котором они работали).

Узнав, что Виктор Меерович будет читать курс по экономическому росту, я была несколько удивлена, так как ранее он занимался преимущественно микроэкономической проблематикой. Предложенный Виктором Мееровичем вариант чтения курса оказался весьма непохожим на традиционные: Виктор Меерович сумел не только преподнести стандартные, описанные в учебниках модели, но и показать, как много важных деталей остается за рамками этих исследований. По сути, он успевал, читая курс, подкинуть целый ряд идей относительно новых направлений исследований.

Работать с Виктором Мееровичем не так просто: у него очень высокий уровень требований, как к себе, так и к своим ученикам. Соответствовать этим требованиям удается далеко не всегда. Однако если Виктор Меерович одобрил вашу работу, то можете быть уверены в ее высоком качестве. Сегодня мы с Виктором Мееровичем работаем в разных учебных заведениях и занимаемся разными исследовательскими проблемами, но его кругозор столь широк, что за советом я по-прежнему обращаюсь к нему.

# ВЛАДИМИР ГИМШЕЛЬСОН

## УЧИТЕЛЯ

---



Когда я учился в школе, я не знал, что такое экономическая наука, а хотел быть историком, как мои родители. Отец у меня был довольно известным историком, автором многих книг. Друзья родителей в основном тоже были историками, и вырос я в исторической среде – в центре, в Замоскворечье. Дом все время был полон гостей, у нас постоянно бывали коллеги родителей, я все время слышал их разговоры, многих очень известных историков знал. Я не могу сказать, что много читал исторических книг, у меня были разные увлечения, не связанные непосредственно с историей. Но поскольку я в этой среде существовал, то очень любил присутствовать при разговорах взрослых. Там, в частности, обсуждали разные исторические темы, часто шли горячие споры, и я был если и не начитан, то наслушан. Для меня это было совершенно естественно.

У родителей была достаточно сложная жизнь. Они попали – пусть не в полной мере – под каток борьбы с космополитизмом. Они тогда были совсем молодыми людьми, недавними выпускниками исторического факультета МГУ. Это был первый послевоенный выпуск истфака. У них отношение к профессии, с одной стороны,

было очень серьезное, а с другой – они, конечно, хорошо понимали все особенности существования в ней в те годы. Моя мать с горькой иронией говорила так: «Мы – не ученые, мы – попу-лизаторы». Когда я сказал, что хочу быть историком – в старших классах уже нужно было принимать решение, куда идти, – родители ответили мне, что заниматься историей в Советском Союзе невозможно, что фактически такой профессии нет. Отец ведь занимался советским периодом, Гражданской войной и хорошо понимал все существовавшие ограничения. Одна из наиболее важных для него книг из тех, которые он написал, была про военный коммунизм. В общем, они не хотели, чтобы я шел по этой линии, тем более что в университете тогда заправляли люди, которые гнобили их в свое время как космополитов и учеников космополитов. Родители понимали, что у меня там будут всякие дополнительные трудности, поэтому пытались сориентировать на какую-то техническую область. И в результате я поступил в Московский авиационный институт на экономический факультет. На экономический факультет МГУ я по разным причинам не решился поступать, к тому же мы тогда еще не очень понимали разницу. Короче говоря, я оказался в авиационном

институте на экономическом факультете. Хороший или плохой это был факультет, сказать сложно. Смотря для чего. Это были 70-е годы. Ну какая тогда была экономика?! Все так или иначе сводилось к инженерии планирования. Разница только в том, планировать на уровне народного хозяйства в целом или планировать на уровне отрасли, а это в конце концов не самое принципиальное различие. Естественно, наш факультет был связан с промышленностью.

Довольно быстро я понял, что ничего технического я изучать и делать не хочу. Отраслевая экономика в том исполнении как таковая меня тоже очень мало привлекала. Я интуитивно начал двигаться в сторону чего-то связанного, как я уже потом понял, с социологией. Поэтому во время учебы у меня никаких особых учителей, повлиявших на мою жизнь, не было. Разумеется, там были интересные люди, но для этого нужно было уходить в сторону от той кафедры, которая для меня была профилирующей. То направление, которое я сам для себя интуитивно выбрал, наверное, связано было с тем, что я все-таки вырос в гуманитарной среде. Этот фактор на меня как-то подспудно влиял. И где-то на третьем курсе я придумал свое социологическое исследование. Я много и беспорядочно читал, а мой отец как доктор наук имел абонемент в Ленинке. Этим абонементом я активно пользовался и имел доступ ко всему, что там выдавалось на дом. В итоге начал заниматься социологией труда. Я выбрал это направление еще и потому, что на факультете, где я учился, была кафедра, на которой люди в каком-то виде занимались тогдашней экономикой и социологией труда. В то время это мало различалось, но уже были работы на эту тему, в частности новосибирские исследования под руководством Т.И. Заславской по трудовой мобильности и т.д. И про это, собственно, было и мое исследование: про текучесть кадров в промышленности, то есть про трудовую мобильность. Интересно, сколько лет прошло, а мы сейчас здесь, в Вышке, начинаем проект, который так и называется: «Мобильность и стабильность на рынке труда». Конечно, содержание совсем иное, но названия перекликаются.

Как я понимал, надо было разработать анкету и провести опрос промышленных рабочих. Но где? Это было совсем непонятно. Институт был связан с авиационными предприятиями, которые все были очень закрытыми, режимными, и туда попасть было невозможно. Мое увлечение оставалось моим личным делом. И вот как-то – это было на третьем курсе – подходит ко мне однокурсник, который учился в параллельной группе, и говорит:

*– Я слышал, что ты собираешься проводить вот такое социологическое исследование. А можно, я к тебе присоединюсь?*

Я:

*– Ну, пожалуйста. Правда, я не знаю, как и где.*

Он:

*– Это ничего. Мой папа нам поможет.*

До этого я его-то почти не знал, а кем был его папа – тем более. И вот мы с ним вместе – в основном я этим занимался – разработали анкету для опроса рабочих. Распечатали на ксероксе 200 штук, и надо было куда-то ехать и опрашивать рабочих, довольны ли они работой, хотят ее сменить или нет. А если хотят, то почему, и т.д. В общем, мы с ним договорились и поехали. У нас не было никаких документов, кроме студенческих билетов, мы – никто. Приезжаем мы на один авиационный завод. Мой товарищ ведет меня к начальнику отдела кадров. Заходим. Говорим секретарю, что мы такой-то и такой-то. Секретарь вызывает какого-то заместителя директора. Он приходит и встречает нас как каких-то очень важных людей. А я тогда еще ничего не знал. В результате мы получили доступ на этот завод, получили доступ к спискам рабочих, построили выборку, провели опрос, собрали данные, и эти данные потом стали основой моей дипломной работы. Позднее я узнал, что отец моего товарища работал в Министерстве авиационной промышленности на очень высокой должности – курировал все вопросы, связанные с кадрами.

Теперь о том, что на меня оказало влияние. Конечно, литература. Прежде всего Новосибирская социологическая школа, работы Татьяны Ивановны Заславской и ее коллег. Что касается зарубежной литературы, то английского я тогда совсем не знал: учился в немецкой спецшколе. Ну, и литературы-то никакой тогда не было. Я читал все советское. Исследования, которые проводили социологи и экономисты в Новосибирске, в московском НИИ труда, социологи и психологи в Ленинграде, работы В.А. Ядова и его коллег – все это я пытался прочитать, переварить и уложить в себе. Во всяком случае, то, что мог найти у нас или что попадалось.

Институт я закончил в 1979 году, и когда я его закончил, попал в такую полусоциологию-полуэкономику: работал в организации, которая очень странно называлась – Институт экономических проблем Москвы. Но диссертацию я писал в Экономическом институте при Госплане СССР. Это было в первой половине 80-х. Моим научным руководителем был Валерий Максевич Рутгайзер, человек, который в то время находился на пике известности и славы: доктор наук, профессор, каждый месяц в центральных журналах выходили его статьи. Я был одним из его многочисленных аспирантов, но не был его сотрудником. Я работал в одном институте, он – в другом, но моими непосредственными учителями были те, кто с ним работал, его молодые коллеги, с которыми я дружил. Диссертацию я защитил в 1986 году. Она была про Москву и на московском материале. В ее основе лежал значительный эмпирический материал. В этом была заслуга моего научного руководителя. Он помог получить первичные данные в Госкомстате, и эти первичные данные я уже использовал для дальнейшего анализа. Сегодня я понимаю, что многие вещи делал тогда совершенно наивно, по-детски. Но, учитывая, что я все это делал практически вслепую и без соответствующего теоретического образования, мне и сейчас не стыдно за то, что у меня тогда получилось.

Моя диссертация была посвящена бюджетам времени. В моем распоряжении оказались бюджеты времени

москвичей за 80-й год – именно тогда было проведено последнее обследование Госкомстата. Обследования бюджетов времени в СССР изучали, начиная с академика Струмилина. Но и до С.Г. Струмилина уже были такого рода обследования. Интересно, что один из разделов диссертации получился историческим (по-видимому, мое историческое окружение сыграло свою роль): я собрал бюджеты времени за разные десятилетия. Поскольку единицей измерения все равно являются «час», «минута» и ничего другого, то даже обследования, собранные по разной программе и в разные годы, оказываются более сопоставимыми, чем простые социологические обследования. Я восстановил этот ряд, и мы с коллегой написали статью, которая затем вышла в журнале «История СССР», кажется в 1986 году. Статья называлась «Использование вне рабочего времени москвичей (20–80-е годы)». Отец смотрел на это с любопытством. Кстати, он сам, несмотря на то что наши профессиональные интересы были совершенно разными, был моим главным учителем. Это касалось не только отношения к науке в целом, но и того особого отношения к языку, которым научная работа должна излагаться. Он учил меня писать и многократно переписывать один и тот же текст, считая, что хорошее исследование должно быть обязательно прозрачно написано и легко читаться. Эти уроки я передаю сейчас своим ученикам.

Моя кандидатская была сделана на стыке экономики, социологии, экономической географии, потому что я занимался городом. В частности, пытался понять, как образ жизни, измеряемый в показателях использования времени, формируется под воздействием городской среды, внутри которой человек живет. Городская среда характеризовалась показателями близости разных инфраструктурных элементов, территориальной связности города, доступности работы и т.д. Московские градостроители имели такую систему показателей. Вот у нас есть городская среда в ее инфраструктурном разнообразии, и нужно понять, как она влияет на жизнь людей, в терминах бюджета времени и его структуры. Затем я написал книгу в соавторстве с другим аспирантом

Рутгайзера, Сергеем Шпилько – он теперь московский министр. А тогда он был такой же мнс и аспирант. Мы «поженили» две наши диссертации в книге под названием «Москвичи после работы». Это было в конце 80-х. Название было навеяно очень известной тогда книгой «Человек после работы» Гордона и Клопова.

В 1986 году я защитил диссертацию, а через год после этого получил приглашение от людей, которые в этой области для меня были кумирами. Это – Л.А. Гордон и Э.В. Клопов. И с 1987 года я работал в ИМРД<sup>1</sup> вместе с ними. Это было очень интересно – совершенно другая среда и совершенно другие люди. Очень яркие, очень умные. Л. Гордон просто фонтанировал идеями, у него каждую минуту рождались новые. Э. Клопов был человек более спокойный, рассудочный и часто эти идеи критиковал и приземлял, но зато он помогал отшелушить эмоции от того, что реально можно и стоит делать. Дискуссии тогда в отделе были просто замечательные, и сам отдел был очень интересный. В отделе тогда активно работала Алла Константиновна Назимова, Александр Самойлович Ахиезер работал в этом же отделе. В ИМРД вообще было очень много разных интересных людей с критическим взглядом на тогдашнюю советскую жизнь. Было кого слушать и у кого учиться. Например, у Гордона я учился широко смотреть на вещи, хотя не все принимал и не со всем соглашался. Л. Гордон никогда не был рабом цифр, его, конечно, прежде всего привлекали большие социальные идеи. Цифры высекали из него искры, а дальше он улетал в свободный полет и поднимался выше облаков. Он рисовал глобальные картины, у него в голове возникали теории, а дополнительные цифры нужны были только для того, чтобы их проиллюстрировать. Но это действительно были интеллектуальный полет и постоянная работа ума, которая не прекращалась никогда. Он приглашал часто к себе в гости, я участвовал во многих посиделках у него на кухне, и это всегда было интеллектуальное пиршество, возникало

ощущение, что ты присутствуешь на фабрике мысли. Все время голова работает, все время что-то обсуждается, какие-то гипотезы выдвигаются, какие-то исторические параллели находятся.

Э.В. Клопов по характеру был совершенно другим человеком. Он был гораздо больше укоренен в фактах, цифрах и старался держаться ближе к ним. Но вместе они были замечательным исследовательским тандемом. Кроме знаменитого «Человека после работы» у них было много совместных работ, написанных в разное время. Но, наверное, я согласен с тем, что эта книга – лучшая. По сравнению с более поздними книгами она самая фундированная с точки зрения эмпирического материала. Потом вот эта тяга в небо – она стала проявляться сильнее. Я не хочу сказать, что это плохо, просто это был уже другой жанр. В этом смысле Клопов с его, может быть, большей эмпирической укорененностью был мне ближе, но работать с ними обоими – это была школа. Я бы не назвал себя их учеником, но что я у них многому учился и научился – это, наверное, так. Что-то я у них взял, а что-то меня от них оттолкнуло. Когда мы учимся, это ведь не означает, что мы строго следуем за кем-то. Это часто означает, что для себя мы делаем вывод, что так мы делать не будем, мы будем делать по-другому. Может быть, так и правильно было бы делать, но мы для себя в силу каких-то обстоятельств выбираем другую дорогу.

В 90-м году появились планы проведения совместного исследования с Аленом Туреном, настоящим классиком французской социологии. Под это дело Центр Турена дал одно место для стажировки в Париже, и в итоге вышло так, что я поехал в Париж. В Париже в 1991 году я провел полгода. Главным итогом участия и в этом проекте, и в этой стажировке для меня стало то, что я понял: такой социологией, как у них, я заниматься не хочу. На меня все это произвело впечатление секты.

---

<sup>1</sup> Институт международного рабочего движения.

Это была группа людей, которая говорит на своем языке и в общем живет в своем мире. Потом я слышал от многих людей, что это вообще характерно для французской социологии, что все ведущие французские социологи – лидеры своих сект. Я не хочу сказать, что это плохо. Может быть, я был недостаточно образован, может быть, я многого не понимал, но у меня возникло определенное разочарование. Потому что мне сама методология Турена и его теория – а они очень тесно переплетены – казались очень искусственными, надуманными, абсолютно невоспроизводимыми. И если такое исследование будет делать другой человек, он может получить совершенно другие результаты.

Вскоре после того как я вернулся из Франции, вся наша исследовательская группа перешла в ИМЭМО, в отдел, которым заведовал Г.Г. Дилигенский. Но почти сразу я уехал на год в Гарвард. Гарвард меня потряс – это место огромной интеллектуальной концентрации. Гарвардский университет, рядом Массачусетский технологический институт, недалеко Бостонский, Северо-Восточный университет, Университет Тафтса – в общем, все они рядом. И этот список можно продолжать и продолжать. Везде интересные люди, которые собираются на одних и тех же семинарах, на одних и тех же мероприятиях. Семинары шли один за другим, и хотелось быть везде. В Москве в то время, конечно, ничего подобного не было. И я там себя чувствовал очень хорошо. Я мог ходить и слушать все, что хотел, мог делать то, что хотел, и в этом смысле я был в идеальных условиях. У меня не было никаких фиксированных обязательств. Условно я был прикреплен к Центру российских исследований (сейчас это Дэвис-Центр российских исследований). В самом Центре и рядом с ним также было много интересных людей, в том числе старшего поколения: экономисты А. Бергсон и Д. Берлинер, политолог А. Улам.

Джо Берлинер – это особая история. С его книг на Западе началось понимание того, как устроена плановая экономика и плановая система. До его работ американцы

мало что знали об этом. Он участвовал во Второй мировой войне – был переводчиком в американской армии, потому что знал русский язык. А в конце войны в американской и британской зоне оккупации оказалось очень много наших военнопленных, которые раньше были в немецком плену. И тогда, видимо с участием ЦРУ, был реализован проект по интервьюированию наших бывших военнопленных. Берлинер сначала участвовал в нем как переводчик, а затем уже как исследователь. Он интервьюировал наших инженеров и рабочих, ушедших на фронт, попавших в немецкий плен и освобожденных союзниками. На основе этих интервью была написана книга «Factory and Manager in the USSR». Если не ошибаюсь, книга вышла в 1957 году и была эдакой анатомией советского промышленного производства, написанной американским экономистом с помощью этнографической методологии. После этой он написал много других книг. Он был очень интересным человеком, со своей позицией по поводу реформ.

При всей свободе от жестких обязательств и сроков сдачи чего-либо жизнь там была напряженной и насыщенной. Я почти ежедневно посещал семинары и лекции. Например, Янош Корнаи вел в Гарварде семинар для аспирантов, и к нему приходили ведущие американские экономисты, которые тогда каким-то образом касались вопросов, связанных с переходными экономиками. Поскольку реформы в Восточной Европе только начинались, то они вызывали большой интерес, ожидания, споры. Каждое новое исследование собирало аудиторию. Вокруг Центра российских исследований тогда было много людей, которые так или иначе были связаны с Россией. В его холле и библиотеке многие говорили по-русски, там всегда было российское телевидение, богатая библиотека. Так что, с одной стороны, ты мог чувствовать себя в Америке, а с другой стороны, почти как дома. Всеобщего интернета даже там тогда еще не было, а электронная почта только начиналась. За время пребывания в Гарварде я написал несколько статей, которые затем были опубликованы в американских журналах. Я совершил над собой усилие и начал писать

на английском языке. В каком-то смысле я в Гарварде определился с тем, что буду делать дальше. Кроме того, я уехал туда со средненьким знанием английского, а вернулся с вполне функциональным. В будущем это мне очень пригодилось.

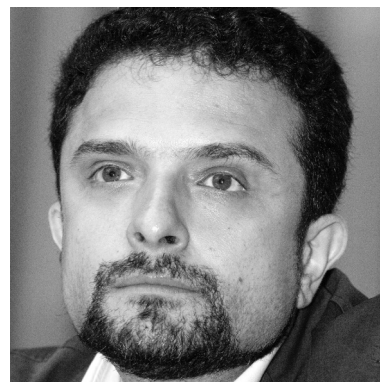
Если говорить о том, у кого мы учимся, то совершенно неожиданным образом мы учимся у тех, кто оказывается рядом. Со мной, собственно, всегда так и происходило. В Гарварде вокруг меня было несколько молодых аспирантов, у которых научными руководителями были ведущие ученые, а темы были связаны с экономикой и политикой России. Шел 1994 год, и тогда это было модно. Я им что-то рассказывал про Россию, а они мне что-то рассказывали про научные теории, о которых я имел смутное представление. Таким образом мы обогащали друг друга. Один из них – это Дэниел Трейсман, ныне профессор Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (UCLA), член Международного консультативного комитета в Вышке. А второй из этих тогда совсем молодых людей – Тим Фрай, который теперь профессор и директор Гарримановского института в Колумбийском университете в Нью-Йорке, директор Международного центра исследования институтов и развития в Высшей школе экономики. Оба они сегодня ведущие ученые в области политической экономии, признанные во всем мире. А тогда мы вместе пили пиво, играли в теннис и, по возможности, учили друг друга.

В середине 1994 года я вернулся в Москву, и вскоре началась череда поездок. Я старался учиться у тех, кто мне попадался на дороге. А дорога была такая, что на ней встречалось очень много интересных людей. Стажировка в Лондонской школе экономики, затем год работы с Яношем Корнаи в Будапеште, год преподавания в Университете Токио. В промежутках сотрудничал с ОЭСР в лице замечательного Дага Липпольдта. Он стал мне и другом, и во многом учителем, и соавтором: наша с ним книга «The Russian Labor Market between Transition and Turmoil» вышла в США в 2001 году.

Но было бы неверно сказать, что на этом учеба закончилась. В 2001 году я перешел на работу в ВШЭ, и начался новый курс учебы, который продолжается и поныне. Здесь есть у кого учиться не только студентам, но и профессорам. Перечислять всех не имеет смысла – список длинный. Скажу только, что, работая вместе с Р. Капелюшниковым, стараюсь учиться у него. Прежде всего глубине, основательности и нетривиальности мышления. Сегодня у нас есть свои ученики, которых мы учим, но и сами учимся у них. В частности, приобретаем те знания, которые в наши студенческие годы были недоступны, а сейчас являются частью образовательного стандарта.



# АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ УЧИТЕЛЯ



Прежде чем начать разговор о моих академических учителях, я хотел бы сказать хотя бы несколько слов о Зинаиде Николаевне Новлянской, в руки которой я попал во Дворце пионеров в сентябре 1976 года. До этого я вообще не собирался заниматься ничем, что связано с литературой, и шел записываться в кружок художественный. Но в итоге оттуда сбежал, потому что встреча с Зинаидой Николаевной оказалась судьбоносной. Она просто развернула меня в правильном направлении.

А первый из моих академических учителей, конечно, Валентин Иванович Коровин, ныне здравствующий, слава Богу. Многие знают его как автора школьных учебников, выходящих под его редакцией и редакцией его жены Веры Яновны Коровиной. Но для меня он стал учителем не только потому, что в Ленинском педагогическом институте, где я учился, было негусто с крупными литературоведами, к числу которых относится Валентин Иванович, но и по другим причинам. Шел 1979 год, когда я поступил в институт и сразу угодил в студенческий научный кружок, который вел Валентин Иванович. Там мы, как положено юным интеллектуалам, презирали всех, кто занимался чем бы то ни было,

кроме XIX и XVIII веков, в крайнем случае древнерусской литературы: заниматься современностью считалось ниже собственного достоинства. И в первые же зимние каникулы Коровин собрал нас всех и повез в Михайловское. Пустое Михайловское: зимой туда никто не ездил, в гостинице, по-моему, кроме нас, никого не было. Пустые пространства, открытые настежь, ледяная солнечная русская зима – и абсолютно свободные разговоры обо всем: от только что совершившегося ввода войск в Афганистан до высылки Сахарова в Нижний Новгород. Опять же нужно понимать, что не всякий преподаватель в 1979–1980 годах решался со своими студентами говорить о таких вещах, но особенно редко это случалось в педагогическом, потому что, в отличие от Московского университета, педагогический жил совсем уж «под колпаком». Учитель был идеологическим работником. То, что спускали академическому ученому, в учительском институте запросто могло закончиться исключением; соответственно, и преподаватель рисковал в разы больше. И вот эта двойная встреча: человек, который, с одной стороны, способен направить тебя по академической стезе в нужном направлении, а с другой – готов вводить тебя в политический, социальный,

исторический контекст, – это и есть, мне кажется, настоящий профессор. Настоящий профессор – это не тот, кто дает полунанучные знания, стоя на раздате компетенций, а тот, кто берет тебя за руку и вводит в мир свободной циркуляции научных идей. Я подчеркиваю – свободной, потому что человек, гуманный уж точно, не может мыслить о прошлом, не чувствуя настоящего, не переживая его, не соприкасаясь с ним. Вот в этом смысле, конечно, Валентин Иванович Коровин был для меня фигурой невероятно важной.

Как-то так вышло, что, когда я потом у него защищал диссертацию, кто-то где-то какие-то бумажки забыл оформить, и уже перед самой защитой выяснилось, что он не может быть моим официальным научным руководителем, хотя всю дорогу мною руководил. Как бы поступил амбициозный, жесткий академический жлоб? Он бы, несомненно, отказался от такого соискателя. Ну согласитесь, что это обидно. Нет, Коровин спокойно посмотрел на бумажки: «Ну что же, – сказал он. – Значит, просто в вашей диссертации будет написано, что вы писали ее самостоятельно». Что мы, собственно говоря, и сделали: в моем автореферате и диссертации отсутствует такая позиция, как научный руководитель. Это тоже урок. Как-то на одном институциональном анализе Евгения Григорьевича Ясина Надежда Михайловна Лебедева, занимающаяся культурно-историческими стереотипами цивилизаций, спросила всех присутствовавших там и ратовавших за модернизацию: «А вот согласились бы вы, чтобы в работе вашего ученика не было ссылок на ваши научные работы?» На что я с чистой совестью ответил, что мне лично все равно. «Тогда, – сказала она, – у вас модернизированное сознание». Но вот в 1979-м, повстречав Валентина Ивановича Коровина, я в разгар советской власти увидел человека, у которого сознание было «модернизированным» с самого начала: для которого научный результат важнее имени в списке официально причастных к этому результату и который понимает, что научная жизнь без академической вольницы невозможна. Даже если университетской автономии у нас не было и до сих пор нет, эту университетскую

автономию нужно создавать снизу – вокруг своих учеников, погружая их, как в физиологический раствор, в чувство научной, политической и исторической свободы.

Мое поколение в массе своей росло не то что аполитичным, а антиисторичным. Мы занимались вроде бы историческими сюжетами, но как устроена история, мы не понимали, потому что мы жили за ее пределами – она еще не вторглась в нашу жизнь. Мы с историей как с реальным, бурно протекающим процессом столкнулись позже – в 1985–1986 годах. Но те из нас, кто оказался внутренне готов к переменам, были готовы именно потому, что им на пути встретились люди, заранее открывшие для них дверь в это неизведанное историческое пространство. В гуманитарном знании (может быть, и в точных науках) невозможна преемственность без того, чтобы кто-то лично тебе этот опыт передал. По книжкам можно восстановить картину мира. По книжкам можно узнать очень много. В конечном счете, если деваться некуда, то по книжкам можно и ученым стать, но в научную традицию кто-то должен тебя ввести. И вот Валентин Иванович Коровин – тот человек, который меня туда ввел, и дай ему Бог всяческого здоровья.

Кроме того, должно быть еще везение – встреча с теми, кто превратит тебя в равноправного коллегу, сделав шаг навстречу, несмотря на разницу в возрасте, несмотря на разницу в опыте. У меня было две таких встречи. Году, наверное, в 1983-м журнал «Вопросы литературы» мне, тогда еще студенту, дал возможность взять интервью у будущего академика Сергея Сергеевича Аверинцева, выдающегося византиниста, переводчика. И я ничтоже сумняшеся пришел к нему в Институт мировой литературы, где он заведовал сектором, и начал брать у него интервью. Брал-брал, брал-брал, а потом он сказал: «Знаете что? Давайте я лучше буду сам писать ответы на ваши вопросы. Вы ко мне приходите – я буду писать». Я приходил к нему домой (а жил он на Юго-Западе), Аверинцев садился за пишущую машинку и на каждый мой вопрос писал ответ, потом выкручивал бумагу из пишущей машинки, рвал ее на части, начинал писать заново –

в общем, больше одного ответа за один раз мы не проходили, а иногда и этого не случалось. Месяцев восемь или девять я вот так к нему ходил, и постепенно это превратилось в незаслуженное счастье общения, потому что ясно, что, когда ты вот так приходишь и разговариваешь, тыходишь в какой-то иной мир. Не на равных, даже совсем не на равных, но тем не менее ты близко, ты здесь, ты видишь этого человека не на трибуне, не на университетской кафедре... На кафедре тогда было сумасшедшее время, потому что на Аверинцева в Московский университет приходили толпами, только что на люстрах не висели. И он своим скрипучим голосом, занудливо, въедливо рассказывал, что ключевым социологическим инструментом для того, чтобы замерить, какие поэты были популярны в римскую эпоху, являются надписи на сохранившихся стенах римских сортиров: потому что если цитируют в сортире, значит, на слуху у всех. Ну, это он так пошучивал, а дальше уходил вглубь, вглубь, вглубь, и это, конечно, было уже присутствие: ты видел, как мыслит по-настоящему большой ученый, видел процесс его размышления. Не только результат: не только книгу, не только статью – но именно саму ситуацию рождения идеи. Вряд ли этому можно научиться, но само свидетельство значимо за пределами.

А следующая встреча, которая тоже для меня оказалась пожизненно важной, произошла на несколько лет позже. Я уже защитился, работал в журнале «Дружба народов» и решил – поскольку тогда все перепечатывали старые книжки, давным-давно вышедшие на Западе, но по цензурным соображениям не издававшиеся в СССР, – напечатать книжку знаменитого французско-швейцарского слависта Жоржа Нива о Солженицыне. По его многотомной «Истории русской литературы» французы до сих пор знакомятся с тем, что было у нас от древнерусской до современной литературы. Подружившись с Нива, я работал потом довольно долго в Женевском университете, читал лекции в летние trimestры. Книжку о Солженицыне перевел сын классика еврейской литературы Симон Маркиш, который работал там же, на кафедре Нива, и просто стал моим близким другом.

Через Маркиша я вышел на первых публикаторов романа Гроссмана «Жизнь и судьба». К нему приезжал Ефим Григорьевич Эткинд и весь цвет поздней советской научной эмиграции. Это уже похоже на то, как дед Мазай зайцев за уши вытаскивал из воды на лодку: тебя взяли «на лодку» – из тонущей советской системы внутрь иного, европеизированного научного знания.

Точно так же, как я ходил к Аверинцеву, Симон Маркиш ходил когда-то к Сергею Соболевскому, автору знаменитого учебника древнегреческого языка и словаря. А Сергею Ивановичу Соболевскому было уже, наверное, лет под сто, когда к нему ходил юный Маркиш, вернувшийся из ссылки и поступивший в Московский университет на классическое отделение. Аверинцев рассказывал о своих университетских учителях – Жюстине Севериновне Покровской и других. А через Нива я прикасаюсь, с одной стороны, к Пастернаку, на фактической падчерице которого, Ирине Емельяновой, Жорж собирался жениться, после чего его здесь под предлогом прививок отравили и прямо из больницы выслали во Францию, а с другой – к его учителю Пьеру Паскалю, знаменитому автору лучшей до сих пор, наверное, французской монографии о протопопе Аввакуме. Через Маркиша – соприкасаешься с кругом его отца... Понимаете, да, что происходит? Знаете теорию «шестого рукопожатия»: что все знакомы со всеми через шестое рукопожатие? А тут не то что через шестое – через второе рукопожатие со всеми ключевыми филологическими фигурами XX столетия. Те, кого я не застал и, естественно, видеть не мог, были в общении с теми, с кем я общался. И я думаю, что это единственный путь: глаза в глаза, через пульс, через неформальное общение.

Наука – это все-таки не только набор книг, но и некоторый закрытый клуб; слава богу, не масонская ложа, но все-таки. Попасть в него – вопрос везения, на которое должен уповать каждый. А дальше тебя уже начинают вести, щедро делиться собой. Ты попадаешь в другой круг, проходишь и его, тебя передают по цепочке дальше, а в какой-то момент вдруг оказывается, что ты дорос, дозрел. И это значит, что твоя очередь вести кого-то за руку.

Очень важно, чтобы эти встречи произошли вовремя – пока ты еще не окостенел, пока из тебя что-то еще можно успеть слепить. В окостеневшем состоянии ты легче справляешься с ударами судьбы, но тяжелее воспринимаешь чужой опыт.

С другой стороны, если ты сам не хочешь учиться всю жизнь, из тебя все равно ничего не выйдет. Всякий раз, когда ты меняешь сферу деятельности, ну, не полностью, а идешь боковым ответвлением тропы, ты должен искать того, кто тебя хотя бы на первых порах подхватит, дернет за рукав, если ты сорвешься, – и тут учителем может быть кто угодно. И наши собственные дети нас многому учат, много чего преподают в этой жизни наши духовные наставники, наши крестные – это все наши учителя. Мы идем внутри нескончаемого потока учителей.

Фактически на первом курсе, со второй половины первого курса я начал вести кружки в том же Дворце пионеров; у меня появились свои ученики. Это тоже удивительное дело, потому что рано или поздно твои ученики, вырастая, становятся твоими друзьями. Сначала стирается разница в опыте, потом стирается разница в возрасте, и сегодня... Вот один из профессоров Вышки – Майя Кучерская, Леня Клейн, который сейчас блистает на «Серебряном дожде» и организует массу всего для студентов в РАНХ, были моими кружковцами. Но, понимаете, чувство учителя должно сохраняться, а чувство ученика – нет. Я не чувствую их своими учениками. Своих учителей как учителей я ощущаю, а своих учеников как учеников – нет, потому что задача заключается в том, чтобы грань эта стерлась. И если все было сделано правильно, значит, грань эта сотрется и не просто они окажутся равными тебе, а ты вырастишь себе друзей на будущее. Я помню, что они когда-то приходили ко мне в кружок и я, чему мог, их учил, но я не ощущаю их как своих учеников. В тот момент, когда они у тебя учатся, они еще не ученики, а в тот момент, когда они становятся учениками, они уже не ученики – они доросли, а иной раз и переросли. Просто нужно

быть готовым, с одной стороны, к тому, что ты лично будешь учиться всегда, а с другой – к тому, что те, кто у тебя учатся, тебя перерастут, и это счастье. Помните советское: «счастье – это когда тебя понимают»? Так вот, счастье – это когда тебя перерастают.

Кто к этому не готов, тот будет несчастен. Я встречал великих людей (не хочу называть их имена), которые своих учеников «кушали». Я знаю, как ломали судьбы своих учеников люди всемирного, я бы сказал, масштаба в гуманитарной науке. У меня всегда срабатывал инстинкт самосохранения – я таких людей огибал, несмотря на всю их грандиозность, на все их величие.

Еще одного человека хотел бы назвать, с которым я должен был познакомиться очень рано, потому что это круг Аверинцева, а познакомился очень поздно, но, может быть, было в этом запоздании нечто промыслительное. Это Наталья Леонидовна Трауберг. Переводчик, эссеист, но это все слова, которые ничего о ней не сообщают, они всего лишь указывают на профессиональную прописку. Трауберг была не переводчиком и не эссеистом, она была христианским пульсаром – знаете, бывают такие звезды-пульсары? Вот она пульсировала. И это было важнее всех ее выдающихся переводов, хотя Льюиса и Честертона мы знаем благодаря ей. Ее эссе доносят до нас дыхание честертоновского стиля в большей степени даже, чем переводы, потому что ее эссе – это эманация честертоновского мышления. Она, как всякий великий переводчик, начинала мыслить в темпе, в ритме, в духе переводимого автора и писать свои тексты как бы от его имени, в продолжение его текстов. В ней христианская мысль – не философская, не научная, но и не художественная, какая-то совсем иная – пульсировала бесконечно. Она все время находилась в состоянии этого творческого пульса – не нервического, а творческого, как будто она жила в средоточии бьющей христианской энергии мира. И вот разговоры с ней – прежде всего телефонные – обо всем на свете, они все равно были разговорами о главном: о смысле, о Христе, о знании, о надежде, об истории.

И это тоже урок, потому что неважно, в конечном счете, о чем ты говоришь. Она могла говорить о каких-то совсем мелочах: о том, кто с ней вчера в эфире был на каком-нибудь радио – и, обсуждая этот эфир, она вдруг выходила на какие-то такие вещи, от которых зависит в этой жизни все. Это бесконечный разговор о выборе – выборе пути, выборе жизни. Мы знали, что ее жизнь непростая: ее история бывала и довольно печальной. Но это была радость присутствия: ты смотрел в ее глаза и видел, что в них отражаешься не ты, а отражается Христос, а в Христе отражаешься ты – благодаря ее глазам. Кто-то, по-моему митрополит Антоний Сурожский, сказал: если ты не увидишь Вечности в глазах хоть одного человека, то никогда не уверуешь. Вот в ее глазах была Вечность, в которой отражался ты. И это, конечно, незабываемо.

Выбирая учителя, ты, конечно, идешь за крупной личностью. Но я бы с глубоким сожалением развел две вещи – масштаб личности и человечность: человек может быть великим и бесчеловечным, и для преподавания этого достаточно. Ты стремишься к крупному знанию, и только крупная личность может транслировать крупное знание – это же не технические навыки. А вот учитель не может быть бесчеловечным – с моей точки зрения. Разные есть на этот счет взгляды. Я никогда мазохистом не был и предпочитал не входить во внутренний мир того, кого опасуюсь. Можно ведь и извне послушать, правда? На лекции большого человека с маленьким сердцем можно ходить и полезно ходить, потому что ты присутствуешь при величии, сомасштабном тому предмету, о котором вещает этот человек. Но внутрь его собственного мира можно и не заглядывать – это такая душевная гигиена. Без масштаба не может быть хорошего профессора, но без какой-то человеческой глубины, без человечности – может, к сожалению. Это плохо, но это так.

Очень важна еще одна вещь: даже если ты видишь в этом профессоре, ученом, писателе и личную глубину, и масштаб, и сердечность – нельзя очаровываться. Ты должен понимать, что даже если есть и масштаб, и человечность,

из этого никак не следует, что человек всегда будет достоин этих своих качеств. Иначе ты разочаруешься, разорвешь, сбежишь – и перестанешь получать через него доступ к чему-то, что важнее его недостатков. И сам ты не должен навязывать себя своим ученикам как прекрасного, великолепного и непогрешимого во всех отношениях: нет, ты человек и не притворяйся ангелом. Конечно, все мы хотим всем нравиться, но – не обольщай. В том пути, о котором я сегодня говорил, – в пути вхождения в науку через личность учителя – есть своя опасность: ты можешь обольститься личностью, личность может начать обольщать тебя, и ты сам, уже воспитывая своих учеников, можешь обольщать их, подменяя собою и свой предмет, и ту цель, которую ты перед ними ставишь. И среди священников, мы же знаем, это частая болезнь, когда они собой подменяют Христа и хотят нас немножко «скушать», чтобы мы восхищались ими и никем больше. Так же учитель может заменить собой науку, духовный руководитель – веру, а сам ты можешь заменить своим ученикам то, чему пытаешься их научить. Вот этого ни в коем случае делать нельзя, и это уже выходит за рамки академической науки. Христос спрашивал своего ученика: «Любишь ли ты Меня?» Но сатана другое спрашивает: как ты можешь любить что-нибудь, кроме меня? Это совсем другое дело. Сатана не понимает, как можно любить не поглощая, любить, отпуская при этом на свободу. Все-таки надо помнить о том, что свобода выше, чем привязанность к тебе. И свобода научного знания, и свобода духовного движения, и свобода литературного развития – любая человеческая свобода. Это как с детьми: ты получил их, ты их любишь, но в какой-то момент ты обязан их отпустить.

# ИГОРЬ ЛИШСИЦ УЧИТЕЛЯ

---



То, что я пришел в экономику, вполне закономерно, потому что я наследственный экономист, во втором поколении. Мой отец Владимир Борисович был экономистом, сотрудником Госплана, довольно известным в советских экономических кругах человеком. Потом он стал одним из создателей Государственного комитета СССР по ценам. Кандидат экономических наук, он был одним из ведущих специалистов по управлению издержками в Советском Союзе. Отец был безумно увлеченный своей работой человек, чистой воды трудоголик. Поэтому я с очень ранних лет слышал его разговоры на темы экономики. Вот они меня и заразили интересом к этой профессии, это было совершенно неизбежно. Я сам получил по наследству интерес к экономике, а потом и дочке передал. Хотя она ушла сейчас больше в теоретический менеджмент, не совсем по экономической части, готовит свою PhD диссертацию именно в этом направлении. Но окончила она экономический факультет ВШЭ. Строго говоря, я и Вышку-то пошел для нее создавать, а то ведь учить молодежь нормальной экономике в начале 90-х было просто негде.

Я считаю, что мне в жизни повезло – я еще в советское время получил совершенно блестящее экономическое образование, хотя вуз был абсолютно непрестижный –

я окончил Плехановский институт. В другой вуз, более престижный, я поступить не мог, потому что с «пятой графой» меня никуда не брали, да и в Плешку взяли с трудом. Но там был общеэкономический факультет (ОЭФ), совершенно особый мир внутри Плехановского института, готовившего преимущественно специалистов для сферы торговли.

ОЭФ – это был остаток другого университета: существовал когда-то Московский экономический институт при Госплане СССР, и это был ведущий центр подготовки экономистов для Госплана (в нем учился и мой отец). А потом, после «дела Вознесенского» – председателя Госплана, расстрелянного по приказу Сталина, – этот институт разгромили и закрыли, но профессоров не посадили, а «сослали» в Плешку. Из них и сформировали общеэкономический факультет, который располагался отдельно, образовывал совершенно особый анклав. Торговые факультеты – это было одно, а общеэкономический – совершенно другое. Там были абсолютно блистательные люди. Мне фантастически повезло, я еще успел у них поучиться, потом они либо довольно быстро умерли, либо их всех «вычистили» из Плешки по национальному признаку – все по той же «пятой графе».

Но тогда это был великолепный набор профессоров-экономистов. Можно сказать, ученые «первой производной» от дореволюционной российской экономической науки. Это были специалисты очень высокого класса, и мне выпал редкий шанс – поучиться у них, потому что они были представителями немножко другой экономической науки, чем то, что обычно под этим понимается сейчас.

Существует ведь две ветви экономической науки. Есть то, что сейчас называется словом «экономикс» – чему учат на экономфаке Вышки или в РЭШ: сильно математизированная экономическая наука, имеющая крайне малое отношение к реальной жизни, поскольку опирается она на очень упрощающие гипотезы о рациональности поведения людей и рынков. А есть вторая ветвь, которая была когда-то разработана немецким экономистом Фридрихом Листом и которая называется «наука о национальной экономике». Там думают не о том, как абстрактную модель строить, а о том, как развивать хозяйство конкретной страны.

Российская экономическая наука была близка к идеям Листа. У нас лучшим экономистом такого типа был Сергей Юльевич Витте, что я понял спустя много лет, потому что нас, конечно, не учили на трудах Витте.

Дело в том, что будущего российского императора Николая II готовили к царствованию очень серьезно, ему давали потрясающее образование. В юности, когда он был наследником трона, его учили в том числе и экономике, а учителем его был не кто иной, как Сергей Юльевич Витте, который читал ему курс лекций по устройству экономической жизни. Этот учебник сохранился и был переиздан в 90-х годах, я его купил и до сих пор храню. Он как раз не про модели, а про то, как устроена экономика. Про то, как сделать, чтобы экономика страны работала и страна богатела. Примерно в этой же логике меня учили мои великолепные профессора. Мы с женой (а она тоже окончила Плешку, факультет экономической кибернетики) до сих пор их вспоминаем. Именно благодаря им я стал понимать, как работает экономика и что с ней может происходить.

Я не абстрактный «модельер», который может написать какую-то красивую систему уравнений исходя из совершенно непонятно откуда взятых допущений. Это подход в стиле «предположим, что...» – и дальше строится некая математическая модель, не имеющая часто никакого отношения к жизни. Потому что «предположим» – это гипотеза, а проверить ее на фактическом цифровом материале обычно нет никакой возможности. Такой подход отношения к реальной жизни не имеет, поэтому сейчас он и породил жесточайший кризис в мире «экономикс», когда лауреаты Нобелевской премии по экономике ожесточенно спорят друг с другом, почему их труды никому не нужны и не помогли ни в предсказании мирового экономического кризиса, ни в поиске средств его преодоления.

А нас на ОЭФе учили люди, которые хорошо знали, как работает реальная экономика страны. Поэтому, когда я вышел в профессиональную жизнь, я понимал логику хозяйственной жизни. Меня учили очень странно – с сегодняшней, конечно, точки зрения. Меня учили, например, технологиям основных отраслей промышленности. Был курс, где я изучал, как работает химическая промышленность, вплоть до формул, на основе которых идет технологический процесс на химических комбинациях. Меня учили технологиям черной металлургии, я мог объяснить разницу процессов в домене и мартене. То есть нас учили реальной экономике: как в жизни создается продукт для потребления, как отрасли сотрудничают друг с другом, как диспропорция в объемах производства между отраслями разрушает нормальный ход хозяйственных процессов. Не в модели, а в жизни – почему это происходит и как эти диспропорции нужно исправлять. И в этом смысле я получил блистательное экономическое образование и хорошую школу понимания хозяйственных процессов.

Я хотел после института идти в науку, поступать в аспирантуру, был победителем Всесоюзного конкурса студенческих работ, золотую медаль получил. Я имел все права остаться в аспирантуре, но мне дали нужную для этого рекомендацию только при условии, что я не буду

поступать в Плешку. Дело было в том, что в это время новый ректор начал работу по «полному очищению вуза от евреев» и я пришелся не к месту.

Но мне опять повезло, я вновь попал к хорошим учителям. В это время в Москве появился очаг экономического интеллекта – Институт по ценообразованию, который создал великолепный ленинградский экономист Юрий Владимирович Яковец, и меня туда взяли в аспирантуру. Это был такой заповедник интеллекта и науки, там было то, что обычно называется научной школой. Молодым ребятам сейчас очень трудно объяснить, что это такое, потому что в России ныне это крайне редкое явление. А я как раз попал в такую научную школу, где каждый молодой человек сразу оказывался в многочисленном и активно общающемся научном сообществе. И тебя там все время оценивали «взрослые» – крупные ученые, доктора, профессора, которые не жалели времени для того, чтобы объяснить тебе, дураку, что ты не понимаешь и что ты должен понять. И это тебя воспитывало получше любого учебника.

Атмосфера доброжелательной, но жесткой оценки твоей научной состоятельности – «по гамбургскому счету» – создавалась профессором Яковцом, директором института, который буквально с карандашом прочитывал каждый доклад каждого отдела нашего института. И писал по каждому предложению и то, что ты где-то пропустил запятую, и то, что ты пропустил логическую связку и твой вывод потому висит в воздухе! Я до сих пор помню свое ощущение, когда я получил от него свой первый научный доклад, где на каждой странице было до десяти пометок. На каждой! Ты «получал по носу» со страшной силой, шел и переписывал, убирал глупости и логические нестыковки и в результате проходил идеальную школу воспитания научного работника. А потом твой доклад нелицеприятно обсуждали на секции ученого совета, и это было прекрасно. Хотя и очень непросто.

Я учился у бывшего аспиранта моего вузовского профессора Шама Яковлевича Турецкого – у Генриха Ни-

колаевича Чубакова. Он со мной очень мучился – потому что я не умел писать «по-научному». Мне Бог дал некоторые литературные способности, что сильно пригодилось в жизни, когда я много лет спустя стал писать учебники для школы. Но научного стиля не было, я писал слишком легко и слишком интересно, что не годилось для академической работы, и он меня ругал нещадно, заставляя учиться писать научным стилем. Он мне не давал научную диссертацию: мол, смотри, как тут написано, и пиши так же. Нет, он брал мой текст и говорил: «Вот тут плохо, тут не так, это не эдак! Иди пиши!» Я шел, писал сам. Приносил, он опять все вычеркивал и заставлял переписывать. Это был кошмар, зато я научился писать не только для школьников седьмого класса, а могу написать научную статью, жестко выдерживая нужный стиль. Я умею и то и другое – это и есть мощнейшая школа, которую я тогда получил.

Мне действительно повезло в жизни с учителями. Воспоминания о некоторых из них впечатались в память на всю жизнь. Скажем, у нас в Плешке был потрясающий профессор, имя которого у всех старших советских экономистов вызывает доброжелательную улыбку уважения и симпатии. Это был Александр Михайлович Бирман, человек с огромным опытом практической работы – он многие годы проработал в советском Минфине. Потрясающий человек! Когда я его вспоминаю, у меня такое ощущение, что он всегда «в алом, с золотыми кистями». Достаточно было взглянуть на этого человека, чтобы понять, что он великолепен. Не знаю, как его воспринимали женщины, но у того сосунка, которым я тогда был, создавалось впечатление, что это нечто такое интеллектуально упоительно-роскошное, вызывающее восторг. Сейчас я стараюсь читать лекции так, как читал он, то есть так, чтобы было и содержательно, и интересно. Не просто грамотно излагать курс, а так, чтобы аудитория сидела, затаив дыхание, – чтобы это был театр. Он это умел, и я всю жизнь пытаюсь его копировать. Уж не знаю, насколько это получается у меня, но у него выходило фантастически. Он обладал талантом удивительно интересно рассказывать про экономику.



Когда я начал писать книжки для детей (у меня есть книжка «Удивительные приключения в стране Экономика», написанная когда-то для моей дочки и ставшая потом школьным учебником), то исходным импульсом было то, что я знал: про экономику можно писать понятно и интересно для всех!

Потому что Александр Михайлович Бирман когда-то написал две научно-популярные книжки, «Увлекательная экономика» и «Моя профессия – экономист», и они были настолько интересно написаны, что нельзя было не влюбиться в эту профессию. Тогда я понял, что можно рассказывать про экономику доступным языком и людям, не занимающимся этой профессией.

Моими экономическими учителями были разные, иногда довольно необычные люди. Когда я работал в НИИ цен заведующим сектором методологии, я вплотную сотрудничал с госаппаратом, с Госкомитетом СССР по ценам, и у меня появился очень специфический учитель. Это был советский министр, председатель Комитета по ценам Николай Тимофеевич Глушков. Начну с того, что он был полковником НКВД, к тому же когда-то служил заместителем начальника Норильского концлагеря. В комитет по ценам с Глушковым пришел его первым замом и Леон Агасиевич Айвазов, который когда-то был эком в Норлаге. Глушков спас Айвазова в лагере, взял его – бывшего секретаря Ростовского горкома комсомола – за потрясающую грамотность писарем в свою контору, они стали друзьями и прошли всю жизнь вместе. Вот с такими интересными судьбами я сталкивался в жизни. Глушков, с которым я вплотную работал, меня многому учил. Это был очень жесткий человек, с таким, мягко говоря, специфическим русским языком, что понятно для человека с его биографией. И тем не менее я вспоминаю его с огромным уважением, он меня учил тому, что можно честно пытаться сделать что-то хорошее для страны. Так, как он это понимал, конечно, при его опыте и его жизненной истории. Он действительно пытался находить хорошие и полезные решения – для страны, а не для себя лично. Когда я пытался с ним спорить, он

меня очень сильно «прикладывал», я ведь тогда был еще сопляк – тридцать три года. Но при этом я понимал, что у него есть нормальная патриотическая позиция – эти слова редко сегодня произносятся в России. Он хотел сделать стране хорошо – было видно, что министр не в свой карман гребет, а делает что-то именно для страны.

Дожив до седых волос, я с грустью вспоминаю о советском госаппарате. Они меня учили хорошему, это были блистательные люди. Многие из них были значительно умнее меня и квалифицированнее. Я действительно учился у тех советских чиновников «экономической службы». И когда я сравниваю их с нынешними российскими госслужащими, то чаще всего сравнение не в пользу современного госаппарата, увы.

Я, конечно, чистой воды экономист-прикладник, но должен отметить, что, работая для советского госаппарата, мы – равно как и многие экономические институты Госплана – проводили вполне высококлассное экономико-математическое моделирование, делали расчеты, причем довольно хорошего класса. Сегодня мало кто уже умеет делать такие вещи. Скажем, мы моделировали параметры общего одномоментного пересмотра цен с помощью межотраслевого баланса (input-output model). «Обсчитывали» на таком балансе систему цен для всей страны. Сейчас в России это смогут сделать лишь несколько человек, а тогда работали большие коллективы квалифицированных специалистов. Это все было на очень хорошем уровне, причем поддерживалось, заказывалось, оплачивалось и обсуждалось госаппаратом.

Как прикладник, я всегда работал в научных институтах, в преподавание меня не тянуло, тем паче что в КПСС я не вступал, а без этого в советских вузах карьеры было не сделать. Поэтому у меня был большой промежуток времени между кандидатской и докторской диссертациями – двадцать четыре года. Просто докторская степень мне казалась не особенно нужной. Даже когда мы начали создавать Вышку, вопрос научных степеней тоже не был особенно актуальным, главным было то, можешь ли ты

создать хороший курс на уровне европейских университетов, а не то, есть ли у тебя докторская корочка ВАКа. Поэтому я защищал докторскую диссертацию уже в пятьдесят лет, когда на этом стал настаивать Ярослав Иванович Кузьминов, ректор Вышки. Он сказал, что, раз Вышка становится ведущим российским университетом, надо иметь больше ВАКовских докторов наук. Пришлось писать диссертацию. Защищался я в Питере, в Финэке по специальности 09 – «Ценообразование». Там был последний в России диссертационный совет по этой специальности. Было очень смешно, когда они начали обсуждать мою диссертацию, а я сидел в зале. В лицо меня никто не знал, и я слышал, как они рассуждали: «Какой Липсиц? А он разве еще жив? Не может быть, чтобы это был он!» Книги мои были давно известны, вот и складывалось такое впечатление.

А в Вышке я оказался и начал преподавать так. В 1980-х годах я написал книжку для детей «Удивительные приключения в стране Экономика». Она понравилась очень многим профессиональным экономистам. Книга эта имела свои недостатки, она была отражением переходного мышления. Недавно я ее, кстати, переписал, адаптировал под новые реалии российской жизни. Книжка эта была более-менее честной попыткой рассказать детям – причем именно российским – про экономику. И у меня появилось имя: я стал известен как человек, который умеет понятно рассказывать детям про экономику.

И все же когда Эля Набиуллина – жена Ярослава Кузьминова, с которой мы работали вместе в Экспертном институте РСНП, – от имени мужа предложила мне поучаствовать в создании совершенно нового учебного заведения, в котором все образование будет вестись на русском языке, но по западным методикам, я к этому отнесся с удивлением. Начало 90-х – вокруг все разрушается и сыплется, и тут вдруг – создавать новый государственный университет. Это выглядело довольно авантюрно.

Я пришел домой и весело рассказал об этом жене. Но мой юмор ей не понравился. И она мудро сказала мне: «Милый, ты зря веселишься, у тебя же ребенок подрастает. Ее надо где-то учить, а учить-то негде». Ребенку было на тот момент тринадцать лет, то есть ей еще было учиться и учиться в школе, но стало понятно, что приличное высшее образование, адекватное новой жизни, получить в тогдашней Москве очень трудно – все учили еще «по-советски». Поэтому идея создать новый университет, куда можно было бы отдать ребенка для приобретения нормального образования, оказалась для нашей семьи очень интересной. Так что в Вышку я попал «волею пославшей мя жены», которая вообще играет гигантскую роль в моей жизни.

К нам – в никому не ведомое учебное заведение – сразу пошли очень интересные люди, и о первых студентах Вышки мы, преподаватели старшего поколения, когда собираемся, вспоминаем «со слезой умиления». Это был потрясающий набор. К нам пришли люди, имеющие хорошее образование, часто техническое, оставшиеся в начале 90-х годов из-за распада советской научно-технической сферы совершенно без денег, не способные прокормить семью и остро нуждавшиеся в новой – востребованной – профессии. Придя с такой мотивацией, они учились как звери. К ним в аудиторию нужно было входить, как в клетку с тиграми, – так они из тебя вытягивали знания. Когда я выходил с лекции, с меня можно было снимать рубашку и выжимать. На лекциях сидели выпускники мехмата, мифишники, маишники и прочие естественники. И зачастую они математику знали лучше меня на порядок. Порой предлагали мне на лекциях какие-то математические улучшения описываемых мною моделей, которые я и понять-то не всегда сразу мог. Так что приходилось самому учиться, учиться и учиться. Опыта преподавательского у меня тогда практически не было, зато была уверенность, что мы делаем правильное и нужное дело, а кроме нас – кто ж его сделает? Так и прорвались...

# ДМИТРИЙ ЛЕОНТЬЕВ

## УЧИТЕЛЯ

---



Началось все с того, что на протяжении долгого времени я собирался заниматься энтомологией. Все мои лучшие годы я именно этим и прозанимался – примерно с первого по девятый класс это было моей главной страстью. Я был юным натуралистом. Но, в отличие от Владимира Набокова, я потом оставил энтомологию. В какой-то момент я понял: для того чтобы заниматься этим профессионально, мне все-таки не хватает какой-то эпилептоидности, профессиональной усидчивости, хотя мимо интересного насекомого я до сих пор не могу пройти равнодушно. Тогда я решил, что этим путем не пойду, и в старших классах оказался без четкой профессиональной ориентации. Решение я принимал буквально в последний момент, колеблясь между психологией, биологией и иностранными языками. Внутренняя словесная мотивировка на уровне сознания у меня была такая. Психология находится на перекрестье разных видов наук. Если я пока не знаю, чего хочу, пойду-ка я в науку, которая находится на перекрестье, оттуда мне легче будет свернуть в другую сторону, если передумаю. Четкого представления об этой науке у меня тогда не было. Ну, прочитал я книжку К.К. Платонова «Занимательная психология», книги К. Лоренца и Н. Тинбергена.

Я на первом курсе даже собирался зоопсихологией заниматься, но как-то это у меня не пошло. Я довольно быстро увлекся человеком – он мне показался интереснее – и на старших курсах окончательно определился по части личности.

Университет произвел на меня хорошее впечатление. Я тогда был мальчиком не очень сильно чем-либо умудренным, поэтому с большим удовольствием впитывал все, что там было интересного, и пытался в этом разобратся. Много читал. Мой знаменитый дед А.Н. Леонтьев умер, когда я был еще на втором курсе, поэтому я ему успел задать только некоторые вопросы. Профессионального общения у нас с ним не было практически никакого. Естественно, я помню людей, которые приходили к нам домой, – например, Джерома Брунера, Э.В. Ильенкова, – но это, скорее, образы, просто хороший, интересный дом. А с дедом мы в шахматы играли. Вечерами он любил пасьянсы раскладывать, приводя таким способом мысли в порядок. Я тоже рядом сидел и смотрел ему через плечо. Но профессиональных сюжетов в нашем общении не возникало. На первом курсе, если я чего-то не понимал, я приходил к нему, спрашивал.

Ну, например, я никак не мог понять, к какой научной школе относится Жан Пиаже. Пришел, спросил. Он задумался немножко и ответил: «К пиажизму». Вот такие были на уровне первого курса вопросы.

Что-то понимать я начал на старших курсах, и тогда у меня стали возникать первые серьезные вопросы. Руководителем на старших курсах у меня был Александр Григорьевич Асмолов, человек, которого я считаю одним из двух своих главных учителей. Его я знал очень давно, тоже с детства: он был близок к нашей семье, я с ним дружил с моих семи и с его восемнадцати лет. Он был моим научным руководителем, и я писал под его руководством диплом. Он тогда был достаточно молодым человеком, но к тому времени уже профессионально состоявшимся. Первая его книга «Деятельность и установка» вышла, когда я был на третьем курсе. Мне это было интересно. Асмолов, естественно, до сих пор остается для меня очень значимым человеком. Это человек провидческого склада. Он не аналитик, он, скорее, синтетик, и это его главная особенность. Иногда я что-то делаю, а он мне объясняет, что я сделал на самом деле. Он видит очень широкий контекст, очень широкие связи, и поэтому он в состоянии задавать глобальные смысловые ориентиры. Это очень важное и достаточно редкое свойство.

На втором курсе я сначала пошел к Б.М. Величковскому, чтобы научиться что-то экспериментально делать, но уже дальше перешел к Асмолову. На третьем курсе у меня было одно небольшое исследование по переносу установок на материале практикума, а на четвертом курсе я вышел на ту тему, которой потом занимался больше двадцати лет и написал по ней не только кандидатскую, но и докторскую диссертацию. Эта тема – проблема смысла и смысловых образований. Она была в большой моде в самом начале 1980-х годов. Тогда о теме смысловых образований много говорили и писали, вокруг нее объединялись, пытались разрабатывать. И я достаточно быстро в эту тему включился. Она меня сразу увлекла, и я начал с этим работать. Университет я окончил в 1982 году, и уже мой диплом был прообразом моей кандидатской

диссертации. Другое дело, что у меня кроме этой была еще масса других тем, которыми я занимался. Но эта тема оставалась центральной. Когда я защищал кандидатскую в 1988 году, из числа моих публикаций по ее теме была ровно половина, остальные в автореферат не попали. Тема общей структуры смысловой реальности, смысловой сферы личности, попытка выстроить общую связную модель. Она последовательно развивалась от диплома к кандидатской и затем к докторской диссертации. Первый вариант темы был в дипломе, а последний – в моей докторской, в книге «Психология смысла». На все это ушло двадцать лет.

Люди у нас в большинстве своем не очень хотят искать смысл, они хотят, чтобы им его дали в готовом виде. В настоящее время происходит очень сильное антропологическое расслоение на людей с халявным сознанием, которые живут на готовых стереотипах, и людей, которые готовы идти неизведанными путями, брать на себя ответственность, искать смысл. К сожалению, это все более усиливающееся расслоение. Всегда были люди разные, но сейчас происходит тяготение к полюсам «или-или». И здесь нет отдельных проблем психологических, социологических, философских – все эти проблемы взаимосвязаны. Я всю жизнь пытаюсь жить междисциплинарно. В голодные 90-е годы я отбивал хлеб у социологов, получал гранты по социологии в Международном научном фонде. То же с философией: нет ни одного из ведущих философских журналов, где бы я не публиковался, не говоря уже об энциклопедиях и энциклопедических словарях. Для меня граница между гуманитарными науками относительна. Я это с самого начала четко ощущал и спокойно гулял по разные стороны междисциплинарных границ.

Вторым моим учителем была Елена Юрьевна Артемьева. Ее уже нет в живых. Она была поистине удивительной женщиной. Мне потом удалось многое сделать, чтобы отдать дань ее памяти. Она была математиком по образованию, окончила мехмат, преподавала математику на психологическом факультете.

Потом она занялась собственно психологическими сюжетами и защитила кандидатскую диссертацию по нейропсихологии под руководством Е.Д. Хомской. После этого она занималась общепсихологическими вопросами и построила собственную, совершенно оригинальную теорию психологии субъективной семантики, причем ею был освоен громадный эмпирический материал. Эта теория находилась на стыке теории образа мира Алексея Николаевича Леонтьева и классической психо-семантики. Это было новое качество, новый синтез этих двух составляющих.

У нее было огромное количество учеников, дипломников, аспирантов и т.д. При этом она была, что называется, душой факультета: вокруг нее крутилась вся студенческая жизнь, она была бессменным куратором научного студенческого общества. Я пришел в научное студенческое общество на втором курсе, а на четвертом-пятом был председателем НСО факультета психологии. Через это общество я и познакомился с ней. Елена Юрьевна опекала всех студентов, и все к ней бежали. Но при этом у нее были проблемы со здоровьем: очень серьезные гормональные нарушения, она килограммов двести весила, ей отняли сначала одну, а потом вторую ногу. Последние пять-шесть лет она провела в коляске. Она жила одна – и в то же время не одна: вокруг нее всегда было безумное количество студентов. Очень многие из ее учеников сейчас стали известными фигурами. Из числа ее учеников А.Г. Шмелев, А.Ш. Тхостов, В.В. Петухов, В.П. Серкин, Ю.К. Стрелков – множество самых разных людей. Елена Юрьевна Артемьева была поразительным человеком, она прекрасно прочищала сознание. Ее любимым афоризмом, который очень любят цитировать, был: «Кроме концепции должна быть еще и позиция». И она формировала у нас отношение к науке как к очень веселому, радостному, увлекательному делу. В этом своем состоянии она написала и защитила докторскую диссертацию! А через несколько месяцев после этого она умерла в возрасте сорока семи лет. Ее докторская диссертация была абсолютно новаторской, она сохраняет свое значение вплоть до сего дня.

Она породила огромное количество исследований. Я разработал новые подходы к психологии искусства и психологии рекламы, полностью основанные на работах Артемьевой. Мне удалось издать в виде отдельной книги ее докторскую диссертацию. В прошлом году вышла коллективная монография ее учеников. Там в числе авторов восемь только докторов наук. Про Елену Юрьевну невозможно говорить спокойно, потому что она была совершенно особым человеком. Ее ученики даже сделали диск с набором воспоминаний о ней: было записано свыше двадцати интервью. В память о ней есть диск, есть книга – и это очень важно. В первую очередь для нас. Если говорить об учителях, то Елена Юрьевна Артемьева – одна из самых значимых фигур.

Так получилось, что еще в студенческие годы я много читал. Частично это было связано с моими стартовыми условиями, частично – нет. Я очень серьезно относился к иностранным языкам. В конце концов, я ведь мальчик из филологической семьи: у меня папа с мамой – выпускники филфака. Английским я занимался еще в школе с репетитором, немецким начал заниматься в университете, в детстве меня немножко научили французскому, и когда он мне понадобился, мне было легче его вспомнить. Кроме того, я имел возможность по благу, по знакомству с некоторыми академиками заказывать через Дом ученых на их имя по ежегодному лимиту профессиональные книги из-за рубежа. На четвертом-пятом курсе я читал в оригиналах книги классиков: Адлера, Фромма, Маслоу и других. Я всегда хотел иметь представление о том, что происходит в мировом научном сообществе, потому что это создавало более широкий контекст.

Перестроечные годы были временем моего интенсивного профессионального становления, развития, движения. Все это оказалось для меня своевременным. Я даже успел вступить в партию и выйти из нее через три года, раньше, чем она развалилась. В 1988 году впервые делегация МГУ на международной конференции по истории психологии в Будапеште была представлена тремя

младшими научными сотрудниками. Это было веяние времени, до этого подобное было невозможно. Из этих трех младших научных сотрудников один сейчас работает в Мельбурне, одна – в Нью-Йорке и я – до сих пор в Москве. После этого я начал довольно активно ездить по конференциям, хотя это было довольно сложно по финансовым соображениям, но я как-то выкручивался. Пытался расширять научные контакты, встречался с совершенно удивительными людьми здесь и за рубежом, которые тоже оказали на меня большое влияние. Я знаю очень многих действительно знаменитых психологов, я и сейчас общаюсь с ними. Мне очень повезло, я встретил в жизни даже не одного, а по меньшей мере трех людей, которых можно назвать по-настоящему просветленными личностями. Двое из них были психологами.

Один из них – Виктор Франкл. Когда Франкл первый раз приезжал в Москву, я переводил его лекции, оказавшись человеком, который уже что-то знал про Франкла, читал про Франкла и был в теме. Его приезд организовали Л.Я. Гозман и Г.М. Андреева в 1986 году. Галина Михайловна Андреева со своим авторитетом служила «тяжелой артиллерией», а Гозман все это содержательно организовывал. Франкл – совершенно удивительный человек. Потом я был в Вене у него, потом он еще раз был в Москве уже по моему частному приглашению. У меня сейчас очень хорошие отношения с его семьей. Людей такого масштаба всегда даже интереснее наблюдать, чем читать. Для него была характерна очень сильная сконцентрированность, погруженность в себя. Он был блестящим оратором. Выступал без всяких бумажек, это был абсолютно четко выстроенный текст, как будто у него какая-то пленка прокручивается в голове. Но при этой абсолютной концентрации он умудрялся замечать все вокруг себя. Он очень внимательно относился к людям, которые были вокруг него. Парадоксально, но все было именно так.

Второй человек, равновеликий Франклу, – недавно ушедший великий психотерапевт Джеймс Бьюджентал, ученик Джорджа Келли, первый президент Ассоциации гуманистической психологии. Он был избран очень мо-

лодым, еще в 1961 году, когда она только была создана. Бьюджентал – основатель мощной психотерапевтической школы, которая сейчас работает. Он очень много сделал для создания экзистенциальной терапии в Соединенных Штатах. Но он шире экзистенциальной терапии, он совершенно уникальный новатор и методолог психотерапии вообще. Это удивительный человек, и я тоже имел счастье с ним общаться. Он тоже просветленный человек. Человек, который чувствует и понимает что-то, чего другие не понимают. Ты испытываешь абсолютное доверие к тому, что он знает и понимает, ты знаешь, что он понимает больше тебя. Это некий эмпирический критерий просветленного человека. И когда он говорит что-то, что является для тебя новым, это кажется вдруг абсолютно очевидным. У Бьюджентала я учился. Была специальная двухнедельная интенсивная программа обучения для российских психологов и психотерапевтов, организованная в Сан-Франциско под руководством Бьюджентала и с участием его учеников. Я разрабатываю сейчас свои формы практической работы, которые я называю словом «жизнетворчество» и которые во многом представляют собой синтез того, что я почерпнул от Франкла и Бьюджентала.

У меня даже был шанс встретиться с Ролло Мэем. В 1993 году я был в Соединенных Штатах – меня пригласили в Сэйбрукский институт Стэнли Криппнер и команда. Я провел там месяц. Они хотели познакомить меня с Ролло Мэем, но он уехал к родственникам в Джорджию, и мы с ним разминулись.

И третий, очень интересный случай, если говорить об учителях и учениках, – это Мераб Мамардашвили. Я с ним не встречался, хотя мог бы. Он умер в 1990 году. Я тогда уже был кандидатом наук, у нас была масса общих знакомых, мы ходили соседними коридорами. Но как-то нам не случилось встретиться, я при жизни не понял его масштаб. Реально я с ним встретился уже позже, но у меня точное ощущение, что встреча произошла. Произошла в том самом пространстве, в котором он встречался с Декартом, Кантом и Прустом.

Его лекции о Прусте перевернули меня полностью. Переворачивает сам подход Мамардашвили, сам взгляд, ракурс. Он заставляет тебя совершенно по-новому взглянуть на вещи, на которые ты всю жизнь смотришь привычным образом. Я после этого несколько раз читал целый курс по Мамардашвили, основанный на его лекциях о Марселе Прусте и топологии пути. Пару лет назад я выпустил очень концентрированную статью к юбилею Мамардашвили, которая мне дорога. Вот такой парадокс: нам не удалось встретиться с Мамардашвили при его жизни, но мы с ним все равно встретились.

В общем, у меня нет ощущения, что мой контакт с Мамардашвили менее реален, чем контакт, ну, скажем, с Асмоловым. Потому что есть диалог, который меня меняет. А когда присутствует внутренний диалог с ушедшим человеком, который тебя тоже меняет, это означает, что тот человек для тебя реален. Потому что реальность – это то, что имеет последствия.

Я параллельно занимался многими сюжетами, касающимися психологии искусства, психологии рекламы, с помощью которой я пытался зарабатывать деньги. Я построил новую методологию в психологии рекламы, теорию проектирования образа и диагностики образа – у меня масса исследований на эту тему. Когда я еще был младшим научным сотрудником, меня интересовали вопросы психологии искусства. Так получилось, что я познакомился с Геннадием Григорьевичем Дадамяном – специалистом по экономике и социологии искусства, театроведом. Я читал его очень интересные экспериментальные работы по восприятию искусства. В то время он заведовал сектором социологии искусства во ВНИИ искусствознания. Как-то так случилось, что Дадамян пригласил меня к себе на заседание сектора, и я несколько лет по средам ходил во ВНИИ искусствознания. Мне там было очень интересно, я получал громадное удовольствие от общения с этими людьми, от обсуждения вопросов. Потом я выпустил книжку «Введение в психологию искусства». С Дадамяном я до сих пор сохранил очень нежные отношения, и этот человек тоже

немалым образом на меня повлиял. Я всегда был открыт для самых разных влияний.

Со студенческих лет у меня было амплуа – наводить мосты. Преодолевать разрывы между отечественными и зарубежными подходами, между психологией и смежными дисциплинами, между культурно-деятельностной традицией и экзистенциальной и позитивной психологией. Когда я езжу за границу с докладами и лекциями, я делаю акцент на наших традициях, а когда выступаю здесь, рассказываю больше про зарубежную науку. Для меня принципиально важно, что наука едина, она действительно не знает границ.

С позитивной психологией у меня все получилось довольно случайно. С одной стороны, случайно, а с другой – закономерно. Когда она только-только заявила о себе, первой ласточкой был первый специальный номер журнала “American Psychologist” 2000 года, посвященный позитивной психологии. А я несколько месяцев спустя был случайно на конференции в Бельгии. Выдалась у меня пара часов свободных, и я пошел в университетскую библиотеку полистать свежие журналы, которые лежали в открытом доступе. И сразу же наткнулся на журнал по позитивной психологии. Смотрю список имен, смотрю заголовки, начинаю ксерокопировать это, и получилось, что я очень быстро про это узнал. Абсолютно случайно узнал, потому что в наших библиотеках не было такой оперативной системы информации.

А через год я получил приглашение на первый саммит по позитивной психологии в Вашингтоне, который был устроен на деньги организации Гэллага в их штаб-квартире. Там была очень интересная система: паритет американских и приглашенных европейских докладчиков. И я попал в число приглашенных докладчиков. Я пытался выяснить, каким образом это произошло, благодаря чему я получил это приглашение, но концов мне так и не удалось найти. Там не было ни одного человека, с которым бы я был знаком когда-либо ранее. Это – загадка. Но есть тоже какая-то закономерная случайность.

Это было выдающееся событие. Мартин Селигман в своей программной речи, выстраивая структуру позитивной жизни, говорил, что она состоит из трех уровней: приятная жизнь – баланс эмоций, хорошая жизнь – реализация своих сильных сторон и качеств, третий уровень – осмысленная жизнь. Когда я услышал это, я почувствовал какой-то катарсис, экстаз. Потому что на протяжении предыдущих пятнадцати лет я пытался на всяких конференциях говорить что-то про смысл, и никто ничего не слышал. Смысла вообще не было в тезаурусе западной психологии, не было готовности это обсуждать, не было контекста, в который бы это вписывалось. Селигман, по сути дела, легализовал опять проблему смысла в психологии. И с тех пор я практически ни одной крупной конференции не пропускаю. В прошлом году я организовал в Москве VI Европейскую конференцию по позитивной психологии. Это была очень тяжелая задача, но там действительно был цвет мировой психологии. К сожалению, очень мало россиян участвовало в этой конференции. Кроме моих учеников, здесь мало кто этим занимается.

В последние десять лет у меня очень интенсивно развиваются отношения с Михаем Чиксентмихайи. В позитивной психологии Чиксентмихайи – это человек номер два. Его книги переведены на тридцать языков. Он специалист по довольно большому кругу проблем: проблемам творчества, проблемам психологии развития, проблемам мотивации. Он автор знаменитой теории потока. Поток – теория оптимальных переживаний, некая форма счастья, которая возникает через вложение себя в значимую деятельность. В последние годы его книги стали переводиться на русский язык, стали доступны. Он, конечно, крайне популярен. И он особый, по-настоящему мудрый человек.

Так что людей, оказавших на меня большое влияние, немало. И я думаю, они еще будут.



# СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВ

## УЧИТЕЛЯ

---



Я окончил экономический факультет МГУ. Выбор факультета был связан с рядом обстоятельств, можно сказать семейных. В семье по образованию все были инженеры. В мои подростковые годы мы переехали в Иркутск. Отец был одним из руководителей Восточно-Сибирского совнархоза, в который входили Иркутская, Читинская области и Бурятия. Он много ездил по известным стройкам Сибири, таким как, например, Братская ГЭС, Байкальский целлюлозный комбинат, и часто брал меня с собой. Мы обсуждали реформы в экономике – в частности, почему ее развитие идет не так успешно, как в других европейских или азиатских странах. Хотя были и другие интересы, интерес к экономике возобладал и предопределил выбор вуза.

Первые годы нашего обучения мы провели на Моховой. Если говорить о преподавателях того времени, то мне запомнились лекции Полянского, спецсеминары Тронева, дискуссионные выступления Шкредова.

В то время у нас, студентов, было много увлечений. Наши занятия заканчивались днем, а остальное время мы уделяли общению: ходили на выступления С. Никитина

и других студенческих (в то время) групп, в Политехнический музей, слушали поэтов и т.д. В жизни факультета большую роль играл спорт. Многие мои коллеги наверняка помнят нашего физкультурника Шукленкова, который в некотором смысле формировал дух экономического факультета того времени. В общем, это была насыщенная студенческая жизнь, она была связана не только с наукой и учебой, но и с общением, в ходе которого и формировались личности.

Во время обучения я заинтересовался той областью, которая была связана с планированием, с деятельностью Госплана. Свою курсовую я начал писать у Крылова, заместителя начальника сводного отдела Госплана. Но тогда он был жутко занят. Было видно, что он не против со мной поговорить, но времени у него на это просто не было. В то время тематика межотраслевого баланса и его использования в ценообразовании была популярной, и я обратился с этой темой к Евгению Семеновичу Городецкому. Он как раз и оказал очень большое влияние на мое развитие. С ним у меня сложились очень теплые отношения. Наше общение проходило не столько на темы, связанные с экономикой, не столько на темы

диплома и затем диссертации, сколько вообще на темы, связанные с развитием университета, страны, мира... Много и просто говорили о жизни.

Под его руководством я защитил диссертацию по проблемам ценообразования. После аспирантуры я остался в университете работать преподавателем, много работал со студентами. Моими коллегами тогда были Володя Мусатов и Сергей Дубинин. Мы были начальниками курсов (так тогда называлась эта должность). Деканом в то время был Гавриил Харитонович Попов, впоследствии мэр Москвы. Курс мой был большой — около 400 человек к моменту выпуска. В целом очень сильный и полный ярких личностей, из которых и получили впоследствии известные в стране люди. Мне приятно сознавать, что со многими бывшими студентами с курса у меня сохранились хорошие отношения до сих пор, а некоторые не побоялись отдать своих детей на учебу в МИЭФ.

В ходе исследовательских действий я довольно быстро понял, что при переходе от абстрактных теорий к реалиям в той тематике, которой я занимался (ценообразование), сталкиваешься с разного рода ограничениями. Большая часть статистики по ценообразованию была закрыта, на некоторые темы (типа динамики цен) было определенное табу. Но на обсуждение этих тем никаких ограничений не было, и в окружении Городецкого можно было совершенно свободно об этом говорить.

Регулярно проходили проблемные группы. В современном понимании эти группы были чем-то вроде научно-исследовательских семинаров. В них принимали участие профессора, доценты, аспиранты, студенты старших курсов. В рамках этих групп обсуждались дипломы, диссертации, рефераты и вообще самые разные проблемы. На их основе тогда сформировалась своеобразная студенческая и аспирантская тусовка.

Другим ученым, с которым меня свела университетская жизнь, был Александр Иванович Анчишкин. Александр Иванович был практикующим ученым, он был не только

академиком, но еще и работал в Госплане, где столкнулся с ограничениями, идущими от власти. Однако при этом он никогда не прививал студентам боязнь думать. Это вообще очень важный момент — наши учителя думали сами и призывали думать других. Они ни в коей мере нас не запугивали, не отговаривали нас от занятий теми или иными темами. Они могли ошибаться, могли иметь скромный по современным понятиям исследовательский аппарат, но это были ученые, которые пытались познать причины явлений, узнать истину и не толкали своих студентов или аспирантов на нечестные или обходные пути к познанию этой истины.

Позже так вышло, что я заинтересовался тем, как устроена экономика в развивающихся странах. И вот тогда в моей карьере произошел довольно серьезный поворот: сначала я решил пойти изучать португальский язык, а потом поехать поработать в Африку. Почему выбрал именно португальский? Во-первых, в то время особой возможности поехать в англоговорящие страны у меня не было, а во-вторых, о Португалии и португальских колониях в то время много говорили в связи с революцией «Красных гвоздик» в Португалии и быстрым развитием ряда бывших колоний. В итоге я поехал в маленькую страну Гвинею-Бисау, где провел несколько лет, преподавая экономику на португальском языке. После Африки я вернулся на факультет. Там я был назначен замдекана по международным связям. Вскоре я получил предложение вновь поработать за границей, на этот раз в Бразилии. Однако секретарь парткома МГУ сказал мне: «Слушайте, вы уже провели несколько лет вне МГУ, в Африке, а вас только что назначили заместителем декана. Так что, будьте добры, поработайте теперь на университет!» В общем, непустили. Ругаться и скандалить мне не хотелось, потому что работа здесь была в то время очень интересной. Для нас тогда открылись двери университетов многих стран. Время было очень динамичное. Международные контакты стали очень интенсивными, они помогли реформированию экономического образования в МГУ. Особенно большой вклад в этот процесс внесло сотрудничество в рамках проекта

Tempus с такими университетами, как Лондонская школа экономических и социальных наук, Тилбург, Сорбонна.

Если говорить о том, у кого и чему я научился, то, как я уже сказал, многое я перенял от своих учителей в университетах, где работал. В частности, я учился формулировать свои мысли, даже критические или неприятные, и не бояться их культурно и спокойно высказывать. Кроме этого, после общения с иностранными коллегами я усвоил такое правило: прежде чем что-то сделать, посмотри, как это сделали другие.

Наконец, я многому научился у португальцев в Африке. Португальцы — достаточно сдержанные внешне, рациональные, но с богатым духовным миром люди. У них не принято было обсуждать пять дел одновременно. В научном рассуждении наряду с общими выводами должны быть конкретные доказательства, сухие факты, четкие, ясные ссылки. Это для российского человека, который любит двигать идеи и обсуждать сразу много разных проблем, было непривычно. Но мне это очень помогло. Я учился более системно мыслить и излагать свои мысли.

Я усвоил тогда, что для понимания развития экономики, особенно в развивающихся странах, важен социально-экономический анализ происходящего, изучение в том числе эмпирики. Интересно, что об этом сейчас часто говорят наши английские коллеги, они подталкивают своих студентов не просто изучать теорию, но и следить за реальными процессами, которые происходят в мире в данное время. Они рекомендуют им регулярно читать газеты по финансовой тематике. Мы также пытаемся привить эти принципы нашим студентам в Институте, создать соответствующую традицию.

У каждого человека свой путь развития, и жизнь — его главный учитель.

# ВЛАДИМИР ПОРУС

## УЧИТЕЛЯ

---



В МГУ на философский факультет я поступил после службы в армии в 1965 году. О философии я тогда имел очень приблизительное представление, хотя кое-что читал, и это было мне более чем интересно. Можно сказать, что в философию меня ввели «за руку» мои учителя, о которых вспоминаю с неизменной благодарностью.

Конечно, в те годы философское образование было связано с идеологической обработкой. Философский факультет иногда пышно и глупо называли «школой бойцов идеологического фронта». Но, к счастью, в те годы уже появилась возможность встречи и с настоящими профессионалами, которых было легко отличить от пустозвонов и краснобаев, натасканных на разоблачения и обличения идеологических оппонентов и врагов. По понятным причинам профессионалы большей частью занимались тем, что было ближе к науке и дальше от идеологии: историей философии, логикой, философскими проблемами естествознания.

Я на втором курсе сознательно выбрал для специализации кафедру логики. Это был один из «оазисов» на факультете, учиться там было труднее, но была и та-

кая, знаете ли, гордость, чуть ли не элитарное сознание своей причастности к чему-то настоящему. Четыре года я специализировался по логике, моя дипломная работа (потом переросшая в кандидатскую диссертацию) была посвящена философским проблемам многозначной логики (в то время я ходил в учениках А.А. Зиновьева, который и подсказал мне эту тему). Но сложилось так, что, чем больше я занимался логикой, тем больше понимал, что это не мое. Я никогда не имел больших способностей к математике, и даже незначительные успехи давались мне с серьезным напряжением. А интерес к философии приходилось гасить, потому что не хватало времени, да и сил тоже.

А.А. Зиновьев сыграл в моей жизни важную роль. Он был человеком поразительных способностей (кое-кто и сегодня называет его гением): один из самых заметных философов и логиков того времени, он был талантливым писателем, отличным художником, острословом и прирожденным лидером. Он завораживал, увлекал, студенты ходили за ним по пятам, ловили каждое слово. На нас он не жалел времени, на занятиях наших мы не замечали часов, да и после не спешили расходиться.

На Тверской (тогда это была улица Горького), в здании театра им. Ермоловой был маленький кафетерий, мы там часто бывали с ним. За чашечкой кофе (платил за всех, конечно, Ксан Ксаных) мы говорили и спорили – обо всем на свете. Он не очень-то любил возражения, иногда всерьез заводился, но мы его не стеснялись и ничуть не боялись. Я учился у него не столько логике, сколько независимому взгляду на жизнь, скептическому отношению ко всяческой имитации кипучей деятельности, к пустословию, которого было тогда предостаточно в советской философии. Теперь, после многих лет, когда многое забыто или переоценено, я по-прежнему считаю себя его учеником, хотя ни его логических идей, ни политических убеждений никогда вполне не понимал и не разделял (ни тогда, когда он считался диссидентом и был вынужден эмигрировать, ни потом, через много лет, когда он вернулся в Россию и разносил в пух и прах новую власть за ее «западнизм»).

Моими учителями были не только те, чьи лекции я слушал в университете, но и те, чьи книги или статьи я читал (а читать приходилось много, и как только мы это успевали!). Например, М.К. Мамардашвили не был моим университетским преподавателем, но я приходил и в студенческие годы, и потом на его публичные выступления, собиравшие столько народу, что сейчас это трудно даже представить. Его философские взгляды я не вполне понимал тогда (боюсь, что не только я, но и те, кого считают его учениками и последователями), да и сейчас мне многое неясно, но как же хотелось ему подражать – его спокойной и вместе с тем страстной уверенности в себе, в своем праве говорить от имени философии. Даже его манере посасывать на кафедре знаменитую трубочку с ароматом дорогого табака (его слабость!). В.П. Зинченко одну из своих лучших книг так и назвал: «Посох Мандельштама и трубка Мамардашвили». От поэзии Мандельштама я тогда сходил с ума, а трубка Мераба околдовывала – так это и осталось на всю жизнь. Однажды на его лекции в Институте философии я, как мне тогда казалось, нашел какое-то противоречие в его рассуждениях.

Конечно, не утерпел и задал «разоблачительный» вопрос. Мераб пососал трубочку, подумал и изрек: «Да, кажется, вы посадили меня в лужу. Но мне, сидящему в ней, все-таки как-то комфортнее, чем вам, посадившему!» Насколько же его прекрасный аристократизм был выше моего молодого тщеславия!.. А все-таки и сейчас – сколько лет прошло! — мне хочется хоть в чем-то дотянуться до него, ну хотя бы до его умения захватывать ходом своих мыслей такую массу людей!

Моим первым учителем логики был Е.К. Войшвилло, у него я учился точности и строгости мысли, такому «вкусному въеданию в проблему». При нем невозможно было халтурить, гнать пургу (кажется, так говорят сейчас студенты?), а лучше все-таки сказать — нести оклеветанную. Он терпеть не мог пустословия, и я с восторгом вспоминаю его критические пассажи в адрес тогдашних мастеров псевдофилософского словоблудия. А тогда это очень дорогого стоило!

Е.Д. Смирнова преподавала нам логику и логическую семантику. Сколько поколений студентов обязаны ей буквально всем, что потом становилось их профессиональной жизнью! Проходят годы, содержание ее лекций уходит из памяти, но остается их неповторимая аура. Это, может быть, даже самое главное. Она научила меня: наши знания могут и должны стать делом жизни. Сказать просто... О проводимых ею экзаменах до сих пор ходят легенды. Она говорила: «Те из вас, кто не собирается впредь заниматься этим, могут получить “автоматы” (не ниже четверки по пятибалльной системе) – и по домам, а те, кто собирается, остаются, и будем разбираться». Да, это была банька! Ни у кого не было гарантии получить хотя бы «удик», но почти все оставались, и экзамен шел с десяти утра до восьми вечера (а нас всего-то было человек семь!). Это был не просто экзамен, так я думаю сегодня, а испытание любви. Таким же был и муж Елены Дмитриевны В.А. Смирнов. Я не был его студентом, но считаю и его своим учителем – скорее, учителем жизни, чем учителем логики.

Психологию нам читал П.Я. Гальперин. В аудиторию набивалась уйма народу (больше, чем студентов), и когда он говорил своим спокойным, тихим голосом, полет мухи мог казаться невыносимо громким. Каким красивым был его русский язык, какая магия умного, интеллигентного слова! Еще мне посчастливилось на младших курсах слушать лекции В.Ф. Асмуса по истории античной философии. Он был неважным лектором, но то, что он говорил, было так интересно! Тогда уже очень пожилой профессор, он к каждой лекции готовил подробнейший конспект (никаких компьютерных презентаций тогда и в помине не было). А мы еще конспектировали и его учебник, запоминая чуть ли не наизусть. Я и сегодня заглядываю в него, а на титуле – дарственная надпись от Валентина Фердинандовича. Смотрю и помню.

П.В. Копнин в последние годы своей жизни был директором Института философии и иногда читал лекции студентам философского факультета МГУ. И сегодня помню их замечательную логичность. Благодаря его заступничеству я поступил в аспирантуру. Вступительный экзамен по диалектике я сдавал комиссии, в которую входил Э.В. Ильенков. Обо мне он знал, что я был учеником Е.К. Войшвилло и И.С. Нарского, с которыми «неистовый Эвальд» вел затяжные философские войны как с противниками «диалектики как логики» (это особая история, о ней надо бы рассказать больше, но уже некогда). Он, конечно, легко обнаружил мое невежество в области диалектического материализма и его славной истории. Зрел «неуд» и провал. Растерянный, я стоял в коридоре, дожидаясь конца. Копнин шел мимо, приблизился ко мне и спросил, как дела (он знал, что я работал с Зиновьевым, которого он высоко ценил). Узнав, крикнул и пошел разговаривать с комиссией. Потом подошел ко мне и говорит: «Ладно, иди домой, оценка “хорошо”, но помни...» Так я поступил в аспирантуру, а потом месяцами готовился к кандидатским экзаменам – нужно было сдать их так, чтобы «искупить свою вину». И сдал. А Павел Васильевич вскоре умер. Когда все это происходило, он, скорее всего, уже знал о своей смертельной болезни.

Н.Н. Трубников был членом комиссии на моем кандидатском экзамене по философии. Потом он спросил: «Почему вы занимаетесь логикой, ведь я вижу, что вас интересует философия?» – «Так получилось», – промямлил я. «Знаете, Володя, надо делать не то, ради чего стоит жить, а то, ради чего стоит и сдохнуть!» Я тогда не понял этих слов. Понял их позже, когда узнал, что это говорил уже умирающий человек. Он умер от рака тяжелой, долгой смертью, сохраняя до конца полную ясность ума. А перед самым концом он раздал все свои книги и рукописи своим друзьям — каждому в отдельности то, что считал важным. Его слова я запомнил на всю жизнь и сам иногда говорю что-то такое своим молодым коллегам.

Большую роль в моей жизни сыграл Б.М. Кедров. Он был директором Института философии, а я в это время заканчивал аспирантуру. Время было тяжелым, много было всякой мути и гнусности. Работу я найти не мог, потому что евреев не брали на «идеологический фронт» – а вдруг они дезертируют и съедут на историческую родину. Кедров помог мне получить работу в Институте. Вскоре после этого (но вследствие не только этого!) его вынудили оставить Институт. И его я считаю своим учителем. Он не был безгрешным, но в трудную минуту на него можно было положиться. В этом, я думаю, и был главный стержень его жизненной философии.

Хочу благодарно вспомнить П.В. Таванца, заведующего сектором логики Института философии, он был прекрасным человеком, и без его помощи (а в трудную минуту он и деньгами мне помогал) я бы не справился со своими проблемами. Если мне иногда удастся кому-то из своих студентов и аспирантов помочь в жизни, я таким образом плачу долг памяти этому человеку.

Хотелось бы всех поименно назвать... И еще есть надежда: когда-нибудь кто-то из сегодняшних студентов, давая интервью, назовет и меня своим учителем.

# ЕЛЕНА ВИШЛЕНКОВА УЧИТЕЛЯ

---



О своем учителе я написала несколько статей при его жизни. Тогда это было просто. Просто потому, что можно было показать написанное и увидеть реакцию, сопоставить персонаж и живого человека, выяснить, узнаёт ли он себя в моем очерке. После его ухода писать о нем стало трудно. У написанного слова есть мания обретаť собственную жизнь и подменять ею реальность. Григорий Наумович Вульфсон был сложен и противоречив, как жизнь с ее виражами и поворотами. Я боюсь сделать его простым и одномерным, сделать «белее» и мягче, чем он был на самом деле, потому что я любила его таким – ершистым, колючим, добрым, непредсказуемым, любящим, пристрастным, жестким и упрямым.

Конечно, он уникален. Но при всем при том он типичный университетский человек. Причем настолько, что само понятие «университетский человек» ассоциируется у меня с его типом личности. И дело не в том, что всеми 24 часами суток он был связан с университетом, а скорее в том, что он олицетворял специфическую университетскую культуру, был ее носителем и создателем.

Знавшие Вульфсона близко или «шапочно» люди воспринимали его как «профессора». Это определение было как имя при его фамилии – профессор Вульфсон. Казалось, что профессором он родился и всегда был. Университетские люди придавали ему такое же символическое значение, как, скажем, колоннам главного корпуса, без которых Казанский университет не мыслится. И попытка понять феномен Вульфсона – это подсознательное стремление понять и себя, попытка осмыслить собственные университетским людям ценности и идеалы.

Практически каждый день в сопровождении аспирантки или коллеги Вульфсон подъезжал на трамвае к университетскому холму и поднимался по крутой лестнице к университетским корпусам. Он делал это шестьдесят лет, с тех пор как выписался из военного госпиталя и встал на протез правой ноги. В последние годы жизни несколько грузный, он шел не торопясь, опираясь на массивную резную трость. Мимо пробегали, вежливо здороваясь, студенты и аспиранты, преподаватели останавливались и пожимали ему руку, спрашивались о самочувствии. В ответ Вульфсон слегка наклонял голову, отвечал на приветствия, некоторым дамам церемонно целовал руки.

Это был его ритуал восшествия в Университет.

По мере продвижения Григорий Наумович обрастал людьми. В здание он входил в сопровождении оживленно переговаривающейся группы разновозрастных коллег. И тут они вливались в студенческо-преподавательскую толпу, ожидавшую прихода лифта. Открытие его дверей всегда сопровождалось толкотней, хохотом студентов и возмущенными возгласами преподавателей. В ситуации хаоса Вульфсон брал на себя функции дирижера. Он чувствовал себя в университете хозяином. Это была его территория. За ее пределами профессор не мог определять устои жизни, придавать ей желаемый порядок, но здесь он царствовал и режиссировал. В результате в лифт входили сначала педагогические дамы, затем коллеги мужского рода, затем студентки. Юношам, как правило, предлагалось подняться пешком. Двери закрывались в тишине. А в лифте он балагурил со «счастливчиками».

Для многих университетских людей кафедра является продолжением дома. Вульфсон же был ее заботливым домовладельцем. В самые тяжелые времена он создавал в этом помещении уют и заботился о стиле: приносил из дома подлинники картин, доставал обои, договаривался с комендантом о мебели, подбивал аспирантов сделать косметический ремонт и т.д. В нем была «домовитость», ярко окрашенная профессией. Стиль и вкус профессора сформировались на образцах российской культуры XIX века. Он был профессиональным знатоком интерьера, экспертом антикварной мебели, часов и вещей.

Увлечшись в молодости темой разночинцев, Григорий Наумович вживался в своих персонажей. Антропологи назвали этот метод «плотным описанием». Вульфсон этого названия не знал. Просто это был присущий ему метод познания прошлого. Он пропускал его через себя. Прошлое не должно быть мертвым и ушедшим. Оно – часть настоящего. Его разночинец имел не только правовой статус и политические убеждения, но обитал в конкретных домах, пользовался мебелью, ел определенную еду, думал о деньгах, читал известные Вульфсону книги

и газеты, выражал свои мысли характерными для этого слоя словами, проявлял эмоции специфическими восклицаниями и жестами. Он носил одежду, и его костюм был выражением социальной психологии и субкультуры.

Чтобы ее почувствовать, уловить дух времени, Вульфсон окружил себя предметами разночинного быта. Многие годы он добывал эти вещи: выменивал у алкоголиков, скупал у торговцев, находил на свалках, выискивал на чердаках заброшенных домов. С годами его дом наполнился подсвечниками, канделябрами, картинами, шоколадницами, ящиками для перевозки обуви, курительными трубками, пенсне, ножами для разрезания газет и прочими вещами старого быта.

О назначении многих из них рядовой советский человек даже не догадывался. Григорий Наумович же признавался, что с ними ощущает себя человеком прошлого столетия. Он мог приготовить блюда, которые ели эти люди. Он знал стоимость продуктов того времени, знал, на сколько времени хватает свечи и как пользоваться гусиным пером. А это другое, нежели пересказ текстов, ощущение прошлого. Его знание было почти тактильным. И люди из вульфсоновских книг тоже представляли живыми. Рассказывая о них, он говорил их голосами, характерными для них фразами. Например, рассказывая об историке А.П. Шапове, Григорий Наумович пытался воспроизводить его невнятную дикцию и интонации речи. Видимо, такая практика помогала ему проникать в логику противоречивых поступков и решений выпускника духовной академии. Вульфсон жалел, что не может отправиться на родину Шапова, в сибирское село Анга. Он был уверен, что, побывав там, сможет понять истоки смятения и напряжения, в котором всю жизнь находился Афанасий Прокопьевич.

Историко-биографический жанр был безумно интересен Вульфсону в силу того, что ему вообще были интересны люди. Я думаю, что этим в конечном счете был продиктован его выбор профессии, а также тематика его исследований и характер педагогической работы.



Человек в истории не был для Вульфсона категорией абстрактной или социологической. Поэтому так увлекательно читаются его книги о судьбах «невыдающихся» людей.

Советская научная политика сыграла с ним злую шутку. История быта, повседневная жизнь и социальная культура в то время не были самоценными темами. Эти сюжеты находились на периферии исследовательского поля, могли быть лишь второстепенными сюжетами в освещении или решении социально значимых проблем. А подлинными научными открытиями Вульфсона лежали именно в этой области. В результате его основное исследование по совету академика М.В. Нечкиной получило название, которое возвело барьер между ним и читателем: «Разночинно-демократическое движение в Поволжье и на Урале в годы первой революционной ситуации» (Казань, 1974). Специалисты хвалили книгу, но пресыщенного революционной тематикой читателя 1970-х годов не привлекали подобные сюжеты, помещенные к тому же в краеведческий контекст. Книга с таким названием воспринималась как одно из многочисленных ангажированных изданий, и «ребенок был выплеснут вместе с мутной водой».

В исследованиях 1990-х годов по микроистории и истории повседневности на книги Вульфсона ссылок практически не было. В них цитировалась лишь одна статья, опубликованная Вульфсоном в 1967 году в «Очерках истории народов Поволжья и Приуралья». Это его заделало. Он, не без оснований, считал себя одним из первых отечественных бытописателей, специалистом по социальной истории, понятой широко. Значит, заключал исследователь, книга не попала к тому читателю, которому была адресована. В этом отношении Вульфсон-ученый не получил того признания, которого заслуживал. Его труды воспринимались тогда как краеведческие. Между тем его замыслы и амбиции были иными.

Здесь следует оговориться. У Вульфсона не было снобизма по отношению к краеведению. Напротив, он с большим уважением относился к исследовательской

работе таких историков, сам был патриотом Казани, любил и знал историю губернии. На заседаниях кафедры и диссертационного совета Григорий Наумович рекомендовал коллегам ориентировать студентов на анализ архивных документов, сохранившихся в Казани. Но во всем этом есть «но». Он чувствовал разницу между «локальной» темой и темой, разрабатываемой на местном материале. Проблемы истории Казани, управления регионом, просвещения местного населения и т.д. он выводил на уровень общероссийских и общечеловеческих забот. Локальная история была призмой, иногда моделью для понимания широких процессов в империи. Поэтому его история казанских слобод была одновременно историей урбанизации, тема казанских попечителей и учебных заведений – историей российского просвещения, а историко-биографические сюжеты из жизни казанских общественных деятелей – историей идей. В этом отношении он не страшился размаха, а боялся мелкотемья.

И все же расправить крылья в науке – так, как он бы мог, – ему не удалось. По своим интеллектуальным способностям и лидерским данным Григорий Наумович, наверное, имел все шансы стать создателем научного направления. Как водится, причин тому, что он не стал им, много – и личные обстоятельства, и состояние науки в то время, а еще, видимо, и то, что он не был кабинетным ученым, что был талантливым педагогом и обладал редкими в нашей среде качествами организатора науки.

Да, в идеале университетский человек должен быть ученым и педагогом одновременно. Но в реальности он отдает предпочтение той или другой своей ипостаси. В Вульфсоне взял верх педагог. И сам он считал это главным своим достоинством, видел в этом свое призвание. И не потому, что был слаб в других областях. Отнюдь нет. Просто Григорий Наумович был натурой страстной и отдавался любимому делу целиком. Он занимался со студентами и аспирантами так много, что был по-настоящему соавтором выполненных под его руководством диссертаций и дипломных работ. Каждая мысль была продумана, обсуждена, подобраны термины и определе-

ния. Он читал яркие лекции, на которые приходили люди «со стороны», и гордился аплодисментами своих слушателей. В его домашнем кабинете на письменном столе стояла литая скульптура крылатого Пегаса, подаренная ему студентами в 1950-е годы. За это он получил партийный выговор, но с подарком расставаться отказался.

Когда-то для того, чтобы сделать из себя искусного оратора, он «ставил голос» в театре, много работал над собственной не идеальной от природы дикцией. Университетские люди старшего поколения рассказывают, что голос и каждое слово молодого Вульфсона отдавались в соседних аудиториях. Вести занятия в них было трудно. Однако с годами его лекционный курс делался менее театральным, но более глубоким в содержательном отношении: в лекциях стало меньше артистизма, больше четкости, элементов диалога со слушателями. Для него было важно «задеть» студента, высечь в нем исследовательскую искру.

Григорий Наумович консультировал студентов до и после практических занятий, встречался с ними в библиотеке, в архиве. Он учил «мастерству историка». На время обучения аспирант становился членом его семьи и находился в состоянии постоянного диалога с учителем. Его ученики ходили с ним в мастерские художников, антикварные лавки, издательства, присутствовали на его занятиях. Он учил не просто писать диссертацию, он делился жизненным опытом, передавал ученику свои ценности, формировал по своему образу и подобию. Под его руководством было защищено 37 диссертаций. Конечно, отношения Вульфсона с учениками были разными, поскольку разными были и эти люди. Он осознавал, что имеет дело с душами людей, а не просто с их текстами.

Общение с аспирантами, коллегами, работа в диссертационном совете, аудиторные занятия со студентами занимали все его время. Но, кроме этого, он умудрялся бывать на заседаниях попечительского совета Обьединенного музея, редактировать многочисленные статьи биобиблиографического словаря воспитанников

Казанского университета, ездить по издательствам и вести переговоры о цене и качестве университетских изданий, посещать концерты, обсуждать произведения своих друзей-художников. Его имя неразрывно связано с исторической реконструкцией актового зала Казанского университета. За этой лаконичной фразой стоят многочисленные поездки по стране в поисках изготовителей венской мебели, хрустальных плафонов; заказы портретов, обоев, паркета; переговоры с реставраторами, поиски в архивных фондах. Вульфсон умел уговорить, заинтересовать, настоять, умел торговаться о цене заказа – дар, в ученой среде чрезвычайно редкий.

Как человек духовно богатый, он тратил энергию щедро. В своих отношениях с коллегами, учениками, родственниками, просто знакомыми он неизменно был стороной активной и созидательной. Это свойство могло утомлять и тяготить, но чаще всего в нем нуждались, как все мы нуждаемся в равнодушном человеке. Поэтому к нему приходили, его терпели, ему прощали, его благодарили, ему рассказывали о сокровенном, показывали детей и избранников, несли на прочтение рукописи. Каждый знал, что он не будет отговариваться занятостью, прикрываться сухой вежливостью. Но на похвалу рассчитывать было трудно. Она, как правило, оказывалась скупой – и потому особенно ценной. Чаще же речь шла о несостоявшемся, о неслучившемся – о профессиональном идеале. Но людям работающим такое выявление нужно более всего.

Круг общения Вульфсона всегда был чрезвычайно широк, и составляли его люди разные. Он общался с дворниками, слесарями, медсестрами, продавщицами и даже бомжами – и вместе с тем с академиками, директорами, ректорами. Думаю, что его искусство находить общую тему и общий язык с людьми разных социальных слоев, полов, возрастов и характеров было основано, с одной стороны, на интересе к ним, а с другой – на богатстве собственной личности, искусстве перевоплощения. Мне кажется, что все эти столь разные персонажи жили в нем самом, а потому ему не стоило труда чувствовать себя равным.

У него не было ни мании величия, ни комплекса неполноценности. А потому не надо было снисходить или подтягиваться.

Впрочем, одного интереса к людям мало для их понимания и приятия. У Вульфсона было что-то еще. Я бы назвала это «семейностью». Кажется, семья являлась единственно возможной для него формой существования, и она не ограничивалась «малым кругом», то есть супругой и детьми. Вульфсон включал в понятие семьи своих друзей и учеников, а также членов кафедры, факультета, университета. Со всеми ними он вел себя как человек, который за них отвечает.

Так уж в жизни бывает, что прозорливость к человеку приходит через несчастья. Попав добровольцем на фронт, потеряв в первых же боях ногу, пройдя через операции в полевых и тыловых госпиталях, Вульфсон вернулся в девятнадцать лет в Казань инвалидом. Физический недостаток делает человека психологически уязвимым, но благодаря этому он научается соотносить свои желания и возможности, знает, за что и сколько должен заплатить. Кажется, что, забрав часть тела, Бог дарует человеку интуицию. Во всяком случае, она позволяла Вульфсону почти безошибочно «угадывать» людей ныне живущих и понимать людей из прошлых веков.

Вообще, история по Вульфсону чрезвычайно антропологична – это переплетенные судьбы конкретных людей. Он созидал ее из их поступков, из их восприятия мира, из их конфликтов и чувств. Понятое таким образом прошлое включало в том числе и то, что люди могли, но не сделали, что хотели, но не сказали, – свободу их непростых решений. В этом отношении Григория Наумовича чрезвычайно влекло поле психоистории и психолингвистики.

В реальности знакомство Вульфсона с достижениями этих наук так и не состоялось. Условия отечественной науки, а также провинциального университета в советские годы ограничили возможности его приобщения

к результатам науки мировой. Он осознавал это как ущербность. Пока позволяли возраст и физическое состояние, он часто ездил на конференции, совещания, симпозиумы ради общения с коллегами. Ему нужна была «критическая среда» в профессии. В последние годы, когда Вульфсон из-за физической слабости отказался от дальних поездок, он побуждал учеников устанавливать научные контакты, расширять профессиональное общение, использовать шанс зарубежных стажировок. Он жадно слушал и впитывал наши рассказы о новых исследованиях, об обсуждаемых идеях, наши оценки деятельности коллег, суждения о состоянии других университетов, исторического образования в них. Я была поражена, когда в восемьдесят лет он каждый день приезжал на лекции, которые в феврале 2000 года в Казани читали ведущие специалисты страны для молодых преподавателей истории. Он учился всю свою жизнь, и это было потребностью его натуры.

И еще Вульфсону было свойственно сверхвнимание к историческому документу. Он умел «выжимать» его, видел написанное между строк. Его логика интерпретации источника шла от автора. Признание за ним «слабостей» – политической и культурной ангажированности, пристрастности, комплексов, нарушений памяти, социальных интересов, болезней, страха и прочего – вело к разработке теории создания исторического источника. Он сам вел дневник и записывал воспоминания, чтобы выявить уязвимые свойства текстов памяти.

Вообще, философию источника Вульфсон считал основой исторической профессии, полагал, что методы работы с источниками делают историю наукой, отделяют ее от любительства. Свои мысли по этому поводу он изложил в ряде статей, но главным образом они зафиксированы в его лекционном курсе, предназначенном для студентов-дипломников и аспирантов.

У Григория Наумовича было особенно трепетное отношение к языку исторического текста. Видимо, оно – производное от его тонкого лингвистического вкуса.

Вульфсон не просто знал русский язык, он его чувствовал, как чувствуют художественную ценность полотна. Ругая автора плохо написанного текста, он объяснял: «Я субъективен, но русский язык люблю и портить его не дам». Толковые словари Даля и Ожегова, словарь синонимов всегда лежали на его рабочем столе. Он постоянно пользовался ими. У него была даже своеобразная «игра в слова» с аспирантами, когда надо было подобрать наиболее удачное определение обсуждаемому явлению или несколько синонимов к слову либо сформулировать значение используемого понятия. Он обращал внимание учеников на речевые формулы, которыми говорили исторические персонажи, на то, как они молчали, как начинали и завершали письмо. Там он искал культурный код времени.

Вульфсон был мастером формулировок. Это признавали за ним все, оттого он был председателем аттестационной комиссии, составлял от лица диссертационного совета проекты заключений. К нему приходили за советом начинающие диссертацию аспиранты и закончившие монографический труд коллеги. Григорий Наумович считал, что историк – это писатель, который обращается к историческому материалу и пользуется научными методами обработки текстов. И коль это так, то конечная продукция профессионального историка должна читаться. Это есть критерий качества. Ему не нравились, более того, его раздражали наукообразные тексты, написанные как «отчет о проделанной работе», закодированные от читателя. Он не был человеком, склонным к эзотерике, и сектантское сознание было ему чуждо.

А еще он не любил многословных людей, считал, что под «словоблудием» скрывается нищета мысли. Он ценил в историке искусство слушать и слышать, наблюдать и видеть. Очевидно, история для него была профессионально осмысленной памятью. И она богаче у тех, кто обладает духовным опытом. Для Вульфсона человек духовно скупой или бедный попадал в категорию профессиональных мошенников. Таких всегда было много,

и профессора это чрезвычайно удручало. Иногда это ощущение удрученности захлестывало и наводило на мрачные мысли о настоящем и будущем исторической науки и образования. В более оптимистичные моменты он утешал себя мыслью о том, что мать осядет. Как правило, оптимизм появлялся после прочтения какой-либо яркой работы.

Впрочем, Вульфсон не был ни оптимистом, ни пессимистом. У него было невероятно сильное витальное чувство. Он знал жизнь в ее привлекательных и тяжелых проявлениях и ценил ее, а потому всегда боролся. Она не давалась ему легко, но Григорий Наумович научился с ней управляться. Он умел жить настоящим: здесь и сейчас проявлять реальную заботу о близких, обустроить свой быт, заботиться о здоровье, создавать в жизни праздники, наслаждаться ритуалами. В этом отношении в его сознании не было разрыва между жизнью публичной и частной. Он ценил красивую одежду, видел в ней форму самовыражения человека. К каждому учебному году Вульфсон старался пошить новый костюм, прийти на лекцию в бабочке и роговом пенсне. Он всегда отмечал новинки во внешнем виде коллег, любил поговорить о ювелирных украшениях с дамами. У него было эстетическое отношение к жизни. К тому же университетский человек, по его мнению, должен обладать неким статусным поведением, быть привлекательным. Философия эстетствующей нищеты не была ему свойственна. Даже в годы экономических кризисов в нашей стране он был уверен, что умный и неленивый человек способен зарабатывать на приличную жизнь, что все можно научиться делать.

Пока казалось, что времени впереди еще много, Вульфсон брался за множество разных дел и заработков. Неизменным было лишь правило не выходить за рамки профессии. Среди его занятий и увлечений были библиография, музей, реконструкция, консультации учителей и т.д. А за год до смерти он признался, что берется лишь за дела, обещающие бессмертие. Он хотел, чтобы его ученики и потомки гордились его именем.

Это то, что он им оставлял. Среди «бессмертных» дел он числил подготовку аспирантов (живой памяти о нем) и создание библиографического словаря воспитанников Казанского университета.

Почему-то ему хотелось сделать число своих учеников круглым – 30, 33 или 40. Получилось 37, и еще одна работа осталась незавершенной. У всех в памяти есть воспоминания о конфликтах учителя и переросшего ученика. Вульфсон страстно хотел больших и талантливых учеников. Только такие могли сделать его имя бессмертным. Он гордился их делами, создал специальный альбом с их авторефератами, фотографиями, записями. А от учеников он ждал – и даже, скорее, не ждал, а требовал – благодарности. Видимо, это то, что ему было необходимо в жизни.

При жизни Вульфсона вышел первый том библиографического словаря «Казанский университет: 1804–2004». Том роскошный. Трудно поверить, что он готовился не организацией, а маленькой группой энтузиастов. Вульфсон гордился им, как отец первенцем. В университетской среде издание сразу же получило название «словарь Вульфсона». Таковым он и останется в анналах Казанского университета. Так что Григорий Наумович получил желанное.

Мой учитель был чрезвычайно разносторонним и ярким человеком, и это воплотилось в его делах, в его стиле жизни. История жила в его словах, одежде, жестах, поступках и принятых решениях. И мыслил он себя исторически – делил жизнь на тленную и нетленную. В суете забот он умел выбрать то, что всегда будет иметь ценность. Это особая мудрость жизни.

# ОЛЕГ АНАНЬИН

## УЧИТЕЛЯ

---



Мне трудно назвать какого-то одного человека, который был моим учителем. Но я очень ценю то, что учился на экономическом факультете МГУ: там была атмосфера, которая позволила изжить школярство в отношении к учебе и не только. Это была атмосфера, в которой нельзя было просто учить и зубрить, приходилось думать, спорить, искать аргументы. И находить в этом удовлетворение.

Потом я пытался понять, что же такое там происходило, что вызвало во мне такие перемены. Думаю, что главную роль играла некая атмосфера свободы. Допускаю, что «закрытый» диссидент мог себя чувствовать иначе, но я таковым не был и тогдашние «правила игры» меня вполне устраивали. Свобода заключалась в том, что нас никто не одергивал, мы могли говорить то, что считали нужным. Был у нас один студент, который начал слишком смело высказываться, – его поругали, но никаких серьезных эксцессов на этой почве я не помню. Мои друзья в университете делали независимую стенгазету «Слово», скорее литературно-художественную, которая прямого отношения к экономике не имела, но она казалась смелой, и мы все ее активно читали. К такой деятельности начальство, прежде всего тогдашний декан Михаил Васильевич Солодков, относилось с пониманием.

Второй важный фактор – то, как были организованы занятия. Главную роль играли семинары по основным предметам, в особенности по политэкономии, в меньшей степени – по философии. У нас было много таких семинаров. Сначала шли базовые курсы политэкономии – капитализма, социализма, а потом – спецсеминары, более продолжительные и фундаментальные. Нужно было много читать, и отнюдь не только учебник или то, что считалось правильным: мы читали дискуссионные статьи по экономической теории. Должны были знать и анализировать мнения разных сторон, в этих дискуссиях участвовавших. В том числе тех авторов, которых – как я позже узнал – издателям не разрешалось в то время ни публиковать, ни даже не критически упоминать в своих изданиях. Опубликованные работы таких авторов в наши методички попадали, и мы их читали, обсуждали, спорили, и это было совершенно нормальным явлением. У студентов вырабатывалось понимание, что в нашей науке есть нерешенные проблемы, а потому есть о чем думать и спорить. Мне кажется, что сегодня как раз этого у нас маловато. Сейчас преподаются разные концепции, и каждую студент должен знать, особенно задумываясь, почему эти концепции – разные.

Среди преподавателей, которые вели спецсеминары, не было звезд первой величины, но они умели это делать и делали хорошо. Как правило, вели спецсеминары профессора и доценты, нередко доктора наук. Были у нас и семинары по истории экономических учений, но они не запомнились, а вот семинары по политэкономии в памяти сохранились. Я учился на «зарубежке», у нас была сильная группа. И я помню и ценю не только преподавателей, но и своих коллег-студентов, потому что дискуссии на семинарах между студентами иной раз давали больше, чем комментарии преподавателей. Все это в совокупности и создало эффект, который длится всю жизнь.

В то время шли жаркие дискуссии по проблемам экономической теории, существовали разные научные школы: университетская, Института экономики, Академии общественных наук, – и мы были в курсе этой полемики. Дискуссии шли и внутри самого экономфака МГУ. Он был разделен на отделения политэкономии и экономической кибернетики, и между ними сложились непростые отношения, постоянно шли научные (и не только) баталии. Дискуссии шли даже внутри кафедры политэкономии. Когда я там учился, возник конфликт на почве теоретических воззрений между одним из ведущих профессоров, Владимиром Петровичем Шкредовым, и небольшой группой его коллег, с одной стороны, и руководством кафедры – с другой. Позже – уже после нашего выпуска – Шкредову пришлось уйти с факультета. Шкредов был яркой фигурой, у нас он читал отдельные лекции. А перед госэкзаменом по политэкономии ему поручили прочитать нам три лекции-консультации. И мне на всю жизнь запомнилось, чем он завершил последнюю из них. Представьте: идет 1972 год, заканчивается потоковая лекция перед госэкзаменом на отделении политэкономии МГУ. И профессор напутствует студентов такими примерно словами: «Я сказал то, что сказал. Ну а как вам сдавать экзамен, думайте сами. Помните, что говорил студенту гётевский Мефистофель?» И прочитал нам пространную цитату из «Фауста»:

*Наука эта – лес дремучий.*

*Не видно ничего вблизи.*

*Исход единственный и лучший:*

*Профессору смотрите в рот*

*И повторяйте, что он врет.*

*Спасительная голословность*

*Избавит вас от всех невзгод,*

*Поможет обойти неровность*

*И в храм бесспорности введет.*

*Держитесь слов...*

И далее еще строфа в том же духе. Кстати, у Гёте речь шла о богословии... Вот такую установку получили мы перед экзаменом. Студенты были в восторге. «Фауста» я к тому времени уже прочел, но этих строк не помнил, а после лекции они врезались в память на всю жизнь. Подобные эпизоды случались в нашей студенческой жизни, и, конечно, это производило сильное впечатление. А такие люди, как Шкредов, были настоящими учителями. Они в той или иной мере определили круг моих интересов в науке и, что не менее важно, отношение к жизни.

Третий ключевой момент – в университете я привык к самостоятельному чтению. Знал, что если мне чего-то не хватает, то надо дочитывать. Так, будучи студентом, я читал Гегеля. Это было тяжело, но я заставлял себя каждый вечер читать главы и параграфы трудного текста. И таким образом постепенно осилил несколько томов по истории философии и логике. Маркса мы изучали капитально, но все же избирательно, поэтому перед экзаменами в аспирантуру я перечитал все тома «Капитала», включая те разделы, которые мы не проходили, а также

большую часть черновых рукописей Маркса. Читал и экономистов. Особенно зарубежную экономическую мысль хотелось знать лучше. Есть знаменитая и весьма объемная книга конца 20-х годов советского экономиста Израиля Григорьевича Блюмина по субъективной школе политэкономии – ее, помнится, осваивал. Читал Кейнса в жутком переводе 1947 года. Уже тогда меня очень интересовало противостояние политэкономов и эконом-математиков, и я хотел понять, что за ним стоит. Помню сильное впечатление, которое на меня произвела книжка одного из лидеров экономико-математического направления – В.В. Новожилова. Было впечатление, что он видел экономику насквозь, чувствовал, как в ней все взаимосвязано. Этот навык – искать что-то в литературе, себя этим воспитывать – еще один важный урок, который преподавал мне университет.

Еще надо сказать о семинаре по политэкономии социализма, который вел очень интересный человек. Мы узнали про него от студентов предыдущего курса и специально попросили в деканате, чтобы к нам его направили. Человека этого звали Леонид Владимирович Лёвшин, на факультете он был совместителем. Его основным местом работы был Институт экономики Академии наук. И была у него не совсем обычная биография. Во времена Хрущева он был его советником, а после этого работал в президиуме Академии наук, в аппарате вице-президентов академиков К.В. Островитянова и – позже – А.М. Румянцева. Он участвовал в организации разного рода дискуссий между представителями различных научных школ и был автором одной из лучших по тем временам книг по западной экономической мысли. На семинары он иногда приносил и раздавал студентам протоколы закрытых дискуссий в Академии наук и говорил: «Вот вы прочитайте и в следующий раз расскажите». Это были материалы, которые вообще не публиковались и в которых участники дискуссий высказывались более откровенно, чем в открытой печати. Конечно, это было очень интересно. У меня сложились с Лёвшиным хорошие отношения, и когда надо было решать, куда идти после университета, он предложил мне пойти

в аспирантуру Института экономики, где как раз в то время происходила реорганизация. Хотя формально он не был моим руководителем, но сильно повлиял на мою научную судьбу.

Теперь немного о моих научных руководителях в собственном смысле слова. В МГУ я учился на «зарубежке», а там с первого курса была специализация по языку. Попал я в чешскую группу со специализацией по экономике Чехословакии. Куратором чешской группы была замзавкафедры «зарубежки» Маркиана Николаевна Осьмова. Человек она замечательный: добрый, отзывчивый, очень контактный. Наши отношения неизменно строились на взаимопонимании и доверии. Другое дело, что темы, которые я выбирал для курсовых и диплома, не совпадали с тематикой ее исследований, и поэтому работать приходилось практически самостоятельно. Я предлагал тему, она соглашалась, потом работал, приносил готовый текст, и все было нормально.

В Институте экономики получилось сложнее. Когда я в 1971–1972 годах пришел в аспирантуру, там только что прошла реорганизация, следовавшая за постановлением ЦК партии по институту, – иначе говоря, после жесткой критики в его адрес. Реорганизация свелась к тому, что институт «укрепили» целой группой новых руководителей и сотрудников, в основном из МГУ или как-то связанных с университетом. Иными словами, университетская школа получила тогда канал влияния на ведущий экономический институт Академии наук. Я попал как раз в эту струю – пришел из МГУ одновременно с большой когортой новых сотрудников. Здесь была уже не просто атмосфера дискуссий – скорее, обстановка напряженной борьбы между различными группировками, и в этой борьбе слова стали символами, которые нужно было уметь расшифровывать. Багаж, с которым я пришел в институт, был, конечно же, связан с тем, чему нас учили в МГУ. Надо сказать, что в университете были очень разные преподаватели, и к старшим курсам мы уже различали, кого из них нужно слушать и читать, а кого – порой более высокого звания и статуса – слушать и читать ни к чему.



Мы не «кушали» все, что нам давали, умели разбираться, что стоит, а что не стоит нашего внимания.

Так как моей аспирантской специальностью была история экономических учений, то меня направили к руководителю соответствующего отдела члену-корреспонденту Академии наук СССР Анатолию Игнатьевичу Пашкову, одному из соавторов знаменитого учебника 1954 года, написанного по следам работы Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». В МГУ Пашков слыл ретроградом. Как раз в 1972 году произошла острая перепалка между лидером университетской школы Н.А. Цаголовым и Пашковым в одном из журналов. Когда я узнал, что такой человек будет моим руководителем, то несколько напрягся: было непонятно, как выстраивать с ним отношения. Тему диссертации мне утвердили, я начал работать. Поскольку речь шла об экономической мысли в Чехословакии, то, понятное дело, Пашков не мог в нее вникать детально. И это давало мне свободу маневра. Первые наброски будущей диссертации имели несколько абстрактный характер, что, по-видимому, не очень ему нравилось, но в целом реакция была спокойной. Помню только один забавный эпизод. Когда Пашков прочитал одну из глав, то остановился на какой-то фразе и сказал: «Вы знаете, тут у вас есть формулировка, по поводу которой я спорил с академиком Островитяновым. У вас написано как раз то, что защищал Островитянов, а у меня была противоположная позиция, и как-то это нехорошо получается». Для содержания моей работы эта формулировка не имела значения. Поэтому я не стал ни на чем настаивать и просто отредактировал текст, чтобы снять вопрос. В целом же отношения были нормальные, и я работал, как считал нужным. Более существенный эпизод, связанный с Анатолием Игнатьевичем, произошел на заключительном этапе, на защите. Она проходила в секторе, который возглавлял Пашков. Сектор занимался русской экономической мыслью, не соцстранами. И вот в ходе дискуссии один из сотрудников выступил примерно так: «Да, у диссертации есть определенные достоинства, но она написана не с тех позиций, которые защищает научный руководитель».

Я немного съезжился, потому что, с одной стороны, это была чистая правда, но с другой – удар ниже пояса. Зачем было на защите акцентировать на этом внимание, можно только догадываться. А дальше наступил момент истины в наших с Анатолием Игнатьевичем отношениях. Когда обсуждение закончилось и Пашков подводил итоги, он сказал: «Вы знаете, я считаю, что диссертант – достаточно самостоятельный исследователь и имеет право защищать ту позицию, которую считает нужной». Такой вот урок научной этики преподал всем присутствовавшим представитель старой гвардии советских политэкономов. Это не могло не запомниться.

В Институте экономики учеба продолжалась – она ведь никогда не заканчивается. Во-первых, в Академии наук была интересная интеллектуальная среда. В разных институтах проходили семинары, что позволяло быть в курсе научной жизни. Так, я довольно регулярно бывал на семинарах в ЦЭМИ, которые проходили неподалеку – в Староконюшенном переулке. Слушал там В.А. Волконского, И.Я. Бирмана, опального Ю.А. Леваду. Я застал тот период, когда в Институте экономики еще были знаменитые старики, которые прошли огонь и воду. Многие вернулись после лагерей уже в период «оттепели». Некоторые из них на пятнадцать-двадцать лет были вырваны из научной жизни, а вернувшись, стали научными лидерами. В их числе были такие яркие люди, как Виктор Петрович Красовский, Яков Бенционович Кваша, Семен Аронович Хейнман и многие другие. Это были сильные экономисты, с хорошей школой, и во многом благодаря им в Академии поддерживалась научная культура. Словом, много чего пришлось узнать, в том числе про сложные человеческие взаимоотношения в советской науке.

Кроме того, когда я учился в аспирантуре, Институт экономики находился на Волхонке, в одном здании с Институтом философии. Мне всегда была интересна философия, и я стал следить за тем, что там происходило, – ходил на семинары и ученые советы. Возможность такого междисциплинарного общения зародила интерес к методологии науки.

Почва для этого была подготовлена еще на экономическом факультете МГУ, где был очень авторитетен Эвальд Васильевич Ильенков, работы которого по методологии «Капитала» я уже знал. Так что к аспирантуре у меня сложилось некоторое представление, кого из тогдашних отечественных философов стоит читать, а кого не стоит. Советская философия, как мне кажется, вообще была любопытным явлением. С одной стороны, она была вся марксистская по форме, да во многом и по содержанию, но это были такие марксисты, которые пытались интегрировать свои идеи в современные мировые тренды философской мысли. Были марксисты-феноменологи, марксисты-позитивисты, марксисты-гегельянцы, и они действительно знали литературу в своих областях. Отталкиваясь от Маркса, они давали свою интерпретацию этим направлениям. И это было важно для моих занятий на стыке экономики и философии.

Во-вторых, занявшись чешской тематикой, я погрузился в литературу «пражской весны», и это была замечательная школа. Главное, что было в этой литературе, – нецензурированность. Они обсуждали проблемы гораздо более открыто, чем это было принято у нас. Я старался вникнуть в разные позиции, понять их логику, их резоны. Это были споры вокруг недавних экономических реформ, за ними стояли реальные проблемы, предельно актуальные и для нашей страны. Теория была тесно завязана на практику. И вот все это мне пришлось через себя пропустить, и это был мощный источник не только информации, но также научных и жизненных уроков. Немного позже, в 1978 году, то есть спустя десять лет после событий 68-го года, я попал на три месяца в Чехословакию. За это время мне довелось побеседовать со многими чешскими и словацкими экономистами. Там было все очень непросто. Далеко не ко всем, с кем мне хотелось поговорить, меня допустили. Самые активные деятели «пражской весны» были отлучены от науки. Естественно, до них я не мог добраться. Судьбы людей были совершенно фантастическими. Иногда участь человека после событий 68-го года определяло его географическое местонахождение в момент ввода советских войск.

Если в это время он был в Советском Союзе, то каких бы взглядов он ни придерживался, все равно получал некую фору. Будь он даже активным противником всего советского, он получал шанс оставаться у руля, занять высокие позиции. И наоборот, человек, лояльный к новым властям, иногда попадал во всю эту мясорубку. У меня был долгий разговор, длившийся почти до утра, с одним высокопоставленным чиновником в правительстве Чехословакии, допущенным ко всем тайнам, но бывшим при этом, как тогда говорили, «вычеркнутым» из партии. Он рассказывал, что несколько раз подавал документы, чтобы его восстановили, но ему отвечали отказом, объясняя, что если бы его восстановили, то пришло бы множество людей, которые сказали бы: «А почему мне отказывают?» Мои собеседники были очень разными – и по характеру, и по степени откровенности. Одни держались очень открыто, другие были скованны и немногословны, но для меня эти беседы стали подлинным уроком жизни.

В заключение можно сказать еще о двух этапах в моей научной судьбе. В 79-м году, после защиты диссертации и поездки в Чехословакию, я ушел из Института экономики и перешел в Институт системных исследований, где в течение четырех лет работал в коллективе Станислава Сергеевича Шаталина, одного из наших ведущих экономистов-математиков, да и просто яркого человека. Как я уже говорил, меня еще в МГУ интересовало экономико-математическое направление. Привлекла и возможность попасть в новую, более открытую и демократичную среду. Да и сам Институт системных исследований, задуманный как советский вариант Rand Corporation, был интересен: и тем, что там собрались интересные люди из разных областей, и своей научной атмосферой, и довольно развитой по тем временам информационной инфраструктурой.

Почти в то же самое время, когда я попал в коллектив Шаталина, в Институт системных исследований пришел и Егор Гайдар, с которым мы поработали в тандеме в течение ряда лет, и это был интересный и поучительный период моей жизни.

Сам Егор Гайдар был действительно незаурядным человеком и, несмотря на разницу в возрасте в семь лет, сразу же произвел на меня сильное впечатление. Он пришел к нам вскоре после защиты кандидатской диссертации, но его хватка, нацеленность на результат были совершенно поразительными. Ни до него, ни после я никогда такого не встречал. Хорошо образованный, начитанный в экономике, философии, при этом он был совершенно неакадемическим человеком в привычном понимании этого слова. Ему было интересно писать всякого рода записки, продумывать какие-то проблемы, которые бы выводили на практический результат. Ему хотелось что-то сделать, что-то изменить. Незадолго до перестройки, в 1984 году, поле для такой деятельности существенно расширилось. Директор нашего института Д.М. Гвишиани возглавил правительственную комиссию по совершенствованию управления, а наша лаборатория стала рабочим центром этой комиссии. Меня, признаюсь, режим работы, когда надо было все время писать бумаги наверх, быстро утомял. Первая серия этих бумаг пришлась на лето, когда все ушли в отпуск, а я остался «на хозяйстве». Пришлось готовить первый вариант концепции реформы управления предприятиями – совсем еще сырую «рыбу» будущего документа. И хотя требовалась ее серьезная доработка, случилось так, что бумага сразу пошла куда-то «наверх». Прошло несколько месяцев, и после ряда обсуждений «наверху» к нам пришел документ Комиссии. Я его читаю и вижу большие куски своего текста! Серьезные люди обсуждали эту «рыбу», она превратилась в официальный документ, и меня это совершенно поразило. Это был новый опыт – пишешь работу, над которой работать и работать, а ее уже обсуждают как руководство к действию. Я не был уверен, что действительно хорошо понимаю все необходимые взаимосвязи, знал, что экономика тесно связана с другими сферами жизни, которые мы не прорабатывали. А как можно что-то делать, если эти связи не проработаны? Нужно ведь массу экспертов собрать, что само по себе непросто, интегрировать разнородные знания, которые они внесут, и выдать всем понятный результат. На деле ничего похожего не происходило,

а я не был готов нести ответственность за результат, который при таком раскладе мог получиться. Поэтому вскоре я решил вернуться в более академичную среду Института экономики. Но в любом случае общение и совместная работа с Шаталиным и Гайдаром стали одним из самых интересных периодов моей профессиональной карьеры и важной школой жизни, за что я им очень благодарен.

Когда я вернулся в Институт экономики, как раз началась перестройка. Это был очень трудный период, нужно было сориентироваться в том, что вокруг происходило, осознать то, что в голове никак не укладывалось. Наверное, были люди, которые мечтали, чтобы Советский Союз развалился. Но я к их числу не относился, у меня был стереотип, что СССР – это навсегда и ничего с ним случиться не может. При этом мы, конечно, понимали, что в стране делается масса всяких глупостей, что многое надо менять. В этом смысле мы были в душе реформаторами, но радикально менять общественный строй в мои планы никак не входило. И когда в конце 80-х обстановка начала раскачиваться, осмыслить то, что происходит, было очень непросто. И вот в это время в моей жизни появился еще один учитель – Виктор Николаевич Богачёв. В 60-е годы, когда образовывалось Сибирское отделение Академии наук, он уехал в Новосибирск, был одним из пионеров знаменитого Академгородка и одним из основателей журнала «ЭКО». Потом он вернулся в Москву и работал в Институте экономики. Виктор Николаевич был человеком высшей пробы и в нравственном, и в профессиональном отношении – высокообразованным, хорошо знавшим мировую экономическую мысль, тонко понимавшим наши экономические проблемы. Мы часто обсуждали быстро меняющуюся обстановку в стране. Тогда у каждого был свой взгляд на ход и перспективы перестройки, закладывались основы будущих политических платформ и идеологических установок. И часто возникала потребность сверить свои ощущения, убедиться в их обоснованности. Нужен был некий камертон для настройки собственной позиции в тогдашней зоне социальной турбулентности.

И Богачёв стал для меня таким камертоном. Он умел видеть не только ближайшие, но и отдаленные следствия событий, тогда происходивших, раньше других чувствовал возможные опасные перекосы и печальные их результаты. Он был критиком перестроечных реформ, но никогда не был критиком-ретроградом. И жизнь подтвердила его опасения: события пошли именно так, как он предвидел.

Богачёв рано ушел из жизни, и буквально за две недели до смерти, в июне 91-го, стал сотрудником только что образованного моего сектора методологии. Поработать вместе уже, к сожалению, не удалось, но Виктор Николаевич остался в памяти как человек пронизательного ума, способный соединять теорию и практику, предвидеть события. И, наверное, это был последний человек, которого я могу назвать в полном смысле слова своим учителем.

Мой собственный учительский опыт берет начало в 1988 году, когда я стал вести семинары на экономическом факультете МГУ; в Вышке первый лекционный курс был прочитан в 1994-м. О чем говорит этот опыт? Думаю, что современные информационные технологии у части студентов создают иллюзию, что учиться – это собирать и компилировать информацию, а с помощью интернета это совсем несложно. Что теряется при этом из виду – так это вкус и навык к самостоятельному мышлению. Применительно к экономическому образованию я вижу на данный момент две главные проблемы. Первая – это, извините за невольный каламбур, беспроблемность, в том смысле, что студент осваивает науку как набор неких истин, готовых алгоритмов, а не как сферу научного поиска, спектр нерешенных задач. И он не приучается вдумываться в то, почему ученые спорят, почему есть разногласия. Конечно, не студенты в этом виноваты, это мы их так настраиваем, это пробелы в наших учебных планах и программах. Вторая проблема экономистов в том, что мы мало учим реальной жизни, реальной экономике. И это не только российская проблема. Для условного «Гарварда» она не менее актуальна.

Студенты учат абстрактные модели, и у них часто остается времени на то, чтобы понять, как применять эти модели в жизни. Такие проблемы были и в те времена, когда я учился, и теперь, когда сам учу. Тогда тоже были абстракции, далекие от жизни. Когда мы работали с Гайдаром, нашей исследовательской задачей было понять, как устроено наше общество. Будучи студентами, мы этого никогда не изучали. К сожалению, нынешние студенты тоже слабо себе это представляют, потому что учатся по стандартным учебникам, которые написаны для любой экономики, а все экономики разные.

Что же касается области, в которой я работаю, – истории экономической мысли, методологии экономической науки, то главная ее проблема – относительно невысокая ее популярность среди нынешних прагматически настроенных студентов. Надеюсь, что это временное явление. Наша специализация и наши курсы больше работают на кругозор, на понимание окружающего мира и того, что может и чего не может ему дать экономическая наука. И чем выше неопределенность в современном мире, тем важнее такое понимание, в том числе для эффективного применения тех навыков и алгоритмов, которые студенты осваивают с помощью других курсов. К счастью, почти в каждом студенческом потоке все же есть и наши студенты – иным кажущиеся не от мира сего. Но именно за счет такой молодежи за двадцать минувших лет на нашей кафедре экономической методологии и истории произошла смена поколений, и у меня есть уверенность, что этой смене по плечу решить те проблемы, которые нашему поколению осилить так и не удалось.

# АЛЕКСАНДР ГОФМАН

## УЧИТЕЛЯ



Я всегда говорил, что в жизни мне очень повезло с учителями. И может быть, это одно из самых крупных везений в моей жизни – ведь учителей, как и родителей, мы практически не выбираем. Учителя, как мне кажется, это не только те, кто непосредственно преподает определенную дисциплину, но и те, кто способствует формированию мышления. В этом смысле на меня, вероятно, повлиял и преподаватель математики в нашей средней школе.

Во времена моего детства (50-е годы) не было проблемы выбора школы. Тем более в Кишиневе – городе, где я рос. Я пошел в ближайшую школу, где учились мои товарищи и соседи, где училась и моя старшая сестра. Жил я в районе трущоб. Водопровод находился на улице, довольно далеко от дома, а канализации не было вообще: после войны город был практически разрушен, и такое состояние этого района сохранялось очень долго (возможно, оно примерно такое же и поныне). Теперь, ретроспективно оценивая то образование, которое я получил в этой провинциальной школе, я вижу, насколько оно было качественным. Школа представляла собой совсем маленькое, трехэтажное здание. Электричество в ней было, но оно часто выходило из строя, и тогда приходилось пользоваться свечами и керосиновыми лампами. Было печное

отопление. Школьный двор, который мне казался очень большим в детстве, оказался маленьким двориком, когда спустя годы я заглянул туда. Тем не менее, несмотря на все бытовое убожество, на скуднейшую по теперешним, да и тогдашним, меркам инфраструктуру, образование, которое я получил в этой бедной школе, было великолепным. Это относится, разумеется, не только ко мне, но и ко всем, кто в ней учился и хотел учиться. Индикатор этого качества прост и очевиден: многие ее выпускники поступали в вузы, в том числе в весьма престижные вузы Москвы и Ленинграда. Причина этого высокого качества тоже вполне проста и очевидна: там работали хорошие преподаватели (не все, конечно, но многие), которые серьезно относились к своему делу. Они были на уровне преподавателей тогдашних вузов. Так обстояло дело с преподаванием и точных наук, и гуманитарных, и иностранного языка. Достаточно сказать, что моя учительница французского языка, Анна Сауловна Мундер, окончила Сорбонну, а я был ее любимым учеником. Потом я многие годы не имел дела с этим языком, и казалось, что мои знания улетучились. Но на самом деле они оказались настолько прочными, что при необходимости опять быстро актуализировались. Язык как бы всплывал во мне.

Как выпускница Сорбонны попала в нашу школу? Территория, на которой мы жили, до 1940 года относилась к Румынии. Она училась в Бухарестском университете, и ее как одну из лучших студенток послали на три года стажироваться в Парижский университет. После войны она некоторое время преподавала в университете, но потом – из-за печально известного «пятого пункта» – ей пришлось отправиться в школу. Надо сказать, что не все ее любили, потому что она была «преподаватель-зануда», очень строгая. Сегодня у нас очень много «добрых» преподавателей, и, как ни странно, это свидетельствует о низком уровне образования.

А вот первым учителем в начальной школе у меня был мужчина, что, конечно, для нашего общества очень редкий случай. У нас страна людей, выращенных женщинами. А мой первый учитель, Федор Павлович Голубев, будучи в то время уже немолодым человеком, помимо уроков или на уроках физкультуры ходил с нами, младшими школьниками, на поляну, бросал нам мяч, и мы с удовольствием играли в футбол. Я спрашивал у многих друзей и знакомых: ни у кого из них преподавателя-мужчины в начальной школе не было.

Моя школьная карьера была довольно сложной. В общей сложности я учился в четырех школах: в двух дневных, в одной вечерней и в «вахтовой» школе, или, иначе, «сменной школе рабочей молодежи». В связи со школьной реформой 60-х годов мою первую, любимую школу сделали восьмилеткой и весь класс перевели в соседнюю. Потом я начал работать и сначала учился в вечерней школе, но когда в сборочном цехе завода стиральных машин, где я работал, ввели две смены, мне пришлось перевестись в школу сменную. Но, конечно, базовой я считаю свою первую школу, ту, которая превратилась из десятилетки в восьмилетку, – последующие значительно уступали ей по уровню.

Несмотря на то что я всегда был хорошим учеником и даже отличником, в какой-то период я просто рвался на производство, хотел стать «человеком труда» (меня всег-

да восхищало это сохранившееся у нас до сих пор выражение, так же как, скажем, «союз науки и труда»: ученый в этом союзе неявно выступает как лодырь и дармоед). На некоторое время я и оказался «человеком труда», даже членом «бригады коммунистического труда»: работал и на конвейере, но в основном был ответственным за один из узлов стиральной машины – бак центрифуги, в котором происходила сушка белья. Между прочим, я даже воспитал двух слесарей-сборщиков. Можно сказать, что я сам стал учителем в шестнадцать лет. Причем один из моих учеников был уже после армии, а другой еще моложе меня. Он был лентяем, и мне приходилось заставлять его работать, потому что он все время отвлекался на болтовню с девушками. Я был строгим учителем и некоторые свои наставления формулировал в стихотворном виде. Сейчас это назвали бы рэпом. В частности, на мотив популярной тогда латиноамериканской песенки «Мама, уо қііе» сочинял для него базовые принципы и технические приемы нашей деятельности, а он должен был это усваивать и повторять за мной много раз. Кроме того, он должен был следить, когда на горизонте появится начальник, и заранее предупреждать меня об этом специальными словесными знаками, чтобы можно было своевременно мобилизоваться. Так, сигнальное сообщение «Сам!» означало появление мастера, «Сам самого!» – начальника цеха, а «Сам самого самого!» – самого директора завода. Дисциплина-то какая тогда была? Все по звонку. Звонок – перекур, 10 минут прошло, звонок – обратно на рабочее место! Плюс я был ответственным за проведение зарядки. Я тогда был довольно спортивным парнем, поэтому мне было поручено проводить в цехе производственную гимнастику (разумеется, тоже по звонку). Зарядка под моим руководством была довольно интенсивной, я на ней так гонял членов нашей бригады коммунистического труда, что один рабочий в шутку говорил: «После твоей зарядки мне надо основательно отдохнуть».

Вот так проходила моя производственная юность. Я думал, что навсегда останусь «человеком труда» в отмеченном специфическом смысле, но потом явственно почувствовал, что тупею.

Мой романтизм, стремление быть производственником через некоторое время стали угасать, и я все чаще стал думать о том, что хорошо бы все-таки пойти учиться. Еще когда я стремился стать рабочим, мне многие говорили:

*– Ты что, дурак? С твоей головой надо учиться. Ты же хороший ученик. Почему тебя туда тянет?*

Вероятно, это на меня пропаганда советская так подействовала. Я много читал газеты, всерьез верил в коммунизм, принимал всю эту мифологию за чистую монету. Точно так же в детстве я очень долго верил в Деда Мороза. Меня обманывали, а я верил, хотя все мои друзья давно уже знали, что его нет. Видимо, под влиянием тогдашней пропаганды я верил, что сначала надо идти на производство, а образование – ну, это, может быть, потом как-нибудь, набравшись опыта... Мне хотелось познать «жизнь», как я тогда это понимал. Еще в школе у нас началась производственная практика на обувной фабрике, в механическом цехе. Мне нравилось там, я был весь чумазый, и в моих глазах это было очень романтично. Мой мастер играл в шахматы, а я выпиливал гайки на токарном станке. Кстати, впоследствии я с трудом устроился на работу на упомянутый завод стиральных машин: тогда в Кишиневе был дефицит рабочих мест. Меня, можно сказать, по знакомству взяли рабочим – там даже конкуренция была в этой сфере, и малолеток (мне тогда было шестнадцать) брали не очень охотно.

И вот к окончанию средней школы я решил поступать в вуз. Почему я выбрал Питер, а не Москву? Дело в том, что в Питер уже была проложена дорога выпускниками наших школ. Существовала легенда, что в Питере легче поступить. А со мной в цехе работал парень, который учился в «Военмехе» – Ленинградском механическом институте. Мальчик был изгнан из этого института за то, что ударил мастера, когда они на заводе проходили производственную практику. Его в виде наказания исключили условно и отправили к нам на перевоспитание, с тем чтобы он, исправившись, был принят обратно.

И он мне говорил:

*– Поезжай в Питер, ты непременно поступишь.*

Он вселял в меня оптимизм, которого мне, конечно, недоставало, несмотря на то что я окончил «вахтовую» школу рабочей молодежи с серебряной медалью. Тем более что среди друзей и знакомых, которые почти все стремились стать инженерами, я был белой вороной из-за своей гуманитарной, точнее гуманитарно-социально-научной, ориентации, которая обнаружилась у меня еще в школе. Уже тогда меня стали интересовать проблемы общественных наук. В тот год, когда я учился в выпускном классе (это был 1962/63 учебный год), в школах впервые ввели обществоведение. В последнем классе я заинтересовался философией, законами диалектики, и моя голова начала работать в этом направлении. Я решил поступать на философский факультет питерского университета. Отправил туда запрос – можно ли мне приехать – и получил в качестве ответа многотиражку Ленинградского университета, где все было написано про правила поступления. Я ошибочно принял это за приглашение отправлять документы и приезжать, хотя конкретного вызова приехать сдавать экзамены не получил. Я наивно решил, что газета – это и есть приглашение, и поехал туда, где меня, мягко выражаясь, не ждали. Документы не приняли, потому что мне не хватило пяти месяцев рабочего стажа (на философский факультет принимали только с двухлетним стажем работы). Выяснилось даже, что мои документы отправили обратно в Кишинев. Причем они выбросили конверт с моим домашним адресом и отправили их на завод. А на заводе эти документы вообще могли или потеряться, или болтаться там годами. К счастью, получилось так, что парторг моего цеха принес эти документы отцу на работу. А я в это время нахожусь в Питере – восемнадцатилетний парень, знакомых никого нет, я даже метро никогда в жизни не видел, город огромный, и я в нем совсем чужой и одинокий. Но возвращаться ни с чем мне очень не хотелось из-за уязвленного самолюбия.

Короче говоря, я получил на почтамте эти документы от родителей буквально за день-два до окончания приема документов в вузы.

Надо сказать, что одновременно со мной в Питер поехала еще одна девушка из нашего цеха, которая решила поступать в какой-то химический институт. (Помню, что, по ее рассказам, у нее был дядя, уехавший в 30-е годы за границу и живший в Бразилии. К тому времени он стал главным архитектором города Сан-Паулу. И он прислал ей белое пианино. Это в советские-то времена, в 60-е годы! И оно пришло в Кишинев. Она играла на белом пианино. Этот ее рассказ произвел на меня сильное впечатление. Сама картинка была, конечно, завораживающая.)

И она мне говорит:

*– Знаешь, а тут ведь можно поступить в Пединститут им. А.И. Герцена на исторический факультет.*

Придя на факультет, я увидел, что там есть специальность «история на французском языке». Я решил, что, вероятно, мне это подойдет и социальной философией я смогу заняться впоследствии (я не собирался отказываться от изучения того, что тогда называли «пути развития человечества»). Я подал туда документы практически в последний момент. И... меня не приняли, хотя я сдал экзамены лучше всех: набрал 19 баллов из 20 возможных. Как я сразу догадался, меня не взяли из-за «пятого пункта». Мне сказали на зачислении: «Мы заинтересованы в хороших студентах, поэтому можем зачислить вас просто на истфак. Но на специальность “история на французском языке” вам нельзя, потому что наши выпускники должны ехать в Африку “сеять разумное, доброе, вечное” и пропагандировать коммунизм в молодых африканских государствах, а у вас плохое зрение. Там вы не сможете работать». Я спрашиваю:

*– Почему?*

*– Ну, мало ли. Вдруг вы там потеряете очки.*

*– А я куплю запасные.*

Но мне твердо сказали «нет». Трудно описать то чувство обиды и несправедливости, которое я тогда испытал. Я хотел сначала отказаться от сделанного мне предложения (очевидно, что в данном случае дело было не в конкретных людях, а в неявной линии «партии и правительств»), но все же принял его. Так что сначала я пошел просто на исторический, а через полгода меня обменяли на парня, которому этот французский был до лампочки, и я все же оказался в желанной группе преподавания истории на иностранном языке.

Уже во время первого семестра я увидел объявление, что при кафедре философии работает философский кружок. Я подумал, что надо бы в него записаться – мне же это интересно. На первое занятие я немного опоздал, но зашел, весь трепеща. Помню, как будто это было вчера, как молодой преподаватель, увидев меня на пороге кафедры философии, спросил весьма благожелательно: «Вы на заседание кружка? Заходите». Это был руководитель кружка Эльмар Владимирович Соколов, которому тогда был тридцать один год, – в то время старший преподаватель кафедры философии. Человеком он был в высшей степени незаурядным, можно смело сказать – выдающимся. Именно он стал моим первым учителем в области социальных и гуманитарных наук и оставался им многие годы. Впрочем, он и теперь им во многом остается, несмотря на то что скончался в 2003 году. Мне страшно повезло, что я тогда его встретил. На кружке мы делали доклады, читали Платона, обсуждали различные философские тексты. Тогда, кстати, я впервые услышал слово «духовность». Сегодня, когда я его слышу, мне становится дурно, настолько оно затаскано, опошлено, дискредитировано (впрочем, это относится и ко многим другим словам такого же значения и масштаба). А в то время контекст был совсем другой. Массы обществоведов несли какую-то чушь про коммунизм, про последние постановления партии и правительства, а тут – духовность.



Я-то сам был заражен, верил в коммунизм, а Соколов ненавязчиво объяснял, что дело не в этом, что есть серьезные книги, которые надо читать. Я считаю, что он научил меня думать. И я начал читать качественные книги. Библиотека в пединституте Герцена великолепная. И я стал библиотечным червем. Сидел в библиотеке с утра до вечера и читал хорошие старые книги, статьи, часто дореволюционные. Уже на втором курсе я написал ученическую работу – смешную, конечно, – про логику исторической науки Генриха Риккертга. И она почему-то получила премию на Всесоюзном конкурсе студенческих научных работ.

Эльмар Владимирович стал моим старшим другом. Мы с ним много общались, беседовали. Помимо общения на заседаниях философского кружка просто много бродили вместе по городу, заходили в пивные бары, в книжные магазины, иногда он приглашал меня к себе домой. Одной из интересных особенностей его личности, как мне кажется, было то, что у него не было четкого различия между рабочим временем и временем досуга. Он отдыхал, как работал, и работал, как отдыхал. Отдыхая, он в любой момент мог начать рассуждать на какую-нибудь важную тему, вовлекая в дискуссию других. И наоборот, напряженная работа у него незаметно перерастала в развлечение. Как-то у него это получалось. Он щедро тратил на меня свое время. Нельзя сказать, что он меня чему-то специально учил – мы просто общались. Вероятно, это общение для него тоже было интересным, ведь никто и ничто его к этому не понуждало. Мы с ним дискутировали по поводу разных вещей, гуляли по Питеру. Самое интересное, что сам он как раз занимался проблемами времени. У него были специальные работы о свободном времени, о времени вообще. Он о Любичеве писал, об известном ученом, который свое время выстроил до минут на всю оставшуюся жизнь. Мы с ним потом много общались и в неформальной обстановке; и уже после того как я окончил институт и жил в Москве, мы с ним иногда переписывались и встречались.

Эльмар Владимирович Соколов оказал на меня очень большое влияние. Но в институте были и другие учителя, в других сферах, роль которых в моей жизни была также очень значительной. Причем иногда я даже не ходил на их лекции. (Со второго курса я учился по индивидуальному плану и имел официальное право не посещать лекции; я обязан был посещать только семинары и иностранный язык.) Я с ними общался в свободное время. Был у нас один очень популярный преподаватель новой и новейшей истории, которого мы все любили, – Юрий Васильевич Егоров, специалист по истории Франции. С ним у меня были связаны очень интересные, а иногда даже забавные моменты. Сегодня, наверное, такое было бы невозможно.

Однажды я собрался досрочно сдать ему новую и новейшую историю, о чем заранее была достигнута договоренность. Мы встретились, когда у него впереди оказалось большое «окно» в расписании. Он мне говорит:

*– Вы знаете, кто были перипатетики?*

*– Да, ученики Аристотеля.*

*– Вы знаете, что они учились, прогуливаясь? Вот и мы поступим так же. Вы видели фильм «Они бродили по дорогам» Феллини (в оригинале этот фильм вышел под названием «Дорога»)?*

*– Нет, не видел.*

Он говорит:

*– Времени у нас еще много. Давайте мы пойдем сейчас купим билеты, потом пообедаем, и по дороге я у вас приму экзамен. Таким образом, мы поступим как перипатетики.*

Короче говоря, мы дошли до кинотеатра «Баррикада», купили билеты. Потом пошли в столовую на Мойке, которая в народе называлась «Утро шофера», – ее таксисты

любили посещать. Он меня угостил полным обедом: питерская солянка настоящая в железном судке (тогда это было модно в питерском общепите), какое-то второе блюдо и т.д. Потом мы встретили там аспиранта с их кафедры всеобщей истории, который тоже присоединился к нам. Он по ходу дела выяснил, что сейчас будет проходить экзамен, и очень удивился. Ну и потом мы направились в сторону кинотеатра.

Мы гуляем, он мне задает вопросы. Он – вопрос, я – ответ, он – вопрос, я – ответ. Когда мы уже вошли в кинотеатр, экзамен продолжился. Часть его проходила, извините, в туалете. И это был, на мой взгляд, самый забавный момент экзамена. Картинка там была довольно пикантной: из соседних кабинок доносилось: вопрос – ответ, вопрос – ответ. При этом в содержательном отношении экзамен проходил совершенно серьезно, не подумайте, что это была халтура или профанация. Когда мы вошли в зал и уселись в соседних креслах, он сказал:

*– Давайте вашу зачетку.*

И в этот момент погас свет. Мне очень хотелось узнать, какую оценку профессор намеревается мне поставить, но до конца сеанса я этого так и не узнал. После фильма я проводил его снова на занятия, и только там, у аудитории оценка («отлично») была мне торжественно выставлена.

(Во избежание недоразумений хочу отметить, что такого рода «вольности», конечно, могли иметь место далеко не со всяким студентом. Сегодня, когда я вижу неизвестного мне студента, который появляется из ниоткуда и спрашивает деловым тоном: «Как бы тут у вас по-быстрому сдать экзамен?», – не готовясь, ничего не зная и не понимая, я, конечно, стараюсь отправить его подальше. Те формы общения и преподавания, о которых я рассказываю, касались все-таки студента с индивидуальным планом обучения, которого преподаватели прекрасно знали и рассматривали как младшего коллегу. Они знали, что если я не на лекции, то в библиотеке, куда я приходил первым и уходил последним.)

Юрий Васильевич был очень интересным, оригинальным, эмоциональным человеком, который достаточно критически относился к тогдашнему режиму, особенно этого не скрывал, хотя и не афишировал. Кстати, он мне помог записаться в «спецхран» Публичной библиотеки на Садовой, где раньше работал. Туда я ходил достаточно часто, потому что многие зарубежные книги и журналы по социологии находились именно там.

Еще на первом курсе нам преподавал археологию Владислав Николаевич Андреев – специалист по истории Древней Греции. Он сын известного фольклориста Николая Андреева и двоюродный брат нашего замечательного социального психолога и социолога Галины Михайловны Андреевой (работы которой я тогда уже изучал, а впоследствии слушал ее лекции в аспирантуре). Мы с ним тоже часто гуляли по городу (теперь я понимаю, что в самом деле учился в школе перипатетиков). У него была одна особенность: он почти каждый день по дороге из института заходил в букинистический магазин и покупал там какую-нибудь книгу. Он собрал колоссальную коллекцию книг по искусству, с замечательными репродукциями. Он приходил к нам в общежитие – это была его общественная нагрузка – и показывал нам эти книги. Поскольку он должен был нас воспитывать, то воспитывал он нас вот таким методом. Показывал нам «картинки», как мы тогда это называли.

Мы с ним часто ходили по букинистическим. Он мне много рассказывал интересного. Подарил несколько философских книг из своей библиотеки, которые ему уже были не нужны. Они у меня долго потом хранились. Одет он всегда был очень своеобразно: никогда не носил пиджаков, а носил большую такую кофту или куртку на молнии. При этом всегда курил самые дешевые папироски-гвоздики, которые в СССР курили рабочие и крестьяне самых консервативных вкусов. До сих пор у меня перед глазами его сутулая фигура в коридоре института – в этой куртке и с папироской. И вот эти прогулки по городу, наши разговоры, посещение букинистических, которые в Ленинграде назывались «Старая книга», – все это, безусловно, тоже на меня влияло.

Владислав Николаевич был очень серьезным историком. До сих пор помню название одной его статьи, которую он мне показывал и перевод которой вышел в Англии (а в то время это была большая редкость), – «Цена земли в Афинах в IV в. до н.э.». О том, насколько он был дотошным и скрупулезным исследователем, говорит то, что у него дома стояло несколько стандартных каталожных ящичков (кажется, по девять ячеек в каждом), в которых, как он мне говорил, на карточках содержались сведения обо всех древних афинянах (или, может быть, только живших в IV веке – боюсь ошибиться, но в данном случае это неважно), информация о которых до нас дошла. И это при том, что сам он в Греции никогда не был, а в ту эпоху, как вы понимаете, интернета не существовало.

А где-то на втором курсе я познакомился с Игорем Семеновичем Коном, который потом стал моим научным руководителем в аспирантуре. Конечно, он не проводил со мной столько времени, сколько Эльмар Владимирович Соколов или Владислав Николаевич Андреев. Он в каком-то смысле был антиподом Соколова. У него вся жизнь была достаточно жестко регламентирована, он не мог себе позволить «болтаться по улицам», как это делал Соколов. Когда я ему как-то, уже в сравнительно недавние годы, неосторожно позвонил в районе часа дня, он резко сказал:

*– Вы что, не знаете, что мне нельзя до двух звонить? Я работаю.*

Игорь Семенович посоветовал мне тему моей дипломной работы. Я ходил на его лекции в ЛГУ по истории социологической мысли. Он оказывал влияние и на мое чтение. Он как-то сказал мне:

*– Надо читать либо хорошие книги, либо развлекательные, либо никакие. А всякий мусор читать не надо.*

Потом я понял, насколько же это было важно, что я довольно рано начал читать качественные книги. С одной стороны, у меня были хорошие учителя, а с другой – хорошие книги.

И важное значение первых состояло в том, что они оказывали воздействие на выбор последних.

Всех своих учителей в этом коротком очерке я, конечно, назвать не смогу. Очевидно, что самыми главными из них были Эльмар Владимирович Соколов и Игорь Семенович Кон. Потом таковым стал, конечно, и Юрий Александрович Левада. Но это уже другой период, период аспирантских и постаспирантских лет. Я очень рано сошелся с Левадой и левадинцами. Они стали моими друзьями, и мы много времени проводили вместе.

Левада принимал у меня вступительный экзамен в аспирантуру, потому что он возглавлял тогда приемную комиссию. В аспирантуру мне поступать было совсем непросто. В двадцать три года я приехал в Москву, примерно так же, как в восемнадцать лет в Питер. Я почти никого не знал, и ситуация в какой-то мере повторилась. Когда я пришел сдавать экзамен по специальности, то есть по социологии, то увидел, что все здесь друг друга знают, один я чужак. Ну а потом ведь еще был вступительный по истории КПСС, на котором меня гоняли от души. Хорошо, что я был историком и знал ловушки, которые на подобном экзамене могли устраивать. Но я все-таки получил на нем высший балл. В общем, я поступил в аспирантуру.

Конечно, здесь на меня большое влияние оказали семинары Левады. Там выступали самые разные люди, разных научных специальностей. Сам я тоже участвовал в дискуссиях, иногда выступал с докладами. Это для меня была школа свободного мышления. Она продолжала то, что было начато в философском кружке Соколова. Атмосфера свободной научной дискуссии делала обстановку очень комфортной в интеллектуальном смысле.

Все три учителя, которых я сейчас упомянул, были людьми очень разными и непохожими друг на друга. Мне хотелось и образ жизни их воспроизводить, но у меня это, конечно, не получалось. Я хотел жить, например, как Кон.

Он всегда жил размеренно, у него был один день занятий в университете, четыре часа лекций, – и все. Он снимал квартиру в Павловске круглый год. Брал с собой чемодан с книгами, в Павловске их читал, работал, писал. Гулял в парке, катался на лыжах, дышал воздухом, любовался павловскими видами. По мере необходимости приезжал в город (академические дела, ученый совет и прочее...). Ну как было не стремиться к такому же? Но у меня иначе сложились жизненные обстоятельства. И, конечно, натура у меня иная, а с натурой, как и с судьбой, не поспоришь. Ясно, что копировать учителей невозможно, да и не нужно.

Конечно, я всегда относился к Игорю Семеновичу с величайшим уважением, можно сказать с почтением. Я следил за каждой его публикацией или выступлением, внимательно изучал их. Таким образом, он был для меня учителем даже тогда, когда об этом не подозревал. В свою очередь, он мне симпатизировал, относился ко мне по-дружески. Возможно, в 60–70-е годы он видел во мне отражение себя молодого, хотя и сам тогда еще был достаточно молод. Впрочем, это видно и в его очень интересной книге воспоминаний «80 лет одиночества». Я познакомился с ним на дне рождения своей приятельницы и однокурсницы. Ее мать с ним дружила: они вместе учились на истфаке, поэтому он там и оказался. Она мне потом передавала, что Кон как-то положительно обо мне отозвался. После того дня рождения он довез меня на такси до общежития. Помню, это произвело на меня сильное впечатление, я аж весь трепетал, у меня было ощущение, что меня подвез к дому если не Господь Бог, то существо, находящееся ненамного ниже Его. Кстати, Юрий Николаевич Давыдов, с которым мне, к счастью, тоже довелось довольно много общаться и вместе работать, на подаренном мне автореферате своей докторской диссертации (1973) написал такое четверостишие:

*О, счастливые отпрыски Кона,  
Я б завидовал вам, если б мог.  
Он один ведь у нас, как икона,  
В мире, где окочурился бог.*

(В последней строчке он, конечно, имел в виду известное высказывание Ницше «Бог умер» в «Веселой науке».)

Действительно, популярность Кона в 60–80-е годы была огромной и, несомненно, заслуженной. Нам всем еще только предстоит оценить его вклад в развитие социальной науки в стране и мире, его выдающуюся просветительскую роль. Пока мы, на мой взгляд, еще не в состоянии этого сделать. Я посещал его лекции по теории личности. Сейчас мало кто себе это может представить, но народ ломился на его лекции так, как сегодня ни на какие лекции или даже театральные постановки не ломятся. Успех был бешеный. Люди за два часа занимали места в университетской аудитории. Они сидели на полу, на каких-то ступеньках, занять место было большой проблемой. И даже когда формально лекция заканчивалась, она на самом деле продолжалась еще длительное время: его сразу же окружала огромная толпа, каждый хотел что-то спросить, и он отвечал, отвечал... Человек он был доброжелательный, но прорваться к нему было просто невозможно. Его атаковало огромное количество людей. Мне невероятно повезло, что в студенческие годы я оказался вблизи него и даже бывал у него дома. Я помню день, когда он посоветовал мне взять в качестве дипломной работы какой-то аспект социологии Дюркгейма. Я выбрал социологию религии. Как раз тогда я прочитал книгу Левады «Социальная природа религии». Я этим занимался очень активно, много читал, изучал труды классиков и современников по данной тематике. Ну, и изредка ему звонил. Помню солнечный морозный день, улицу Типанова, где он жил. Это была зима 68-го года – в тот год я окончил институт. И Кон – он был в переписке с Питиримом Сорокиным – мне сказал:

*– Я получил на днях письмо от Питирима Сорокина. Он пишет, что, видимо, в этом году умрет.*

И действительно, Сорокин умер в том году. Кстати, эта переписка с Сорокиным опубликована. В общем, это все была школа, а школа – это образ жизни.

У меня нет ностальгии по советским временам. Но мне кажется, что сегодня, по сравнению с теми годами, когда я был студентом, высшее образование стало более формализованным, унифицированным, безличным и бюрократизированным. Это наблюдается, по-видимому, во всем мире. Но в других странах отношение к Болонскому процессу, «управлению качеством образования» и т.п. со стороны профессоров и научных работников, по моим наблюдениям, несколько дистанцированное, скептическое или ироническое. Во всяком случае, внедряется все это без особого усердия или, тем более, фанатизма. Несколько лет назад мне пришлось встретить в Оксфорде одного молодого профессора из Болоньи, которого я что-то спросил про Болонский процесс. Он с трудом понял, о чем вообще речь, потом сказал, что вроде что-то об этом слышал. Потом я коллегам не без удовольствия рассказывал о том, что встретил университетского профессора из Болоньи, который почти ничего не слышал о Болонском процессе. К сожалению, в нашей стране подобные инновации наслаиваются на многовековые традиции и нынешние тенденции отечественного бюрократизма, приобретая несколько странные или уродливые формы. В таких условиях роль личности профессора, как и студента, на мой взгляд, снижается или нивелируется – во всяком случае, пока. Не знаю, смогли ли бы в этих обстоятельствах мои учителя, о которых я рассказал (и надеюсь еще рассказать), проявить свои замечательные достоинства.

Хотя учителя эти были людьми очень разными, их объединяло не только то, что они были выдающимися учеными. Может быть, это покажется высокопарным или старомодным, но все они были людьми порядочными, интеллектуально честными, преданными своему делу и, несмотря на сложные обстоятельства, упорно стремившимися к поиску истины. Этим они заражали и тех, кто с ними так или иначе соприкасался. Никто из них вроде бы специально ничему меня не учил. Но они воздействовали на меня главным образом своим примером, своей личностью, своими трудами, тем, что сами собой представляли и что делали. Они продолжают учить

меня и сегодня. В сущности, так и должно быть. Эти люди показывали мне пути, по которым можно было идти. И я за это безмерно благодарен им и судьбе, которая мне их послала. Выбирать же путь и идти по нему должен был, конечно, я сам: ведь научить того, кто не учится, невозможно.

Сегодня у нас нередко образовательные услуги уподобляют услугам в салоне красоты или массажном салоне: я плачу деньги, а вы сделайте из меня, даже если я неуч и лентяй, образованного и успешного человека. Очевидно, что, в отличие от названных учреждений, университет предполагает напряженный труд и сотрудничество обеих сторон: тех, кто оказывает, и тех, кому оказывают услуги. Надо всегда помнить, что плохого ученика, не мотивированного к учебе, без подобающей трудовой этики и, конечно, без соответствующих способностей, даже самый лучший преподаватель ничему научить не сможет, а хороший ученик не очень-то и нуждается в учителях. Но для того, кто хочет и может учиться, значение тех, кто учит, прямо или косвенно, огромно. Я познал это на собственном опыте.

Поэтому завершить я позволю себе тем же, с чего начал. Если мне в чем-то и повезло в жизни, то прежде всего в том, что у меня были прекрасные учителя. И я хотел бы, чтобы моим внукам так же повезло с учителями, как мне. Потому что это одно из самых главных везений в жизни.

# ИРИНА ЯКУШЕВА

## УЧИТЕЛЯ

---



Вся моя жизнь связана с замечательным городом Пенза, который постоянно путают с Пермью. Там я родилась, выросла, получила высшее образование. Моя семья жила в самом центре города, в доме, который до сих пор остается самым красивым в городе и напротив которого находился обком КПСС. Теперь мне ясно, что совсем неслучайно школа, в которую я ходила по месту жительства, была самой сильной в городе. Класс 1 «А» набирался не по тестированию, как теперь, а по сведениям о родителях. Social background, как я теперь понимаю, – надежный критерий, класс набрали сильный.

У нас были очень яркие преподаватели по всем предметам, мы это чувствовали, поэтому, когда нам в качестве классного руководителя дали учительницу по химии, которая спрашивала, кто дежурит в «коидоре», мы страшно возмущались. Серость видно сразу, и не надо пытаться себя переубедить, выставляя аргументы в ее оправдание. Моя работа в качестве завкафедрой только подтвердила мои школьные представления о важности личности преподавателя.

Школьные годы проходили в высоком темпе и при отличном наполнении. Я бегала по трем школам. Музыкальную закончила с отличием и четким пониманием,

что заниматься этим всю жизнь, как настаивали мои учителя в музыкальной школе, – тоска. Спортивная отбирала очень много времени и сил, но занятия художественной гимнастикой, хотя я и остановилась на кандидате в мастера спорта, дали мне очень многое, даже для моей любимой работы. Мне легко и приятно было сочетать все школы – при такой закваске я научилась правильно организовывать время и все успевать. Опыт концертов в музыкальной школе в присутствии родителей всех детей (моим было некогда) и учителей школы, как и опыт спортивных соревнований, научили меня не бояться никакой аудитории и... начальства.

Почему я выбрала иностранные языки? Выбор был не таким уж трудным. Я получала только отличные оценки по всем предметам, кроме математики, где не могла конкурировать с мальчишками, которые удивляли даже нашу сильную математичку. Выбирала между факультетом журналистики и факультетом иностранных языков, но для журналистики надо было уезжать из дома. Родители не хотели отпускать, да и мне хорошо было в моей семье, и я поступила, выдержав очень серьезный конкурс, на факультет иностранных языков в Пензенский государственный педагогический институт.

Учиться было легко. Я теперь понимаю, что мой потенциал использовался максимум на 50%, поэтому оставалось много времени на чтение и музыку, а поскольку читали и слушали всё иностранное, профессиональная составляющая тоже значительно пополнялась. Например, списывали слова из песен Элтона Джона в лингафонном кабинете на слух, что было несопоставимо сложнее, чем учебные диалоги, которые мы должны были заучивать. Консультировались и спорили с нашими блестящими преподавателями языка по поводу правильности списанных слов, наизусть знали слова из рок-оперы «Иисус Христос – Суперзвезда».

Вспоминаю с высоты теперешнего опыта своих преподавателей и понимаю, что в категорию «серых» могу внести только двух. Тепло вспоминаются нестандартные личности. Помню, что педагогика как предмет казалась мне скучной до того момента, когда к нам пришел Петр Герасимович Кулагин (кстати, это отец нашего коллеги из МИЭМа Владимира Петровича Кулагина – мир удивительно тесен!). Он читал интересно, давал индивидуальные задания. Мне дал тему по журналу «Вестник воспитания», издававшемуся в XIX веке. Я с восторгом перерывала литературу, читая не только по теме, но и все остальное, и существенно расширяя кругозор. Вот в чем талант преподавателя! Когда я сдала работу Петру Герасимовичу, он немедленно ее просмотрел, после перерыва ворвался в аудиторию с моим текстом в руках и объявил, что освобождает меня от экзамена! И хотя меня освобождали от многих экзаменов, этот случай запомнился! Вот вам и скучный предмет! Все зависит от преподавателя! Не думаю, что я получила бы больше от выученных к экзамену вопросов. Я много уроков извлекла из этого случая. При оценке знаний и поведения надо уметь посмотреть на студента с некой высоты. Я часто повторяю преподавателям, что мы не в одной песочнице со студентами играем, не надо «умничать», концентрироваться на мелочах и доказывать свое превосходство. Студенты чувствуют, кто есть кто.

Я окончила институт без единой четверки, получив диплом с отличием и право выбора... из нескольких деревень. Несмотря на то что две заведующие кафедрами английского языка в институте рассчитывали оставить меня на работе, ректор считала, что оставлять детей преподавателей (моя мама работала в этом же институте) нельзя. Вероятно, уже тогда боролась с коррупцией! К ужасу нашего декана, я выбрала деревню, в которой преподавателя иностранных языков не было три года. Он выбирал для меня лучшее из списка распределений, а я – худшее. Не видела разницы, в какую деревню ехать. Не пожалела, вела английский язык во всех классах, а немецкий – в старших классах для детей из соседней деревни, где была только восьмилетняя школа. Нагрузка – 36 часов. Мне дали отдельную квартиру из двух комнат рядом со школой. Я получала большую зарплату и уважение всей деревни. Папа привез меня туда на «Волге»-ГАЗ-21, что означало многое в то время, поэтому никто не верил, что я останусь работать. Осенью и весной по чернозему в магазин не могли пробраться машины с хлебом. Благодарные родители, зная ситуацию, принесли мне свой хлеб, испеченный в печках.

Когда я вернулась в Пензу, меня сразу же пригласили работать в школу. Там я проработала один месяц. Должна признаться, что в городской школе мне не понравилось. К счастью, был объявлен конкурс на преподавателя английского языка в Пензенском высшем артиллерийско-инженерном училище (ПВАИУ). Это было очень престижное военное заведение, где обучались иностранцы из всех стран, с которыми работало советское государство. На одно место было подано пятнадцать заявлений. Претенденты должны были провести пробное занятие в присутствии всей кафедры. Меня выбрали единогласно.

В ПВАИУ я работала с удовольствием. Все было четко организовано, формулировались очень высокие требования к проведению занятий и контролировалось исполнение этих требований. Однажды в начале занятия открывается дверь и в аудиторию входит генерал А.И. Богомолов.

Он был вторым лицом в училище, отвечал за научную и методическую работу, имел непререкаемый авторитет как среди офицеров и курсантов, так и гражданских преподавателей. Генерал вошел со словами: «Ирина Владимировна, разрешите присутствовать на занятии». Курсанты стояли, вытянувшись и качаясь от напряжения. Я милостиво разрешила. Помню, что волновалась две-три минуты, а потом следила за его реакциями – как за курсантом. Вот где пригодился опыт концертов и соревнований!

На английском языке по плакатам обсуждала с курсантами преимущества и недостатки стрелкового оружия. Заведующей кафедрой плохо стало даже от одного моего рассказа об этом визите. Оказалось, что на таком уровне кафедру проверяли впервые. Почему выбрали меня, не знаю. К счастью, генералу занятие очень понравилось, меня он запомнил.

У этой истории было продолжение. Спустя некоторое время после генеральского визита во время перерыва меня вдруг приглашают к телефону. Я беру трубку. Со мной разговаривает генерал А.И. Богомолов. Сообщает, что впервые в истории училища нам дают место в аспирантуре Московского государственного педагогического института иностранных языков им. Мориса Тореза (МГПИИЯ), и с напором объясняет, что направляюсь на него я. Я от неожиданности только и сказала, что меня не надо убеждать, я согласна. Те, кто знал, что такое институт Мориса Тореза, на меня смотрели как на сумасшедшую. Это был настоящий вызов.

В аспирантуру я поступала как «кот в мешке» из Пензы. У меня не было руководителя, как это было принято в институте, не было ни блата, ни рекомендаций. В качестве вступительного экзамена я сдавала кандидатский экзамен по специальности, потому что философию и немецкий я сдала до поступления. Военное училище помогло мне тем, что направило на факультет повышения квалификации в МГПИИЯ им. М. Тореза. За четыре месяца я написала вступительный реферат с нуля, сдала немецкий на «отлично», а философию сдавала уже

в Пензе. Кандидатский экзамен по специальности не имел границ – от готского языка до последних публикаций в «Вопросах филологии» и «Вопросах языкознания». Я шла на экзамен с готовностью получить и «два», и «пять». Ответила хорошо. Последний вопрос – кто у меня научный руководитель. Когда я сказала, что у меня нет руководителя, недоумение сменилось предложениями взять меня к себе, поступившими от заведующих трех кафедр! Я могла выбирать между кафедрой общего языкознания, кафедрой лексикологии и кафедрой стилистики. Победа!

Я выбрала кафедру лексикологии английского языка. Моим руководителем стала завкафедрой, автор учебника по лексикологии, по которому я училась в институте, Галина Юрьевна Князева. Рецензию на мой вступительный реферат написала Елена Георгиевна Беляевская, в то время доцент и восходящая звезда МГПИИЯ, а теперь доктор филологических наук и профессор этого института. Она очень помогла мне в определении темы диссертации и на протяжении всей аспирантуры следила за ходом исследования.

Аспирантуру я вспоминаю с огромной благодарностью. В 80-е годы прошлого века там работали выдающиеся лингвисты. Это были ученые крупного калибра, авторы самых авторитетных англо-русских словарей и учебников, по которым учились все лингвисты: И.Р. Гальперин, Л.С. Бархударов, В.Н. Комиссаров, А.Д. Швейцер, А.В. Кунин, И.А. Зимняя, С.К. Фоломкина и многие другие. Я ходила на их лекции. А.В. Кунин работал на кафедре лексикологии, где было принято очень жестко обсуждать статьи аспирантов. Это была серьезная школа. Статью читали все руководители и аспиранты, обсуждали на специальных семинарах. Для меня большим комплиментом было то, что аспиранты А.В. Кунина просили меня прочитать и выступить по их статьям, ссылаясь на то, что это было указание А.В. Кунина, который говорил, что я «очень хорошо читаю и выступаю». Рецензирование и выступление перед такой аудиторией – настоящая научная школа.



Я многое впитала в научной атмосфере тогдашнего МГПИИЯ им. М. Тореза, который стал теперь Московским государственным лингвистическим университетом (МГЛУ).

Помню свое первое выступление на конференции молодых ученых. Возглавляет президиум авторитетнейший ученый из Института языкознания АН СССР, ныне покойная Елена Самойловна Кубрякова. По алфавитному принципу мое выступление – последнее. К этому моменту разговаривал уже весь зал во главе с президиумом. Я с ужасом думала о перспективе перекрикивать зал. Начала выступать, Е.С. Кубрякова стала внимательно слушать, зал затих, и я проговорила свой доклад в полной тишине. После доклада Е.С. Кубрякова подзывает меня к себе и спрашивает, кто мой руководитель. Говорит, что у меня интересная работа, и предлагает проводить ее и поговорить по дороге. Е.С. Кубрякова ввела меня в круг своих аспирантов, которых она собирала дома для обсуждения многих интересных вопросов. Елена Самойловна не руководила моей работой, но обсуждение вопросов, связанных с исследованиями ее аспирантов, открывало для меня новые горизонты. Диссертацию я написала за два года.

После обсуждения моей диссертации на кафедре Е.С. Кубрякова подошла к моей руководительнице и высказала желание оппонировать на защите. Вот так мне везло в жизни. Я храню письмо от Е.С. Кубряковой, где она пишет, что ждет от меня ответа на главный вопрос. Это был вопрос, когда я начну работать над докторской диссертацией. После защиты Е.С. Кубрякова и Е.Г. Беляевская настоятельно рекомендовали мне продолжить исследования, а меня затянула работа и семейные дела. В военном училище за время аспирантуры на кафедру пришла новая заведующая, которая сделала все, чтобы я не вернулась. Меня пригласили в Пензенский политехнический институт, вскоре назначили заведующей кафедрой. Работа на новом месте и в новом качестве отвлекла меня. Я приняла кафедру, на которой работало восемнадцать человек,

а уезжала в Москву (мужа назначили руководителем федерального агентства) от семидесяти преподавателей. Ректор боялся, что никто не справится с такой кафедрой, и просил ее разделить. До сих пор жалею, что не сделала докторскую диссертацию. При таких прекрасных учителях я так легко написала первую диссертацию – написала бы и вторую, ведь мне так нравилось копаться в материале, анализировать его. Но и то, что я не написала докторской, – тоже полезный урок. Теперь вот подталкиваю молодежь на кафедре и всячески поддерживаю в научных начинаниях. Получила урок на благо коллектива.

Мне страшно везет в жизни. Работа в Вышке – тоже большая удача и восклицательный знак в моей профессиональной судьбе! Даже в моем возрасте кураж не проходит благодаря атмосфере, царящей в Вышке. Необыкновенное сочетание академической свободы и высоких планок во всем очень соответствует моей натуре и стилю жизни. Я счастливый человек!

# МАРК УРНОВ

## УЧИТЕЛЯ

---



Чем я только ни занимался. По общественным наукам «носило меня, как осенний листок...». Но учителей – не преподавателей, а настоящих учителей, которые не только знания давали, но и отношение к миру формировали, – было немного. Пожалуй, всего три.

Самый первый и самый влиятельный учитель – Вторая физико-математическая школа, которую создал замечательный человек, Владимир Федорович Овчинников. Я учился там в 1963–1965 годах в 9–11-м классах. Сейчас это базовая школа Вышки, и называется она Лицей «Вторая школа». Учителя у нас были очень сильные; многие из них совсем молодые – разница с нами лет в десять, и отношения с ними были простыми и дружескими. Хоть школа и была физико-математической, но помимо профильных – естественных – наук нас очень качественно и нестандартно учили наукам «неестественным», гуманитарным: давали знания, при коммунистическом режиме, мягко говоря, непопулярные. На литературе мы читали религиозные статьи Толстого. Ходили за ними в Детское отделение библиотеки Ленина. Библиотечное начальство в ужасе писало в школу: «Ваши дети сюда бегают, и только посмотрите, что

они читают!» Историк В.Т. Мухаметдинов рассказывал о Питириме Сорокине и «философском пароходе»... А еще у нас была интенсивная, интересная общественная жизнь, учившая нас свободе и человеческому достоинству. Настоящее ученическое самоуправление. Театральный коллектив, где мы Шекспира ставили. Бесцензурные стенные газеты («Пир победителей» Солженицына был у нас настенной публикацией). Политические дискуссии на основе сам- и тамиздата – кто-нибудь (например, Вадим Делане, учившийся на год младше меня) регулярно притаскивал в школу то письмо Раскольникова Сталину, то стенограммы суда над Синявским и Даниэлем... А летом, под руководством нашего географа А.Ф. Макеева, много лет проведенного в ГУЛАГе и соответственным образом относившегося к «отцу народов», мы ездили в палаточный лагерь на Волгу и в Крым.

Но понятно, что так продолжаться долго не могло. В 1971-м школу сломали: придравшись к тому, что один из учителей математики уехал в Израиль, уволили директора без права занятия административных должностей и навели «социалистический порядок».

К счастью, коммунизм оказался не вечен, и со временем все вернулось на круги своя: в 2001-м директором вновь стал Владимир Федорович Овчинников. С ним я имею честь дружить.

После школы, в 1965 году, я случайно оказался в МГИМО. Случайно, потому что поступать туда не собирался. Хотелось на исторический факультет МГУ. Но там вступительные экзамены были в августе, а в МГИМО – в начале июля. И родственники (особенно мой старший брат – выпускник МГИМО) сказали мне: «Ты пойдешь в МГИМО, попробуй, мало ли что, всякое бывает...» Я внял советам, подал заявление на факультет международных отношений и поехал с приятелями за город, с палатками, передохнуть после выпускных экзаменов. Вернулся в Москву 3 июля, чтобы писать сочинение. И тут выяснилось, что факультет международных отношений сочинение написал уже 1 июля. Тогда я перекинул заявление на экономический факультет, где сочинение было 4 июля. Поступил, но морально и физически выдохся. Снова проходить через вступительные экзамены в МГУ сил уже не было.

Так и остался в МГИМО. Пришел туда 1 сентября и понял, что по сравнению со школой это зоопарк, а точнее (чтобы не обижать зверушек) сочетание интеллектуальной убогости, верноподданничества и серпентария. Единственное, что там действительно преподавалось отлично, – это иностранные языки. Высокое качество всего остального – в порядке исключения. Например, было несколько очень интересных и высокопрофессиональных преподавателей философии и права. Был замечательный профессор Г.П. Черников, в кружке которого «Экономика Франции» я с удовольствием работал (у меня первый язык был французский). Но остальное... О таком «предмете», как история КПСС, вообще говорить не хочу. Специальные курсы, вроде «внешней торговли», преподавались на уровне техникума. Вместо экономической теории – «Капитал» и ленинский бред под названием «Империализм как высшая стадия капитализма».

Вот одна сцена, показывающая характер мгимовского экономического образования. Первый курс. На лекции по политэкономии капитализма наш преподаватель допустил вольность: сказал, что абсолютное обнищание пролетариата – это тенденция, которая, конечно, есть, но сейчас не просматривается. Приходим на семинар. И кто-то из нас бодро говорит, что абсолютного обнищания сейчас нет. Тут преподавательница наша, которая хвалилась, что восемь раз конспектировала «Капитал», спросила:

– А кто это вам сказал?!

– Наш лектор.

– Ну, это, наверное, ваш лектор так считает, а Маркс считал по-другому.

Прозвенел звонок. Она подошла ко мне (я на первой парте всегда сидел, и она ко мне очень доверительно относилась) и говорит:

– Вы понимаете, ведь если нет абсолютного обнищания, значит, ничего не получается...

На кафедре международных валютных и кредитных отношений, к которой я был приписан, преподаватели меня не очень любили за «скрытый антимиарксизм» и потому, несмотря на мой красный диплом, не дали рекомендацию в аспирантуру. Впрочем, я им «отомстил». На дипломную, шестимесячную, практику меня распределили в Того. Но как-то так получилось, что визу три месяца не давали: Того – она разборчивая. Я переждал это время в финансовом управлении Министерства внешней торговли, где меня допустили к секретным документам, касающимся экономических показателей нашей деятельности на внешнем рынке. И я стал писать «закрытый» диплом по эффективности внешней торговли Советского Союза. Это оказалось дьявольски интересно. Так что, когда виза в Того наконец пришла, я их послал к черту и сказал, что не поеду – оторваться от работы не мог.

А сделал я то, чего до меня почему-то никто не делал, – посчитал, как падает эффективность советского экспорта: в начале 60-х годов для того, чтобы получить дополнительный доход в 10 копеек, нужно было во внутреннее производство вложить 10 копеек, а к концу 60-х – уже рубль: в десять раз больше. При этом экспорт был постоянно убыточным, а убытки покрывались с помощью бешеных наценок на импортируемые потребительские товары. И много чего другого интересного там у меня было.

Свой «закрытый» диплом защищать надо было в родном МГИМО на не менее родной кафедре. Так вот, на защиту преподавателей пустили не всех, а только тех, у кого был допуск, – тех самых, которые мне рекомендацию в аспирантуру не дали. И они, к полному моему удовольствию, вставали и как студенты на семинаре почтительно спрашивали меня: «Скажите, пожалуйста, а что вы думаете по поводу перспектив нашего экспорта? возможностей повышения эффективности?» и т.д. Я отвечал, испытывая сладостное чувство превосходства и мести.

А диплом мой был взят за основу для работы отдела советской внешней торговли в Научно-исследовательском конъюнктурном институте Министерства внешней торговли (НИКИ), куда я пошел работать. Но не в этот отдел, а в отдел сырьевых товаров – стал заниматься рынками цветных металлов. С работой мне повезло. НИКИ в советское время был, наверное, лучшим местом для молодого специалиста-экономиста. Во-первых, там приучали к культуре работы с цифрами – коммерческая аналитика требует четкости. Во-вторых, институт был очень богатый, с собственным валютным счетом, так что я, младший научный сотрудник, мог сам себе заказывать за границей книги. Специальные корреспонденты института на Западе телетайпами пересылали нам свежайшие журнальные и газетные статьи (факсов и интернета тогда не было); свою информацию поставляли торгпредства. И каждое утро сотрудники отдела иностранной коммерческой информации клали на стол мне и моим коллегам большие пачки специально для каждого из нас подобранных публикаций, справок, отчетов и проч.

В НИКИ я защитил кандидатскую диссертацию на тему «Долгосрочное прогнозирование цен на мировом капиталистическом рынке меди». Она тоже была «закрытая», но не так сильно, как диплом: не секретная, а «для служебного пользования» – из-за того, что там были прогнозы, а их в открытой печати публиковать тогда не полагалось. Словом, все было хорошо. Кроме одного: экономикой мне заниматься было неинтересно. Ну не люблю я ее!

Диссертация принесла мне второго – после школы – учителя: Револьда Михайловича Энтова. Он был у меня оппонентом и после защиты пригласил к себе в сектор экономических циклов отдела США в ИМЭМО. Уходить из НИКИ было тяжело – Министерство внешней торговли не любило отпускать специалистов. Тем не менее я перебежал и оказался в месте, по интеллектуальной и психологической атмосфере сходном со школой. Сектора нашего давно уже нет, но мы до сих пор с удовольствием общаемся. Попав в энтовский Сектор, я понял, что вся моя мги-мошная «теоретическая база» не стоит и трех копеек. Понял, что надо учиться, и, естественно, спросил у Энтова, чего бы мне почитать. Он мне говорит:

*– Знаете, есть очень хороший учебник по экономике Самуэльсона. Только, к сожалению, он в спецхране, потому что там есть глава про Маркса.*

Но у меня, к счастью, были друзья на Западе. Я их прошу: привезите мне Самуэльсона. Получаю толстенную книгу, начинаю читать. Встречаю Энтова и с гордостью говорю, что вот, привезли мне Самуэльсона. А он отвечает:

*– Да? Это славно. Но, знаете, это не очень хорошая вещь. А вот Армен Алчиан – книга замечательная!*

Хорошо. Привозят мне Алчиана.

*– Вот, Револьд Михайлович, у меня есть Алчиан.*

*– Ну да, конечно. Но Стэнли Фишер – это действительно прекрасно.*

Таким образом у меня образовалась очень неплохая научная библиотека. Вот, например, «Историю экономического анализа» Йозефа Шумпетера, которая, как и Самуэльсон, в спецхране лежала, мне тоже привезли. Много позже эта уникальная книга была переведена на русский язык бригадой во главе с В. Автономовым, который тоже в нашем Секторе работал.

Энтов в Секторе играл роль не только старшего товарища, критика и советчика, но и Александра Матросова, грудью прикрывавшего нас – молодых сотрудников – от прозы жизни. Благодаря ему каждый из нас мог заниматься чем хотел. Меня потянуло к большим циклам Н.Д. Кондратьева. Почему именно к ним? Может быть, потому, что эта тема была наименее экономической из всех возможных в Секторе экономических циклов. А кроме того, потому, что задолго до прихода в Сектор, еще в МГИМО, случайно наткнувшись в букинистическом магазине на статью Кондратьева, я был загипнотизирован его совершенно новым для меня взглядом на социальную динамику. Но про кондратьевские циклы тогда не то что серьезно писать, а и говорить в сколько-нибудь официальной аудитории было невозможно: Кондратьев – человек, в 1938 году расстрелянный по делу «Трудовой крестьянской партии», нереабилитированный, далеко не марксист и уж подавно не ленинец.

Писать и говорить нельзя, но читать-то можно. Вот я и читал... Помню, как-то раз, во время чтения, подошел ко мне Энтов и говорит:

– *Марк, а вы не хотите что-нибудь написать?*

Имелось в виду, что если я напишу, то какое-то продвижение у меня будет: может быть, я перестану быть младшим научным сотрудником и стану старшим. Но я ему сказал:

– *Нет. Я уж лучше почитаю.*

Сказал так, потому что писать в марксистском жанре не хотелось, а по-другому сколько-нибудь теоретических

работ писать было нельзя. И с благословения Энтова продолжал читать дальше и дальше, более или менее успешно латая дыры советского высшего образования.

Этому процессу латания, опять-таки благодаря Энтову, способствовала одна очень интересная и продолжительная – недельная – встреча с несколькими известнейшими американскими учеными.

Весной 1978 года Энтов мне сказал:

– *В Тольятти будет симпозиум по менеджменту на базе автомобильного завода. Но это все ерунда, главное, что туда приезжает весь цвет американской науки. Поезжайте-ка вы туда и посмотрите.*

Я, конечно, поехал. Там действительно были звезды: Джеймс Марч – классик неоинституционализма, Оливер Уильямсон – нынешний лауреат Нобелевской премии, Абрам Бергсон – крупнейший советолог из Гарварда и много других крайне интересных людей. Я от них не отлипал в течение всей недели, что мы там жили. Много разговаривал с американцами: обсуждали политическую и экономическую ситуацию в СССР, советско-американские отношения и пр. Разговаривал с удовольствием, потому что с «буржуазными» учеными у меня оказался общий, извините за выражение, методологический подход к анализу политических, социальных и экономических проблем. (Чего, как правило, не было в общении с марксистски ориентированными советскими теоретиками-обществоведами. Когда мне доводилось присутствовать на наших официальных теоретических дискуссиях, меня постоянно мучило сомнение: то ли я дурак и сумасшедший, то ли докладчики говорят «о чем-то не том» и не теми словами.) Побратавшись в Тольятти с представителями чуждой нам идеологии, я стал получать от них книги: Уильямсон прислал “Markets and Hierarchies”, Уолт Уитмен Ростоу – издательский экземпляр “Getting from Here to There” с авторской правкой; Марч – книгу своих стихов... Было очень интересно. И все-таки экономика была не моей наукой. Даже под крылом у Энтова.

Отвлечения от экономики, конечно, были – спасибо фольклорным экспедициям Института славяноведения и балканистики, которыми руководил Н.И. Толстой. Они скрашивали жизнь, но это было хобби, а не профессией.

К счастью, моя экономическая path dependence была решительным образом разрушена волей Провидения. В 1979 году я расстался и с ИМЭМО, и с экономикой. Инициатива была не Энтова и не моя. Просто у меня случился роман с дамой из Дании, а в конце 1970-х годов в ИМЭМО подобного рода тесные связи с представителями капиталистического мира были не очень позволительны. Меня попросили удалиться. Я со смешанными чувствами, уподобившись Евгению Онегину, «удалился и попал» в абсолютно занюханый, третьей категории НИИ культуры Министерства культуры РСФСР, в отдел социологии. НИИ был настолько занюханным, что его публикации не считали нужным цензурировать. Институт регулярно издавал сборники, которые вообще не проходили Главлита. Я занялся эмпирическими исследованиями советского массового сознания и ощутил, что такое кайф и душевная гармония. Изучать ценностные ориентации, предпочтения, мотивы поведения и прочие человеческие слабости – это было мое.

Пониманию человеческих слабостей в огромной мере способствовал мой временный переезд в Питер, где я с 1982 по 1986 год работал в Ленинградском институте информатики и автоматизации (ЛИАН). Там была лаборатория, которая занималась информационными моделями психических процессов. В этих моделях объединялись данные нейрофизиологии, психологии, социологии. Работа в ЛИАНе дала мне психологические знания, которых у меня вообще не было, но которые, как впоследствии выяснилось, необходимы для политолога. Думаю, что серьезно заниматься исследованиями политических процессов без хорошей психологической базы нельзя.

Но лабораторию, как водится, прикрыли. Поэтому в 1986 году я вернулся в Москву и стал работать в Институте

международного рабочего движения, который тогда возглавлял Т.Т. Тимофеев. Это был, наверное, самый либеральный институт в Академии наук СССР. Там я одним из первых в России начал проводить социологические исследования политического сознания. Для начала опросил сотрудников ФИАН имени Лебедева. Они меня пригласили прочитать какую-нибудь лекцию про современную политическую ситуацию. Ну, а я им предложил провести опрос. Сделал анкету; вставил в нее сформулированные в виде вопросов позиции из Декларации прав человека ООН 1948 года, в том числе положение о праве человека на свободу выезда из своей страны. И вот когда в этом «гнезде демократии» 30% докторов и кандидатов физико-математических наук сказали, что не надо разрешать эмигрантам возвращаться в страну, я понял, что путь к демократии в России будет тяжелым. Увы, так оно и получилось. Затем было исследование по утечке мозгов, опрос Первого съезда народных депутатов РСФСР, исследование авторитарного синдрома, сравнительное исследование политических ориентаций и корпоративной культуры менеджеров крупных российских, британских и японских корпораций и много чего еще: Академия народного хозяйства, Левада-центр (тогда еще ВЦИОМ), Фонд Горбачева, Аналитическое управление Президента РФ, Центр экономических реформ при Правительстве РФ, мой собственный Фонд аналитических программ «Экспертиза» и, наконец, Вышка. Но там уже были не учителя, а друзья и, разумеется, недруги.

Так что, если говорить об учителях, то это школа, Энтов и жизнь.

И еще я с детства хотел быть актером, но моя мама – актриса, а потом профессор Щепкинского театрального училища – это намерение пресекла. Не знаю, каким бы я был актером, но режиссером, наверное, был бы неплохим. Во всяком случае, театра мне всегда не хватало. Впрочем, сейчас дефицит сцены в какой-то мере компенсируется лекциями. Ведь преподавание – это во многом театр.

# АЛЕКСАНДР КАМЕНСКИЙ

## УЧИТЕЛЯ

---



Мой путь в науку был не вполне обычным. Собственно, еще в школьные годы я любил историю и много читал, в том числе вполне серьезные исторические книги, но читал бессистемно, и увлечения каким-то определенным периодом или регионом у меня не было. Спустя несколько лет после окончания школы в силу разных жизненных перипетий я оказался студентом-вечерником исторического факультета Московского областного педагогического института. В то время я работал совсем не по специальности, подрабатывал рефератами по востоковедению и религиоведению для ИНИОНа, у меня уже была семья, а заняться чем-нибудь всерьез все никак не получалось. И вот тут мне очень повезло. Совершенно случайно я познакомился с Александром Лазаревичем Станиславским. К сожалению, это имя сегодня почти неизвестно за пределами узкого круга специалистов по истории России XVI–XVII веков. В немалой степени потому, что, по меркам сегодняшнего дня, когда молодой ученый уже к тридцати годам является автором одной, а то и двух монографий, Александр Лазаревич успел сделать до обидного мало. Он ушел из жизни в 1990 году, когда ему было всего пятьдесят лет, и его первая книга вышла в свет через месяц после его смерти.

Между тем тогда, в 1970–1980-е годы, это был один из самых ярких и талантливых историков, оказавший колоссальное влияние не только на меня, ставшего его учеником, но и на целый ряд историков и моего, и его поколения. Причем был он не только ярким ученым, но и яркой личностью. Спустя годы после его кончины мне несколько раз приходилось слышать, как кто-то из коллег по Историко-архивному институту – человек, не работавший с Александром Лазаревичем на одной кафедре, не входивший в круг его друзей, далекий от него по своим профессиональным занятиям, – вдруг говорил: «Я часто вспоминаю Станиславского».

Впрочем, я забежал немного вперед. Когда мы познакомились, Александр Лазаревич еще не работал в Историко-архивном институте, а был сотрудником Архива Академии наук СССР. При первой же нашей встрече, узнав, что я студент-историк, он спросил: «А чем вы занимаетесь?» Услышав мой неопределенный ответ, Станиславский тут же сказал: «Если хотите, я могу дать вам тему». Я, конечно, тут же согласился. Позднее я понял, что заданный им вопрос был самым естественным, который он вообще мог задать, потому что для него

занятия наукой были неременным условием существования и люди, наукой не занимающиеся, были ему попросту малоинтересны.

Тема, которую Александр Лазаревич мне предложил, была достаточно узкой и лишь косвенно связанной с его собственными интересами. По-видимому, просматривая в поисках документов по истории Смуты, которой он тогда занимался, описи личного фонда жившего в XVIII веке историка Г.Ф. Миллера (знаменитые «Портфели Миллера»), хранящегося в Архиве древних актов, Станиславский наткнулся на черновики книги Миллера «Известие о дворянах российских». Зная эту работу как первое в русской историографии сочинение по истории русского дворянства и высоко ее ценя, Александр Лазаревич решил, что было бы интересно реконструировать историю создания книги и источники, на которых она была написана. Однако для этого необходимо было проникнуть в архив, что при моей тогдашней работе было невозможно, и вскоре Станиславский предложил помочь мне перейти на работу в Архив древних актов. Так начался один из самых замечательных периодов моей жизни, продолжавшийся семь лет.

В архиве я сначала работал на самой низшей должности – хранителя фондов, но это меня нисколько не смущало. Главным было то, что мне хватало времени на занятия своей темой, я работал с подлинными историческими документами и оказался в необыкновенно питательной научной среде. Станиславский по меньшей мере дважды в неделю приходил заниматься в читальном зале архива, и всякий раз я вызывал его в коридор, и мы подолгу обсуждали мои и его занятия, причем с самого начала он рассказывал мне о своих архивных находках (а их было немало) и научных поисках как равному, хотя мои знания были в то время весьма скудны и оценить его рассказы по достоинству я был не в состоянии. Пока мы разговаривали, к нам подходили другие коллеги Александра Лазаревича по занятиям русским Средневековьем, среди которых были такие известные историки, как В.И. Корецкий, Б.Н. Флоря, В.Д. Назаров, Н.Ф. Демидова, Е.Н. Швейковская и другие.

Они начинали долгие обсуждения близких им научных проблем и нюансов архивных поисков, которым я молча внимал, жадно впитывая каждое слово. Постоянно за советами к Александру Лазаревичу подходили и молодые, только начинающие исследователи, писавшие тогда кандидатские диссертации, – М.П. Лукичев, Н.М. Рогожин, Б.Н. Морозов, А.П. Павлов, В.Н. Козляков, А.Н. Медушевский, А.П. Богданов, О.Е. Кошелева и другие, ставшие впоследствии известными учеными. Станиславский не был их научным руководителем, но он слыл одним из лучших знатоков архивных материалов, тонким источниковедом, всегда готовым не только дать совет, подсказать, где стоит поискать необходимые документы, но и поделиться своими идеями и представлениями. Он необыкновенно щедро, как говорится направо и налево, раздаривал собственные научные идеи, из которых нередко рождались потом серьезные исследования и целые диссертации.

Для меня разговоры Александра Лазаревича с коллегами были самой лучшей научной школой, но должен признаться, что слушал я их, особенно поначалу, со смешанными чувствами. С первого дня моего появления в архиве Станиславский стал знакомить меня с другими исследователями, работавшими в читальном зале, сообщая им, что я «занимаюсь Миллером». В ответ всегда слышалось: «О! Это очень интересно!» Мне тоже было интересно то, что я делал, но при этом было ощущение, что настоящая наука – в более раннем историческом периоде. Дело в том, что, в отличие от XV–XVII веков, документы XVIII века дошли до нас почти полностью, и мне легко удавалось найти ответ практически на любой вопрос, который у меня возникал. Мне казалось, что это слишком легко и как-то несерьезно, потому что настоящий историк должен по крупницам реконструировать прошлое, подвергая тончайшему анализу каждую свою архивную находку, – так, как делали это Станиславский и его коллеги по занятиям Московской Русью. В немалой степени мое отношение и к собственным занятиям, и в целом к истории России XVIII столетия, которая на долгие годы стала основным предметом моих



исследований, изменилось под влиянием еще одного знакомства, которым я также обязан Александру Лазаревичу.

Примерно в конце 1978 – начале 1979 года Станиславский познакомил меня с Евгением Викторовичем Анисимовым – ныне крупнейшим специалистом по русскому XVIII веку, автором десятков книг и научным руководителем факультета истории питерской Вышки. Довольно быстро мы подружились, и дружба эта продолжается уже тридцать лет.

Тема, которую изначально предложил мне Станиславский, постепенно разрасталась, у нее, как это обычно бывает, появлялись все новые интересные и неожиданные ответвления, а в сфере моих поисков оказывались все новые персонажи и сюжеты. Причем если начинал я фактически с занятий историей русской исторической науки XVIII века, то постепенно эти занятия вывели меня на общеисторические сюжеты. В какой-то момент стало понятно, что моя тема «тянет» на кандидатскую диссертацию, и Анисимов выступил на защите в качестве одного из официальных оппонентов. Надо сказать, что в конце 1970-х и в 1980-е годы историей России XVIII века занимались очень немногие, и когда Евгений Викторович приезжал в Москву, мы подолгу обсуждали с ним разные проблемы (надеюсь, эти наши разговоры были полезны не только мне, но и ему). Со временем не только наши взгляды на изучаемую эпоху, но и само восприятие прошлого стало столь близким, что, когда в середине 1990-х мы вместе написали учебное пособие, издательский редактор говорила, что не может отличить, кто из нас автор какой главы. Но должен оговориться: Евгений Викторович обладает необыкновенным и редким чувством истории, способностью ее образного осмысления через настоящее, – чувством, которому я всегда по-хорошему завидовал. Это талант, который, увы, не приобретается в процессе профессионального образования. Он либо есть, либо его нет. Отношение же Анисимова к науке, к тому, что принято называть научной этикой, ярко характеризуют два эпизода.

Однажды я написал очень язвительный текст, посвященный разбору грубых ошибок в сочинениях одной ученой дамы. Евгений Викторович внимательно его прочитал, от души посмеялся, а потом сказал: «Знаешь, я бы на твоём месте не стал это печатать. Она немолодая женщина, у нее тяжелая жизнь. Зачем это тебе? Пиши лучше свое». В 1989 году, когда вышла впоследствии неоднократно переиздававшаяся книга Анисимова «Время петровских реформ», я написал на нее рецензию для «Вопросов истории». Евгений Викторович поблагодарил, а потом сказал: «Я тебя прошу: не пиши больше на меня рецензий. Все знают, что мы друзья, и это выглядит неприлично».

С книгой Анисимова «Время петровских реформ» связан и еще один важный эпизод. Книга вышла в разгар перестройки, была очень популярна и воспринималась особенно остро на фоне того, что происходило тогда в стране. Однажды в разговоре со мной Борис Николаевич Флоря сказал: «Читаю книгу Анисимова и никак не могу понять, как Петру удалось все это сделать?» Это мимолетное замечание показалось мне очень важным. Я стал об этом размышлять, и постепенно у меня родилась концепция системного кризиса в России XVII века, который и создал условия для осуществления радикальных реформ Петра Великого. В очередной приезд Евгения Викторовича в Москву я изложил ему свои мысли. Он внимательно выслушал и сказал: «Я должен об этом подумать». Спустя несколько месяцев он позвонил мне из Петербурга: «Я обдумал то, что ты сказал. Я думаю, ты прав».

Бережное, едва ли не благоговейное отношение к науке, увлеченность ею и необыкновенная научная щепетильность, скрупулезное следование нормам научной этики – это то, что было общим у Станиславского и Анисимова и оказало на меня решающее влияние. Спустя многие годы с таким же отношением к науке в сочетании с высочайшей требовательностью к себе и коллегам я встретился в лице Андрея Владимировича Полетаева, с которым начиная с 1995 года мы вместе заседали

в экспертном совете программы по высшему образованию Института «Открытое общество» (Фонд Сороса). Основная функция совета состояла в утверждении либо отклонении заявок на гранты и публикации, поступавшие к нам уже с рецензиями внешних экспертов. Можно с уверенностью сказать, что ни одна заявка, в качестве которой возникало хоть малейшее сомнение, одобрена Андреем быть не могла, и самое большее, на что его можно было уговорить, это дать автору шанс доработать свой текст. Андрею Полетаеву и его требовательности мы во многом обязаны тем, что теперь в Вышке есть факультет истории.

Возвращаясь к Станиславскому, должен сказать, что как учитель Александр Лазаревич был предельно требователен и одновременно необыкновенно деликатен. Когда уже через год после начала моих ученых штудий я написал свою первую статью, он практически всю ее испещрил своими карандашными пометами и исправлениями, а затем принялся объяснять их мне таким извиняющимся тоном, что обидеться было просто невозможно, и я с энтузиазмом принялся за переработку текста. Спустя еще два-три года я попытался написать уже серьезную концептуальную статью, и он, прочитав, сказал: «Знаете, такие статьи вам писать еще рано». И опять это было сказано таким тоном, что я спокойно дал статье «отлежаться» и не менее двух раз переписал ее заново, пока она не приобрела пристойный вид, а излагавшиеся в ней мысли не стали ясными и стройными.

Спустя короткое время после начала нашего знакомства Станиславский стал преподавателем Историко-архивного института, о чем он мечтал всю жизнь. Будучи кандидатом наук, автором десятков публикаций и авторитетным ученым, он был принят на должность ассистента кафедры вспомогательных исторических дисциплин и, пребывая в этой должности, защитил докторскую диссертацию (уникальный случай в истории высшей школы), а вскоре стал заведующим кафедрой. Известный историк Владимир Борисович Кобрин, сбежавший в конце 80-х из затхлой атмосферы педагогического

института в Историко-архивный, рассказывал впоследствии, как, придя на свое первое заседание кафедры, был поражен тем, что заведующий начал его обращением: «Друзья мои!» Для Станиславского, за руку здоровавшегося со встречавшимися ему в коридоре института студентами, такое обращение было самым что ни на есть естественным. Ему, молодому заведующему, только что защитившему докторскую диссертацию, хотелось, чтобы кафедра была коллективом единомышленников, в котором царил бы атмосфера подлинной науки. Не опасаясь конкуренции, он приглашал работать на кафедру маститых ученых, а когда в самом начале его заведования один из преподавателей написал на него жалобу-донос ректору, он принес эту бумагу на заседание кафедры, прочитал вслух и сказал: «Давайте обсудим». Больше доносов на него не писали.

Он был еще начинающим ассистентом, когда у него стали появляться дипломники, а затем и аспиранты. Он много возился с ними, приглашал к себе домой, остро переживал их успехи и неудачи. Может быть, именно поэтому после его неожиданного ухода из жизни научная судьба многих его учеников сложилась нелучшим образом: далеко не все из них сумели найти себе нового научного руководителя.

В моем кабинете в Вышке висит портрет Александра Лазаревича Станиславского, с которым я мысленно советуюсь и на которого стараюсь походить. Боюсь, что получается далеко не всегда.

# ИСАК ФРУМИН

## УЧИТЕЛЯ

---



Учителями нам становятся не только те, кто учит нас конкретным наукам. Учитель – это человек, который являет нам возможную форму взрослости, по выражению Льва Выготского, представляющую молодому человеку возможные варианты собственного развития. Для меня учителя – те, кто помог мне в самоопределении. Конечно, для любого человека, даже если он этого не признает, главными учителями оказываются его родители. Но книга, которую мы пишем сейчас, не об этом. Разговор об учителях неизбежно превращается в поиск идеальной формы. И я начал бы этот разговор с того, каким извилистым был мой путь, ведущий к ней.

После окончания школы я поступил в Красноярский университет на математический факультет. Уже в Советском Союзе работать учителем было не очень-то престижно, и, конечно, моя семья ожидала, что я буду заниматься чем-нибудь более достойным. Хотя сейчас я понимаю, что имел к этому склонность: мне было интересно, как работают учителя. Не могу сказать, что собирался стать учителем, когда пошел на математический факультет. Но и не думал, что стану профессиональным математиком, который будет сидеть и работать исключительно

с числами и формулами. Я собирался стать профессором и учить студентов. Моя мама была институтским преподавателем. Вместе с ней я ходил дежурить в общежитие, с ней ходил на лекции, сидел на задней парте, и мне это страшно нравилось. И наверное, хорошее и плохое, что есть в этой установке, во мне поселилось давно.

Во время учебы в Красноярском университете одной из возможных форм летнего «трудового семестра» у нас была работа в летней физико-математической школе в качестве вожатого-преподавателя. Первый раз я поехал туда, поскольку альтернативой была уборка картошки. Там было классно! Уже на второй год меня, четверокурсника, ректор университета Вениамин Соколов назначил заместителем директора летней школы. Я стал ездить туда каждое лето и размышлял о том, чем занимается летняя школа, почему она именно такая, почему дети ее так любят. И когда я поступил в аспирантуру по математике, все равно чуть ли не половину времени читал книжки по педагогике. Тогда я обнаружил, что существует целая теория интенсивного обучения. Так что интерес к педагогической науке у меня возник из этой довольно маргинальной практики.

Таких школ в 80-е годы было немного. По летним школам мы провели в Красноярске в каком-то из 80-х годов первый всесоюзный семинар. Это было чрезвычайно интересное поле, особое, свободное от идеологической скуки. Мы, конечно, использовали материалы тех, кто работал в вечерних математических школах в Москве. К нам приезжало очень много ребят, которые здесь, в Москве, преподавали во Второй школе, в 57-й, к нам приезжали из Москвы выдающиеся математики. Моя первая научная публикация вышла в журнале «Квант», и она как раз называлась «Красноярская летняя школа». Наш ректор был на первый взгляд ригидный коммунист, но, когда одна партийная начальница попыталась заставить меня проводить линейки с подъемом флага, то он нас прикрыл, заявив, что для славы страны решение задач по физике важнее, чем строевая выправка. Пожалуй, в тот момент я глянул на него как на возможного учителя.

Дальше я занимался математикой и спокойно учился в аспирантуре. Потом началась перестройка. И в это время ректор Соколов обратил внимание на меня и еще нескольких молодых математиков и физиков. Он сказал нам, что решил уволить всех людей с кафедры педагогики, потому что они болваны и начетчики, а на их место взять нас – людей из настоящей науки: математиков, физиков, химиков и биологов. Мы, конечно, были шокированы этим предложением, но он сделал его так, что от него нельзя было отказаться. Мне он сказал, что хочет, чтобы школа при университете была такая же веселая и интересная, как летняя. То есть у меня был выбор: либо остаться в университете и получить сразу же, не став еще кандидатом наук, должность доцента на кафедре педагогики и сделаться директором университетской экспериментальной школы, либо быть выгнанным из университета. Замечу, что мне исполнилось тогда двадцать девять лет. И одному из моих товарищей – Виктору Александровичу Болотову, который был доцентом кафедры математики, – тоже сказали: либо ты становишься деканом педагогического факультета, либо уходишь. Вот такой нам достался ректор. Но при этом человек он был абсолютно содержательный и очень харизматичный.

И когда мы согласились, дважды в неделю мы встречались у него и обсуждали проект экспериментальной школы при университете. Это были крутые разговоры, с криками, без статусов, с цитатами из Маркса и Гегеля. Там я и вляпался в педагогику, но не советскую, а полудиссидентскую педагогику развития.

Сегодня я понимаю, что в Соколове сконцентрировалось в то время все лучшее, что было в советской науке и высшем образовании, все лучшее с невероятными вкраплениями дикости. Он вырос в семье военного, закончил Физтех и отправился по распределению работать в Новосибирский институт теплофизики. Этот человек был буквально помешан на больших проектах. Он считал, что, подобно тому как у всего человечества есть гигантский, в высшей степени интересный проект, который в определенном смысле можно назвать предельным, – коммунизм, так и у каждого конкретного человека должен быть свой собственный предельный проект. У Вениамина Сергеевича таких проектов было даже несколько. Будучи физиком по образованию, он занимался поисками кардинального решения энергетических проблем за счет использования плазмы. Как общественный деятель он тоже оказался чрезвычайно активен и успешен: дорос до поста секретаря райкома КПСС Новосибирского академгородка. Соколов пытался вдохнуть новую жизнь в академический комплекс, в котором начиналась стагнация. В 1975 году, когда ему было всего лишь около сорока лет, он получил предложение стать ректором Красноярского университета. Вступив в должность, он устроил собрание лучших студентов и сказал им: вы пришли учиться в университет, который не входит даже в сотню лучших по Союзу; через пять лет он будет в числе тридцати лучших вузов страны. И в этом он преуспел – неслучайно ведь первый в России федеральный университет был создан на базе Красноярского университета. Правда, приходится признать, что остальные проекты Вениамина Сергеевича оказались несбыточными. Он поверил в социализм с человеческим лицом и в начале перестройки стал секретарем Красноярского крайкома КПСС.

Чтобы эффективнее решать задачи, которые он считал важными, Соколов стал депутатом Верховного Совета, членом, а затем и председателем Совета Республики Верховного Совета. Сейчас об этом уже мало кто помнит, но в 1993 году именно Соколов, а не Хасбулатов, представлял парламент в переговорах с Ельциным, который навязал парламенту радикальное изменение политической системы. В ту пору наши с ним пути разошлись кардинально: всех, кто думал иначе, чем он, Соколов считал предателями. Но позже, в 2000 году, когда он был аудитором Счетной палаты, мы восстановили отношения. Абсолютная твердость Вениамина Соколова, в том числе и в оценке политических событий, всегда поражала меня. Он до конца жизни остался верен идеям, которые когда-то присвоил. О масштабе этой личности свидетельствует хотя бы такой вот факт. Достигнув старости, он мог бы спокойно уйти на пенсию и жить себе в хорошей квартире в центре Москвы, пользуясь всеми благами, полагающимися бывшему члену правительства на склоне лет. Однако же он уехал из Москвы обратно в Красноярский край, чтобы продолжать работать: в последние годы жизни он служил там советником ректора Сибирского федерального университета.

Но вернемся в позднесоветские времена – те самые, когда, повинаясь призыву Соколова, мы только начинали создавать экспериментальную школу. Мы хотели, чтобы в ней все было по-новому и все хорошо. Мы хотели построить идеальную школу, в которой дети учились бы с желанием, а учителя преподавали бы с удовольствием. Мы хотели избавиться от закоснелых систем. Мы читали тогда – между прочим, в журнале «Коммунист» – статью Даниила Борисовича Эльконина про школу будущего. Это была романтическая пора, но, как ни странно, нам очень многое удалось сделать. Естественно, мы ориентировались не только на свой опыт: существовало еще два, нет, пожалуй, даже три источника. Это было время, когда мы открывались международному опыту и все интересное, и маргинальное, и мейнстримовое, – все шло к нам. Когда я сейчас говорю кому-то на Западе, что работал директором школы, где были вальдорфские

классы, то у людей глаза на лоб вылезают: это все же довольно экзотическое направление в педагогике. Чего только у нас не было! Были группы Монтессори. Однажды к нам приехали сумасшедшие американцы проповедовать Global education (глобальное образование) – так мы и их пустили. Но при этом мы тогда начинали читать и серьезную западную литературу, типа Джона Дьюи. Сами переводили его и размышляли, как это укладывается в нашу практику.

Надо сказать, что идеология нашего ректора – призывать людей из математики и физики – сыграла свою роль, потому что у нас были нормальные критерии научности. Мы понимали, что необходимо дать место исследованию. А вся советская педагогика базировалась вовсе не на исследованиях, она была нормативная: про то, как должно быть, а не про то, как жизнь устроена. А ведь устроена она по своим законам. И когда мы обнаружили работы великого советского психолога Василия Васильевича Давыдова о том, как формируются научные понятия у детей, какова возрастная динамика их складывания, мы испытали настоящее потрясение. Фактически мы увидели алгебру психологии и педагогики, если угодно.

И тут случилось чудо: выяснилось, что Василий Васильевич Давыдов – живой и что в Москве он не у дел. Это было, когда уже началась перестройка, но у власти еще оставались коммунисты. Шел 1986 год, его незадолго до этого исключили из партии, а его экспериментальную площадку в московской 91-й школе закрыли и все материалы сожгли. Просто физически сожгли! Он вернулся туда только в 1993 году. А тогда, в этот самый промежуток времени, он сидел без работы. И мы к нему приехали. Поскольку у нас тема «Учителя и ученики», то вот он еще один мой учитель. Я с ним общался до его смерти в 1998 году и был бы горд, если бы он считал меня своим учеником. Мы перепечатывали его неопубликованные материалы, он приезжал в Красноярск и проводил семинары. Я ездил в Москву и неделями обсуждал с ним, как следует строить образовательный процесс.

Таким образом, вторым источником в нашей педагогической конструкции была линия Давыдова, которая восходила к линии Выготского. Ведь Давыдов был прямым учеником Петра Яковлевича Гальперина, а тот, в свою очередь, был учеником Льва Семеновича Выготского. И Даниил Борисович Эльконин, который с Давыдовым работал, тоже был прямым учеником Выготского. Лаборатория Давыдова располагалась в комнате, где жил Выготский. В общем, это важнейшая линия, причастность к которой мне до сих пор сильно помогает.

Общение с Давыдовым явилось для меня возможностью не просто приобщиться к великой интеллектуальной традиции, но и увидеть еще одну идеальную форму взрослости. Давыдов – идеальный *self made man*. Он из крестьянской многодетной семьи, и на философский факультет Московского университета его взяли по партийной разрядке. В последние годы жизни он с огорчением говорил мне, что не понимает, как случилось, что он – специалист по Гегелю – стал заниматься педагогической психологией. Сейчас мне видится в этом некоторое кокетство, конечно. Но действительно важно одно: Давыдов чрезвычайно любил всматриваться в людей, в жизнь – и понимать ее. Это было главным его увлечением.

Он дал мне пример того, каким может быть мышление. Если Соколов представляется мне идеалом решительности, идеалом поведения человека, которому приходится чем-то управлять, то Давыдов тоже идеал, но другой: это пример поведения в науке, доказывающий, что гуманитарные вопросы могут быть предметом исследования. Надо сказать, что ему чрезвычайно повезло: он был одним из непосредственных участников школы Выготского. Но при этом его мучила «лояльность мышления»: он был очень интегрирован в советскую систему, сравнительно рано стал академиком педагогических наук, в то время как его учитель П.Я. Гальперин всю жизнь оставался только членкором. А Давыдов – тоже в довольно молодом возрасте – стал директором Института общей и педагогической психологии АПН СССР.

Но он использовал свое положение для того, чтобы сформировать в доставшемся ему Институте уникальную атмосферу. Я думаю, вполне можно считать, что помимо двух великих программ в науке – тех, что осуществлялись физиками-ядерщиками и математиками, – в СССР была еще третья уникальная программа, которую можно считать нашим достоянием: психолого-педагогическая. Увы, ей не суждено было полностью осуществиться: причиной тому стала склонность Давыдова привлекать в Институт талантливых людей, независимо от того, были они евреями или диссидентами. Не случайно в свои редкие приезды в Москву именно у Давыдова читал публичные лекции Мераб Мамардашвили. На излете советской власти его исключили из КПСС и отобрали у него Институт. Однако вскоре по окончании волны расправ Институт ему вернули, и он был избран к тому же вице-президентом Российской Академии образования. И вот здесь надо отдать ему должное: он никогда не мстил тем, кто прежде его «закапывал». Он оставался примером человека, ученого, с пониманием относящегося к социальному контексту развития науки. В этом его подходе, безусловно, есть и плюсы и минусы, и я не могу сказать, что вполне согласен с такой линией поведения. Как и первый мой учитель, Давыдов тоже был человеком большого проекта. По сути, он всю жизнь реализовывал проект Э. Ильенкова: идею школы, которая должна учить мыслить. Давыдов разработал педагогическую технологию развивающего обучения, вскоре после своего возникновения обретшую всемирную известность. Как и Соколов, он остается для меня образом человека большого проекта и содержательной страсти. О многом свидетельствует уже сама его смерть: он умер внезапно во время поездки по Тюменской области с лекциями для учителей.

Третьим источником педагогических идей, разделяемых мною и моими коллегами по красноярской школе, был еще один великий человек – Георгий Петрович Щедровицкий. В советское время его тоже «зажимали». Это был бродячий философ, методолог. Его, как и Давыдова, исключили из партии. Он читал желающим отдельные курсы лекций, проводил игры.

Имел группу приверженцев, и люди со стороны часто называли ее сектой. Я с гордостью могу сказать, что был причастен к этой секте. ГП, как его называли ученики, по первому роду своей деятельности был исследователем образования. Диссертация Г.П. Щедровицкого и целый ряд его научных работ посвящены классической педагогической психологии. Его работа «Педагогика и логика», которая была подготовлена к печати в 1968 году и затем рассыпана, оставалась моей настольной книгой много лет. Понимание того, что должно представлять собой содержание образования, умение расчлнить образовательные ситуации, провести их системный анализ – все это впервые было аккуратно осмыслено ГП. Он бывал в моей школе, ходил на уроки, и мы с ним обсуждали методы подготовки учителей и наши эксперименты. И я считаю, что это третье направление, из которого сложилась модель нашей тогдашней красноярской школы.

ГП, как и другие мои учителя, имел очень неоднозначную репутацию. Конечно, нет никого, кто не понимал бы, что он был одной из ярчайших фигур интеллектуальной жизни последних десятилетий советской власти. Но некоторые коллеги, в том числе и работающие сейчас в Вышке, – философы, например, – считают его шарлатаном, жонглером смыслов. Безусловно, Щедровицкий был софистом, как их описывал Платон. Он любил спорить, любил сложные интеллектуальные построения. Для него любимой игрой было доказать противнику, что тот заблуждается, причем в очень сложных вопросах.

Но для меня его уроки – это не только уроки методологии, но и уроки сопротивления. Поистине удивительно, как мог один человек в обстановке, которая этому максимально препятствовала, построить, по сути, целый университет, невидимый колледж. Ведь у него было – и остается! – огромное множество учеников. При этом он никогда не шел на компромиссы. В его работах, даже опубликованных в советское время, нельзя найти ссылок на классиков марксизма–ленинизма или на постановления ЦК КПСС. Он считал, как и его учитель А.А. Зиновьев,

что человек рожден, чтобы быть интеллектуально честным. Своей жизнью ГП доказал, что его тактика была правильной, а тактика тех, кто шел на компромиссы, – позорной и проигрышной. Пожалуй, правда, такая независимость связана не столько с силой духа, сколько с силой ума ГП, который просто не позволял действовать иначе. Часто вспоминаю его слова: «Мысль командует, не оставляя выбора». Пожалуй, это могли бы сказать все три моих учителя.

# ЛЕВ ЛЮБИМОВ УЧИТЕЛЯ



После окончания школы в Рязани я поступил там же в пединститут на гуманитарный факультет. Моим первым учителем оказался Павел Александрович Орлов – литератор, специалист по XIX веку в русской литературе, который через десять лет стал одним из ведущих профессоров филологического факультета МГУ. Я у него многому научился, причем не только слушая его лекции, но и из личных бесед, которые мы вели, прогуливаясь по местной набережной. Вторым учителем стала Раиса Александровна Фридман. Она была профессором Сорбонны, человеком, который высоко ценился в академических и писательских кругах Франции, потому что она занималась исследованиями старопровансальского языка и литературы. Эта богатейшая литература, создававшаяся трубадурами и пережившая свой расцвет в XII–XIII веках, в Новое время оказалась почти забыта, интерес образованной публики к ней был в значительной мере утрачен (подобно тому как в продолжение Нового времени большинство образованных людей постепенно утрачивали интерес к латинскому языку). Раиса Александровна внесла заметный вклад в возрождение культуры средневекового Прованса: она написала довольно объемный

словарь старопровансальского языка и составила не менее объемную хрестоматию. Луи Арагон, другие французские писатели – современники Раисы Александровны высоко ценили ее вклад в культуру Франции. Лично я ей также многим обязан. Она обучала меня латыни у себя дома, учила ориентироваться в античной культуре, которая до сих пор остается великой и непревзойденной. Тогда у меня и возник интерес к образовательным контентам Liberal arts (свободных искусств), и с тех пор он не переставал расти.

Раиса Александровна приходилась родной сестрой Александру Александровичу Фридману, выдающемуся российскому математику и геофизику. Кроме этого, на другом факультете работал ее родной брат – Абрам Александрович Фридман (родной дедушка нашей А.А. Фридман – профессора ВШЭ), к которому я бегал слушать курс по линейной алгебре; экзамен по этому предмету я не сдавал, но слушал с удовольствием. Одновременно я посещал лекции профессора Иринарха Петровича Макарова по матанализу. От него я тоже многое перенял. Он был воплощением независимости и свободы – человеком, не встраивающимся в рамки советской системы.



Мы с ним много беседовали во время наших прогулок. Благодаря ему в конце первого курса я стал председателем научного студенческого общества института, в котором учился.

Раисе Александровне я обязан тем, что у меня возникла постоянная потребность к самообучению, к расширению поля усваиваемых знаний. Если еще в школе я считал нормой читать по двести страниц в день, то после знакомства с ней эта моя привычка распространилась за пределы художественной литературы. Естественно, я прочел всю классику, западную и нашу. Дальше в общем-то и читать было вроде нечего. Заведующая библиотекой, которая хорошо ко мне относилась, нашла для меня (это был с ее стороны Поступок) перевязанный шпагатом и обитый штампами НКВД «Уничтожить» десяти томник Ницше 1907 года издания. Чтение Ницше произвело на меня тогда неизгладимое впечатление. Он является основателем современной философии. Вслед за Ницше я обратился к другим авторам (например, Гегелю, Расселу). Далее я читал книги по разным дисциплинам. Так, там же, в библиотеке, я нашел пятитомник Т. Моммзена «История Древнего Рима» – Моммзен и Черчилль были единственными историками, получившими Нобелевскую премию по литературе. После Моммзена я обратился к «Истории Англии» Дэвида Юма, а после Юма – независимо от учебного курса – к «Капиталу» Маркса. Прочитав эту работу, я извлек для себя «социологического Маркса», и эти идеи также оказали на меня определенное влияние.

В итоге я решил выбрать для себя сферу исследований и остановился на экономике. К этому времени мне случилось переехать в Москву. Мне удалось поступить ассистентом в Институт тонкой химической технологии, где кафедрой заведовал Николай Прокофьевич Федоренко. В тот год, когда я поступил, он стал академиком АН СССР. Но я тогда еще не знал, что он замыслил и готовил создание Центрального экономико-математического института. Поэтому я решил, что попытаюсь пройти в аспирантуру Института мировой экономики и

международных отношений АН СССР. Я тогда занимался по шестнадцать часов в день, читал классику – Смита, Милля, Рикардо, Маршалла (чьи работы были тогда изданы) и Кейнса («Общую теорию занятости»). За два года я очень много начал – более ста книжек. На следующий год я первым среди всех конкурсантов поступил в аспирантуру ИМЭМО. Мне дали право выбора отдела, но я уже заранее решил, что пойду в отдел теории, который возглавлял академик Абрам Герасимович Милейковский. Под его руководством я приобретал академическое воспитание, учился презентации своих разработок. В этом отделе я встретил своих подлинных научных учителей. Первым из них был Револьд Михайлович Энтов (уникальное явление в сообществе эрудитов и знатоков), с которым мы с тех пор дружны и, видимо, являемся самыми старыми друг для друга друзьями. Это был уникальный отдел, включавший несколько удивительно талантливых ученых. Один из них был моим руководителем – это Сергей Михайлович Никитин, к сожалению ныне покойный, автор идеи приоритета второго подразделения как главного фактора экономического роста в СССР (идея была явно «неполиткорректная», почти антиленинская). Но ИМЭМО выступил с ней, и она вошла в различные партийные постановления, хотя никогда не реализовывалась. Среди них был и Андрей Владимирович Аникин – тоже уникальная личность, с тремя свободными европейскими языками, глубокий ученый и одаренный писатель. Сегодня, когда книжный рынок заполнен половодьем разных экономических словарей, единственным по-настоящему профессионально грамотным англо-русским экономическим словарем является словарь А.В. Аникина, написанный им более сорока лет назад и переиздающийся постоянно! Когда я стал первым проректором в Вышке, то привлек его сюда на работу: он регулярно, вплоть до своего ухода из жизни, возглавлял в Вышке выпускную квалификационную комиссию в бакалавриате и магистратуре. Я у них у всех научился тому, что настоящий ученый никогда не должен отдыхать, то есть для него не существует такого понятия, как отпуск. Научная, творческая работа – это жизненная константа, постоянный образ жизни.

Многое нужно сказать об академике Николае Николаевиче Иноземцеве, директоре Института мировой экономики и международных отношений, с которым я работал шестнадцать лет. Когда я только защитил кандидатскую диссертацию, он довольно быстро заметил меня и попросил, чтобы я, тогда еще младший научный сотрудник, возглавил отдел информации. На этой работе я быстро показал себя успешным организатором. В некотором роде Иноземцева можно назвать главным учителем в моей жизни – за то, что он тогда доверил мне большую часть оперативной работы. В то время мне удалось провести реформу в этом отделе, создать продукты, которые в дальнейшем стали достоянием института: в частности, библиотеку досье, которую институт смог в 90-е годы продать и тем самым помочь себе выжить.

В какой-то момент этой оргжизни я смог наконец вернуться к собственным научным исследованиям. Началось все с того, что летом 1973 года я вдруг стал замечать что-то странное в мировой энергетике. Вечерами я просматривал международную статистику по балансам энергопотребления и энергопроизводства, по торговле энергоресурсами в Европе, США и СССР. Чем глубже я в это вникал, тем больше у меня к самому себе возникало вопросов. Вернувшись из отпуска, я начал записывать свои мысли по этому поводу. У меня появилось свое видение тенденций в этих делах. В итоге у меня получилось «эссе» на 230 страниц, которые я затем показал Иноземцеву со словами: «Николай Николаевич, мне кажется, что может произойти что-то необычное в мировой энергетике, но я дошел до такого места, что не могу сам себе сказать, что с этим дальше делать. Может, посмотрите?» Через две недели он мне говорит: «Слушай, я тоже не могу ответить на вопросы, которые у тебя возникли. Это в высшей степени интересно, поэтому давай думать вместе». Не прошло и двух недель, как в мире рванула «бомба» – страны ОПЕК в декабре 1973 года вчетверо подняли цены на нефть. Начался мировой энергетический кризис. Дальше в течение двух месяцев я по поручению Н.Н. Иноземцева писал записки по этому поводу едва ли не каждому члену Политбюро.

Таким образом, тогда в глазах своих коллег по институту я впервые предстал творческим работником (раньше во мне видели только организатора), исследователем, способным поставить крупную проблему. Однажды я был даже приглашен в Госплан СССР, где с успехом прочел лекцию для коллегии Госплана по мировым энергетическим проблемам.

Еще один человек, у которого я многому научился, – Яков Семенович Хавинсон. Он был при Сталине руководителем ТАСС, затем «Совинформбюро» (1941–1943), единственным политическим обозревателем газеты «Правда», а потом стал редактором нашего журнала «Международная экономика и международные отношения». Это в высшей степени порядочный человек с трудной судьбой, который дал мне поучительные уроки экспертного труда и профессиональной стилистики.

Помимо того что я учился у всех этих людей как у преподавателей или ученых, я также многому научился на практике. В 1975 году меня назначили заведомом Международных проблем Мирового океана, который в ИМЭМО был создан решением Политбюро ЦК КПСС. Отдел стал мозговым центром Межведомственной комиссии по Мировому океану, которую возглавил А.А. Громыко. Семь лет мне пришлось участвовать в разработке знаменитой Конвенции ООН по морскому праву. В ней есть и мой скромный вклад. Это была большая школа жизни, опыт прикладной аналитической, переговорной дипломатической и аппаратной работы.

В 1990 году я познакомился с Володей Кинелёвым, когда тот был заместителем министра образования РСФСР. Он вовлек меня в реформирование гуманитарного образования в России. В феврале 1992 года нам удалось пролоббировать создание Государственного совета по гуманитарному образованию при Правительстве РФ.

Однако и в более поздние годы я всегда продолжал учиться. Восемь-десять научных книг в месяц были нормой.

Например, знакомство в начале 90-х с коллегами из Института философии открыло мне путь к русским мыслителям, к сотням трудов, запрещенных советской властью. Моими последними учителями в организационных проблемах образования были коллеги из школ международного бакалавриата, из Лондонской школы экономики, а затем на моем столе никогда не переводились западные книги по проблемам образования. Знакомство с их образовательными парадигмами (мною прочитано уже более 350 книг) позволило впоследствии, в 1998 году, начать введение в ВШЭ системы модулей, рейтингов и кредитов (принципов Болонской системы, хотя сама Болонская конференция состоялась лишь в 1999 году).

Каков был главный урок моих учителей? В первую очередь, это университетская научная этика – честность, бескомпромиссность науки, жизнь в ее мировом мейнстриме. Именно университетский этос стал первым и главным достижением ВШЭ с момента ее создания. Собственно, первая составляющая бренда Вышки с самого начала – это университетский этос во всех областях деятельности нашего Университета. Вторая вещь, которой я научился в институте, в АН СССР, – это константа трудоголизма. Если ты принадлежишь к гильдии профессуры, то каждый твой день – рабочий, ты должен постоянно находиться в состоянии творческого труда: читать, писать, обсуждать, переписывать.



---

# РАССКАЗЧИКИ

---

## **АВДАШЕВА Светлана Борисовна**

ординарный профессор НИУ ВШЭ, профессор кафедры экономического анализа организаций и рынков, руководитель Департамента прикладной экономики, заместитель директора Института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ, доктор экономических наук

## **АВТОНОМОВ Владимир Сергеевич**

ординарный профессор НИУ ВШЭ, научный руководитель факультета экономики, заведующий кафедрой экономической методологии и истории Департамента теоретической экономики НИУ ВШЭ, доктор экономических наук

## **АЛЕСКЕРОВ Фуад Тагиевич**

ординарный профессор НИУ ВШЭ, руководитель Департамента математики факультета экономики, научный руководитель Отделения прикладной математики и информатики, главный научный сотрудник Лаборатории экспериментальной и поведенческой экономики, заведующий Международной научно-учебной лабораторией анализа и выбора решений НИУ ВШЭ, доктор технических наук

## **АНАНЬИН Олег Игоревич**

ординарный профессор НИУ ВШЭ, председатель учебно-методического совета, профессор кафедры экономической методологии и истории Департамента теоретической экономики НИУ ВШЭ, кандидат экономических наук

## **АРХАНГЕЛЬСКИЙ Александр Николаевич**

ординарный профессор НИУ ВШЭ,  
профессор факультета медиакоммуникаций Департамента журналистики НИУ ВШЭ,  
кандидат филологических наук

## **БЕРЗОН Николай Иосифович**

ординарный профессор НИУ ВШЭ, заведующий кафедрой фондового рынка и рынка инвестиций Департамента финансов, руководитель Фондового центра, директор Центра государственного регулирования финансовых рынков Института управления государственными ресурсами НИУ ВШЭ, доктор экономических наук

## **БОЙЦОВ Михаил Анатольевич**

профессор кафедры политической истории факультета истории,  
заведующий Научно-учебной лабораторией медиевистических исследований НИУ ВШЭ,  
доктор исторических наук

## **ВАСИЛЬЕВ Виктор Анатольевич**

академик РАН, профессор базовой кафедры Математического института им. В.А. Стеклова РАН факультета математики НИУ ВШЭ, доктор физико-математических наук

## **ВИШЛЕНКОВА Елена Анатольевна**

профессор кафедры социальной истории факультета истории, заместитель директора Института гуманитарных историко-теоретических исследований имени А.В. Полетаева НИУ ВШЭ, доктор исторических наук

## **ВИШНЕВСКИЙ Анатолий Григорьевич**

ординарный профессор НИУ ВШЭ, директор и профессор кафедры демографии Института демографии НИУ ВШЭ, доктор экономических наук

## **ГИМПЕЛЬСОН Владимир Ефимович**

ординарный профессор НИУ ВШЭ, директор Центра трудовых исследований, профессор кафедры экономики труда и народонаселения Департамента прикладной экономики НИУ ВШЭ, кандидат экономических наук

## **ГОРОДЕНЦЕВ Алексей Львович**

профессор и заместитель декана по научной работе факультета математики, научный сотрудник Лаборатории алгебраической геометрии и ее приложений НИУ ВШЭ, кандидат физико-математических наук

## **ГОФМАН Александр Бенционович**

ординарный профессор НИУ ВШЭ, профессор кафедры общей социологии факультета социологии НИУ ВШЭ, доктор социологических наук

## **ГУСЕЙНОВ Гасан Чингизович**

профессор факультета филологии НИУ ВШЭ, доктор филологических наук

## **ДАВИДСОН Аполлон Борисович**

академик РАН, ординарный профессор НИУ ВШЭ, профессор кафедры истории идей и методологии исторической науки факультета истории НИУ ВШЭ, доктор исторических наук

## **ДАНИЛЕВСКИЙ Игорь Николаевич**

профессор, заведующий кафедрой истории идей и методологии исторической науки факультета истории НИУ ВШЭ, соредатор альманаха «Казус», доктор исторических наук

## **ДЕВЯТКО Инна Феликсовна**

ординарный профессор НИУ ВШЭ, заведующая кафедрой анализа социальных институтов факультета социологии НИУ ВШЭ, доктор социологических наук

## **ДОБРОХОТОВ Александр Львович**

ординарный профессор НИУ ВШЭ, профессор кафедры наук о культуре отделения культурологии факультета философии, главный научный сотрудник Лаборатории исследования философии Центра фундаментальных исследований НИУ ВШЭ, доктор философских наук

## **ДРАГАЛИНА-ЧЁРНАЯ Елена Григорьевна**

профессор, заместитель заведующего кафедрой онтологии, логики и теории познания факультета философии, заведующая Лабораторией исследования философии Центра фундаментальных исследований НИУ ВШЭ, доктор философских наук

## **ЕРНЫЛЕВА Наталия Юрьевна**

ординарный профессор НИУ ВШЭ, заведующая кафедрой международного частного права факультета права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук

## **ЕРШОВ Эмиль Борисович**

ординарный профессор НИУ ВШЭ, профессор кафедры математической экономики и эконометрики Департамента прикладной экономики, ведущий научный сотрудник научно-учебной лаборатории макроструктурного моделирования экономики России НИУ ВШЭ, доктор экономических наук

## **ЗИНЧЕНКО Владимир Петрович**

ординарный профессор НИУ ВШЭ, профессор кафедры общей психологии и заведующий кафедрой психофизиологии факультета психологии НИУ ВШЭ, доктор психологических наук

## **ИВАШКОВСКАЯ Ирина Васильевна**

ординарный профессор НИУ ВШЭ, директор академического Департамента финансов, заведующая кафедрой экономики и финансов фирмы, заведующая Лабораторией корпоративных финансов НИУ ВШЭ, доктор экономических наук



## **КАМЕНСКИЙ Александр Борисович**

декан и заведующий кафедрой политической истории факультета истории, главный научный сотрудник Института гуманитарных историко-теоретических исследований имени А.В. Полетаева НИУ ВШЭ, доктор исторических наук

## **КАНТОРОВИЧ Григорий Гельмутович**

проректор НИУ ВШЭ, заведующий кафедрой математической экономики и эконометрики Департамента прикладной экономики, преподаватель Международного института экономики и финансов НИУ ВШЭ, кандидат физико-математических наук

## **КОРДОНСКИЙ Симон Гдальевич**

ординарный профессор НИУ ВШЭ, заведующий кафедрой местного самоуправления факультета государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ, кандидат философских наук

## **КОССОВ Владимир Викторович**

ординарный профессор НИУ ВШЭ, профессор кафедры управления проектами факультета менеджмента, главный научный сотрудник Лаборатории корпоративных стратегий, организационных структур и управленческих нововведений НИУ ВШЭ, председатель ученого совета Д 212.048.06 по защите кандидатских и докторских диссертаций, доктор экономических наук

## **КРАСНОВ Михаил Александрович**

ординарный профессор НИУ ВШЭ, заведующий кафедрой конституционного и муниципального права факультета права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук

## **КУРЕННОЙ Виталий Анатольевич**

заведующий отделением культурологии и кафедрой наук о культуре факультета философии, заведующий Лабораторией исследований культуры НИУ ВШЭ, кандидат философских наук

## **ЛАНДО Сергей Константинович**

декан факультета математики НИУ ВШЭ, профессор Независимого московского университета, доктор физико-математических наук

## **ЛЕВИН Марк Иосифович**

ординарный профессор НИУ ВШЭ, заведующий кафедрой микроэкономического анализа Департамента теоретической экономики, ведущий научный сотрудник Лаборатории исследования отраслевых рынков НИУ ВШЭ, кандидат технических наук, доктор экономических наук

## **ЛЕОНТЬЕВ Дмитрий Алексеевич**

заведующий Лабораторией позитивной психологии и качества жизни НИУ ВШЭ, доктор психологических наук

## **ЛИПСИЦ Игорь Владимирович**

ординарный профессор НИУ ВШЭ, профессор кафедры маркетинга фирмы факультета менеджмента, научный руководитель Департамента маркетинга, заместитель декана Высшей школы менеджмента НИУ ВШЭ, доктор экономических наук

## **ЛЮБИМОВ Лев Львович**

ординарный профессор и заместитель научного руководителя НИУ ВШЭ, заведующий кафедрой макроэкономического анализа департамента теоретической экономики НИУ ВШЭ, доктор экономических наук

## **МЕЛЬВИЛЬ Андрей Юрьевич**

декан факультета прикладной политологии, заведующий кафедрой сравнительной политологии, заведующий Лабораторией качественных и количественных методов анализа политических режимов Центра фундаментальных исследований НИУ ВШЭ, доктор философских наук

## **НИКИТИН Максим Игоревич**

ординарный профессор НИУ ВШЭ,  
профессор Международного института экономики и финансов,  
руководитель магистерской программы «Финансовая экономика» НИУ ВШЭ,  
PhD по экономическим наукам, кандидат экономических наук

## **ОРЛОВСКИЙ Юрий Петрович**

ординарный профессор НИУ ВШЭ,  
научный руководитель Высшей школы юриспруденции,  
заведующий кафедрой трудового права факультета права НИУ ВШЭ,  
доктор юридических наук

## **ПЕНСКАЯ Елена Наумовна**

ординарный профессор НИУ ВШЭ, декан факультета филологии НИУ ВШЭ, заместитель  
главного редактора журнала «Вопросы образования», доктор филологических наук

## **ПЕТРОВСКИЙ Вадим Артурович**

ординарный профессор НИУ ВШЭ, заместитель заведующего кафедрой психологии  
личности факультета психологии НИУ ВШЭ, член-корреспондент РАО, доктор  
психологических наук

## **ПОЛИЩУК Леонид Иосифович**

профессор кафедры институциональной экономики Департамента прикладной экономики,  
заведующий Лабораторией прикладного анализа институтов и социального капитала  
НИУ ВШЭ, кандидат экономических наук

## **ПОРУС Владимир Натанович**

ординарный профессор НИУ ВШЭ, заведующий кафедрой онтологии, логики и теории  
познания факультета философии, главный научный сотрудник Лаборатории исследования  
философии Центра фундаментальных исследований НИУ ВШЭ, доктор философских наук

## **РУТКЕВИЧ Алексей Михайлович**

декан и заведующий кафедрой истории философии факультета философии, главный научный сотрудник Института гуманитарных историко-теоретических исследований имени А.В. Полетаева НИУ ВШЭ, доктор философских наук

## **САВЕЛЬЕВА Ирина Максимовна**

ординарный профессор НИУ ВШЭ,  
директор Института гуманитарных историко-теоретических исследований имени А. В. Полетаева,  
профессор кафедры истории идей и методологии исторической науки факультета истории НИУ ВШЭ, доктор исторических наук

## **УРНОВ Марк Юрьевич**

ординарный профессор НИУ ВШЭ,  
научный руководитель и заведующий кафедрой политического поведения факультета прикладной политологии,  
ведущий научный сотрудник Лаборатории политических исследований НИУ ВШЭ,  
кандидат экономических наук, доктор политических наук

## **ФИЛИНОВ Николай Борисович**

декан факультета менеджмента,  
заведующий кафедрой общего и стратегического менеджмента факультета менеджмента,  
профессор Департамента образовательных программ НИУ ВШЭ,  
кандидат экономических наук

## **ФИЛИПШОВ Александр Фридрихович**

ординарный профессор НИУ ВШЭ,  
руководитель Центра фундаментальной социологии Института гуманитарных историко-теоретических исследований имени А.В. Полетаева,  
заведующий кафедрой практической философии факультета философии НИУ ВШЭ,  
главный редактор журнала «Социологическое обозрение»,  
кандидат философских наук, доктор социологических наук

### **ФИЛОНОВИЧ Сергей Ростиславович**

ординарный профессор НИУ ВШЭ, декан Высшей школы менеджмента, профессор кафедры управления человеческими ресурсами факультета менеджмента НИУ ВШЭ, доктор физико-математических наук

### **ФРИДМАН Алла Александровна**

профессор кафедры микроэкономического анализа Департамента теоретической экономики, преподаватель Международного института экономики и финансов НИУ ВШЭ, доктор экономических наук

### **ФРУМИН Исак Давидович**

научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ, доктор педагогических наук

### **ЧЕПУРЕНКО Александр Юльевич**

декан факультета социологии и профессор кафедры экономической социологии факультета социологии НИУ ВШЭ, доктор экономических наук

### **ШКАРАТАН Овсей Ирмович**

ординарный профессор НИУ ВШЭ, профессор кафедры экономической методологии и истории Департамента теоретической экономики, заведующий Лабораторией сравнительного анализа развития постсоциалистических обществ НИУ ВШЭ, главный редактор журнала «Мир России», доктор исторических наук

### **ШТЕЙНЕР Евгений Семенович**

профессор кафедры цивилизационного развития Востока отделения востоковедения факультета философии НИУ ВШЭ, член Московского союза художников, кандидат филологических наук, доктор искусствоведения

## **ЭФЕНДИЕВ Азер Гамидович**

ординарный профессор НИУ ВШЭ, директор Центра исследований социальной организации фирмы, профессор кафедры управления человеческими ресурсами факультета менеджмента НИУ ВШЭ, доктор философских наук

## **ЯКОБСОН Лев Ильич**

первый проректор НИУ ВШЭ, профессор кафедры государственного управления и экономики общественного сектора факультета экономики, научный руководитель Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, главный редактор журнала «Вопросы государственного и муниципального управления», доктор экономических наук

## **ЯКОВЛЕВ Сергей Михайлович**

директор Международного института экономики и финансов НИУ ВШЭ, кандидат экономических наук

## **ЯКУШЕВА Ирина Владимировна**

заведующая кафедрой иностранных языков факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, кандидат филологических наук

## **ЯСИН Евгений Григорьевич**

научный руководитель и ординарный профессор НИУ ВШЭ, профессор кафедры статистики Департамента статистики и анализа данных, руководитель семинара «Теневое правительство», научный руководитель Экспертного института НИУ ВШЭ, доктор экономических наук

*Также в этой серии*

**Рассказы молодых преподавателей ВШЭ  
о своих учителях**

---

# ПОКОЛЕНИЯ ВШЭ

---

УЧЕНИКИ ОБ УЧИТЕЛЯХ





*Информационное издание*

**Поколения ВШЭ  
Учителя об учителях**

Литературный редактор *Ю.В. Иванова*  
Компьютерная верстка, дизайн обложки: *В.И. Кремлёв*  
Корректор *Н.Н. Щигорева*

Подписано в печать 24.10.2013. Формат 60×90 1/8  
Гарнитура Minion Pro. Усл. печ. л. 38,0. Уч.-изд. л. 24,3  
Тираж 2000 экз. Изд. № 1682

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  
101000, Москва, ул. Мясницкая, 20  
Тел./факс: (499) 611-15-52

